

ВЕСТНИК  
ТОМСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.  
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal  
of Philosophy, Sociology and Political Science

---

---

*Научный журнал*

---

---

**2026**

**№ 89**

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-30316 от 19 ноября 2007 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых  
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге  
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science  
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные  
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук»  
Высшей аттестационной комиссии  
(№ 1528)

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Суровцев В.А.** (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: [surovtsev1964@mail.ru](mailto:surovtsev1964@mail.ru).  
**Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: [a\\_gukun@mail.ru](mailto:a_gukun@mail.ru);  
**Дериглазова Л.В.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор ист. наук, профессор. E-mail: [dlarisa@inbox.ru](mailto:dlarisa@inbox.ru);  
**Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: [agaton@gambler.ru](mailto:agaton@gambler.ru);  
**Сухущина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: [elsukhush@inbox.ru](mailto:elsukhush@inbox.ru);  
**Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;  
**Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;  
**Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;  
**Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;  
**Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор;  
**Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент;  
**Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор;  
**Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**Химма Кеннет Э.** (Университет Вашингтона, Сиэтл, США);  
**Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ);  
**Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ);  
**Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия);  
**Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия);  
**Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия);  
**Днев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия);  
**Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США);  
**Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США);  
**Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария);  
**Вавилина Н.Д.** (Сибирский институт управления РАНХиГС, Новосибирск, Россия);  
**Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия);  
**Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия);  
**Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия);  
**Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия);  
**Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия);  
**Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша);  
**Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия);  
**Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

## EDITORIAL BOARD:

**Surovtsev V.A.** (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief;  
**Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology);  
**Deriglazova L.V.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science);  
**Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor;  
**Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology);  
**Borisov E.V.** (Tomsk, Russia);  
**Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia);  
**Syrov V.N.** (Tomsk, Russia);  
**Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia);  
**Ladov V.A.** (Tomsk, Russia);  
**Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia);  
**Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia);  
**Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

## EDITORIAL COUNCIL:

**Himma K.E.** (University of Washington, Seattle, USA);  
**Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany);  
**Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany);  
**Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia);  
**Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia);  
**Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia);  
**Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia);  
**Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA);  
**Balzer H.S.** (Georgetown University, USA);  
**Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria);  
**Vavilina N.D.** (Siberian Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russia);  
**Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia);  
**Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia);  
**Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia);  
**Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia);  
**Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia);  
**Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland);  
**Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia);  
**Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

<b>Белянин В.С.</b> К вопросу об основаниях рецептивной эстетики.....	5
<b>Ламберов Л.Д.</b> Абстрактные объекты: к вопросу о чётком отграничении от конкретного.....	18
<b>Миронов В.А.</b> Геологические и археологические исследования: от предметной разницы к единому исследовательскому полю. Часть I.....	26

### ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

<b>Карницкая Е.К., Вольский А.Д.</b> Правовые аспекты кантовского взгляда на недопустимость лжи.....	36
<b>Лобовиков В.О.</b> Логический и аксиологический аспекты еретических взглядов Маркиона и Тертуллиана на христианское учение о браке (дискретная математическая модель).....	49
<b>Мёдова А.А.</b> Специфика понимания трансцендентального в теологическом дискурсе: схоластическая традиция и учение И. Канта.....	62
<b>Яковлев В.В.</b> Феномен неоднородного и несекулярного Просвещения: у истоков историографического поворота конца XX – начала XXI в. ....	75

### СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

<b>Боровинская Д.Н., Суровцев В.А., Козлов А.Н.</b> Креативный продукт как результат мышления.....	86
<b>Линченко А.А.</b> Историческая ответственность как проблема исторической этики.....	98
<b>Погожина Н.Н.</b> Социология, которой нет: о влиянии идей Л. Витгенштейна на социально ориентированное исследование знания и социальную теорию.....	116
<b>Токарева С.Б.</b> В поисках этики единства: русский менталитет vs. универалистская этика.....	124

### СОЦИОЛОГИЯ

<b>Бельская Ю.В.</b> Неoliberalный университет и его институциональное устройство.....	138
<b>Бесчасная А.А.</b> Урбанистическое детство: от концепта к понятию.....	151
<b>Газиева И.А.</b> От компетенций – к ценностям: переосмысление профессионального потенциала в контексте молодёжной политики.....	165
<b>Литвинцев Д.Б.</b> Жилищный прекариат: метафора или новый жилищный класс?.....	176
<b>Рогач О.В., Фролова Е.В.</b> Карьерные стратегии муниципальных служащих: перспективы и ограничения.....	187
<b>Kundu Sh.</b> The evolution of identity politics in Bangladesh: historical roots, contemporary challenges, and implications for civil society.....	198

### ПОЛИТОЛОГИЯ

<b>Андреева А.А., Нелаева Г.А., Дрожжих Н.В.</b> Британские университеты и колониальное прошлое в контексте «политики раскаяния»: дискурс-анализ университетских отчетов о рабстве и работорговле.....	206
<b>Жерлицына Н.А.</b> Противоречивый характер реадмиссии мигрантов из ЕС в страны Северной Африки.....	219
<b>Мухаметов Р.С.</b> Политические амбиции студенческой молодежи в России: гендерный аспект.....	228
<b>Трубникова Н.В., Шамаков В.А.</b> Визуальные образы Гражданской войны в коллективной памяти современных россиян: междисциплинарный подход к интерпретации данных окулографического эксперимента.....	240

### МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

<b>Никоненко С.В.</b> Томская школа аналитической философии: от анализа юридического языка к практической философии.....	261
--	-----

### АРХИВ

<b>Суханова Е.Н.</b> О работе Дж.Э. Мура «Являются ли признаки отдельных вещей универсальными или партикулярными?».....	271
---	-----

# CONTENTS

## ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

<b>Belyanin V.S.</b> On the foundations of receptive aesthetics .....	5
<b>Lamberov L.D.</b> Abstract objects: On the problem of demarcating the abstract from the concrete .....	18
<b>Mironov V.A.</b> Geological and archaeological research: From disciplinary difference to a unified field of study. Part 1 .....	26

## HISTORY OF PHILOSOPHY

<b>Karpitskaya E.K., Volskii A.D.</b> Legal aspects of Kant's view on the prohibition of lying .....	36
<b>Lobovikov V.O.</b> Logical and axiological aspects of Marcion's and Tertullian's heretical views on the Christian doctrine of marriage: A discrete mathematical model .....	49
<b>Medova A.A.</b> The distinctive understanding of the transcendental in theological discourse: Scholastic tradition and Kant's doctrine .....	62
<b>Yakovlev V.V.</b> The heterogeneous and non-secular Enlightenment: At the origins of the historiographic turn of the late 20th – early 21st centuries.....	75

## SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

<b>Borovinskaya D.N., Surovtsev V.A., Kozlov A.N.</b> Creative product as a result of thinking.....	86
<b>Linchenko A.A.</b> Historical responsibility as a problem of ethics of history .....	98
<b>Pogozhina N.N.</b> The sociology that does not exist: On the influence of Wittgenstein's ideas on socially oriented research into knowledge and social theory.....	116
<b>Tokareva S.B.</b> In search of an ethics of unity: Russian mentality vs. universalist ethics.....	124

## SOCIOLOGY

<b>Beschasnaya A.A.</b> Urban childhood: From concept to term.....	138
<b>Belskaya Yu.V.</b> The neoliberal university and its institutional structure .....	151
<b>Gazieva I.A.</b> From competencies to values: Rethinking professional potential in the context of youth policy.....	165
<b>Litvintsev D.B.</b> Housing precariat: Metaphor or a new housing class? .....	176
<b>Rogach O.V., Frolova E.V.</b> Career strategies of municipal employees: Prospects and limitations.....	187
<b>Kundu Sh.</b> The evolution of identity politics in Bangladesh: Historical roots, contemporary challenges, and implications for civil society .....	198

## POLITICAL SCIENCE

<b>Andreeva A.A., Drozhashchikh N.V., Nelaeva G.A.</b> British universities and the colonial past in the context of the "politics of regret": A discourse analysis of university reports on slavery and slave trade .....	206
<b>Zherlitsina N.A.</b> The controversial nature of EU migrant readmission to North African countries.....	219
<b>Mukhametov R.S.</b> Political ambitions of students in Russia: The gender aspect.....	228
<b>Trubnikova N.V., Shamakov V.A.</b> Visual images of the Civil War in the collective memory of contemporary Russians: An interdisciplinary approach to interpreting oculographic experiment data .....	240

## MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

<b>Nikonenko S.V.</b> Tomsk School of Analytic Philosophy: From legal analysis to practical philosophy .....	261
--	-----

## ARCHIVE

<b>Sukhanova E.N.</b> On G.E. Moore's paper "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?" .....	271
---	-----

## ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья  
УДК: 801.73  
doi: 10.17223/1998863X/89/1

### К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ РЕЦЕПТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ

**Вадим Сергеевич Белянин**

*Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Томск, Россия, hanginggarden@yandex.ru*

**Аннотация.** Рассматриваются основания подходов ключевых представителей Констанцской школы рецептивной эстетики Х.-Р. Яусса и В. Изера. Доказывается различность оснований их проектов и делается вывод о некорректности их отождествления. Анализ подхода Яусса выявляет в качестве основания философскую герменевтику М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. Анализ подхода Изера выявляет в качестве оснований феноменологическую эстетику Э. Гуссерля и Р. Ингардена и философскую герменевтику Хайдеггера и Гадамера. Показана несправедливость обвинений во вторичном характере по отношению к проектам рецептивной эстетики.

**Ключевые слова:** рецептивная эстетика, герменевтика, интерпретация, конкретизация, горизонт, имплицитный читатель

**Для цитирования:** Белянин В.С. К вопросу об основаниях рецептивной эстетики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 5–17. doi: 10.17223/1998863X/89/1

## ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

### ON THE FOUNDATIONS OF RECEPTIVE AESTHETICS

**Vadim S. Belyanin**

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,  
hanginggarden@yandex.ru*

**Abstract.** This article seeks to clarify the foundations of receptive aesthetics and to assess the validity of accusations regarding its secondary nature. The relevance of the topic is demonstrated through examples that, first, reflect the view of receptive aesthetics as a unified and coherent school; second, reveal discrepancies concerning the philosophical traditions from which receptive aesthetics is said to derive; and third, express doubts about the capacity of receptive aesthetics to develop an independent approach to interpretation. Such a view is made possible by the misidentification of fundamentally different projects within receptive aesthetics – projects that rest on distinct philosophical foundations. In light of this, the aim of the article is to demonstrate the fundamental divergence between the philosophical underpinnings of the two key figures of the Constance School of Rezeptionsästhetik, H.R. Jauss and W. Iser, and thereby to establish the incorrectness of conflating their

respective projects. The article shows that Jauss's project derives primarily from the philosophical hermeneutics of M. Heidegger and H.-G. Gadamer, whereas Iser proposes a synthesis of the phenomenological aesthetics of E. Husserl and R. Ingarden with the philosophical hermeneutics of Heidegger and Gadamer. The article further demonstrates that both Jauss and Iser introduce theoretical innovations of their own. Drawing on such concepts from his predecessors as *Dasein*, dialogue, fusion of horizons, and historical distance, Jauss supplements them with his own notions of the horizon of readerly expectation, aesthetic distance, and the history of reception. Although Jauss builds upon the influential tradition of Heideggerian and Gadamerian hermeneutics, he succeeds in clarifying, rethinking, and extending their concepts in such a way that a new project of a scientific method for the study of literature emerges. Iser's project, in turn, is not limited to synthesizing phenomenological aesthetics and philosophical hermeneutics in order to analyze the phenomenological process of reading; it also offers original concepts such as the implied reader and the wandering viewpoint. Thus, an analysis of the projects of Jauss and Iser reveals a clear difference in their foundations, underscores the necessity of distinguishing their approaches, and highlights their respective theoretical innovations.

**Keywords:** receptive aesthetics, hermeneutics, interpretation, concretization, horizon, implied reader

**For citation:** Belyanin, V.S. (2026) On the foundations of receptive aesthetics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 5–17. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/1

## Введение

Несмотря на регулярный интерес в отечественном исследовательском пространстве к проблемам интерпретации произведения искусства и анализу отношений триады «автор–текст–читатель», традиция рецептивной эстетики Констанцской школы получила достаточно слабое освещение. Если к таким противоположным по своему содержанию парадигмам интерпретации в лице классической герменевтики (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей) и структурализма (Р. Барт, Ю. Кристева) наблюдается систематическое обращение, то обращение к мыслителям рецептивной традиции интерпретации носит характер отдельных, быстро затухающих мерцаний. Такую ситуацию, когда рецептивные эстетики остаются в тени, нельзя связать с отсутствием в отечественном дискурсе концептуального базиса для восприятия их идей, поскольку, как мы стремимся продемонстрировать ниже, имеет место опора и на феноменологическую эстетику Э. Гуссерля и Р. Ингардена, и на философскую герменевтику М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера, достаточно хорошо знакомых отечественным исследователям. В то же время именно опора на феноменологическую эстетику и философскую герменевтику и мешает прояснению актуального статуса рецептивной эстетики, поскольку она представляется либо вторичной по отношению к ним, либо вопрос о преимуществах рецептивной эстетики по отношению к феноменологической эстетике и философской герменевтике остается без ответа.

На это указывают, во-первых, замечания советских исследователей А.Я. Зися и М.П. Стафеевой, которые в работе «Методологические искания в западном искусствознании: Критический анализ современных герменевтических концепций» проблематизируют соотношение герменевтики и рецептивной эстетики и предлагают следующее решение: «Если герменевтика олицетворяет культурно-смысловой подход к искусству, то рецептивная эстетика – преимущества социологических ориентаций» [1. С. 96]. При этом исключает-

ся опора на феноменологическую эстетику рецептивной эстетики. Во-вторых, статьи близких к ним немецких мыслителей указывают на неочевидность места рецептивной эстетики. Например, статья самого Гадамера «История воздействия и ее применение», опубликованная в немецком сборнике, посвященном рецептивной эстетике, содержит призыв к рассмотрению рецептивного подхода в рамках уже существующей герменевтики без необходимости создания новой самостоятельной гуманитарной дисциплины [2]. Гадамер пишет: «Когда мы пытаемся понять историческое явление с учетом исторической дистанции, которой определена наша герменевтическая ситуация в целом, мы всегда уже находимся под воздействием истории воздействия» [2. S. 113]. Иными словами, проанализировать процесс воздействия произведения на интерпретатора в процессе интерпретации невозможно объективно, поскольку любая попытка подняться над предрассудками культурно-исторической ситуации предполагает обусловленность другими предрассудками, что и подразумевается в данном случае под «историей воздействия». Но само по себе рефлексивное осознание ситуации, в которой разворачиваются понимание и интерпретация, к чему рецептивно-историческое исследование и стремится, по Гадамеру уже является задачей герменевтики, из-за чего рецептивная эстетика как самостоятельное независимое направление избыточно [2].

В этом же сборнике во вступительной статье Р. Варнинга также представлена попытка определить место рецептивной эстетики. В частности, автор много внимания уделяет сопоставлению теории Гадамера с теориями рецептивных эстетиков, обнаруживая между ними много общего [3]. Однако в перспективе рассматриваемой проблемы нас особенно интересует оценка Варнингом влияния на рецептивную эстетику феноменологической эстетики в лице Р. Ингардена. Варнинг отмечает, что употребление рецептивными эстетиками концептов Ингардена в том горизонте, в каком они их развивают, было бы поставлено под сомнение самим польским феноменологом: «Ингарденовскую теорию восприятия произведения следовало бы рассматривать как основу современной рецептивной эстетики. Однако сам Ингарден, без сомнения, не согласился бы с такой интерпретацией. Хотя рецептивная эстетика и позаимствовала у него понятие конкретизации, он сам, вероятно, отказался бы отождествлять себя с тем, что в настоящее время понимается и обсуждается под конкретизацией» [3. S. 10]. Так, здесь проявляется мнение и о феноменологической эстетике как истоке рецептивной эстетики. Наконец, ряд современных отечественных публикаций называет феноменологическую эстетику основанием рецептивной эстетики [4] либо одним из оснований наряду с герменевтикой [5].

Приведенные примеры позволяют увидеть неопределенность статуса рецептивной эстетики с точки зрения ее оснований. В то же время приведенные примеры выражают и сомнения в ее возможности претендовать на развитие самостоятельного подхода к интерпретации. На наш взгляд, обе проблемы в озвученных примерах (всего нескольких, но отражающих общую картину) проистекают из-за того, что рецептивную эстетику Констанцской школы стремятся представить как единое, согласованное направление, тогда как ее авторы, несмотря на ряд общих мест, исходят из разных оснований и предлагают разные подходы. При характеристике рецептивной эстетики обычно

имеют в виду двух исследователей – Ханса-Роберта Яусса и Вольфганга Изера. Их же некорректно и отождествляют между собой. Высказывания, которые распространяются на обоих, относительно оснований, фактически исходят из опоры только на одного из них, следовательно, и применимы только к кому-то одному. Между тем оба этих автора, несмотря на принадлежность к одному направлению, наглядно демонстрируют различие своих подходов. Так, возникает вопрос и о правомерности высказываний касательно возможности существования рецептивной эстетики как самостоятельного направления с точки зрения различной работы с основаниями каждого из рассматриваемых авторов.

В данной статье предпринимается попытка прояснить основания рецептивной эстетики и установить справедливость обвинений в ее вторичном характере. Для этого анализируются основания подходов двух ключевых авторов Констанцской школы рецептивной эстетики – Ханса-Роберта Яусса и Вольфганга Изера. Мы стремимся показать, что проект Х.-Р. Яусса проистекает главным образом из философской герменевтики М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера, тогда как В. Изер предлагает синтез феноменологической эстетики Э. Гуссерля и Р. Ингардена и философской герменевтики М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. Тематизация философских оснований концепций Х.-Р. Яусса и В. Изера позволяет продемонстрировать принципиальное различие их позиций и показать некорректность отождествления их проектов.

### **Философская герменевтика как основание рецептивной эстетики Ханса-Роберта Яусса**

Ханс-Роберт Яусс является одним из основателей и наиболее активных участников исследовательской группы «Поэтика и Герменевтика» (1963–1994 гг.), в период деятельности которой происходит складывание Констанцской школы рецептивной эстетики. Параллельно с рефлексией данного междисциплинарного проекта выходят и простимулированные им самостоятельные ключевые статьи и монографии ее участников. Так, спустя 4 года после образования «Поэтики и Герменевтики», в 1967 г. Яусс выступает с лекцией «Что такое история литературы и с какой целью мы ее изучаем?», которой, как считается, основал Констанцскую школу. Эта лекция впоследствии легла в основу его программной статьи, заложившей основания для рецептивно-эстетического подхода Яусса, «История литературы как провокация литературоведения», выдержавшая несколько переизданий, в которых текст дополнялся и корректировался.

В упомянутой статье Яусс выходит к рецептивно-эстетическому подходу, пытаясь решить проблему истории литературы, которую критикует за исторический объективизм. Яусс стремится преодолеть субстанциалистское представление о смысле произведения как вечной сущности, которая в одинаковом виде предстает перед всеми читателями. Для этого он предлагает альтернативный подход, который рассматривает процесс чтения как диалог между произведением и читателем, где последний также принимает активное участие в смыслообразовании [6]. Со стороны произведения осуществляется «воздействие», со стороны читателя – «восприятие». Прояснить, что подразумевается Яуссом под активным участием самого читателя, мы можем благодаря его высказыванию о специфике существования произведения: «Оно

скорее напоминает партитуру чтения, необходимую для нового читательского резонанса, который высвобождает текст из материи слов, дает ему актуальное здесь-бытие» [6. С. 24]. Несмотря на возникающие ассоциации с концепцией Р. Ингардена о схематической структуре произведения, которую читатель конкретизирует в процессе чтения [7], фактически мы видим ссылку на феноменологию М. Хайдеггера. «Актуальное здесь-бытие» для произведения подразумевает его актуализацию понимающим субъектом, который осуществляет свое понимание в конкретных культурно-исторических обстоятельствах [8]. Так, любое чтение, аналогично другим актам понимания, разворачивается в горизонте культурно-исторической ситуации читателя-субъекта, накладывающей отпечаток на его понимание. В результате смысл произведения и процесс чтения не только невозможны без читателя как субъекта, который осуществляет интерпретацию, но и без его «жизненного мира», который определяет горизонт его понимания.

Понятие «горизонт», к которому прибегает Яусс, также обнаруживает свою укорененность в традиции феноменологии. Мы видим путь все большей тематизации и конкретизации данного понятия. Изначально в феноменологической трактовке Э. Гуссерля горизонт обозначает фон, который предопределяет конституирование вещи сознанием в контексте мира, данного опытом субъекту [9]. В дальнейшем Х.-Г. Гадамер, под влиянием экзистенциального варианта феноменологии Хайдеггера, модифицирует данное понятие, наделяя его герменевтическим звучанием. Для Гадамера «горизонт» – это действенная культурно-историческая ситуация, которая предопределяет понимание субъекта [10]. При этом горизонтом наделяется не только сам субъект, но и произведение, содержащее собственный внутренний горизонт смысла, который вступает в диалог с читателем. Открытость читателя чужому горизонту позволяет расширить свой в процессе «слияния горизонтов». В свою очередь Яусс, при введении понятия «горизонта читательских ожиданий», опираясь на предшественников, осуществляет еще большую тематизацию горизонта ожидания в пространстве литературы, который конституирует литературный опыт. Данный рецептивно-эстетический горизонт вмещает в себя воспоминания об уже прочитанном, актуальное состояние жанра, устоявшиеся нарративные структуры, общественное мнение об определенном тексте и прочие обстоятельства, которые не позволяют тексту проявиться как абсолютное новшество в информационном вакууме. Все это образует предварительную стратегию интерпретации текста. Со своей стороны, воздействие текста в процессе его восприятия проявляется в корректировке, уточнении, даже разрушении предварительной стратегии интерпретации. Здесь мы видим также и пересечение с концепцией «диалога» Гадамера, который рассматривал его как слияние горизонтов, в ходе которого читатель, открытый произведению, позволяет ему говорить с ним из чужой культурно-исторической ситуации и возражать тем предположениям, с которыми читатель подходит к тексту [10]. В то же время полностью избавиться от всех предрассудков собственной культурно-исторической ситуации невозможно, из-за чего взаимодействие между текстом и читателем выглядит как стремление достигнуть общей точки зрения, с учетом обоих горизонтов.

Таким образом, диалог по Яуссу реинтерпретируется как процесс взаимодействия воздействия текста на читателя и восприятия читателя текста на

фоне горизонта читательских ожиданий. Конкретный результат этого взаимодействия и образует рецепцию: «История рецепции – это процесс взаимодействия исторически конкретного смыслополагающего сознания с символическими конструкциями реальности, создаваемыми литературой, в свою очередь обусловленной историческими и социальными контекстами» [6. С. 3]. Реконструкция читательских горизонтов ожидания в разных культурно-исторических ситуациях позволит, согласно Яуссу, прояснить, какие вопросы стояли перед читателем и какие на них ответы мог дать текст. Реконструкция таких возможностей для диалога и откроет картину того, как воспринимался и понимался текст в прошлом [6. С. 33].

Наконец, бросается в глаза и выделение Яуссом эстетического типа дистанции, который определенным образом рифмуется с исторической дистанцией, чей анализ вновь является заслугой Гадамера. Эстетическую дистанцию Яусс определяет как «расстояние между заданным горизонтом ожидания и появлением нового произведения» [6. С. 29]. Анализ эстетической дистанции призван дополнить историческую дистанцию в тех случаях, когда появляется новаторское произведение, бросающее вызов устоявшимся стратегиям интерпретации, но принадлежит актуальной культурно-исторической ситуации читателя. Историческая дистанция, по Гадамеру, подчеркивает возможность близости между читателем и произведением, несмотря на культурно-историческое расстояние, чему способствует само временное отстояние, во-первых, выявляющее наиболее значимое и ценное из хаоса актуальных связей современности произведений, а во-вторых, подготавливает интерпретационную почву, формируя правила чтения и понимания произведения, из-за чего его исходно новаторский характер не становится препятствием. В свою очередь эстетическая дистанция по Яуссу, напротив, подчеркивает разрыв между читателем и произведением, несмотря на их принадлежность к одной культурно-исторической ситуации, поскольку произведение радикально противопоставлено исторически сложившемуся горизонту ожидания читателя.

Таким образом, мы действительно сталкиваемся в работах Яусса с ведущим влиянием философской герменевтики Гадамера и Хайдеггера, в то время как феноменологическая эстетика Ингардена исключается из рассмотрения рецептивного эстетика. Выделенные основания рецептивно-эстетического подхода Яусса не позволяют согласиться с мнением о влиянии феноменологической эстетики Ингардена на рецептивную эстетику в целом, поскольку как минимум уже у одной этой ключевой фигуры оно отсутствует. Однако несмотря на то, что она у Яусса не представлена, сложно поверить в то, что он не был с ней знаком. Имя Ингардена активно упоминается в работах других рецептивных эстетиков и называется предтечей рецептивной эстетики с его интересом к восприятию произведения (ограничимся примером Изера, к которому обратимся далее). Будучи учеником Гадамера и благодаря ему впитывая идеи Хайдеггера и Гуссерля, странно, чтобы Яусс не знал о другом знаменитом ученике Гуссерля – Ингардене. Сложившаяся ситуация оставляет вопрос, почему при множественном обилии ссылок и упоминаний самых различных подходов и персоналий, Яусс так настойчиво избегает прямо говорить о феноменологической эстетике в лице Ингардена, пусть даже и критически, с которым очевидно пересечение исследовательских интересов.

В заключение отметим, что в случае Яусса действительно оправдан вопрос об избыточности разграничения философской герменевтики и рецептивной эстетики, поскольку общее представление Яусса о процессах восприятия, воздействия и рецепции входит в объем понятия интерпретации у Гадамера. Таким образом, кажется справедливым высказывание Р. Варнинга, что благодаря Яуссу аметодическая герменевтика Гадамера получает свое конкретное прикладное применение и модифицируется в научный метод [3. S. 24]. Так, рецептивно-эстетический подход Яусса уточняет и продолжает ряд линий, начатых Гадамером. Яусс вслед за Гадамером продолжает линию критики исторического объективизма, концентрируясь на герменевтическом способе понимания с учетом контекста культурно-исторической ситуации. В целом можно утверждать, что понятие рецепции вмещает в себя то же представление об интерпретации, что и у Гадамера. От себя Яусс привносит концепты «эстетической дистанции» и «горизонта читательских ожиданий» как дополнение к исходным концептам Гадамера, для формирования целостного метода исследования восприятия литературы. Так, Яусс развивает и дополняет идеи Гадамера в ключе собственного проекта истории литературы как истории рецепций. В отличие от Гадамера, он стремится создать дисциплину, которая бы учитывала не только актуальные интерпретации, но и все потенциальные интерпретации через анализ историко-культурных и литературных контекстов, в которых осуществлялось взаимодействие с читателем.

### **Феноменологическая эстетика и философская герменевтика в рецептивной эстетике Вольфганга Изера**

Вольфганг Изер является еще одним значимым исследователем, чье имя стало символом рецептивной эстетики Констанцской школы. Несмотря на принадлежность к одному направлению с Х.-Р. Яуссом, Изер являлся его академическим соперником, который выстраивал свой рецептивно-эстетический подход на иных основаниях. Именно по отношению к подходу Изера корректны высказывания о равнозначности влияния феноменологической эстетики Р. Ингардена и философской герменевтики Х.-Г. Гадамера. Спецификой рецептивной эстетики Изера является взгляд на оба течения, исследующих вопрос смыслообразования в процессе чтения, как нуждающихся друг в друге, что позволило бы преодолеть ограничения, с которыми они сталкиваются по отдельности. Для Изера процесс чтения объединяет в себе акты восприятия и интерпретации, что обосновывает его обращение и к Ингардену, и к Гадамеру.

В своей первой большой монографии «Имплицитный читатель. Модели коммуникации в романе от Баньяна до Беккета» (1972) Изер стремился заложить основы теории литературного воздействия и читательского отклика. Интересно отметить, что английское издание данной работы, подготовленное самим Изером и вышедшее спустя два года (1974), содержит не включенную в немецкое издание главу «Процесс чтения: феноменологический подход», которая ранее выходила на английском отдельной статьей в журнале *New Literary History* в 1972 г. Данная статья, оказавшаяся наиболее известной работой Изера, предваряет идеи, которые будут описаны в его следующем большом труде «Акт чтения» (1974). В связи с этим обратимся к данным работам как единому высказыванию, рассмотрев их вместе.

Изер предлагает взглянуть на процесс чтения сквозь призму имплицитного читателя. Имплицитный читатель «включает в себя как предварительный набросок потенциального смысла текста, так и конкретизацию потенциально содержащегося в тексте читателем в процессе чтения» [11. Р. 12]. Такой взгляд очерчивает промежуточную позицию читателя, который оказывается между реальным человеком, приступающим к чтению, и тем, как себе представляет читателя автор. Автор закладывает основу для смысловых возможностей текста и при помощи текста стремится вызвать определенную реакцию читателя, подвести его к размышлениям по разным вопросам, используя различные текстуальные стратегии. В соответствии с этим Изер выделяет и два полюса текста – художественский и эстетический, где первый является текстом, созданным автором, а второй текстом в интерпретации читателя. Само положение литературного произведения в таком случае также оказывается промежуточным, оказываясь слиянием обоих полюсов [12. S. 202].

Данная концепция опирается на предложенную Гадамером модель диалога, которая рассматривает процесс интерпретации как взаимодействия текста и читателя [13. С. 389]. Для Гадамера диалог с произведением носит характер вопроса и ответа. Со своей стороны Изер возвращается к триаде классической герменевтики «автор–текст–читатель», обращая внимание, что вопросы и ответы вправе задавать не только читатель, но и сам автор как мыслящее лицо. Иными словами, там, где Яусс останавливается на анализе того, на какой вопрос текст служил ответом в разных культурно-исторических ситуациях, Изер ищет того субъекта, который первым задал вопрос, в лице автора. Распространенный в повседневном опыте вопрос читателя «что же хотел сказать автор?» получает свое зеркальное отражение в опыте автора – «что же увидит в произведении читатель?». Концепция Изера представляет своеобразную альтернативу истории рецепции Яусса, поскольку ориентация читателя на реконструкцию первичного горизонта теперь осуществляется через анализ того, как автор представлял себе читателя и способы взаимодействия с ним.

Текст содержит в своей структуре ориентацию на потенциального читателя через определенные стратегии повествования, которые оказывают воздействие на читателя и вынуждают его занять определенную позицию, стимулируемую работой автора с текстом: «Письменный текст снабжает указаниями, которые позволяют воссоздать то, о чем текст умалчивает» [13. С. 59]. Так, мы видим, что исходный замысел автора содержит места, стимулирующие активность читателя, что вновь согласуется с концепцией диалога и слияния горизонтов. Однако Изер совмещает наработки Гадамера с концепцией схематизированной структуры произведения Ингардена, поскольку принимает посылку, что автор для стимулирования активности читателя оставляет лакуны, которые тот должен заполнить самостоятельно [13. С. 69]. Изер, пользуясь своей терминологией, переписывает структуру схематического текста Ингардена, утверждая, что текст состоит из сформулированных (написанных) и несформулированных (ненаписанных) мест: «Сформулированный текст должен с помощью намеков и пожеланий уступить место тексту, который не является сформулированным, но тем не менее обладает потенциалом для формулирования» [13. С. 59]. Данные лакуны призваны не

только вынудить читателя заполнить пробелы в описании, например, вообразить детали интерьера или не поддающуюся словам гримасу ужаса на лице, но и предложить собственные ответы на те вопросы, которые ставит произведение, но намеренно не предоставляет готовых ответов. Те нормы, которые считаются очевидными в повседневной жизни, в мире вымысла ставятся под сомнение, в результате чего читатель не только вынужден выйти за границы привычного горизонта, но и дать собственную оценку [13. С. 9]. Эта оценка становится частью активности читателя при формировании смысла произведения. Так, у Изера концепции схематичности произведения Ингардена и диалога Гадамера обнаруживают свое пересечение.

Следуя за Ингарденом, Изер совершает закономерный переход от схематичности произведения к конкретизации произведения. Согласно Ингардену, конкретизация произведения составляет конкретный акт чтения, в ходе которого потенциальные возможности текста реализуются с учетом индивидуальности читателя и тех условий, в которых осуществлялось эстетическое восприятие. Произведение литературы в процессе чтения дополняется и изменяется, что приводит к конкретизации как результату действительного чтения [7]. Так, концепции схематичности и конкретизации Ингардена позволяют Изеру обосновать со-авторство читателя: «Пробелы, по сути, являются теми самыми точками, в которых читатель может проникнуть в текст, формируя свои собственные связи и концепции и, таким образом, создавая конфигурационный смысл того, что он читает» [13. С. 71]. Стоит, однако, сделать уточнение, что исходное определение конкретизации Изер модифицирует в герменевтическом ключе. В отличие от Ингардена, для которого конкретизация – это лишь конечный результат процесса чтения, Изер рассматривает конкретизацию как сам процесс чтения, где результатом уже является понимание произведения [12. S. 201–202].

Это позволяет Изеру рассматривать чтение как бесконечный процесс, опираясь на характеристику акта эстетического восприятия Ингардена, согласно которому каждое обращение к объекту содержит как реализованные качества, так и нереализованные [13. С. 238]. При каждом последующем обращении к объекту часть нереализованных, потенциальных качеств может быть реализована, тогда как реализованные в предыдущем акте качества могут оказаться утраченными. Так, полностью, до конца, ни один объект не может быть исчерпан в сумме своих потенциальных качеств в мире множасьих точек зрения и перспектив, в которых этот объект может быть представлен [7]. Стоит подчеркнуть, что эстетические пробелы схематизированных мест заполняются по Ингардену прежде всего в зависимости от индивидуальности читателя и конкретных повседневных и психических условий, в которых осуществлялось восприятие. Ингарден не проговаривает зависимость читателя от его принадлежности к культурно-исторической ситуации. Изер же, вслед за М. Хайдеггером и Х.-Г. Гадамером, в качестве отдельного фактора, влияющего на заполнение эстетического пробела, выводит принадлежность к культурно-исторической ситуации [13. С. 9]. Таким образом, с одной стороны, Изер учитывает повседневные и психические особенности эстетического восприятия, сформулированные Ингарденом, а с другой стороны, дополняет их учетом культурно-исторической ситуации, влияние которой на интерпретацию обосновали Хайдеггер и Гадамер. Это позволяет обосновать разные

интерпретации одного и того же произведения не только в разные исторические периоды, но и при разных прочтениях одним и тем же человеком.

Наконец, стоит обратить внимание и на концепцию переживания времени Э. Гуссерля, которую Изер трактует применительно к процессу чтения как позволяющую отдельным предложениям формировать ожидания или «протенции», задавая структуру интерпретационных стратегий применительно к дальнейшему тексту [14. S. 181]. Цепочка предложений образует между собой корреляцию, которая с каждым последующим предложением образует новый коррелят и модифицирует ожидания в соответствии с поступающим содержанием. В то же время модификация сказывается не только на наших ожиданиях по отношению к будущему тексту, но и по отношению к прошлому тексту, наделяя уже прочитанное новым значением, не проявившемся в момент чтения. Сам Изер в статье «Процесс чтения: феноменологический подход», где впервые об этом рассуждает, оба этих процесса, направленных на будущее и на прошлое, называет антиципацией и ретроспекцией соответственно [12. S. 208]. В данной статье удивляет отсутствие прямого упоминания Изером феноменов протенции и ретенции, которые напрашиваются на сравнение с антиципацией и ретроспекцией. Можно предположить, что изначально «антиципация» и «ретроспекция» – это попытка адаптировать понятия Гуссерля к процессу чтения литературного произведения. Это подтверждает уже дальнейшее прямое употребление понятий ретенции и протенции, вместо ранее употреблявшихся антиципации и ретроспекции, при изложении той же мысли в работе «Акт чтения»: «Каждый момент чтения представляет собой диалектику ретенции и протенции, поскольку еще не реализованный, но постоянно исчезающий горизонт будущего сочетается с насыщенным, но постоянно исчезающим горизонтом прошлого, так что два внутренних горизонта текста постоянно всплывают перед блуждающим взором читателя, чтобы он мог их слить воедино» [14. S. 182–183]. Так, мы видим попытку адаптировать концепцию переживания времени Гуссерля и его понятий к процессу чтения литературного текста.

Таким образом, мнение о равноценности влияния феноменологической эстетики и философской герменевтики уместно в случае В. Изера. В свою очередь, Изер не только органично совмещает два этих основания, но и прокладывает благодаря им собственный путь, предлагая концепции «имплицитного читателя» и свою модифицированную версию анализа актов чтения. В отличие от Яусса, Изер демонстрирует особый интерес к структурной организации смысловой составляющей текста и процессу его конституирования в актах чтения, что в свою очередь подчеркивает различие их подходов, требующих аккуратности в формулировках исследователей, пытающихся их объединить.

## Заключение

Несмотря на принадлежность Ханса-Роберта Яусса и Вольфганга Изера к одному направлению Констанцской школы рецептивной эстетики, удалось определить, что их подходы исходят из разных оснований. Х.-Р. Яусс в основу своего подхода полагает проекты философской герменевтики М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера, что выражено в оперировании концепциями «здесь-бытия», «диалога», «слиянии горизонтов». В то же время проблема разграни-

чения философской герменевтики и ее прикладной модификации Яусса, на наш взгляд, остается актуальной. Главным образом, достоинство концепции Яусса заключается в формулировке прикладного подхода философской герменевтики Гадамера для истории литературы. Таким образом, мы видим подход, выстроенный преимущественно на анализе возможности применения теории предшественников к истории литературы. Однако сама перспектива такого применения позволяет Яуссу, отталкиваясь от предшественников, ввести дополнительные концепты, такие как «горизонт читательских ожиданий», «эстетическая дистанция», «история рецепции», которых не было у Гадамера или Хайдеггера, что безусловно является теоретической новацией и заслугой Яусса.

В случае В. Изера имеет место проект, проистекающий из совмещения концепций феноменологической эстетики Э. Гуссерля и Р. Ингардена («ретенция-протенция», схематичность произведения), «конкретизация») и философской герменевтики М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера («диалог», «слияние горизонтов», осознание культурно-исторической ситуации). На их основании он выстраивает взгляд на анализ феноменологического процесса чтения, который бы продемонстрировал путь от актов конституирования смысла в процессе чтения к целостному результату этого процесса в виде интерпретации. Изер не только анализирует возможность их совмещения, но и модифицирует, переосмысляет их, предлагая как собственные трактовки (ретенция и протенция как антиципация и ретроспекция; конкретизация как процесс, а не результат), так и собственные концепты («имплицитный читатель», «блуждающая точка зрения читателя»). Так, Изер исходит из более широкого русла феноменологии, направляя его в сторону осмысления отношений компонентов триады «автор–текст–читатель».

Итак, попытки представить в горизонте рецептивной эстетики позиции Яусса и Изера как единый проект носят, с нашей точки зрения, некорректный характер, что наглядно показывает анализ оснований их проектов, который тематизирует их различие и требует учитывать разницу их подходов. Демонстрация того, как Яусс и Изер в своих проектах развивают основания, на которые они опираются, не позволяет согласиться и с обвинениями во вторичном характере их концепций. Несмотря на то, что Яусс опирается на мощную, влиятельную традицию философской герменевтики Хайдеггера и Гадамера, ему удается уточнить, переосмыслить и дополнить их концепции так, что в результате образуется новый проект научного метода познания литературы. В свою очередь, проект Изера не ограничивается синтезом феноменологической эстетики и философской герменевтики, но и предлагает собственные оригинальные концепции.

#### **Список источников**

1. Зись А.Я., Стафеецкая М.П. Методологические искания в западном искусствознании: Критический анализ современных герменевтических концепций культуры. М. : Искусство, 1984. 238 с.
2. Gadamer H.G. Wirkungsgeschichte und Application // *Rezeptionästhetik. Theorie und Praxis* / ed. R. Warning. München, 1975. S. 113–126.
3. Warning R. *Rezeptionästhetik als literaturwissenschaftliche Pragmatik* // *Rezeptionästhetik. Theorie und Praxis* / ed. R. Warning. München, 1975. S. 9–42.
4. *История эстетики* : учеб. пособие / отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб. : Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2011. С. 611–613.

5. Зусман В.Г. Рецептивная эстетика. Эстетика воздействия / отв. ред. А.С. Лобков // Русский акцент в мировой культуре: литература, искусство, перевод : сб. материалов междунар. науч. конф., посвященной 30-летию кафедры зарубеж. лит. и теории межкульт. коммуникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, 20 мая – 9 октября 2010 г. Н. Новгород, 2010. С. 53–60.
6. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34–84.
7. Ингарден П. Исследования по эстетике / пер. с польск. А. Ермилова, Б. Федорова. М. : Изд-во иностранной литературы, 1962. 572 с.
8. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Библихина. 3-е изд., испр. М. : Академический проект, 2011. XI, 447 с.
9. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. М. : АСТ, 2000. 743 с.
10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. 704 с.
11. Iser W. The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore, London : The Johns Hopkins University Press, 1974. 318 p.
12. Iser W. Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. München : Wilhelm Fink Verlag, 1972. 420 S.
13. Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход / сост., пер. И.В. Кабанова // Современная литературная теория : антология. М. : Флинта, 2004. С. 201–224.
14. Iser W. Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung. München : Wilhelm Fink Verlag, 1976. 358 S.

### References

1. Zis, A.Ya. & Stafetskaya, M.P. (1984) *Metodologicheskie iskaniya v zapadnom iskusstvoznani: Kriticheskiy analiz sovremennykh germenevticheskikh kontseptsiy kul'tury* [Methodological Quests in Western Art History: A Critical Analysis of Contemporary Hermeneutic Concepts of Culture]. Moscow: Iskusstvo.
2. Gadamer, H.G. (1975) Wirkungsgeschichte und Application. In: Warning, R. (ed.) *Rezeptionästhetik. Theorie und Praxis*. München: [s.n.]. pp. 113–126.
3. Warning, R. (1975) Rezeptionästhetik als literaturwissenschaftliche Pragmatik. In: Warning, R. (ed.) *Rezeptionästhetik. Theorie und Praxis*. München: [s.n.]. pp. 9–42.
4. Prozerskiy, V.V. & Golik, N.V. (eds) (2011) *Istoriya estetiki: uchebnoe posobie* [History of Aesthetics: A Textbook]. St. Petersburg: Publishing House of the Russian Christian Academy for the Humanities.
5. Zusman, V.G. (2010) *Retseptivnaya estetika. Estetika vozdeystviya* [Receptive Aesthetics. Aesthetics of Impact]. In: Lobkov, A.S. (ed.) *Russkiy akcent v mirovoy kul'ture: literatura, iskusstvo, perevod* [Russian Accent in World Culture: Literature, Art, Translation]. Nizhny Novgorod: [s.n.]. pp. 53–60.
6. Jauss, H.R. (1995) *Istoriya literatury kak provokatsiya literaturovedeniya*. [Literary History as a Provocation to Literary Studies]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 12. pp. 34–84.
7. Ingarden, R. (1962) *Issledovaniya po estetike* [Studies in Aesthetics]. Translated from German by A. Ermilov and B. Fedorov. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.
8. Heidegger, M. (2011) *Bytie i vremya* [Being and Time]. 3rd ed. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow Akademicheskiiy projekt.
9. Husserl, E. (2000) *Logicheskie issledovaniya. Kartezijskie razmyshleniya. Krizis evropeyskikh nauk i transsendental'naya fenomenologiya. Krizis evropeyskogo chelovechestva i filosofii. Filosofiya kak strogaya nauka* [Logical Investigations. Cartesian Meditations. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. The Crisis of European Humanity and Philosophy. Philosophy as a Rigorous Science]. Moscow: AST.
10. Gadamer, H.-G. (1988) *Istina i metod: osnovy filosofskoy germenevтики* [Truth and Method: Fundamentals of Philosophical Hermeneutics]. Translated from German. Moscow: Progress.
11. Iser, W. (1974) *The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
12. Iser, W. (1972) *Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett*. München: Wilhelm Fink Verlag.

13. Iser, W. (2004) *Protsess chteniya: fenomenologicheskiy podkhod* [The Reading Process: A Phenomenological Approach]. In: Kabanova, I.V. (eds) *Sovremennaya literaturnaya teoriya: antologiya* [Contemporary Literary Theory: An Anthology]. Moscow: Flinta. pp. 201–224.

14. Iser, W. (1976) *Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung*. München: Wilhelm Fink Verlag.

***Сведения об авторе:***

**Белянин В.С.** – ассистент кафедры гуманитарных проблем информатики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: hanginggarden@yandex.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Belyanin V.S.** – teaching assistant at the Department of Humanitarian Problems of Informatics, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: hanginggarden@yandex.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 20.12.2025;  
одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 20.12.2025;  
approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 111, 165

doi: 10.17223/1998863X/89/2

## АБСТРАКТНЫЕ ОБЪЕКТЫ: К ВОПРОСУ О ЧЁТКОМ ОТГРАНИЧЕНИИ ОТ КОНКРЕТНОГО

Лев Дмитриевич Ламберов

*Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия, lev.lamberov@urfu.ru*

**Аннотация.** Исследуется проблема разграничения абстрактных и конкретных объектов в философии. Анализируются несколько подходов к определению абстрактного и рассматриваются критерии отличия абстрактных объектов от конкретных объектов: их внепространственность, вневременность и отсутствие причинно-следственных связей. Приводятся критические замечания, которые показывают, что традиционные представления о разграничении абстрактного и конкретного являются недостаточными.

**Ключевые слова:** абстрактные объекты, абстрактное, конкретное, физические вещи, абстракция

**Благодарности:** исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда №25-28-01287, <https://rscf.ru/project/25-28-01287/>

**Для цитирования:** Ламберов Л.Д. Абстрактные объекты: к вопросу о чётком отграничении от конкретного // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 18–25. doi: 10.17223/1998863X/89/2

Original article

## ABSTRACT OBJECTS: ON THE PROBLEM OF DEMARCATING THE ABSTRACT FROM THE CONCRETE

Lev D. Lamberov

*Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation, lev.lamberov@urfu.ru*

**Abstract.** This article examines the problem of clearly distinguishing abstract objects from concrete ones. It aims to identify criteria that would permit an unambiguous demarcation between abstract and concrete objects, and to explore ways of addressing the difficulties that arise in attempting such a demarcation. Various approaches to defining abstractness and identifying features unique to abstract objects are analyzed. The commonly cited criteria include spacelessness, timelessness, and the absence of causal relations. Each of these features is subjected to critical scrutiny, revealing the difficulty of drawing a sharp boundary between abstract and concrete objects. For instance, the claim that abstract objects lack spatio-temporal properties calls into question the status of paradigmatic examples such as geometric figures or numbers. Many putative abstract objects exhibit characteristics that overlap with those of concrete entities, thereby complicating any attempt to establish clear-cut distinctions. The traditional distinction between the abstract and concrete thus requires significant refinement. A new approach, grounded in the operational conception of abstraction and incorporating elements of neo-Fregeanism, may offer a pathway toward a more robust demarcation. Such a framework could serve as a foundation for further research into the philosophical analysis of human cognition.

**Keywords:** abstract objects, abstract, concrete, physical entities, abstraction

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 25-28-01287, <https://rscf.ru/project/25-28-01287/>

**For citation:** Lamberov, L.D. (2026) Abstract objects: on the problem of demarcating the abstract from the concrete. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 18–25. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/2

К абстрактным объектам мы обращаемся во многих областях нашей жизни, без абстракций не мыслима сколь бы то ни было эффективная коммуникация, рассуждения об окружающих нас предметах, научные исследования и т.д. Например, вполне обычна ситуация, когда, смотря прогноз погоды, мы отмечаем для себя, какой будет завтра температура и влажность воздуха, чтобы взять в завтрашнюю поездку подходящую одежду. Мы говорим о температуре и влажности воздуха, и поверхностная грамматическая форма наших утверждений предполагает, что они (температура и влажность) являются объектами. Так, мы можем сказать: «Завтра будет низкая температура». Мы говорим здесь о некоем объекте, о температуре, но где он и как выглядит, нам не известно. Или, говоря о тиграх в зоопарке, мы можем сказать: «В нашем зоопарке восемь тигров». По мнению Г. Фреге<sup>1</sup>, утверждения о количестве объектов представляют собой парафразы утверждений тождества, их настоящая логическая форма не совпадает с поверхностной грамматикой. Говоря о том, что в нашем зоопарке восемь тигров, мы на самом деле утверждаем, что число тигров в нашем зоопарке равно восьми. Здесь числительное «восемь» употребляется таким образом, что оно должно обозначать какой-то объект, но похож ли он на тигров и расположен ли он там же, где они, мы вряд ли можем сказать с уверенностью. Скорее всего он не похож на тигров и не находится там, где находятся тигры, о которых мы говорим. В одном политическом лозунге звучит призыв к свободе, равенству и братству. В «Декларации прав человека и гражданина» даётся следующее определение свободы: «Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому». Представляется, в этом определении нет ни одного термина, обозначающего конкретные объекты, только абстрактные. Прекрасный пример приводят Дж. Бёрджес и Г. Розен: «Если кто-то возьмёт книгу „Эмма“ в мягкой обложке, прочитает её, а затем приобретёт эту книгу в твёрдом переплёте и прочитает её, то этот человек прочитал не два романа, а один роман дважды» [2. Р. 4]. Роман, понимаемый как произведение соответствующего литературного жанра, является абстрактным объектом, который может быть реализован во многих конкретных объектах, отдельных копиях. Изначально роман создаётся автором как рукопись, но после издания романа уничтожение рукописи не является уничтожением романа. Казалось бы, абстрактных объектов полно в нашей жизни, необходимо выяснить, что они собой представляют.

В настоящем обсуждении исторические источники представления об абстрактных объектах и в принципе о разделении на абстрактное и конкретное не так важны. Кажется, будет вполне обоснованно сказать, что такое разделение (правда, не с использованием именно такого терминологического аппарата) имеется у Платона. В конце концов он, излагая то, что принято называть

---

<sup>1</sup> См. рассуждение Г. Фреге о лунах Юпитера: [1. S. 68–69].

теорией идей, предполагает отделение конкретных вещей изменчивого материального мира от их вечных и неизменных форм. Хотя такое деление всё же не является таким уж однозначным, ведь если обратиться к его философии математики [3, 4], казалось бы, математические объекты являются абстрактными, то станет ясно, что с его точки зрения математические объекты могут быть разных видов, какие-то из них более абстрактны, какие-то менее абстрактны и более конкретны. В более современном смысле об абстрактном начинают рассуждать Б. Больцано, Ф. Brentано, Г. Фреге и их последователи. Например, Б. Больцано<sup>1</sup> говорит о предложениях-в-себе и истинах-в-себе, которые объективны и существуют независимо от познающих агентов или говорящих на каком-либо языке. Близкие идеи высказывает и Г. Фреге<sup>2</sup>, характеризуя понятия смысла и мысли как существующее объективно, независимо от людей и в некоем отдельном третьем мире, который отличается от мира «публичных» физических вещей и явлений и мира личных психических переживаний.

С более современной точки зрения разграничение абстрактных и конкретных объектов может быть произведено несколькими способами<sup>3</sup>. Нас, конечно, не интересует простое указание на парадигмальные примеры, так как оно не позволяет понять, в чём состоит природа абстрактных объектов по сравнению с конкретными объектами. В конце концов даже если мы будем готовы согласиться с какими-то парадигмальными случаями (у Д. Льюиса – лужи, ослы, протоны, звёзды, числа, чистые множества, хотя по поводу чисел и множеств есть определённые сомнения), то останутся различные пограничные случаи (например, мир в целом).

Можно отождествить различие между абстрактным и конкретным с различием универсалий и партикулярий. Так, те же ослы Д. Льюиса являются отдельно взятыми индивидами, а не универсалиями или множествами. Этот критерий может быть также рассмотрен по аналогии с логической концепцией Аристотеля, согласно которой первосущность (то, что связано с индивидуальным существованием) не может о чём-либо сказываться. Правда, следует обратить внимание на то, что эти два способа разграничения либо не совпадают, либо (при их совпадении) предполагают определённый статус ряда объектов, что противоречит как интуиции о них, так и более фундаментальным положениям. В частности, если взять понятие множества, то вряд ли мы будем готовы признать, что множества могут о чём-то сказываться, хотя и являются абстрактными. Если так, то тогда множества должны быть первосущностями в аристотелевском смысле, индивидами, отдельными объектами. Тогда мы вынуждены либо признать, что множества являются конкретными объектами, либо понятие (формы) существования для конкретных объектов может быть различным (ослы существуют в виде физических вещей, а множества – в виде чего-то нефизического). Если же мы решим понимать существование множеств наравне с существованием ослов, решим признать множества физическими объектами, то неясным окажется статус пустого

---

<sup>1</sup> См. три тома его «Наукоучения» (для краткости дано описание только первого тома): [5]. Также см.: [6. С. 22]. Более подробный анализ представлений Б. Больцано о смысле и значении см.: [7].

<sup>2</sup> Наиболее чётко эти идеи формулируются в статье Г. Фреге «Мысль. Логическое исследование» [8].

<sup>3</sup> Например, Д. Льюис приводит четыре способа проведения этого разграничения, см.: [9. Р. 81–86].

множества, а также нам придётся признать, что некоторые общепринятые аксиомы теории множеств ZF/ZFC не могут получить своего обоснования и некоторые множества (например, упорядоченная пара по К. Куратовскому из двух произвольных физических вещей) не могут существовать<sup>1</sup> или, по меньшей мере, не могут существовать как существуют физические вещи.

Интуитивно абстрактное представляется таким понятием, которое в классической логике находится к понятию конкретного в отношении противоречия. Таким образом, какие-то признаки абстрактного или конкретного отрицаются в конкретном или, соответственно, абстрактном. Если опираться на парадигмальные примеры абстрактного и конкретного (те же упомянутые выше лужи, ослы, протоны, звёзды, числа, чистые множества), то вполне допустимо определить абстрактное как то, что не находится в пространстве и времени и не участвует в причинно-следственных отношениях. Кстати, в упрощённом виде упомянутая выше (квази-) аристотелевская концепция тоже может быть представлена как основанная на отношении противоречия: конкретное – это то, что не может ни о чём сказываться. Другими словами, здесь предполагается, что абстрактное может о чём-то сказываться, а конкретное не может, тогда как до этого говорилось о том, что конкретное находится в пространстве и времени и участвует в причинно-следственных связях, а абстрактное – не находится и не участвует. Однако эта упрощённая (квази-) аристотелевская концепция вряд ли может легко справиться с такими высказываниями, как, например, «Справедливость желательна». Кроме того, в современной логике суждение «Сократ смертен» может быть представлено в виде формулы с предметными переменными и двумя предикаторными константами, соответствующим понятиям «быть Сократом» и «быть смертным». Таким образом, отождествление рассматриваемого разграничения абстрактного и конкретного с (квази-) аристотелевским разграничением вторых и первых сущностей оказывается проблематичным и вряд ли подходит для наших целей.

Если вернуться к двум отрицательным характеристикам абстрактных объектов, а именно к тому, что они не находятся в пространстве и времени и не участвуют в причинно-следственных отношениях, то и эти характеристики могут вызывать вопросы либо вынуждают принять ту или иную трактовку других философских понятий. В частности, идеи (эйдосы, формы) платоновской философии<sup>2</sup> тогда, видимо, должны рассматриваться в качестве конкретных объектов, так как они являются причинами того, почему материальные вещи имеют тот или иной *вид* (и тут следовало бы напомнить о значении самого платоновского термина). Можно было бы перенести «ответственность» на демиурга за «реализацию» идей в материальном мире, но и в этом случае какая-то (в некотором смысле причинно-следственная) связь между идеями и вещами должна была бы существовать. Также если обратиться к уже упомянутой философии математики Платона, то необходимо отметить, что, по меньшей мере, по одной из интерпретаций [12. Р. 49–63] некоторые

<sup>1</sup> Ср. критику теоретико-множественного реализма П. Мэдди в работах, например, Д. Ломаса [10. Р. 219–222]. Также см.: [11].

<sup>2</sup> Здесь, конечно, не предполагается сколь бы то ни было строгая интерпретация корпуса платоновских текстов, скорее некоторое широко распространённое и упрощённое представление о его философии.

(во время неопифагорейского этапа его творчества – все) математические объекты являются идеями, а некоторые – нет, а являются скорее «отражениями» идей, а то время как физические объекты могут быть представлены как «отражения» форм и «идеальных» математических объектов подобно тому, как физические объекты «отражаются», например, в воде.

Что касается чисел, то ситуация несколько сложнее, так как количества физических вещей понимаются Платоном как «физические числа» и уже являются частью мира становления, а не бытия. При этом «физические числа» отличаются от чисел вообще, которые уже не находятся в мире становления. Числа вообще могут пониматься как геометрические величины или как нечто состоящее из (соответствующего количества) неразличимых единиц. В первом случае не ясно, как числа могут применяться к чему-то вне геометрии (для этого как раз требуется концепция о том, что все вещи составлены из платоновых тел), во втором случае возникает трудность подсчёта этих неразличимых единиц. Например, если мы говорим, что число 4 – это четыре неразличимых единицы, то как определить, что перед нами именно число 4, а не что-то другое? Если единицы неразличимы, то сами по себе они обладают одинаковыми свойствами и по критерию Г.В. Лейбница должны быть признаны тождественными. В каком смысле? Эти четыре неразличимых единицы – это одна и та же единица? Если да, то тогда число четыре не является четырьмя (разными) единицами, а является одной. Если же эти единицы как-то различаются, то они различаются не своими внутренними свойствами, а какими-то отношениями друг к другу. Например, они расположены в каком-то порядке в воображаемом (идеальном или абсолютном) пространстве либо следуют друг за другом в воображаемом (идеальном или абсолютном) времени. Но тогда они либо не являются неразличимыми, и есть, соответственно, одна единица, вторая единица, третья единица и четвёртая единица, либо они всё же неразличимы, но тогда остаётся не ясным, каким образом мы отличаем их друг от друга. Допустим, они следуют друг за другом во времени. Тогда, если они неразличимы, мы либо не можем провести между ними границу, не можем понять, что одна такая единица сменила другую, либо мы можем это сделать по той причине, что само время как-то разделено на дискретные фрагменты. Последнее, видимо, близко в каком-то отношении к кантианским идеям. Тем не менее в случаях пространственного или временного отграничения неразличимых единиц (отграничения их друг от друга в соответствии с отношениями между ними) эти единицы должны быть помещены в некое «вместилище» – пространство или время. И это обстоятельство оказывается проблематичным для указанного выше критерия абстрактности, состоящего в том, что абстрактные объекты не находятся в пространстве и времени. Естественно, некоторый абстрактный метафизик всегда может возразить, что он имеет в виду не «то пространство» и не «то время», а какие-то особенные (идеальные, абсолютные или какие-то другие), но звучит это возражение не очень убедительно<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ср. с тем, как Дж.Э. Мур критикует взгляды, согласно которым времени не существует. Стронники этих взглядов в ответ на критику могут возражать, что они употребляют термин «время» в другом смысле. Однако тогда бессмысленно утверждать, что раз времени в другом смысле не существует, то предложение «Утром я съел завтрак» бессмысленно, потому что в этом предложении речь идёт об обычном времени, а не о том, которое, по мнению критикуемых Дж.Э. Муром метафизиков, не существует. См.: [13].

Идея о том, что некоторые абстрактные объекты всё же должны находиться в каком-то пространстве или должны в каком-то смысле находиться в пространстве, получает определённое подтверждение при рассмотрении объектов геометрии. Конечно, равносторонний треугольник в евклидовой геометрии мыслится сам по себе, но так как его стороны имеют какую-то длину, иначе бы у него не было трёх углов, о сумме которых нам известно, что он равна 180 градусам, эта мысль о равностороннем треугольнике предполагает, что он занимает некоторое пространство. Наверное, не нужно уточнять, что это не физическое пространство, что бы под ним не подразумевалось. Обсуждая математическую интуицию в духе К. Гёделя, Ч. Парсонс [14] предложил выделять более абстрактные объекты и менее абстрактные, в дальнейшем Э. Линнебо [15. Р. 45–46] стал называть первые чисто абстрактными, а вторые – квазиконкретными. Квазиконкретные объекты более близки к физическим вещам, предполагается, что их «реализации» в виде физических вещей расположены в пространстве, а «наши интуиции о них (о типах строк штрихов и других подобных выражений) основываются на чувственном опыте или на наших визуализациях, в которых эти объекты представляются как расположенные в пространстве и времени, даже если и не в каком-то определённом месте» [14. Р. 160]. То есть какие-то идеальные или абстрактные пространство и время предполагаются, и мыслить некоторые менее абстрактные (квазиконкретные) объекты без помещения их в такие пространство и время не удастся. Тогда этот критерий выделения абстрактных объектов следует уточнить, указав, что абстрактные объекты не находятся в реальных времени и пространстве.

Может возникнуть соблазн отождествить реальное пространство (чем бы оно ни было) с тем, что принимается в качестве физического пространства естественными науками. В конце концов сам термин «физическое пространство» предполагает, что ключевую роль в представлениях о нём играет физика. Однако история науки скорее учит нас тому, что научные теории сменяют друг друга, и само представление о физическом пространстве может меняться. Физические теории постулируют пространство с определёнными характеристиками, и хотя пространство относится к основным единицам и не может быть напрямую определено через какие-то более фундаментальные сущности, в физической теории оно оказывается связанным с другими основными единицами, а эти связи и определяют физические характеристики пространства. Любая такая фундаментальная физическая теория будет задавать не реальное пространство, а пространство с точки зрения данной теории, которое следует скорее отнести к абстрактным (идеальным?) объектам, теоретическим построениям. Если мы будем настаивать на том, что абстрактные объекты не находятся в пространстве, понимаемом как физическое пространство или пространство, постулируемое некоторой (возможно, наилучшей в настоящее время) физической теорией, то этот критерий будет представлять собой что-то в лучшем случае бесполезное. Какой толк от того, что евклидовы треугольники (абстрактные объекты) не находятся, например, в фазовом пространстве (абстрактном объекте), а находятся в евклидовом пространстве (другом абстрактном объекте)? Другими словами, для того, чтобы этот критерий «работал», нужно иметь что-то более основательное, чем только интуиции о реальном пространстве, если уж мы полагаем, что абстрактные объек-

ты в нём не находятся. Однако следует указать, что отдельные физические теории могут накладывать ограничения на то, как представляются объекты этих теорий. Например<sup>1</sup>, в квантовой механике неопределённость Гейзенберга запрещает элементарным частицам быть точками, так как в противном случае им следовало бы приписать определённое положение в пространстве и скорость. Хотя, конечно, это не является прямым запретом на то, чтобы в постулируемом или предполагаемом физической теорией пространстве не было точек, прямых, плоскостей или даже чисел. Вряд ли физическая теория в принципе может накладывать запрет на существование какого-либо рода абстрактных объектов.

Выше были высказаны замечания по отношению к проведению границы между абстрактными и конкретными объектами на основе парадигмальных случаев и негативных критериев. В качестве другого способа разграничить абстрактное и конкретное может быть использована, собственно, сама операция абстрагирования. В этом отношении другой негативный критерий применяется к конкретным объектам, как это было, например, в случае адаптации аристотелевской концепции предикации. Представляется, что гипотеза, объясняющая разграничение абстрактного и конкретного на основе операции абстрагирования в духе неопределённости, может оказаться плодотворной и более жизнеспособной, чем уже рассмотренные альтернативы. Однако этот подход требует своего детального рассмотрения в следующей работе.

#### Список источников

1. Frege G. Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logische mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau: Verlag von Wilhelm Koenig, 1884. xi, 119 S.
2. Burgess J.P., Rosen G. A Subject with No Object: Strategies for Nominalistic Interpretation of Mathematics. Oxford : Clarendon Press, 1997. xii, 256 p.
3. Landry E. Plato Was Not a Mathematical Platonist. Cambridge : Cambridge University Press, 2023. 49 p.
4. Сухарева В.А. Придерживался ли Платон платонизма в математике? // Логос. В печати.
5. Bolzano B. Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter. Band 1. Sulzbach : J. E. v. Seidel, 1837. xvi, 575 S.
6. Габрусенко К.А. Определения и пресуппозиции в теории множеств // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 87. С. 17–26. doi: 10.17223/1998863X/87/2
7. Габрусенко К.А. Больцано о смысле и значении // Семиотические исследования. 2024. Т. 4, № 1. С. 8–14.
8. Frege G. Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung // Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus, I. 1918–1919. S. 58–77.
9. Lewis D. On the Plurality of Worlds. Oxford : Blackwell, 1986. ix, 276 p.
10. Lomas D. What Perception is Doing, and What it is Not Doing, in Mathematical Reasoning // British Journal for the Philosophy of Science. 2002. Vol. 53, № 2. P. 205–223.
11. Maddy P. Perception and Mathematical Intuition // The Philosophical Review. 1980. Vol. 89, № 2. P. 163–196.
12. Shapiro S. Thinking about Mathematics: The Philosophy of Mathematics. New York : Oxford University Press, 2000. xiii, 308 p.
13. Moore G.E. A Defence of Common Sense // Selected Writings / ed. by T. Baldwin. London ; New York : Routledge, 1993. P. 106–133.
14. Parsons C. Mathematical Intuition // Proceedings of the Aristotelian Society. 1980. Vol. 80, № 1. P. 145–168.

<sup>1</sup> За этот пример выражаю благодарность Александру Фёдорову.

15. Linnebo Ø. *Thin Objects: An Abstractionist Account*. Oxford : Oxford University Press, 2018. xvii, 237 p.

### References

1. Frege, G. (1884) *Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logische mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Verlag von Wilhelm Koebner.
2. Burgess, J.P. & Rosen, G. (1997) *A Subject with No Object: Strategies for Nominalistic Interpretation of Mathematics*. Oxford: Clarendon Press.
3. Landry, E. (2023) *Plato Was Not a Mathematical Platonist*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Sukhareva, V.A. (n.d.) Priderzhivalsya li Platon platonizma v matematike? [Did Plato Adhere to Platonism in Mathematics?]. *Logos*. [In press].
5. Bolzano, B. (1837) *Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter*. Band I. Sulzbach: J. E. v. Seidel.
6. Gabrusenko, K.A. (2025) Definitions and Presuppositions in Set Theory. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 87. pp. 17–26. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/87/2
7. Gabrusenko, K.A. (2024) Bol'tsano o smysle i znachenii [Bolzano on Sense and Reference]. *Semioticheskie issledovaniya*. 4(1). pp. 8–14.
8. Frege, G. (1918–1919) *Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus*. I. pp. 58–77.
9. Lewis, D. (1986) *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.
10. Lomas, D. (2002) What Perception is Doing, and What it is Not Doing, in Mathematical Reasoning. *British Journal for the Philosophy of Science*. 53(2). pp. 205–223.
11. Maddy, P. (1980) Perception and Mathematical Intuition. *The Philosophical Review*. 89(2). pp. 163–196.
12. Shapiro, S. (2000) *Thinking about Mathematics: The Philosophy of Mathematics*. New York: Oxford University Press.
13. Moore, G.E. (1993) A Defence of Common Sense. In: Baldwin, T. (ed.) *G.E. Moore: Selected Writings*. London, New York: Routledge. pp. 106–133.
14. Parsons, C. (1980) Mathematical Intuition. *Proceedings of the Aristotelian Society*. 80(1). pp. 145–168.
15. Linnebo, Ø. (2018) *Thin Objects: An Abstractionist Account*. Oxford: Oxford University Press.

### Сведения об авторе:

**Ламберов Л.Д.** – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры онтологии и теории познания Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.**

### Information about the author:

**Lamberov L.D.** – Cand. Sci. (Philosophy), docent, associate professor at the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Humanitarian Institute, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

**The author declares no conflicts of interests.**

Статья поступила в редакцию 04.12.2025;  
одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 04.12.2025;  
approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026

Научная статья

УДК 165.12+168.52+551

doi: 10.17223/1998863X/89/3

## ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОТ ПРЕДМЕТНОЙ РАЗНИЦЫ К ЕДИНУМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПОЛЮ. ЧАСТЬ 1

**Василий Анатольевич Мионов**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,  
Новосибирск, Россия, E-mail: mironovv@mail2000.ru*

**Аннотация.** Переосмыляется и переоценивается основной онтологический постулат философских концепций В. Дильтея, Х.-Г. Гадамера, согласно которому гуманитарное знание имеет дело со специфической онтологией, отличной от онтологии естественно-научного знания. Доказывается, что геологические исследования и археолого-исторические исследования могут иметь общее исследовательское поле, где археолого-исторические и геологические свидетельства обладают потенциально равной значимостью и ценностью в достижении исследовательских целей.

**Ключевые слова:** философия геологии, философия науки, археология, геоархеология, герменевтика, нарратив

**Благодарности:** исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-78-10027, <https://rscf.ru/project/25-78-10027/>

**Для цитирования:** Мионов В.А. Геологические и археологические исследования: от предметной разницы к единому исследовательскому полю. Часть 1 // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 26–35. doi: 10.17223/1998863X/89/3

Original article

## GEOLOGICAL AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH: FROM DISCIPLINARY DIFFERENCE TO A UNIFIED FIELD OF STUDY. PART 1.

**Vasily A. Mironov**

*Novosibirsk National Research State University, Novosibirsk, Russian Federation,  
mironovv@mail2000.ru*

**Abstract.** This article rethinks and reassesses the fundamental ontological postulate of the philosophical concepts of W. Dilthey and H.-G. Gadamer, according to which the knowledge of the humanities is concerned with a specific ontology distinct from that of natural science. First, philosophical hermeneutics, under certain assumptions, grants the interpreter the right to reinterpret source texts—not only texts produced by historians of the humanities but also those authored by the classics of philosophical hermeneutics themselves. On this basis, it is suggested that philosophical hermeneutics was originally intended to expand the boundaries of its applicability, that is, to encompass natural scientific knowledge. Second, Gadamer advances two somewhat contradictory theses concerning the “humanitarian” and “universal” character of philosophical hermeneutics. A resolution is proposed to this contradiction, namely, that in each of the cited passages Gadamer likely had in view different levels of hermeneutic tasks. They are here designated as “first-order” tasks – the practical work of interpreting texts or fragments of reality that can be considered texts. Designated as “second-

order” hermeneutic tasks is the interpretation of human experience, which comprises various “first-order” cognitive practices, irrespective of whether the object of these practices is society, nature, or society and nature in their interaction. Third, in drawing an ontological and methodological distinction between human history and natural science, Dilthey and Gadamer proceed from a rather narrow understanding of natural science, referring to it only as experimental physics and overlooking historical natural science, particularly geology. In other words, classical hermeneutics drew an imprecise demarcation between natural science and the humanities. The article advances the thesis that geological and humanistic historical knowledge should be viewed not in terms of subject-ontological differences, but rather in terms of the possibility of constructing a common field of study, which is a delimited part of the real world in which both archaeological-historical and geological sources can potentially serve equally as the basis for research conclusions about the past.

**Keywords:** philosophy of geology, philosophy of science, archaeology, geoarchaeology, hermeneutics, narrative

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 25-78-10027, <https://rscf.ru/project/25-78-10027/>

**For citation:** Mironov, V.A. (2026) Geological and archaeological research: from disciplinary difference to a unified field of study. Part 1. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 26–35. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/3

В предыдущих работах [1–4] нами были приведены аргументы в пользу того, что к философско-методологическому анализу геологического познания продуктивнее подходить не с точки зрения аналитической философии науки, разработанной для анализа экспериментальной физики, а с точки зрения философских доктрин и направлений, ориентированных на объяснение сущности гуманитарной истории – философии истории, философской герменевтики и нарратологии.

Необходимость такого нестандартного исследовательского шага, насколько нам известно, впервые была предложена американским философом и геологом Р. Фродеманом, который обратил внимание, что в западноевропейской философии, да и, вероятно, не только в ней, не было разработано соответствующего инструментария для философско-методологического анализа геологического знания и познания. Фродеман на этот счет пишет: «За небольшим исключением – революции тектоники плит, две основные школы современной философии, аналитическая и континентальная, проигнорировали геологию» [5. Р. 959]. В процессе поиска соответствующей методологии философско-методологического анализа геологического познания американский исследователь обнаружил, что для этого в большей степени подходят не теоретические построения аналитической философии науки, а концепции континентальной западноевропейской философии, ориентированной на анализ гуманитарного знания: «Геологические рассуждения состоят из комбинации логических процедур. Некоторые из них общие с экспериментальными науками, в то время как другие логические процедуры являются более характерными для гуманитарных наук» [5. Р. 961].

Особое внимание из философских направлений континентальной западноевропейской традиции Фродеман уделил герменевтике, утверждая, что «геологическое познание лучше всего понимать как герменевтический процесс» [5. Р. 963], а также нарратологии в тезисе, что «в исторической геологии научное рассуждение (исследование) помещено в пределы контекста рас-

сказа (нарратива) местности или региона Земли (или всей Земли)» [5. Р. 966]. Обращаясь к герменевтике и нарратологии, американский исследователь исходил из установки, что «цель геологии не в том, чтобы выявлять законы, а в том, чтобы воссоздать хронику конкретных событий, которые произошли в данном месте (в пределах обнажения, региона или всей планеты). Это означает, что гипотезы не проверяются теми способами, которыми они проверяются и доказываются в экспериментальных науках» [5. Р. 965]. Поэтому критерии научности, а следовательно, и критерии достижения истины, разработанные для экспериментальных лабораторных наук, не соответствуют целям и сущности геологического знания и познания.

На основании идей Фродемана в ряде предыдущих статей мы всячески пытались обосновать *методологическое* сходство гуманитарного исторического и геологического познания. При этом разница предметов исследования у гуманитарной истории и геологии ранее нами просто констатировалась, но не проблематизировалась: «Предмет ее (геологии. – В.М.) изучения – определенная часть природы, однако, согласно концепции американского философа (Р. Фродемана. – В.М.), методы в геологии преимущественно герменевтические и исторические» [2. С. 91].

Однако некоторые коллеги нам не единожды указывали на то, что приписывание философской герменевтике возможностей анализа естественно-научного знания и познания, даже несмотря на актуализацию в контексте геологического познания таких ключевых герменевтических познавательных принципов, как герменевтический круг, осознание пред-суждений и работа с традицией/преданием, является не чем иным, как нарушением канона и некорректной трактовкой герменевтики. Некорректная трактовка классических работ по философской герменевтике, в частности таких авторов, как В. Дильтей и Х.-Г. Гадамер, также ими видится в не имеющей достаточного обоснования проведенной нами редукции онтологической составляющей философской герменевтики. Критики, в частности, указывают, что нельзя называть герменевтическими те познавательные процедуры, которые не имеют своим предметом «науки о духе», т.е. науки, которые изучают мысли, мотивы и поступки разумных существ – людей. Геология же в свою очередь, какой бы она интерпретативной ни была – «наука о природе», где ни о каких мыслях и мотивах геологических акторов говорить не приходится.

В связи с этим данная статья в двух частях будет представлять собой очередной наш ответ на указанную критику. В первой части мы, на основании анализа концепций Дильтея и Гадамера о принципиальной онтологической и методологической разнице гуманитарного и естественно-научного знания, приведем аргументы в пользу несостоятельности такого разделения. Взамен постулирования предметно-онтологической разницы гуманитарного и естественно-научного знания нами будет предложен взгляд с позиций возможности проведения совместных исследовательских практик геологов и археологов-историков, где стоит говорить не о предметных границах разных дисциплин, а о едином *исследовательском поле*, где естественно-научные и гуманитарные аргументы имеют потенциально равную значимость и ценность в достижении исследовательских целей. Во второй части статьи нами будут продемонстрированы примеры такой совместной исследовательской деятельности.

## От предметной разницы к единому исследовательскому полю

При ответе на вышеуказанную критику нам хотелось бы сразу отметить, что отстаивание позиции однозначного понимания герменевтики, к которому прибегают некоторые наши критики, противоречит одному из основных постулатов самой герменевтики, согласно которому в тексте гораздо больше потенциальных смыслов, чем в него вложил автор. Например, Гадамер открыто выступал против того, чтобы интерпретатор понимал текст исключительно так, как его понимал сам автор этого текста: «Герменевтическая редукция к мнению автора столь же неуместна, как и в случае исторического события, редукция к намерениям тех, кто участвовал в этом событии» [1. С. 439]. На наш взгляд, данный аргумент позволяет философской герменевтике оставаться корректной только в том случае, если он будет применим не только к её предмету изучения, т.е. к работам историков и историческим событиям, но и к самой философской герменевтической теории.

В противном случае философская герменевтика как теория о познании становится противоречивой и теряет значительный, если не весь свой потенциал развития как теории. Иными словами, если исходить из того, что герменевтическая философская теория допускает постулат о множественности интерпретаций исторических событий и работ историков, но при этом отрицает всякую возможность переосмысления сути самой герменевтической теории, то тогда мы приходим к классическому парадоксу через аргумент к самореференции.

Обращаясь к классической проблеме парадоксов, которая после Античности особенно стала актуализироваться в рамках современной (с начала XX в. и по нынешнее время) аналитической философии, мы не ставим себе задачу предложить еще одно из множества решений проблемы парадоксов. Также мы признаем достижения в решении проблемы парадоксов наших отечественных исследователей. Особенно в этом отношении стоит выделить специальный выпуск журнала «Эпистемология и философия науки», посвященный проблеме парадоксов, где представили в виде научной дискуссии свои статьи В.А. Ладов [9, 10], В.В. Целищев [11], В.А. Суровцев [12], А.В. Нехаев [13], П.И. Олейник [14], А.Г. Андрушкевич [15]. Отдавая дань уважения аналитическим философам вообще и отечественным аналитическим философам в частности и не претендуя на новизну во взгляде на парадоксы как таковые, мы позволим себе выразить своё скромное мнение о герменевтической теории Гадамера в контексте проблемы парадоксов.

По нашему скромному мнению, если теория построена так, что в ее рамках аргумент к самореференции приводит к парадоксу, то эта теория либо противоречива и в значительной степени ошибочна, либо эта теория понята некорректно и поэтому должна быть переосмыслена таким образом, чтобы аргумент к самореференции не приводил к парадоксу. В случае с герменевтикой Гадамера она также будет непротиворечивой философской теорией о познании только тогда, когда аргумент к самореференции будет выполняться, не приводя к парадоксу. Иными словами, допущение возможности переосмысления, а следовательно, и другой интерпретации текста герменевтической концепции Гадамера, делает эту концепцию непротиворечивой и эври-

стичной. Это, в свою очередь, дает нам основание трансформировать герменевтическую философскую теорию таким образом, чтобы она могла быть непротиворечиво применимой для решения более широкого спектра задач, в том числе связанных и с эпистемологическими проблемами интересующего нас в данном исследовании геологического познания.

В продолжение рассуждений о парадоксах также стоит обратить внимание на то, что Гадамер в своей работе выдвигает в определенной степени два противоречащих друг другу тезиса: тезис о «гуманитарности» герменевтики и тезис об ее «универсальности». Тезис о том, что предметом герменевтики является гуманитарное знание, Гадамер сформулировал следующим образом: «Нижеследующие герменевтические штудии стремятся к тому, чтобы, исходя из опыта искусства, и исторического предания показать весь герменевтический феномен в его целостном значении» [1. С. 40]. В то же время у Гадамера мы можем найти и следующие строки, указывающие на «универсальность» и несводимость герменевтических познавательных процедур к какому-либо одному специфическому типу познания: «...понимание и истолкование текстов является не только научной задачей, но очевидным образом относится ко всей совокупности человеческого опыта в целом» [1. С. 38].

На данный момент из этого противоречия мы видим выход в указании на то, что в каждой из приведенных цитат Гадамер понимал под герменевтикой разные уровни герменевтических задач<sup>1</sup>. Например, можно предположить, что герменевтика, так скажем, «первого порядка» – это работа с историей и искусством непосредственно на уровне историка или искусствоведа, а герменевтика «второго порядка», т.е. философская герменевтика, – это работа со «всею совокупностью человеческого опыта в целом», т.е. работа философа со всесторонним опытом человеческого познания. Следовательно, герменевтике «второго порядка» вполне корректно можно приписать «гуманитарность», но не в том смысле, что она имеет в качестве предмета исследования гуманитарную историю, литературу и искусство, а в том смысле, что философская герменевтика предметом своего исследования имеет человеческий опыт, который по своему содержанию может быть разнородным, т.е. гуманитарным, естественно-научным или каким-либо ещё. Как нетрудно заметить, герменевтика «второго порядка» получается гораздо шире по применимости, чем герменевтика «первого порядка», а сама «несоразмерность» этих двух герменевтик дает основания на проведение работы по приведению их в соответствие по отношению друг к другу, т.е. включению в герменевтику первого порядка естественно-научной составляющей.

Однако, тем не менее, в рамках классической философской герменевтики разграничивается гуманитарная и естественно-научная онтология, т.е. производится строгое разграничение предметов исследования и их способов бытия. При этом постулируя онтологическую, а следовательно, и предметную разницу между гуманитарным и естественно-научным знанием, например, Дильтей и Гадамер под естествознанием понимали не естествознание вообще, а лишь лабораторную физику (возможно, еще и химию), которая занимается поиском и формулировкой общих и вечных законов природы. Например, Дильтей следующим образом понимает познание природы: «Мы овладеваем

---

<sup>1</sup> Подобное решение парадокса мы позаимствовали у А. Тарского [16].

этим физическим миром, изучая его законы» [2. С. 127]. Гадамер, в свою очередь, аналогичным образом понимает познание природы и противопоставляет его гуманитарным исследованиям: «Познание социально-исторического мира не может подняться до уровня науки путем применения индуктивных методов естественных наук» [1. С. 45].

Сведя всё естествознание к физике, Дильтей и Гадамер также считали, что познание особенностей индивидуального развития своего предмета исследования характерно лишь для гуманитарного знания как противоположности «естествознания» (в их понимании), т.е. экспериментальной физики. При этом классики герменевтики оставили без внимания историческое естествознание вообще и геологию в частности, несмотря на то, что геология, например, к концу XIX в. уже была признанной академической научной дисциплиной<sup>1</sup>.

Как нам видится, Дильтей и Гадамер в вопросе создания и разграничения разных онтологий поспешили отождествить предметы герменевтических исследований первого и второго порядков, а если точнее, не придали значения разделению на разные уровни герменевтических познавательных процедур, т.е. на «практический»<sup>2</sup> (первый уровень, «порядок») и философский (второй уровень, «порядок»). В канве гуманитарной линии, идущей от интерпретации исторических и литературных текстов до философской интерпретации человеческого опыта в целом, это не создавало никаких противоречий и было внутренне согласовано и вполне оправданно.

Однако при работе с естественно-научным знанием, особенно с естественно-научным знанием о прошлом, проведение разграничения герменевтических познавательных процедур на процедуры «первого порядка» и процедуры «второго порядка» становится принципиально важным. На уровне интерпретации и понимания «первого порядка», т.е. на уровне собственно научных исследований, например, в области геологии, мы легко можем обнаружить такие познавательные процедуры, как герменевтический круг, приостановка предрассудка, столкновение с традицией/преданием<sup>3</sup>, и пр.

Осмысление, понимание и интерпретация опыта «первого порядка» являются уже делом философской герменевтики, т.е. герменевтики «второго порядка», которая будет исследовать не природные или гуманитарные процессы как таковые, а процесс получения, формирования и закрепления знания об объекте исследования.

---

<sup>1</sup> Геология никогда не была и до сих пор не является обязательным общеобразовательным предметом ни в школах, ни в образовательных учреждениях более высоких уровней, в отличие, например, от физики и математики. Вероятно, именно поэтому классики философии и герменевтики в частности не были знакомы с принципами и методами познания в геологии и не включили их в свои теоретические системы.

<sup>2</sup> В данном контексте такие слова, как «практика» и «практический», для герменевтики «первого порядка» употребляются в целях проведения различия между предметным исследованием в науках, в данном случае геологии и гуманитарной истории-археологии, и философским исследованием знания и познания в этих науках. Несомненно, что в самих науках есть и теория, и практика, но за неимением более удачного понятия в контексте данной работы мы именуем исследовательскую деятельность геолога и историка-археолога с ее теоретическим и практическим аспектом как «практический» уровень исследований по отношению к философскому теоретическому осмыслению опыта научной деятельности.

<sup>3</sup> Об этом мы подробно писали в предыдущих работах [1–4].

Если же такого разделения разных уровней (или «порядков») не проводить, то тогда, несомненно, мы получим внутреннюю несогласованность прежней герменевтической системы. Поэтому мы считаем, что разделение герменевтических процедур на процедуры «первого порядка», т.е. собственно научные, или как мы их условно обозначили понятием «практические», и процедуры «второго порядка», т.е. собственно философские, является важным шагом на пути к созданию герменевтики как универсальной теории о познании.

Плюс ко всему, учитывая довольно узкие представления классиков герменевтики о естествознании, становится очевидным, что на самом деле ни Дильтей, ни Гадамер никак не рассматривали историческое естествознание, а следовательно, никто из них не противопоставлял его и, в частности, геологию гуманитарному знанию ни методологически, ни онтологически. В этом смысле мы, допуская возможность герменевтических исследований «первого порядка» в области геологии, никак не противоречим каноническим текстам по философской герменевтике, а лишь дополняем их.

Таким образом, на основе рассмотрения ключевых положений философской герменевтики, представленной работами В. Дильтея и Х.-Г. Гадамера, можно сделать следующие выводы об эвристическом потенциале философской герменевтики как теории о познании:

Во-первых, философская герменевтика при определенных допущениях оставляет право интерпретатора на переосмысление исходных текстов, при этом не только текстов, написанных гуманитарными историками, но и текстов, написанных самими классиками философской герменевтики. На этом основании мы допускаем, что в философской герменевтике изначально была заложена возможность расширения границ ее применимости, т.е. в том числе и на естественно-научное знание.

Во-вторых, Гадамер выдвигает два в определенной степени противоречащих друг другу тезиса о «гуманитарности» и «универсальности» философской герменевтики. Нами предложен выход из этого противоречия, который заключается в том, что в каждой из приведенных цитат Гадамер понимал под герменевтикой разные уровни («порядки») герменевтических задач. К задачам «первого порядка» мы относим «практическую» работу интерпретатора текстов или фрагментов реальности, которые можно рассматривать как текст. К задачам герменевтики «второго порядка» мы относим интерпретацию человеческого опыта, который состоит из разных познавательных практик «первого порядка» вне зависимости от предмета данных познавательных практик – общества, природы или общества и природы в их взаимодействии.

В-третьих, проводя онтологическое и методологическое разделение между гуманитарной историей и естествознанием, В. Дильтей и Х.-Г. Гадамер отталкиваются от довольно узкого понимания естествознания, подразумевая под ним лишь экспериментальную физику, игнорируя историческое естествознание, в частности геологию. Иными словами, классики герменевтики провели демаркацию между естествознанием и гуманитарным знанием не вполне корректно.

В дополнение к переосмыслению некоторых положений философской герменевтики мы бы хотели обратить особое внимание на то, что в реальной исследовательской *практике* геологические и археолого-исторические аргу-

менты без труда дополняют друг друга. В таком контексте проведение жестких предметных и онтологических границ между гуманитарным и естественно-научным знанием, по нашему мнению, не столько способствует, а сколько наоборот препятствует пониманию сущности научного познания как в рамках геологических, так и в рамках археолого-исторических исследований.

В связи с этим мы считаем, что будет более перспективно рассматривать геологию и гуманитарную историю не с точки зрения их предметной и онтологической разности, а с точки зрения разности лишь исследовательских *целей* данных дисциплин, с одной стороны, и возможности конструирования общего *исследовательского поля* для этих дисциплин – с другой. Причем понятие «исследовательское поле» здесь надо понимать как в метафорическом, так и в буквальном смысле.

В метафорическом смысле *исследовательское* (смысловой акцент в данном случае на слове «исследовательское») поле – это определенный и ограниченный по неким критериям, но вполне конкретный для конкретного исследования набор свидетельств или оснований (гипотез, теорий, методов и т.д.) для исследовательских выводов. В буквальном же смысле исследовательское *поле* (смысловой акцент в данном случае на слове «поле») – это конкретная часть реального мира (на английском, вероятно, это соответствует в некоторых случаях понятию «agea», а в некоторых – «field»), преимущественно под открытым небом, которая является совокупностью материальных и духовных артефактов, как естественного, так и искусственного происхождения.

Следовательно, общее *исследовательское поле* геологии и гуманитарной истории мы будем понимать как ограниченную часть реального мира, где основаниями для исследовательских выводов о прошлом в потенциально равной степени могут быть как источники гуманитарно-исторические (археолого-исторические), так и геологические<sup>1</sup>. Во второй части предполагаемого нами исследования мы постараемся представить наиболее значимые варианты совместных исследований геологов и археологов-историков, в русле как геологических, так и археолого-исторических исследований.

#### Список источников

1. Миронов В.А. Геологическое познание как предмет философско-методологического анализа. Екатеринбург : АО «ИПП «Уральский рабочий», 2023.
2. Миронов В.А. Герменевтический и исторический аспекты геологического познания в концепции Р. Фродемана // Философия науки. 2016. № 1 (68). С. 86–100.
3. Миронов В.А. Философско-методологические проблемы геологии XIX в. как предпосылка к развитию нарративных и герменевтических исследований геологического познания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 40. С. 61–66
4. Миронов В.А. Трансформация герменевтики Х.-Г. Гадамера в контексте проблематики геологического познания // Философия науки. 2024. № 1 (100). С. 106–127.
5. Frodeman R. Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science // Geological Society of America Bulletin. 1995. № 107. P. 959–968.
6. Дильтей В. Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. А.В. Михайлова, Н.С. Плотникова. Т. 3: Построение исторического мира в науках о духе / пер. с нем. под ред. В.А. Куренного. М. : Три квадрата, 2004. 419 с.

<sup>1</sup> «Геологические» здесь понимается в самом широком смысле слова, т.е. геоморфологические, геофизические, палеонтологические, минералогические и многие другие научные основания из геологического цикла.

7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.
8. Frodeman R. Hermeneutics in the Field: The Philosophy of Geology // *The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology*. 2013. Vol. 70. P. 69–79.
9. Ладов В.А. О принципе единого решения парадоксов // *Эпистемология и философия науки* 2023. Т. 60, № 3. С. 17–30.
10. Ладов В.А. О парадоксах: ответ оппонентам // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 68–76.
11. Целищев В.В. Поиски единообразного решения парадоксов: иллюзия простоты // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 31–38.
12. Суrowцев В.А. Б. Рассел, Г. Прист и принцип единого решения логико-семантических парадоксов // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 39–47.
13. Нехаев А.В. Что значит быть лысым и лжецом? Новая опция универсального подхода к парадоксам // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 48–54.
14. Олейник П.И. О роли существования парадоксов в программе философии математики неологизма // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 55–60.
15. Андрушкевич А.Г. Действительно ли необходим запрет на самореференцию // *Эпистемология и философия науки*. 2023. Т. 60, № 3. С. 61–67.
16. Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1944. Vol. 4, № 3. P. 341–375.

### References

1. Mironov, V.A. (2023) *Geologicheskoe poznanie kak predmet filosofsko-metodologicheskogo analiza* [Geological Knowledge as a Subject of Philosophical and Methodological Analysis]. Ekaterinburg: Uralskiy rabochiy.
2. Mironov, V.A. (2016) Hermenevticheskiy i istoricheskiy aspekty geologicheskogo poznaniya v kontseptsii R. Frodemana [Hermeneutical and Historical Aspects of Geological Knowledge in R. Frodeman's Conception]. *Filosofiya nauki*. 68(1). pp. 86–100.
3. Mironov, V.A. (2017) Philosophical and Methodological Problems of Geology in the 19th Century as the Prerequisite to Development of Narrative and Hermeneutical Studies of Geological Knowledge. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 40. pp. 61–66. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/40/6
4. Mironov, V.A. (2024) Transformatsiya germenevtiki Kh.-G. Gadamera v kontekste problematiki geologicheskogo poznaniya [Transformation of H.-G. Gadamer's Hermeneutics in the Context of Geological Knowledge]. *Filosofiya nauki*. 100(1). pp. 106–127.
5. Frodeman, R. (1995) Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. *Geological Society of America Bulletin*. 107. pp. 959–968.
6. Dilthey, W. (2004) *Sobranie sochineniy: V 6 t.* [Collected Works: In 6 vols.]. Vol. 3. Translated from English by V.A. Kurennyy. Moscow: Tri kvadrata.
7. Gadamer, H.-G. (1988) *Istina i metod: Osnovy filosofskoy germenevtiki* [Truth and Method: Fundamentals of Philosophical Hermeneutics]. Translated from German by B.N. Bessonov. Moscow: Progress.
8. Frodeman, R. (2013) Hermeneutics in the Field: The Philosophy of Geology. In: *The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology*. Vol. 70. [s.l.]: [s.n.]. pp. 69–79.
9. Ladov, V.A. (2023) On the Principle of Uniform Solution to Paradoxes. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 17–30. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360336
10. Ladov, V.A. (2023) On Paradoxes: A Reply to Critics. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 68–76. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360342
11. Tselishchev, V.V. (2023) The Search for a Uniform Solution to Paradoxes: The Illusion of Simplicity. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 31–38. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360337
12. Surovtsev, V.A. (2023) B. Russell, G. Priest, and the Principle of Uniform Solution to Logical and Semantical Paradoxes. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 39–47. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360338
13. Nekhaev, A.V. (2023) What Does It Mean to Be Bald and a Liar? A New Option for a Universal Approach to Paradoxes. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 48–54. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360339

14. Oleynik, P.I. (2023) On the Role of the Existence of Paradoxes in the Program of the Philosophy of Mathematics of Neologicism. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 55–60. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360340

15. Andrushkevich, A.G. (2023) Is the Ban on Self-Reference Really Necessary? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 60(3). pp. 61–67. (In Russian). doi: 10.5840/eps202360341

16. Tarski, A. (1944) The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. *Philosophy and Phenomenological Research*. 4(3). pp. 341–375.

***Сведения об авторе:***

**Миронов В.А.** – старший научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования интеграционных процессов современной Евразии Института философии и права Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск, Россия). E-mail: mironovv@mail2000.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Mironov V.A.** – senior researcher, Laboratory for Analysis and Forecasting of Integration Processes of Modern Eurasia, Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk National Research State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: mironovv@mail2000.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 16.01.2026;  
одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 16.01.2026;  
approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

## ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья  
УДК 1(091)  
doi: 10.17223/1998863X/89/4

### ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КАНТОВСКОГО ВЗГЛЯДА НА НЕДОПУСТИМОСТЬ ЛЖИ

Елизавета Кирилловна Карпицкая<sup>1</sup>, Арсен Дмитриевич Вольский<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН им. Патриса Лумумбы), Москва, Россия, karpitskaiai@mail.ru*

<sup>2</sup> *Независимый исследователь, Россия, die.uneigentlichkeit@gmail.com*

**Аннотация.** Анализируется работа Канта «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Авторы рассматривают основания, по которым сам Кант считает ложь недопустимой, и аргументируют в пользу того, что понимание этих оснований тесным образом связано с кантовским пониманием общественного договора.

**Ключевые слова:** Кант, ложь, Rechtsquelle, общественный договор, правовое состояние

**Для цитирования:** Карпицкая Е.К., Вольский А.Д. Правовые аспекты кантовского взгляда на недопустимость лжи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 36–48. doi: 10.17223/1998863X/89/4

## HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

### LEGAL ASPECTS OF KANT'S VIEW ON THE PROHIBITION OF LYING

Elizaveta K. Karpitskaya<sup>1</sup>, Arsen D. Volskii<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *RUDN University, Moscow, Russian Federation, die.uneigentlichkeit@gmail.com*

<sup>2</sup> *Independent scholar, Moscow, Russian Federation, karpitskaiai@mail.ru*

**Abstract.** Kant's essay "On a Supposed Right to Lie from Philanthropy" remains one of his most widely debated works, and the arguments it presents are among the most contested within his entire practical philosophy. Scholarly research on this text, which primarily unfolds on ethical grounds, tends to fall into two camps. The first group of commentators seeks to reconcile the essay's conclusions with Kant's broader moral philosophy, a task that often requires a particularly charitable interpretation of his arguments. The second group, in contrast, aims to show why such reconciliation is impossible, arguing that the essay's own findings fundamentally clash with Kant's ethical system. In our view, both approaches share a significant flaw: they largely overlook the essay's distinct philosophical and legal context. This article offers a close examination of Kant's own grounds for rejecting lying and proposes a specific interpretation of these grounds. This interpretation achieves two things. First, it avoids a conflict with Kant's ethical works – a conflict that seems to us merely apparent. Second, it successfully situates the arguments within his legal writings. A key to

our approach is recognizing the technical meaning of certain terms Kant uses. Accordingly, we consider concepts such as *declaration* (*Aussage/Declaration/Erklärung*) and the *source of right* (*Rechtsquelle*). Our focus here is on the latter term. We argue that the most plausible candidate for this *Rechtsquelle* is the social contract, a view that aligns well with Kant's own social contract theory as developed in his political works. Finally, we address both actual and potential objections to this interpretation.

**Keywords:** Kant, lie, *Rechtsquelle*, social contract, state of law

**For citation:** Karpitskaya, E.K. & Volskii, A.D. (2026) Legal aspects of Kant's view on the prohibition of lying. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 36–48. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/4

## Введение

Кантовская статья «О мнимом праве лгать из человеколюбия» не одно десятилетие служит своеобразным пугалом для людей, потенциально заинтересованных в изучении моральной философии Канта. Не менее резкую оценку позиции, обозначенной Кантом в данной работе, дают и некоторые довольно авторитетные современные интерпретаторы, в общем и целом симпатизирующие кантовскому проекту моральной философии, называя её «гротескной» [1. Р. 345] и «шокирующей и аморальной» [2. Р. 187]. Такая реакция вполне оправдана, ведь в вышеупомянутой работе Кант, размышляя над случаем, в котором прямая и уверенная ложь может спасти нашего друга, приходит к выводу, что, если злоумышленник, не скрывающий своих намерений, спросит о его местоположении, мы без сомнения должны дать честный и правдивый ответ.

Примечательно, что сама работа, по-видимому, является продуктом весьма необычного стечения обстоятельств. Начинается всё с того, что Констан в работе «О политических реакциях» [3. С. 219] кратко упоминает случай с «убийцами, спрашивающими, не в вашем ли доме укрылся преследуемый ими ваш друг» в качестве иллюстрации того, как «абстрактные принципы нравственности, если отделить их от опосредующих принципов, приведут к такому же смятению в общественных и социальных отношениях, что и отделенные от своих опосредующих принципов абстрактные политические принципы в отношениях гражданских» [3. С. 218]. Констан не упоминает Канта прямо, а приписывает ошибку, заключающуюся в том, что абстрактный принцип правдивости не должен допускать послаблений, анонимному «немецкому философу». Кант, по-видимому, мог бы и не ответить на публикацию Констан, даже если бы, находясь на тот момент (впрочем, как и большую часть жизни) в Кёнигсберге, он получил экземпляр на французском языке<sup>1</sup>. На статью Констана Кант наткнулся уже в переводе, а точнее, в немецкой версии, подготовленной Карлом Фридрихом Крамером для его собственного журнала *Frankreich*, и именно Крамер, а не Констан, вставил ссылку на Канта. Если верить Крамеру, то Констан сам сообщил ему о личности «немецкого философа»<sup>2</sup>. Однако в своей редакторской сноске Крамер также упоминает другого немецкого исследователя – Иоганна Давида Михаэлиса, который в свою очередь рассуждая о том, стоит ли лгать, чтобы ввести

<sup>1</sup> Кюн в своей монументальной биографии предполагает, что «Кант умел читать по-французски и понимал устную речь, даже если говорил он, возможно, не так хорошо» [4. С. 77].

<sup>2</sup> Это довольно сомнительно не только потому, что Констан, как мы уже упомянули, не даёт никаких ссылок на Канта, но и потому, что он попросту не мог этого сделать в силу того, что Кант на тот момент в своих работах не обсуждал случай со злоумышленником, задающим вопросы хозяину дома.

в заблуждение потенциального убийцу, как и Кант<sup>1</sup>, приходит к непримиримой защите правдивости показаний злоумышленнику. Сам же Кант в свою очередь, по-видимому, забыл, что до этого момента ещё не обосновывал в письменной форме обязанность говорить правду в таких случаях, тем не менее взяв на себя ответственность за скандальную позицию, снабдив сноску Крамера, которую он цитирует полностью, собственной сноской. Прочитав её полностью: «Признаю, что это действительно было мною высказано в каком-то месте, которого я, однако, теперь не могу вспомнить» [5. С. 256]. Кант в свою очередь мог бы проигнорировать провокацию Крамера или дать несколько иной ответ с позиции уже разработанных на тот момент проектов моральной философии и философии права, однако он не сделал этого. В последнем уже не один десяток лет усердно практикуются исследователи, относящиеся к проекту кантовской этики благосклонно или хотя бы сочувственно. Практика такого рода не лишена смысла и во многом оправдана, однако в нашей статье мы не будем ей предаваться, предлагая в свою очередь внимательно посмотреть на причины, которые, как сам Кант указывает, свидетельствуют в пользу неограниченного принципа правдивости. Особого рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает теоретико-правовая сторона вопроса, освещением которой мы и намерены заняться.

Прежде, чем приступить непосредственно к ней, мы считаем необходимым кратко напомнить, каким образом при разговоре о недопустимости лжи Кант переходит к правовому рассмотрению данного вопроса. Для начала следует отметить, что как Кант, так и Констан тривиально совпадают в следующем: агрессор, по их мнению, не имеет права на искренний ответ, однако они расходятся в обоснованиях этого мнения. Так, Констан утверждает, что агрессор это право утратил [3. С. 219], а Кант вовсе отрицает наличие такого права. Кант, как мы помним, отвергает идею Констан, согласно которой обязанность говорить правду зависит от прав адресата, и вводит не подлежащий обсуждению и неограниченный долг, который он характеризует как формальный<sup>2</sup>. Вредоносные намерения агрессора при этом не влияют на обязанность домовладельца говорить правду при общении с ним.

<sup>1</sup> Несмотря на схожесть, если не совпадение, их позиций, позиция последнего, на наш взгляд, представляет определённый интерес и нуждается в отдельном рассмотрении, выходящем за пределы нашей работы.

<sup>2</sup> Масштаб данной работы не позволяет нам рассмотреть вопрос о формальном характере данного долга во всей полноте, однако мы позволим себе одну важную оговорку. Само словосочетание, по-видимому, не является ни техническим термином самого Канта, ни даже устойчивым словосочетанием из корпуса его практических работ. Однако такое словосочетание можно встретить в одной из работ Христиана Августа Крузия, а именно в «Руководстве по рациональной жизни». Так, в нём Крузий проводит различие между необходимыми и случайными обязанностями, необходимые обязанности в свою очередь делятся на безусловно необходимые и условно необходимые. Крузий называет безусловно необходимые обязанности «формальными»; все остальные обязанности являются «материальными» в силу их обусловленности. Таким образом, как для Крузия, так и для Канта, формальные обязанности являются абсолютными, основополагающими обязанностями, которые стоят выше всего остального. Однако, по мнению Крузия, долг правдивости не относится к этой категории: «Но поскольку правдивость – это всего лишь материальный долг <...>, возможны случаи конфликта <...>, поскольку он может быть преодолён более важным долгом <...> или большей свободой» [6. S. 500]. Таким образом, утверждение Канта о том, что правдивость – это формальный долг, можно рассматривать как выпад в сторону Крузия (подобную же точку зрения можно встретить и в [7. P. 129]), заключающийся в том, что он не является формальным, т.е. обязанностью, которую нельзя нарушить ради более важной обязанности в случае конфликта, обязанностью, на которую не влияют даже достойные с моральной точки зрения цели. И хотя у нас отсутствуют прямые доказательства в пользу этого (тем не менее вопрос возможного влияния Крузия на Канта обсуждается уже не одно десятилетие и, по-видимому, всё ещё далёк от однозначного разрешения [8. С. 220; 9. С. 56], на наш взгляд, в данном случае было бы странным исключать из рассмотрения сходство их проектов), что данный фрагмент эссе Канта является заочным ответом Крузию, данное замечание, на наш взгляд, заслуживает внимания.

Однако, что же именно, по Канту, делает ложь недопустимой? Кант даёт ответ на этот вопрос непосредственно в тексте самого эссе. Во-первых, лжец «нарушает долг вообще в самых существенных его частях: т.е. поскольку это от него зависит, он содействует тому, чтобы высказываниям (свидетельствам) вообще не давалось никакой веры и чтобы, следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и теряли свою силу; а это есть несправедливость по отношению к человечеству вообще» [5. С. 257]. Во-вторых, «ложь всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному лицу, то человечеству вообще, ибо она делает неприменимым самый источник права (Rechtsquelle)» [5. С. 258]. В-третьих, ложь недопустима в силу того, что «правдивость есть долг, который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей, и стоит только допустить малейшее исключение в исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и бесполезным» [5. С. 258–259]. Различия между первым и третьим основаниями кажутся несущественными<sup>1</sup>, а вот второе требует отдельного рассмотрения<sup>2</sup>, ключевым аспектом которого, на наш взгляд, является то, что Кант понимает под Rechtsquelle<sup>3</sup>.

### Загадка Rechtsquelle

Итак, по мнению Канта, ложь представляет собой угрозу договорным правам. Кажется, что потеря таких прав кажется не столь катастрофичной по сравнению с утратой жизни близкого человека, а потому возникает предположение о том, что сам Кант имел в виду не обычные договорные отношения и связанные с ними права в правовом государстве. Если учитывать, что в следующем основании Кант говорит об источнике права, который ложь и делает неприменимым, то вполне закономерным является соблазн связать этот источник права с правами, основанными на договорах. Одним из возможных претендентов на роль источника права (Rechtsquelle) является общественный договор<sup>4</sup>. Доводы в пользу этой точки зрения станут более про-

<sup>1</sup> Хотя, кажется, некоторые различия всё же имеют место. Так, первое основание касается исключительно прав в то время, как третье говорит об основании для обязанностей. Хотя, разумеется, для Канта одно не может быть мыслимо без другого.

<sup>2</sup> Отдельного обсуждения заслуживает вопрос независимости этих аргументов. Так, например, Вайриб [10. Р. 154–156] считает, что первый и второй аргументы являются независимыми, хотя, по-видимому, риторика самого Канта свидетельствует об уточняющем, а не дополнительном характере данного основания.

<sup>3</sup> Однако независимо от того, как мы интерпретируем Rechtsquelle, оно призвано поддержать вполне понятное утверждение: даже отталкиваясь от теории естественного права, мы не должны полагать причинение вреда частью официального юридического определения лжи.

<sup>4</sup> Мы не претендуем на новизну в высказываемой нами точке зрения. Подобную аргументацию можно встретить уже у Вюйемена, который говорит, «общественный договор не может <...> говоря словами Канта, превратить в безусловное право то, что было всего лишь презумпцией» [11. Р. 421], Этвелла, определяющего источник права (Rechtsquelle) как «первоначальный договор гражданского общества, без которого невозможно существование каких-либо прав» [12. Р. 198], Вайриба, развивающего эту мысль, утверждая, что «источником права служит объединённая воля народа, характеризующая правовое состояние» [10. Р. 151], Мертенса, поддерживающего идею о том, что «если в основе кантовской философии права лежит его концепция общественного договора, который должен быть основан, так сказать, на искреннем и взаимном согласии всех со всеми, то неудивительно, что Ложь указывает на правдивость как на условие его возможности» [13. Р. 44] и Лорно, выступающего своим аргументом на «идею о том, что требование подчиняться общему государственному органу и требование воспринимать этот орган в соответствии с идеей изначального договора подразумевают требование правдивости» [14. Р. 207]. Свою задачу мы видим лишь в подведении промежуточных итогов такой аргументации, а также в оппонировании достаточно очевидным возражениям, по-видимому, вновь набравшим обороты, например, в работе Тиммерманна [7. Р. 133–136].

зрачными, если мы предварим их изложение обсуждением того, как Кант понимает общественный договор и в каких контекстах он к нему апеллирует.

### **Кантовская теория общественного договора**

Говоря о Канте как о стороннике теории общественного договора, мы прежде всего должны иметь в виду, что он не придерживается предположения о том, что общественный договор представляет из себя некоторое историческое событие или является некоторым историческим документом, заключённым членами какого-либо конкретного общества<sup>1, 2</sup>. В первую очередь Кант рассматривает общественный договор как своеобразную интеллектуальную конструкцию, имеющую моральное и практическое значение. Общественный договор для него – это понятие, которое должно влиять на наши мотивы и намерения при совершении действий, а не возникать при наблюдении за миром.

Для анализа взглядов Канта на общественный договор обратимся ко второй части его знаменитого эссе «О поговорке „Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики“». Так, в начале раздела он утверждает, что общественный договор является «договором особого рода» и представляет собой «безусловный и первый долг вообще во всех внешних отношениях между людьми, которые не могут обойтись без взаимного влияния друг на друга» [17. С. 175]. После этого обсуждение общественного договора прерывается на несколько страниц с целью изложения универсального принципа справедливости и объяснения того, почему он включает в себя три компонента республиканской справедливости, а именно: свободы, равенства и самостоятельности. Ближе к концу раздела Кант всё-таки возвращается к обсуждению идеи общественного договора, характеризуя её как отрицательно, так и положительно.

Негативную составляющую Кант выражает следующим образом: «Однако этот договор (называемый *contractus originarius* или *pactum sociale*) как объединение всех отдельных и частных волей в народе в одну общую и публичную волю (в целях чисто правового законодательства) нет нужды предположить как факт (более того, как таковой он вообще невозможен); как будто необходимо заранее доказывать из истории, что народ, в права и обязанности которого мы вступили как его потомки, действительно когда-то совершил такой акт и должен был передать нам устно или письменно несомненное известие или документ об этом акте, для того чтобы мы могли считать себя связанными уже существующим гражданским устройством» [17. С. 184–185]. Здесь он напрямую отрицает, что фактически данное в прошлом согласие может служить оправданием принудительных полномочий государства.

---

<sup>1</sup> Более того, для Канта сам поиск в истории такого эмпирического обоснования государственной власти может быть опасен для стабильности государства [15. С. 324–325]. Для него является принципиальным то, что современное государство, независимо от его происхождения, должно быть понято как воплощение общественного договора, так как последний представляет из себя рациональное обоснование государственной власти, а не результат фактического заключения сделок между отдельными людьми или между ними и правительством.

<sup>2</sup> Разумеется, Кант не является в этом отношении новатором, так как на подобной точке зрения стояли и те теоретики общественного договора, с которыми он спорил и на которых он опирался, включая, например, Гоббса, Локка и Руссо. Достаточно значимым исключением здесь выступает Михаэлис [16. С. 12], выступивший эдаким промежуточным звеном в споре между Констаном и Кантом.

Положительная составляющая выражается в следующем: «Этот договор есть всего лишь идея разума, которая, однако, имеет несомненную (практическую) реальность в том смысле, что он налагает на каждого законодателя обязанность издавать свои законы так, чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа, и что на каждого подданного, поскольку он желает быть гражданином, следует смотреть так, как если бы он наряду с другими дал свое согласие на такую волю. В самом деле, это и есть пробный камень правомерности всякого публичного закона. А именно: если закон таков, что весь народ никаким образом не мог бы дать на него своего согласия, то он несправедлив (как, например, закон о том, чтобы какой-то класс подданных пользовался по наследству преимуществами сословия господ); если же только возможно, что народ дал бы свое согласие на такой закон, то долг – считать его справедливым, хотя бы в настоящее время народ находился в таком положении или держался такого образа мыслей, что, если бы его спросили об этом законе, он, вероятно, не одобрил бы его» [17. С. 185]<sup>1, 2</sup>.

### Rechtsquelle – общественный договор?

Теперь изложив вкратце кантовскую теорию общественного договора, необходимо обосновать, почему же именно она лучше всего, с нашей точки зрения, подходит в качестве претендента на роль источника права (Rechtsquelle). Основную часть аргументации в пользу такой точки зрения мы будем выстраивать посредством аргументации против возможных и действи-

<sup>1</sup> Помимо прочего мы предостерегаем от прочтения Канта как сторонника какой-либо из версий теории гипотетического согласия. В самом деле, недвусмысленно утверждая, что «идея общественного договора сохранила бы свое бесспорное значение, но не как факт (как думал Дантон, который без этого факта считал абсолютно недействительными все права в реально существующем гражданском устройстве и всякую собственность), а только как основанный на разуме принцип суждения о всяком публично-правовом устройстве вообще» (курсив наш. – Авт.) [17. С. 191], Кант может склонить незатейливого читателя к подобной точке зрения, однако, как видно из последней цитаты основного текста, Кант не утверждает, что гипотетическое согласие идеального разумного агента является критерием для обоснования законов, тем самым определяющим условия общественного договора. Решающим и существенным моментом является возможность подобного согласия, а не его гипотетичность (равно как и фактичность). Разумеется, такое прочтение не является проблемным (не в срезе релеванности тексту, а в срезе убедительности) хотя бы по причине слабости подобного критерия для определения явных конституционных требований и их обоснования. Защита данного критерия не является целью данной работы, поэтому мы отошлём вдумчивого читателя к существующим работам исследователей, например Оноры О'Нил [18. Р. 25–41].

<sup>2</sup> Отметим важную особенность общественного договора, напрямую следующую из того, как Кант его характеризует – он не является добровольным в прямом смысле этого слова, более того, люди могут принуждать к гражданскому положению против их согласия [15. С. 153]. Важно лишь то, что общественный договор отражает разум, а потому каждый человек как разумное существо уже содержит в себе основу для рационального соглашения с государством, разрешение на принуждение в свою очередь означает, что теперь индивиды по праву подчиняются принудительной власти государства независимо от какого-либо явного согласия с их стороны. Сама дихотомия между соглашением, основанным на эмпирической воле человека, и соглашением, основанным на чистом практическом разуме, также возникает в связи с теорией наказания Канта и его спором с Беккариа по поводу смертной казни (об этом мы скажем ещё). Как верно подмечает Раушер [19], существенное различие между Кантом, с одной стороны, и Гоббсом и Локком – с другой, заключается в том, что последние основывают свои аргументы на индивидуальной выгоде для каждой стороны договора, тогда как Кант основывает свои аргументы на самом праве, понимаемом как свобода для всех людей в целом, а не только для индивидуальной выгоды, которую стороны договора получают в рамках своей личной свободы. Здесь можно проследить сильное влияние на Канта учения Руссо об общей воле [20. Р. 137].

тельных возражений против неё<sup>1</sup>. И хотя мы и осознаём проблематичность данной стратегии<sup>2</sup>, мы всё же прибегаем к ней, так как приводя аргументы против противоположной точки зрения, мы попутно будем выдвигать аргументы в пользу своей, пользуясь возможностью разрешить трудности выбранной нами интерпретации, которые подчёркиваются разбираемыми нами возражениями к ней.

Первое возражение можно сформулировать следующим образом: если общественный договор является лишь априорной идеей, а не реальным историческим фактом, то кажется совершенно неясным, как он может стать неприменимым из-за случая единичной лжи (или даже случаев систематической лжи, которые мы делаем возможным, постулируя само право на ложь). Было бы оправданно говорить, что случаи лжи подрывают эпистемический авторитет говорящего. Так, кажется обоснованным подвергнуть авторитет соглашений или законов некоего правительства, солгавшего своим гражданам, например, во время чрезвычайной ситуации<sup>3</sup>. Однако кажется нелепым утверждать, что можно солгать при заключении договора, существующего лишь в качестве идеи.

Да, действительно, странно утверждать, что эпистемический авторитет говорящего подрывается систематической или единичной реализацией права на ложь «во время» или «после» заключения общественного договора, который, как мы выяснили ранее, является для Канта понятием, не имеющем эмпирической основы и порождённое самим разумом в качестве руководства человеческий практик. Однако Кант и не говорит о подрыве эпистемического авторитета. Казуистика самого примера лишь подтверждает это, ведь Кант при его рассмотрении описывает сценарий, при котором злоумышленник поверил словам хозяина дома, что и сделало возможным его роковое столкновение с нашим другом, решившим покинуть предоставленное ему убежище, т.е. сценарий, при котором ложь не уличается в качестве таковой тем, кто решил действовать в соответствии с ней.

Но о чём же в таком случае идёт речь у Канта? Дело в том, что, говоря ложь, мы попросту перестаём действовать в соответствии с самой априорной идеей, тем самым все наши действия попросту перестают согласовываться с ней и, как следствие, подрываются все наши права, наличие которых и гарантировалось этой идеей. Таким образом ложь подрывает возможность единой воли, которая и составляет самую основу правового состояния. В естествен-

---

<sup>1</sup> Как уже говорилось нами ранее, за основу мы возьмём аргументы, изложенные в недавно вышедшей монографии Тиммерманна [7. Р. 133–136] в том числе потому что Тиммерманн, на наш взгляд, как исследователь несомненно глубоко погружённый в контекст кантовской работы, неплохо суммирует очевидные накопившиеся возражения к отстаиваемой нами точке зрения.

<sup>2</sup> Как остроумно указывает сам Тиммерманн [7. Р. 132], подобная (апагогическая) стратегия с точки зрения Канта не является допустимой, так как она не раскрывает причину, по которой та или иная позиция является правильной, а лишь доказывает, что она таковой является (если, конечно, оппонент неправ и третьего варианта нет). Так, по его словам, она «суть скорее поддержка в крайних случаях, чем метод, который удовлетворял бы всем намерениям разума» (A790/B818) [21. С. 994–995]. Любопытно, хотя и вполне объяснимо, что сам Кант для опровержения Константа прибегает именно к такой стратегии, так как она «превосходит прямые доказательства очевидностью, поскольку противоречие всегда приносит в представление большую ясность, чем самая тесная связь, и потому оно приближается к наглядности демонстрации» (A790/B818) [21. С. 994–995].

<sup>3</sup> Взгляд на работу Канта (как и на работу Константа) как на рассуждения об обязанности политиков и государственных деятелей быть честными в своих официальных заявлениях, в сущности, не нова. Такую интерпретацию допускает, например, Вуд [22. Р. 249].

ном состоянии по Канту люди не могут использовать свои права, во-первых, потому что они должны знать их, чтобы ими пользоваться, что оказывается невозможным, если они не установлены публично и не известны всем тем, кто обязан их соблюдать; во-вторых, потому что они нуждаются в гарантии того, что правовой режим обязателен для всех, а значит их права не будут нарушены в результате одностороннего волеизъявления какого-либо человека. В самом деле, кантовский ход мысли заключается не в том, что случай единичной лжи способен подорвать доверие к судебным процессам и договорам, заключаемым в частном порядке, а в том, что система права состоит из всеобщих законов. Канта, как мы помним, интересует вопрос следующего рода – каким был бы договор в мире, в котором возможна реализация права на ложь? Ответ на него вполне однозначен – в таком мире договоры не могли бы существовать в силу того, что ложь подрывает саму возможность того, что условия договора отражают волю сторон. В такой ситуации действие можно считать правомерным лишь в том случае, когда оно согласуется со свободой каждого в рамках всеобщих законов.

Такая интерпретация, на наш взгляд, объясняет ещё одну интересную особенность кантовской статьи. Говоря о лжи в рамках собственной работы, Кант употребляет термин «свидетельство» (Aussage/Declaration/Erklärung), являющийся для него техническим<sup>1</sup>, настаивая на правдивости как раз такого рода. Свидетельство понимается им как утверждение, на правдивость которого вправе опираться другие люди. Умышленная ложность такого утверждения налагает неправомерное ограничение свободы того, кто ему доверился. В случае, если мы понимаем источник права (Rechtsquelle) как общественный договор, любое наше высказывание становится свидетельством, если от его правдивости зависит реализация свобод субъектов в контексте всеобщих законов. Неправдивости свидетельств противоречит в таком случае само понятие права, ибо их правдивость попросту требуется его законами.

Именно поэтому Кант и говорит о неприменимости «самого источника права», т.е. правила, в соответствии с которым мы действовали до этого и из которого проистекала легитимность реальных заключённых нами договоров и, как следствие, прав, на них основанных<sup>2</sup>.

Второе возражение основывается на том, что полагание в качестве источника права общественного договора вносит рассогласование в то, по каким причинам Кант осуждает ложь. В первом и третьем основаниях Кант говорит о долге, а во втором – об источнике права. Представляется непонятным, каким образом можно было бы их связать, учитывая, что во втором основании он поясняет, что для лжи не обязательно иметь в виду потенциальный вред от неё, она вредна человечеству вообще всегда. Если подразумевать под источником права общественный договор, неясно, о каком долге говорит Кант.

Ответ на это возражение достаточно прост, если начать последовательно разворачивать, что значит для Канта считать нечто идеей разума. Этот тер-

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: [23. С. 83–94].

<sup>2</sup> В этом отношении Тиммерманн справедливо замечает [7. Р. 133–134], что в первом основании лжи речь идёт о правах, основанных на договорах, а не на каком-то одном договоре, из чего недвусмысленно следует, что Кант говорит о подрыве нормативной силы реальных договоров, произошедшем, однако, вследствие того, что неприменимой стала априорная идея первоначального договора.

мин раскрывается Кантом ещё в начале Трансцендентальной Диалектики «Критики чистого разума», где он называет идеей разума «понятие, состоящее из Notionen и выходящее за пределы возможного опыта» (A320/B377) [21. С. 487; 24. С. 409]<sup>1</sup>. Фактически в этом же разделе Кант в качестве демонстрации идеи разума приводит в пример версию общественного договора, говоря, что «государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе согласно законами, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех остальных <...>, есть во всяком случае необходимая идея, которую следует брать за основу при составлении не только первого проекта конституции государства, но и всякого отдельного закона» (A316/B373) [21. С. 481; 24. С. 405]. Похожий пассаж встречается позже в «Метафизике нравов»: «...всеобщий правовой закон гласит: поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего произволения было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом» [25. С. 89]. Таким образом, универсальный принцип справедливости, излагаемый в таком виде, имеет форму категорического императива, являющегося в свою очередь одной из идей разума.

Когда Кант говорит о правдивости как безусловном долге, «который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей» [5. С. 258], он отождествляет этот долг с принципом справедливости в отношении всех неизбежных утверждений в целом. Когда человек лжет, он нарушает безусловный долг говорить правду, который является формальным принципом гласности<sup>2</sup>, лежащим в основе правосудия и признания прав.

Третье возражение заключается в том, что теория общественного договора выставляет довод Канта в слабом свете. Напомним, что Констан считает, что неограниченный принцип правдивости делает общество невозможным [3. С. 219]. Закономерно ожидать, что Кант ответит Констану тем же. В таком случае Канту стоило было бы доказать, что ограниченный принцип правдивости Константа делает именно это – разрушает основы человеческого общества. Однако сам Кант считает, что хоть и государства без общества быть не может, всё же общество без государства возможно, например, как «состояние полного отсутствия законности (status naturalis), где всякое право по меньшей мере перестает иметь действие» [17. С. 190]. По собственным меркам Канта, Констан победил бы, если бы Кант смог доказать, что право на ложь подрывает

---

<sup>1</sup> Под Notio он понимает «чистое понятие, [которое] имеет своё начало исключительно в рассудке (а не в чистом образе чувственности)» (A320/B377) [21. С. 487; 24. С. 409].

<sup>2</sup> Напомним соответствующий фрагмент из «К вечному миру»: если абстрагироваться от любого содержания публичного права, «остаётся ещё форма гласности, возможность которой содержится в каждом правовом притязании, потому что без гласности не могла бы существовать никакая справедливость (которая может мыслиться только публично известной), а следовательно, и никакое право, которое исходит только из нее» [25. С. 49]. Исходя из этого, Кант утверждает, что публичность каждого требования права выступает в качестве критерия его правомерности, поскольку легко судить о том, может ли субъективный принцип действия сочетаться с требованием публичности». Сам критерий Кант формулирует как трансцендентальную формулу публичного права «Противоправны все относящиеся к праву других людей действия, максимы которых несовместимы с гласностью» [25. С. 50], который в утвердительной формулировке утверждает, что «все максимы, которым необходима гласность (чтобы достичь своей цели), согласуются и с правом, и с политикой» [25. С. 55]. Именно из этой формы и следует юридический долг, который Кант называет «безусловным без оговорок повелевающим долгом» [25. С. 55] не быть двуличным, так как двуличие несовместимо с гласностью. В свою очередь человек, который лжет, придерживается субъективного принципа, эффективность которого зависит от того, что он не является достоянием общности.

вает основы лишь правового государства, а не любого общества, так как в этом случае Констан мог бы просто отдать предпочтение счастливому, процветающему обществу, в котором действует принцип ограниченной правдивости. И хотя такое общество, конечно, не соответствовало бы кантовскому представлению о государстве, но Констан мог бы выбрать меньшее зло – общество, в котором жертвы убийств, скрывающиеся от правосудия, находятся в безопасности.

Данное возражение, на наш взгляд, достаточно точно демонстрирует характер разногласий Канта и Констана на соотношение права и политики. Действительно, как мы сами<sup>1</sup> неоднократно указывали, на статью Канта стоит смотреть прежде всего в правовом ключе, а не в этическом, ибо Кант, на наш взгляд, говорит как раз о правовых основаниях недопустимости лжи, а не этических. Именно поэтому, на наш взгляд, Кант не упоминает о том, что ложь является нарушением долга перед самим собой, и, вероятно, именно поэтому Кант (равно как и Констан) ограничивает свое обсуждение основами политического или гражданского общества, ничего не говоря о категорическом императиве и не пускаясь в рассуждения о максиме, которой должен руководствоваться домовладелец, так как это не играют никакой роли в определении того, какие права или предполагаемые правомочия сделали бы общество невозможным, что и является центральным вопросом эссе. В этом отношении его взгляд на ложь и основания в пользу её недопустимости структурно схож с его аргументом о недопустимости права на восстание, которое также, с его точки зрения, подрывает общественный договор. Так, те, кто лгут потенциальному убийце, не нарушают права последнего, так же как и те, кто свергает тирана, но обе стороны все равно нарушают право человечества или людей в целом жить в гражданском обществе<sup>2</sup>. В представлении Канта, Констан не смог проследить все последствия своей позиции, так как если бы обязанность говорить правду (которая, безусловно, должна признаваться и действительно признавалась Констаном) была ограничена указанным им образом и, таким образом, поставлена в зависимость от публично закрепленного права лгать из благих побуждений, то всякий раз, когда перед отдельным гражданином вставал выбор между правдой и ложью из благих побуждений, он имел бы право (и, возможно, обязанность) лгать из благих побуждений в соответствии с этим правом. Одним из следствий реализации подобного права стало бы, например, право взять деньги в долг у заёмщика с намерением отдать их на благотворительность, дав ему при этом лживое обещание. Однако такое право привело бы нас к невозможности заключения определённых договоров (в данном случае соглашений о займе) и прав, следующих из этих договоров. Так, дать заёмщику обещание вернуть деньги в соответствии с предоставленным нам «правом на ложь из человеколюбия» будет значить дать обещание вернуть их, только если мы не сможем найти им соответствующего им применения, что разрушило бы саму основу граждан-

<sup>1</sup> И не только мы: [10. Р. 143; 12. Р. 198; 22. Р. 141; 26. С. 144; 27. С. 35; 28. Р. 403].

<sup>2</sup> Вспомним, как говорит сам Кант о недопустимости права на восстание: «...всякое неповиновение верховной законодательной власти, всякое подстрекательство к деятельному выражению подданными неудовольствия, всякое возмущение, которое переходит в бунт, составляет самое наказуемое преступление в обществе, потому что оно разрушает самые его основы. <...> Дело в том, что при существующем уже гражданском устройстве народ не имеет больше никакого опирающегося на право суждения, чтобы определить, как управлять этим устройством» [17. С. 187–188].

ского общества. Констан, разумеется, мог бы продолжать настаивать на своём, утверждая, что заёмщик не находится в позиции человека, лишённого права на правду, однако обоснованность именно этого права, как мы помним, Кант подвергает сомнению ещё в начале своей работы.

### **Заключение**

Итак, мы рассмотрели три возражения против того, чтобы понимать под источником права (*Rechtsquelle*) общественный договор. Первое из них разбивается о тот факт, что говоря о том, что ложь «содействует тому, чтобы высказываниям (свидетельствам) вообще не давалось никакой веры» [5. С. 257], Кант говорит не о подрыве эпистемического авторитета говорящего, а о невозможности с его стороны продолжать следовать априорной идее общественного договора как универсального принципа справедливости. Помимо этого, защищаемая нами интерпретация позволяет объяснить, почему Кант настаивает в VRL на правдивости свидетельств. В отношении второго возражения мы демонстрируем, что, напротив, наша интерпретация позволяет убедиться в согласованности оснований, приводимых Кантом против права на ложь. Третье возражение, эксплицируя характер расхождения между Кантом и Констаном в отношении функционирования права и политики, подводит нас к демонстрации того, каких размеров пулю надо закусить Констану, чтобы продолжать отстаивать свою точку зрения.

### **Список источников**

1. *Korsgaard C.M.* The Right to Lie: Kant on Dealing with Evil // *Philosophy & Public Affairs*. 1986. Vol. 15, № 4. P. 325–349.
2. *Wood A.* Kant. Oxford: Basil Blackwell, 2005. 216 p.
3. *Констан Б.* О политических реакциях // *Философия. Журнал высшей школы экономики*. 2019. Т. 3, № 2. С. 205–231.
4. *Кюн М.* Кант. Биография. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022. 608 с.
5. *Кант И.* О мнимом праве лгать из человеколюбия // *Сочинения* : в 8 т. М. : Чоро, 1994. Т. 8. С. 256–263.
6. *Crusius C.A.* Anweisung vernünftig zu leben, darinnen nach Erklärung der Natur des menschlichen Willens die natürlichen Pflichten und allgemeinen Klugheitslehren im richtigen Zusammenhange vorgetragen werden. Leipzig : Gleditsch, 1744. 886 S.
7. *Timmermann J.* Kant and the supposed right to lie. New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2024. 240 p.
8. *Крыштон Л.Э.* Мораль и религия в философии немецкого Просвещения: от Хр. Томазия до И. Канта М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. 528 с.
9. *Повечерова А.В.* Влияние Крузия на моральную философию Канта // *Вестник Московского городского педагогического университета*. Серия: Философские науки. 2024. № 3 (51). С 56–70.
10. *Weinrib J.* The Juridical Significance of Kant's 'Supposed Right to Lie' // *Kantian Review*. 2008. Vol. 13, № 1. P. 141–170.
11. *Vuillemin J.* On lying: Kant and Benjamin constant // *Kant-Studien*. 1982, Vol. 73, № 4. P. 413–424.
12. *Atwell J.E.* Ends and principles in Kant's moral thought. Springer, 1986. 227 p.
13. *Mertens T.* On Kant's duty to speak the truth // *Kantian Review*. 2016. Vol. 21, № 1, P. 27–51.
14. *Loriaux S.* Deception, right, and international relations: A Kantian reading // *European Journal of Political Theory*. 2014. Vol. 13, № 2. P. 199–217.
15. *Кант И.* Метафизические основные начала учения о добродетели // *Сочинения на немецком и русском языках*. М. : Наука, 2006. Т. 5, ч. 1.

16. Michaelis J.D. Von der Verpflichtung der Menschen die Wahrheit zu reden: und zeigt zugleich an, wie er künftig seine Arbeit auf der GeorgAugustus-Universität einzurichten gedencke. Göttingen : Bossiegel, 1750. 55 S.

17. Кант И. О поговорке «Может это и верно в теории, но не годится для практики» // Сочинения : в 8 т. М. : Чоро, 1994. Т. 8. С. 158–205.

18. O'Neill O. Kant and the Social Contract Tradition // Kant's Political Theory: Interpretations and Applications / ed. by E. Ellis. Penn State Press, 2012. P. 25–41.

19. Rauscher F. Kant's Social and Political Philosophy // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2022. <https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/> (accessed: 25.11.2025).

20. Williams H. Kant on the social contract // The social contract from Hobbes to Rawls / ed. by D. Boucher, P. Kelly. Routledge, 2003. P. 135–148.

21. Кант И. Критика чистого разума (В) // Сочинения на немецком и русском языках. М. : Наука, 2006. Т. 2, ч. 1.

22. Wood A. Kantian ethics. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 360 p.

23. Карпицкая Е.К., Вольский А.Д. Кант о лжи. Историко-философский анализ // Этическая мысль 2025. Т. 25, № 2. С. 83–94

24. Кант И. Критика чистого разума (А) // Сочинения на немецком и русском языках. М. : Наука, 2006. Т. 2, ч. 2.

25. Кант И. К вечному миру. Философский проект // Сочинения : в 8 т. М. : Чоро, 1994. Т. 7. С. 5–56.

26. Васильев В.В. Маргиналии к работе Канта о мнимом праве на ложь // Логос. 2008. № 5 (68). С. 144–150.

27. Судаков А.К. О праве лгать из человеколюбия (апология Канта примера) // Логос. 2008. № 5 (68). С. 35–39.

28. Varden H. Kant and lying to the murderer at the door... One more time: Kant's legal philosophy and lies to murderers and Nazis // Journal of Social Philosophy. 2010. Vol. 41. P. 403–421.

### Reference

1. Korsgaard, C.M. (1986) The Right to Lie: Kant on Dealing with Evil. *Philosophy & Public Affairs*. 15(4). pp. 325–349.

2. Wood, A. (2005) *Kant*. Oxford: Basil Blackwell.

3. Constant, B. (2019) О политический реакциях [On Political Reactions]. *Filosofiya. Zhurnal vysshey shkoly ekonomiki*. 3(2). pp. 205–231.

4. Kuehn, M. (2022) *Kant. Biografiya* [Kant: A Biography]. Moscow: Delo, RANEPА.

5. Kant, I. (1994a) *Sochineniya: v 8 t.* [Works: In 8 vols.]. Vol. 8. Translated from German. Moscow: Choro. pp. 256–263.

6. Crusius, C.A. (1744) *Anweisung vernünftig zu leben, darinnen nach Erklärung der Natur des menschlichen Willens die natürlichen Pflichten und allgemeinen Klugheitslehren im richtigen Zusammenhange vorgetragen werden*. Leipzig: Gleditsch.

7. Timmermann, J. (2024) *Kant and the supposed right to lie*. New York: Cambridge University Press.

8. Kryshchop, L.E. (2020) *Moral' i religiya v filosofii nemetskogo Prosveshcheniya: ot Khr. Tomaziya do I. Kanta* [Morality and Religion in the Philosophy of the German Enlightenment: From Chr. Thomasius to I. Kant]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya".

9. Povecherova, A.V. (2024) Vliyanie Kruziya na moral'nyu filosofiyu Kanta [Crusius's Influence on Kant's Moral Philosophy]. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki*. 51(3). pp. 56–70.

10. Weinrib, J. (2008) The Juridical Significance of Kant's 'Supposed Right to Lie'. *Kantian Review*. 13(1). pp. 141–170.

11. Vuillemin, J. (1982) On lying: Kant and Benjamin constant. *Kant-Studien*. 73(4). pp. 413–424.

12. Atwell, J.E. (1986) *Ends and principles in Kant's moral thought*. Springer.

13. Mertens, T. (2016) On Kant's duty to speak the truth. *Kantian Review*. 21 (1). pp. 27–51.

14. Loriaux, S. (2014) Deception, right, and international relations: A Kantian reading. *European Journal of Political Theory*. 13(2). pp. 199–217.

15. Kant, I. (2006a) *Metafizicheskie osnovnye nachala ucheniya o dobrodeteli* [Metaphysical First Principles of the Doctrine of Virtue]. In: *Sochineniya na nemetskom i russkom yazykakh* [Works in German and Russian]. Vol. 5(1). Moscow: Nauka.

16. Michaelis, J.D. (1750) *Von der Verpflichtung der Menschen die Wahrheit zu reden: und zeigt zugleich an, wie er künftig seine Arbeit auf der Georg-Augustus-Universität einzurichten gedencke*. Göttingen: Bossiegel.
17. Kant, I. (1994b) *Sochineniya: v 8 t.* [Works: In 8 vols.]. Vol. 8. Translated from German. Moscow: Choro. pp. 158–205.
18. O'Neill, O. (2012) Kant and the Social Contract Tradition. In: Ellis, E. (ed.) *Kant's Political Theory: Interpretations and Applications*. Penn State Press. pp. 25–41.
19. Rauscher, F. (2022) Kant's Social and Political Philosophy. In: Zalta, E.N. & Nodelman, U. (eds) *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/> (Accessed: 25th November 2025).
20. Williams, H. (2003) Kant on the social contract. In: Boucher, D. & Kelly, P. (eds) *The Social Contract from Hobbes to Rawls*. Routledge. pp. 135–148.
21. Kant, I. (2006b) *Kritika chistogo razuma (B)* [Critique of Pure Reason (B)]. In: *Sochineniya na nemetskom i russkom yazykakh* [Works in German and Russian]. Vol. 2(1). Moscow: Nauka.
22. Wood, A. (2008) *Kantian ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
23. Karpitskaya, E.K. & Volskiy, A.D. (2025) Kant o lzhi. Istoriko-filosofskiy analiz [Kant on Lying. A Historical and Philosophical Analysis]. *Eticheskaya mysl'*. 25(2). pp. 83–94.
24. Kant, I. (2006c) *Kritika chistogo razuma (A)* [Critique of Pure Reason (A)]. In: *Sochineniya na nemetskom i russkom yazykakh* [Works in German and Russian]. Vol. 2(2). Moscow: Nauka.
25. Kant, I. (1994c) *Sochineniya: v 8 t.* [Works: In 8 vols.]. Vol. 7. Translated from German, Moscow: Choro. pp. 5–56.
26. Vasiliev, V.V. (2008) Marginalii k rabote Kanta o mnimom prave na lozh' [Marginalia on Kant's Work on the Supposed Right to Lie]. *Logos*. 68(5). pp. 144–150.
27. Sudakov, A.K. (2008) O prave lgat' iz chelovekolyubiya (apologiya Kantova primera) [On the Right to Lie from Philanthropy (An Apology for Kant's Example)]. *Logos*. 68(5). pp. 35–39.
28. Varden, H. (2010) Kant and lying to the murderer at the door... One more time: Kant's legal philosophy and lies to murderers and Nazis. *Journal of Social Philosophy*. 41. pp. 403–421.

**Сведения об авторе:**

**Карпицкая Е.К.** – аспирант кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН им. Патриса Лумумбы) (Москва, Россия). E-mail: karpitskaiai@mail.ru

**Вольский А.Д.** – независимый исследователь (Москва, Россия). E-mail: die.uneigentlichkeit@gmail.com

**Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.**

**Information about the authors:**

**Karpitskaya E.K.** – graduate student, Department of History of Philosophy, RUDN University (Moscow, Russian Federation). E-mail: karpitskaiai@mail.ru

**Volskii A.D.** – independent scholar (Moscow, Russian Federation). E-mail: die.uneigentlichkeit@gmail.com

**The authors declare no conflicts of interests.**

*Статья поступила в редакцию 20.12.2025;*

*одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 20.12.2025;*

*approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК: 16: 1(091): 17: 21: 51-7

doi: 10.17223/1998863X/89/5

## ЛОГИЧЕСКИЙ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ЕРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ МАРКИОНА И ТЕРТУЛЛИАНА НА ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О БРАКЕ (ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)

**Владимир Олегович Лобовиков**

*Институт философии и права УрО РАН,  
Екатеринбург, Россия, vlovnikov@mail.ru*

**Аннотация.** Предмет исследования – логические противоречия между христианским учением о браке и ересями Маркиона и Тертуллиана. Методы – логический анализ, а также построение и изучение дискретных математических моделей аксиологического аспекта проблемы. Научная новизна: впервые в мировой литературе отношение между расторгимыми земными браками мирян и нерасторгимыми идеальными «браками, совершающимися на небесах» определяется как отношение взаимной математической двойственности соответствующих булевых моральных ценностных функций в двузначной алгебре формальной этики.

**Ключевые слова:** алгебра формальной этики, двойственность булевых функций, расторгимый земной брак, нерасторгимый идеальный брак

**Для цитирования:** Лобовиков В.О. Логический и аксиологический аспекты еретических взглядов Маркиона и Тертуллиана на христианское учение о браке (дискретная математическая модель) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 49–61. doi: 10.17223/1998863X/89/5

Original article

## LOGICAL AND AXIOLOGICAL ASPECTS OF MARCION'S AND TERTULLIAN'S HERETICAL VIEWS ON THE CHRISTIAN DOCTRINE OF MARRIAGE: A DISCRETE MATHEMATICAL MODEL

**Vladimir O. Lobovikov**

*Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Yekaterinburg, Russian Federation, vlovnikov@mail.ru*

**Abstract.** The subject matter of the present article consists of the logical contradictions between the Christian doctrine of marriage and the relevant heresies of Marcion and Tertullian. The methods of investigation include linguistic (specifically semantic) analysis of ambiguous natural language, formal-logical analysis of the corresponding arguments and texts, and the construction and investigation of discrete mathematical models of the axiological dimension of the problem. For mathematical modeling of this dimension, the author employs two-valued Boolean algebra of formal ethics, of natural jurisprudence, and of natural theology (as formal axiology). A precise definition of the notion of a “two-valued algebraic system” is provided. As an important supplement to the well-studied formal-logical semantics of natural language, this article systematically investigates the less thoroughly

explored formal-axiological semantics of natural language, in which the semantic meanings of words and phrases are understood as moral-legal-value functions and their compositions. The formal-axiological semantic meanings of the phrases “ideal (eternal) marriage of y with x” and “(temporal) terrestrial (lay) marriage of (whom) x with (whom) y” (i.e., the corresponding Boolean moral-legal-value functions) are precisely defined by means of relevant moral-legal-value tables. Owing to these precise tabular definitions, the article arrives at the conclusion that the aforementioned two-place Boolean moral-legal-value functions are mutually dual to one another. According to the definition of duality, a function that is dual to a function which is itself dual to a function F is equivalent to F. This yields the possibility of making a discovery of considerable importance for terrestrial beings: namely, that happy terrestrial marriages (notwithstanding their finitude) are proper (true) marriages; they are formally-axiologically equivalent to the infinite ideal marriages “established in heaven.” This conclusion is favorable to terrestrial beings, but it appears gravely paradoxical if the significant formal-logical distinction between statements of being and statements of value is not systematically taken into account. In order to effectively neutralize this paradoxicality, the article offers a precise formulation of a logical-methodological rule A&B, which constitutes a formal-axiological analogue of “Hume’s guillotine.” The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time in world literature, the relation between dissoluble terrestrial marriages of lay people and the corresponding indissoluble celestial marriages (“established in heaven”) is precisely defined as the mutual mathematical duality of the corresponding Boolean moral-value-functions in the two-valued algebra of formal ethics. Furthermore, for the first time in world literature, it is demonstrated that, according to this algebra, in a very special particular case of existential importance for humankind, happy terrestrial marriages (in spite of their finitude) are proper (true) marriages, being formally-axiologically equivalent to the ideal (infinite) celestial marriages “established in heaven.”

**Keywords:** algebra of formal ethics, duality of Boolean functions, dissoluble terrestrial marriage, indissoluble ideal marriage

**For citation:** Lobovikov, V.O. (2026) Logical and axiological aspects of Marcion’s and Tertullian’s heretical views on the Christian doctrine of marriage: a discrete mathematical model. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 49–61. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/5

## 1. Введение

В течение тысячелетий брак и любовь традиционно считались важнейшими ценностями в самых разных культурах, но параллельно существовала также и оппозиция этим ценностям, которая время от времени выходила из подполья и активизировалась, подвергала традиционные ценности нападкам, атакам во всех сферах человеческой жизни, в особенности в морали и праве, художественной литературе (поэзии и прозе), а также в философии и даже в богословии (имеются в виду соответствующие ереси, в особенности ереси Маркиона и Тертуллиана). Беспристрастный всесторонний анализ большого количества относящихся к теме источников (в том числе и собственно научных: биологических, социологических, психологических, медицинских) свидетельствует о том, что в собственно *аксиологическом* (а не дескриптивно-индикативном) аспекте темы, т.е. при обсуждении не фактов, а *ценностей* брака и любви, имеет место некая фундаментальная антиномия-проблема, для которой до сих пор нет удовлетворительного *собственно теоретического* решения. Ощущение логической противоречивости «мудрости тысячелетий» может возникнуть у читателя, например, после знакомства с помещенным ниже множеством репрезентативных высказываний на обсуждаемую тему.

«Зло – это слабость добра» [1].

«Любовь – это слабость. ... Любовь – это болезнь. С. Моэм» [2. С. 301].

«Любовь – это болезнь. Увы, незаразная. Ж. Петан» [2. С. 299].

Любовь – это горячка, которую брак укладывает в постель и излечивает. Р. Нидем» [2. С. 299].

«Брак без любви – это пожизненная каторга. Жорж Санд» [2. С. 40].

«Брак без любви – это узаконенная проституция. А. Моруа» [2. С. 40].

«Брак истинный только тот, который освещает любовь. Л. Толстой» [2. С. 40].

«Брак без любви – ужас. Но есть еще нечто худшее: это брак, в котором любовь налицо, но только на одной стороне; верность, но только на одной стороне в таком браке из двух сердец – одно, несомненно, разбито. О. Уайлд» [2. С. 40].

«Брак по любви... О, это, конечно, очень хорошая вещь! К сожалению, такие браки очень редки. Чаще всего под ними разумеются браки по влюбленности. Да ведь такие браки – самые ужасные из всех! Ужаснее даже, чем холодные браки по расчету. Там, по крайней мере, люди видят, что берут». В. Вересаев» [2. С. 40].

«Если вникнуть в глубокий смысл этих слов, мы найдем, что брак – это не что иное, как вид разврата. Апостол, говоря, что *супруги стараются угождать друг другу* (1 Кор. 7,33), не имел в виду угождения чистотою нравов, чего, конечно же, не осудил бы; но он говорил тут о нарядах, украшениях и прочих мелочах, посредством которых супруги стараются возбуждать друг друга к сладострастию. Желание нравиться внешне есть самая сущность плотской похоти, которая, в свою очередь, есть причина прелюбодеяния. Но брак не уподобляется ли прелюбодеянию, не бывает ли средством удовлетворения тех же желаний? Сам Господь говорил: *Всякий, кто с вожделением взглянул на женщину, мысленно уже соблазнил ее* (Матф. 5,28). Человек, ищущий брака с женщиной, не творит ли того же самого, хотя бы после и женился на ней? Да и женился ли бы он на ней, прежде чем посмотрел на нее с похотью? Ведь невозможно брать в жены ту, которой не видел и не возжелал. Неважно, что до женитьбы он не желал чужой жены: до женитьбы все жены – чужие, и никакая жена не выйдет замуж, если муж уже до брака не прелюбодействовал с нею взором. Законы, похоже, проводят различие между браком и любодеянием, как между разными видами недозволенного, но различие это не касается самого существа дела. Что толкает мужчин и женщин и к браку, и к прелюбодеянию? Плотское вожделение, которое Господь приравнивал к прелюбодеянию. Мне могут возразить, что я слишком увлекаюсь, нападая даже и на первый брак. Но это справедливо, потому что он состоит из того же, из чего и прелюбодеяние. Самое лучшее для человека – совершенно избегать женского пола, и вот почему девственная чистота имеет преимущество, будучи далека даже от намека на прелюбодеяние. Если рассуждения эти настолько неблагоприятны даже для первых браков, то какую силу должны они иметь против вторых и третьих браков? <...> Итак, откажемся от плотского и займемся лучше духовным. Воспользуйся любезный брат, этим случаем, неожиданным, но представляющимся весьма кстати, чтобы избавиться тебе навсегда от всякого земного обязательства. Ты более не должник. Ты счастлив, потеряв жену. Потеря эта для тебя приобретение. Воздержани-

ем теперь ты можешь обрести святость. Изнуряя плоть, ты обогатишь дух свой. Посмотри, как близок человек к духовной природе, освободившись по случаю от жены» [3. С. 364–365].

«Любим мы того человека, счастьем которого радуемся. Желание брачного союза не есть любовь: так любят то, что от любви желают съестъ. Как обычно говорят, мы любим еду, ощущению которой мы радуемся. Так ведь даже о волке должно быть сказано, что он любит ягненка. Следовательно, чувственная любовь во всех отношениях целиком отличается от истинной любви. Впрочем, из этого определения могут доказываться многие Теоремы величайшей важности, прославленные в Теологии и в вопросах нравственности» [4. С. 206–207].

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Мать Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Мать Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин. 2: 1–11) [5. С. 101–102].

Согласно христианской доктрине, невозможно, что в Кане Галилейской Христос был соучастником плохого дела, следовательно, вообще говоря, брак не есть зло. Разврат есть зло, следовательно, вообще говоря, брак не есть разврат, а есть его противоположность. Но еретик Тертуллиан утверждал, что брак есть дозволенный разврат и, следовательно, разрешенное зло. Маркион тоже считал брак развратом. Однако, в отличие от Тертуллиана, который с ним полемизировал, еретик Маркион утверждал, что любой брак (в том числе и первый) есть не разрешенное, а запрещенное зло. В отличие от Маркиона, Тертуллиан, оправдывая первый брак необходимостью продолжения рода, призывая быть толерантными к первому браку как необходимому меньшему злу, которое следует снисходительно терпеть, но тоже осуждал и запрещал все последующие браки как зло [6].

Познакомившись с приведенными выше цитатами, представляющими собой результаты систематических размышлений знаменитых людей о любви и браке, читатель не может не быть озадачен, так как очевидно, что объединение всех процитированных выше высказываний логически противоречиво и, следовательно, ложно согласно классической формальной логике<sup>1</sup>. Задачей настоящей работы является нахождение некоего логически непротиворечивого решения обсуждаемой антиномии-проблемы на уровне некой дискретной математической модели теории морально-правовых ценностей.

<sup>1</sup> От неклассической (в особенности от пара-непротиворечивой) формальной логики мы в данной статье абстрагируемся.

## 2. Методы исследования и точные определения основных понятий, необходимых (и в совокупности достаточных) для получения и адекватного понимания впервые публикуемых в данной работе новых научных результатов<sup>1</sup>

По определению, *двузначная алгебраическая система формальной этики* (как аксиологии) есть тройка множеств  $\langle \Pi, O, R \rangle$ , в которой символ  $\Pi$  обозначает непустое множество всех таких и только таких существующих или несуществующих поступков и персон, которые являются либо хорошими, либо плохими, с точки зрения некоего оценивающего субъекта  $\Sigma$ . Очевидно, что  $\Sigma$  – *переменная*: изменение ее значений может приводить к изменению оценок конкретных элементов множества  $\Pi$ . Однако если значение переменной  $\Sigma$  вполне определено (жестко зафиксировано), то оценки конкретных элементов множества  $\Pi$  оказываются вполне определенными. Элементы множества  $\Pi$  – поступки или персоны (лица) – называются *формально-аксиологическими объектами* теории морали и естественного права (независимо от их бытия или небытия). Символы «g (хорошо)» и «b (плохо)» обозначают *аксиологические (ценностные) значения* элементов множества  $\Pi$ .

В тройке множеств  $\langle \Pi, O, R \rangle$  символ  $O$  обозначает множество всех *n-арных алгебраических операций* (или просто *операций*), определенных на множестве  $\Pi$ . Элементы множества  $O$  называются *формально-аксиологическими операциями* *двузначной алгебры этики и естественного права* (как формальной аксиологии). В двузначной алгебраической системе  $\langle \Pi, O, R \rangle$  определенные на множестве  $\Pi$  *n-арные алгебраические операции* являются такими и только такими *функциями*, которые ставят в однозначное соответствие каждой упорядоченной *n*-ке элементов множества  $\Pi$  некоторый элемент множества  $\Pi$ , называемый *результатом* применения упомянутой *n*-арной алгебраической операции к упомянутой упорядоченной *n*-ке элементов множества  $\Pi$ . Иначе говоря, определенная на множестве  $\Pi$  *n*-арная (*алгебраическая*) *операция* есть *n*-местная функция:  $\Pi^n \rightarrow \Pi$ . Здесь символ  $\rightarrow$  обозначает «отображение (mapping)» одного множества в другое (в собственном математическом значении слова «отображение (mapping)»).

Определим теперь (в упомянутой выше тройке множеств) значение символа  $R$ . В этой тройке множеств символ  $R$  обозначает множество всех *n*-местных *формально-аксиологических отношений*, определенных на множестве  $\Pi$ . Например, определенное ниже бинарное отношение «*формально-аксиологическая эквивалентность* (элементов множества  $\Pi$ )» принадлежит множеству  $R$ . Поскольку все три множества  $\Pi, O, R$  не являются пустыми, постольку, согласно общепринятому в современной математике точному определению понятия «алгебраическая система», обсуждаемая в настоящей работе тройка  $\langle \Pi, O, R \rangle$  представляет собой *алгебраическую систему* в *собственно математическом* значении термина [7].

<sup>1</sup> Нигде еще не опубликованные новые научные результаты находятся в этой статье в разделе 3. Содержание раздела 2 этой статьи уже было опубликовано ранее, но его включение в статью *необходимо* для правильного понимания и самостоятельной перепроверки читателем находящихся в разделе 3 новых научных результатов.

Результаты естественно-правовых (т.е. морально-правовых) алгебраических операций, определенных на множестве  $\Pi$ , суть элементы множества  $\Pi$ , следовательно, по определению множества  $\Pi$ , они или хороши или плохи (с точки зрения  $\Sigma$ ). Между аксиологическими (ценностными) значениями –  $g$  (хорошо) или  $b$  (плохо) – тех элементов множества  $\Pi$ , к которым применена морально-правовая алгебраическая операция, определенная на множестве  $\Pi$ , и аксиологическим значением ( $g$  или  $b$ ) результата этой операции существует *ценностно-функциональная* связь. Ценностное значение ( $g$  или  $b$ ) результата определенной на  $\Pi$  алгебраической операции есть значение некой *ценностной функции*, допустимыми значениями переменных которой являются аксиологические значения ( $g$  или  $b$ ) тех элементов множества  $\Pi$ , к которым применена упомянутая алгебраическая операция.

По определению, *ценностной функцией в широком смысле термина* называется любая такая и только такая функция, у которой областью (изменения) значений (этой) функции является двухэлементное множество  $\{g$  (хорошо),  $b$  (плохо) $\}$ . По определению, *ценностной функцией в узком смысле термина* называется такая и только такая функция, у которой областью допустимых значений ее переменных является двухэлементное множество  $\{g$  (хорошо),  $b$  (плохо) $\}$ , и областью (изменения) значений этой функции является то же самое двухэлементное множество. По определению, *смешанной ценностной функцией* называется любая такая и только такая *ценностная функция*, областью допустимых значений переменных которой является определенное выше множество  $\Pi$ .

Теперь рассмотрим относящиеся к исследуемой теме примеры элементарных алгебраических операций, принадлежащих множеству  $O$ , и соответствующих им ценностных функций. Начнем с *унарных* алгебраических операций.

*Глоссарий для следующей ниже табл. 1.*  $Sx$  – «сила (чего, кого, чья)  $x$ ».  $Bx$  – «слабость (чего, кого, чья)  $x$ ».  $Bx$  – «болезнь (чего, кого, чья)  $x$ ».  $Эx$  – «здоровье (чего, кого, чье)  $x$ ».  $Шx$  – «сумасшествие, безумие, глупость, комичность (чего, кого)  $x$ ».  $Px$  – «разумность (благоразумие), мудрость (чего, кого)  $x$ ».  $Ix$  – «истинная, настоящая (что, кто)  $x$ ».  $Жx$  – «желание, хотение (чего, кого)  $x$ » или «потребность, нужда в (чем, ком)  $x$ ».  $Lx$  – «любовь к (чему, кому)  $x$ ».  $Fx$  – «дружба с (чем, кем)  $x$ ».  $Ex$  – «бытие, жизнь (чего, кого)  $x$ ».  $Nx$  – «небытие, смерть (чего, кого)  $x$ ».

*Глоссарий для помещенной ниже табл. 2.*  $Tx$  – «стремление, влечение (тяготение), воля к (чему, кому)  $x$ ».  $Ux$  – «участие, соучастие (коллорабационизм) в (чем)  $x$ » или «содействие, помощь (чему, кому)  $x$ ».  $Kx$  – «бытие, жизнь (вместе) с (чем, кем)  $x$ ».  $Юx$  – «бытие (жизнь) без (чего, кого)  $x$ ».  $Vx$  – «воздержание, уклонение, отталкивание, отстранение от (чего, кого)  $x$ » или «избегание (чего, кого)  $x$ ».  $Hx$  – «ненависть, вражда к (чему, кому)  $x$ ».  $Rx$  – «сопротивление, противодействие (чему, кому)  $x$ ».  $Sx$  – «страсть, страдание, мучение (чего, кого)  $x$ » или «страстная, страдающая, мученическая (что, кто)  $x$ ».  $Zx$  – «фиктивный, ненастоящий, фальшивый (что, кто)  $x$ ».  $Px$  – «половая, сексуальная (что, кто)  $x$ ».  $Зx$  – «земная, плотская (материальная, изменяющаяся), чувственная (что, кто)  $x$ ».  $Яx$  – «привязанность, связанность, связь, зависимость (чего, кого, чья)  $x$ ».

Глоссарий для расположенной ниже табл. 3.  $Ux$  – «согласие, смирение, покорность, послушность, подчинение, рабство (чего, кого, чье)  $x$ » или «согласный, смиренный, послушный, подчиненный, управляемый (что, кто)  $x$ ».  $Lx$  – «свобода (чего, кого, чья)  $x$ » или «свобода для (чего, кого)  $x$ ».  $Чx$  – «начало, основание, источник (чего, кого)  $x$ ».  $Цx$  – «конец, предел, конечность (чего, кого)  $x$ ».  $\delta x$  – «бесконечность, беспредельность, вечность (чего, кого)  $x$ ».  $Fx$  – «свобода от (чего, кого)  $x$ ».  $Ox$  – «противоположность (для)  $x$ ».  $Dx$  – «ограничение, определение, закрепление, фиксация (чего, кого)  $x$ » или «определенный, закрепленный, зафиксированный (что, кто)  $x$ ».  $Gx$  – «регулирование (чего, кого)  $x$ ».  $Дx$  – «держание, удерживание, сдерживание, смирение (чего, кого)  $x$ » или «сдержанная, смиренная (что, кто)  $x$ ».  $Wx$  – «борьба, война, битва с (чем, кем)  $x$ ».  $Vx$  – «преодоление, покорение, подчинение, смирение (чего, кого)  $x$ ».

Таблица 1. Унарные операции алгебры формальной этики

$\sqrt{x}$	$\sqrt{Cx}$	$\sqrt{bx}$	$\sqrt{Bx}$	$\sqrt{\exists x}$	$\sqrt{\text{Ш}x}$	$\sqrt{Px}$	$\sqrt{Ix}$	$\sqrt{Жx}$	$\sqrt{Lx}$	$\sqrt{Фx}$	$\sqrt{Ex}$	$\sqrt{Nx}$
g	g	b	b	g	b	g	g	g	g	g	g	b
b	b	g	g	b	g	b	b	b	b	b	b	g

Таблица 2. Одноместные морально-правовые ценностные функции

$\sqrt{x}$	$\sqrt{Tx}$	$\sqrt{Yx}$	$\sqrt{Kx}$	$\sqrt{Ox}$	$\sqrt{Bx}$	$\sqrt{Hx}$	$\sqrt{Rx}$	$\sqrt{Sx}$	$\sqrt{Zx}$	$\sqrt{Ix}$	$\sqrt{Zx}$	$\sqrt{Яx}$
g	g	g	g	b	b	b	b	b	b	b	b	b
b	b	b	b	g	g	g	g	g	g	g	g	g

Таблица 3. Унарные операции двузначной алгебры этики

$\sqrt{x}$	$\sqrt{Ux}$	$\sqrt{Lx}$	$\sqrt{Чx}$	$\sqrt{Цx}$	$\sqrt{\delta x}$	$\sqrt{Fx}$	$\sqrt{Ox}$	$\sqrt{Dx}$	$\sqrt{Gx}$	$\sqrt{Дx}$	$\sqrt{Wx}$	$\sqrt{Vx}$
g	b	g	g	b	g	b	b	b	b	b	b	b
b	g	b	b	g	b	g	g	g	g	g	g	g

Используя данные выше дефиниции, можно получить следующие уравнения (формально-аксиологические эквивалентности).

1)  $ПЛx = + = Sx$ : половая любовь (кого, чья)  $x$  есть страсть, страдание, мучение (кого, чье)  $x$ .

2)  $ПЛx = + = Bx = + = Bx$ : половая любовь (кого, чья)  $x$  есть слабость и болезнь (кого, чья)  $x$ .

3)  $ПЛx = + = Шx$ : половая любовь (кого, чья)  $x$  есть сумасшествие, безумие, глупость, комичность (кого)  $x$ .

4)  $SLx = + = Яx = + = Ux = + = NLx$ : страстная любовь (кого, чья)  $x$  есть зависимость, привязанность, рабство, небытие свободы (кого)  $x$ .

5)  $SLx = + = Nx$ : страстная любовь (кого, чья)  $x$  есть смерть, небытие (кого)  $x$ .

6)  $ЗLx = + = ПЛx$ : земная любовь к (чему, кому)  $x$  есть половая любовь к (чему, кому)  $x$ .

В связи с помещенными справа от этих уравнений (после двоеточия) их переводами с искусственного на естественный язык, следует заметить, что слово «есть» в естественном языке имеет много качественно различных значений. Оно может обозначать общеизвестные формально-логические отношения, но также может обозначать и формально-аксиологическое отношение « $= + =$ », поэтому на стыке формальной логики и формальной аксиологии

весьма вероятны логико-лингвистические недоразумения и психологические иллюзии парадоксов. Эффективным средством разрушения иллюзий логичности умозаключений, ведущих к парадоксам на стыке указанных наук, является следующее формальное правило А&В:

А: эквивалентность ( $[\alpha] \leftrightarrow [\omega]$ ) не следует логически из эквивалентности ( $\alpha = + = \omega$ );

В: эквивалентность ( $\alpha = + = \omega$ ) не следует логически из эквивалентности ( $[\alpha] \leftrightarrow [\omega]$ ).

Греческие буквы  $\alpha$  и  $\omega$  обозначают здесь некие (любые) либо хорошие, либо плохие объекты формальной аксиологии, а выражения  $[\alpha]$  и  $[\omega]$  – либо истинные, либо ложные высказывания о сущем, информирующие, соответственно, что  $\alpha$  и  $\omega$  реализованы (существуют), т.е. имеют место в действительности. Как обычно,  $\leftrightarrow$  (в формулировке правила А&В) обозначает бинарную операцию «эквивалентность» высказываний (классической алгебры логики), представленную в естественном языке выражениями «...тогда и только тогда, когда...» или «...если и только если...».

Помещенное выше уравнение б) является моделью той «посылки», из которой, нарушив правило А&В, можно получить основной принцип фрейдизма [8], а именно, принцип пансексизма: всякая земная любовь так или иначе сексуально ангажирована, т.е., в сущности, любой вид земной любви есть не что иное, как половая любовь. В соответствующей специальной литературе убедительно продемонстрировано, что принцип пансексизма, вообще говоря, ложен [9, 10], но нарушение правила А&В порождает иллюзию истинности этого принципа.

### **3. Ранее нигде не опубликованные новые научные результаты и их обоснование путем аккуратного вычисления соответствующих композиций ценностных функций, точно определенных в предыдущем разделе работы**

В настоящем разделе статьи предлагается существенное исправление некоторых ранее опубликованных дефиниций понятий, имеющих непосредственное отношение к предмету исследования. Прежде всего, это касается точности определения ценностно-функционального значения словосочетания «истинная (настоящая) любовь (кого) у к (кому, чему) х» в двузначной алгебре формальной этики. То определение ценностно-функционального значения этого словосочетания, которое предлагалось ранее в публикациях [11–15], признается в настоящей работе недостаточно точным и заменяется на качественно новое (более точное). Для осуществления предлагаемого значительного уточнения дискретной математической модели предмета исследования рассмотрим следующие ценностные функции.

Глоссарий для расположенной ниже табл. 4.  $B^2xu$  – «брак (кого, чей) у с (кем) х».  $B^1ux$  – «брак (кого, чей) х с (кем) у».  $M^2xu$  – «брак между (кем) у и (кем) х».  $L^1xu$  – «любовь (кого, чья) у к (кому, чему) х».  $L^2ux$  – «любовь (кого, чья) х к (кому, чему) у».  $U^2xu$  – «взаимная любовь между (кем) у и (кем) х».  $P^2ux$  – «половая (сексуальная) любовь (кого, чья) х к (кому, чему) у».  $J^2ux$  – «земной (мирской) брак (кого, чей) х с (кем) у». Перечисленные ценностные функции точно определяются ниже табл. 4.

Таблица 4. Бинарные операции двузначной алгебры этики

$\sqrt{x}$	$\sqrt{y}$	$\sqrt{B^2xy}$	$\sqrt{B^2yx}$	$M^2xy$	$\sqrt{I^2xy}$	$\sqrt{I^2yx}$	$U^2xy$	$\sqrt{I^2yx}$	$\sqrt{J^2yx}$
g	g	g	g	g	g	g	g	b	b
g	b	b	g	b	b	g	b	b	b
b	g	g	b	b	g	b	b	g	g
b	b	g	g	g	g	g	g	b	b

Вместо данного выше точного *табличного* определения ценностной функции  $J^2yx$  – «земной (мирской) брак (кого, чей)  $x$  с (кем)  $y$ », можно было бы дать ее точное аналитическое определение с помощью какого-то (любого) из следующих уравнений (формально-аксиологических эквивалентностей) алгебры этики. Они точно определяют *ценностно-функциональное значение* термина «земной брак (чей)  $x$  с (кем)  $y$ ».

9)  $J^2yx = + = KB^2KxKy$ : земной брак (чей)  $x$  с (кем)  $y$  есть конечный (временный) брак конечного  $y$  с конечным  $x$ .

9)  $J^2yx = + = KB^23x3y$ : земной брак  $x$  с  $y$  есть конечный (временный) брак плотского (материального, изменяющегося), чувственного  $y$  с плотским (материальным, изменяющимся), чувственным  $x$ .

Рассмотрим теперь некоторые непосредственно интересующие нас в данной работе композиции определенных выше двуместных и одноместных ценностных функций. Для обычных мирян, с психологической точки зрения, наиболее сложной является функция  $8B^28x8y$  – «бесконечный (нерасторжимый) брак (кого) бессмертного  $y$  с (кем) бессмертным  $x$ ». Этот экзистенциально важный для *собственно теоретической* теологии *абстрактный идеализированный объект*, а именно, «заключаемый на небесах» вечный (нерасторжимый) брачный союз бессмертной души  $y$  с бессмертной душой  $x$  является предметом богословских рассуждений в течение многих веков. Наряду с этим удивительным (поражающим воображение обычных мирян) абстрактным идеализированным объектом *теоретической* теологии, богословы систематически используют в своих речах и трактатах термин «истинный (настоящий) брак (кого, чей)  $y$  с (кем)  $x$ », моделируемый в данной работе выражением  $IB^2xy$ . Наконец, особенно интересующей нас в данной работе является композиция ценностных булевых функций  $KB^2KxKy$ . Она представляет собой конечный (временный) брак конечного (смертного)  $y$  с конечным (смертным)  $x$ . Формально-аксиологические взаимоотношения между перечисленными композициями булевых функций, особенно интересующими нас в данной работе, моделируются следующей системой уравнений.

9)  $B^2xy = + = IB^2xy$ : брак (кого)  $y$  с (кем)  $x$  есть истинный (настоящий) брак  $y$  с  $x$ .

10)  $ZB^2xy = + = NB^2xy$ : фиктивный (ненастоящий) брак означает отсутствие брака.

11)  $IB^2xy = + = 8B^28x8y$ : истинный (настоящий) брак  $y$  с  $x$  есть бесконечный (нерасторжимый) брак бессмертного (бесконечного)  $y$  с бесконечным (бессмертным)  $x$ .

12)  $J^2yx = + = KB^2KxKy$ : земной (мирской) брак  $x$  с  $y$  есть конечный (расторжимый) брак смертного (конечного)  $y$  со смертным (конечным)  $x$ .

13)  $DJ^2DyDx = + = DKB^2DKxDKy$ .

14)  $DJ^2DyDx = + = 8B^28x8y$ .

15)  $DЖ^2DyDx = + = ИБ^2ху$ : определенный (фиксированный), например официально зарегистрированный, земной брак определенного (фиксированного)  $x$  с фиксированным (определенным)  $y$  *формально-аксиологически эквивалентен* (равноценен) истинному (настоящему) браку (кого)  $y$  с (кем)  $x$ .

16)  $Б^2ху = + = DЖ^2DyDx$ : брак  $y$  с  $x$  *формально-аксиологически эквивалентен* (равноценен) определенному земному браку определенного (фиксированного)  $x$  с (кем) определенным (фиксированным)  $y$ .

Согласно определению двойственности булевых функций [16. С. 18], если ценностная булева функция  $f^*$  двойственна по отношению к ценностной булевой функции  $f$ , то функция  $f^{**}$  (являющаяся двойственной по отношению к функции, являющейся двойственной по отношению к  $f$ ) *эквивалентна* функции  $f$ , т.е. имеет место следующее *формально-аксиологическое* уравнение.

17)  $f^{**} = + = (f^*)^* = + = f$ . Аналогичная эквивалентность имеет место в булевой алгебре логики [17].

Итак, согласно данным выше определениям, существует вполне закономерная *ценностно-функциональная связь, а именно, взаимная математическая двойственность* (друг к другу) «заклучаемого на небесах» вечного идеального брака (булевой функции  $8Б^28x8y$ ) и *конечного* (земного) брака  $Ж^2ux$  (булевой функции  $КБ^2КxКy$ ).

В свою очередь, уравнения 13)–15) устанавливают вполне закономерную *ценностно-функциональную связь, а именно, формально-аксиологическую эквивалентность* (друг другу) «заклучаемого на небесах» вечного идеального брака (булевой функции  $8Б^28x8y$ ) и *определенного* земного брака *определенного*  $x$  с *определенным*  $y$  (булевой функции  $DЖ^2DyDx$ , или булевой функции  $ДКБ^2ДКxДКy$ ).

Существование *абстрактных идеализированных объектов* типа  $8Б^28x8y$  и оперирование ими в *абстрактно-теоретической* этике и алгебре формальной аксиологии имеет большую ценность для человеческой культуры: *творчество* в сфере *прикладной* этики «перебрасывает мостики» от абстрактных идеализированных объектов собственно теоретического богословия и абстрактной теории морали к чувственно воспринимаемым, реальным объектам практики мирян. В качестве такого рода «мостика» в настоящей работе используется уравнение

$$7) DЖ^2DyDx = + = 8Б^28x8y = + = ИБ^2ху.$$

Очевидно, что, с психологической точки зрения, оно парадоксально. Но вместо того, чтобы воскликнуть «Верую, ибо нелепо!», разумнее, по моему мнению, вооружившись «принципом антипсихологизма в логике», аккуратно вычислить и сравнить друг с другом значения композиций ценностных функций  $DЖ^2DyDx$ ,  $8Б^28x8y$ ,  $ИБ^2ху$ . Как это ни странно, согласно результату такого вычисления, эквивалентность  $DЖ^2DyDx = + = 8Б^28x8y = + = ИБ^2ху$  является в двузначной алгебре этики вполне обоснованной. Но тогда почему она кажется странной с психологической точки зрения? Этому должно быть дано какое-то объяснение. Да, конечно; *иллюзия* парадоксальности обсуждаемого уравнения естественно возникает в результате помещенного ниже психологически незаметно совершаемого *ошибочного* «логического вывода», грубо нарушающего сформулированное выше формальное правило (запрет) А&В.

$$\frac{DЖ^2 DyDx}{[DЖ^2 DyDx]} = + = \frac{8B^2 \delta x \delta y}{[8B^2 \delta x \delta y]}$$

$$[DЖ^2 DyDx] \leftrightarrow [8B^2 \delta x \delta y].$$

В этом *ошибочном* «логическом выводе», нарушающем правило А&В, «посылка»  $DЖ^2 DyDx = + = 8B^2 \delta x \delta y$  истинна, а «заключение»  $[DЖ^2 DyDx] \leftrightarrow [8B^2 \delta x \delta y]$  ложно. При нормальном дедуктивном логическом выводе такого быть не может; указанный якобы дедуктивный вывод нелогичен: в нем нет отношения логического следования «заключения» из «посылки». Таким образом, с помощью систематического соблюдения формального правила А&В обсуждаемая психологическая иллюзия парадоксальности устраняется.

Основным теоретически и практически значимым новым научным результатом данной работы является дедуктивное обоснование (в алгебре этики) формально-аксиологической *равноценности* (неразличимости ценностей) «заключаемого на небесах нерасторжимо (бесконечного) брака бессмертной души  $y$  с бессмертной душой  $x$ » и «определенного (зарегистрированного), хотя и расторжимо (конечного) земного брака определенного (фиксированного)  $y$  с определенным (фиксированным)  $x$ ». В связи с тем, что в настоящее время защита традиционных моральных ценностей, в частности моральной ценности социального института традиционного брака, стала особенно актуальной, этот дедуктивно обоснованный научный результат представляет значительный теоретический и практический интерес.

#### Список источников

1. Дионисий Ареопagit. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб. : Глаголь, 1994. 370 с.
2. *Мудрость* тысячелетий от А до Я. Великие мысли и афоризмы великих людей. М. : АСТ : Астрель, 2010. 861 с.
3. Тертуллиан К.С.Ф. Избранные сочинения. М. : Прогресс, 1994, 448 с.
4. Лейбниц Г.В. Основания естественного права = *Elementa juris naturalis* / пер. с лат. В.Т. Звиревича. Екатеринбург : Гум. ун-т, 2025. 264 с.
5. *Книги Нового Завета* // Библия. М. : Рос. библейское общество, 1999. С. 1–292.
6. Тертуллиан К.С.Ф. Нелепость запрещения брака у маркионитов // Против Маркиона : в 5 кн. Кн. I. Гл. 29. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/protiv-markiona-v-pjati-knigakh/1\\_29](https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/protiv-markiona-v-pjati-knigakh/1_29) (дата обращения: 23. 12.2025).
7. Мальцев А.И. Алгебраические системы. М. : Наука, 1970. 392 с.
8. Фрейд З. Интерес к психоанализу. Минск : Попурри, 2009. 592 с.
9. Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царство Божие как основа ценностей. Харьков : ФОЛІО ; Москва : АСТ, (2000). 861 с.
10. Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви. Минск : ПОЛИФАКТ, 1990. 80 с.
11. Лобовиков В.О. Чудо материнства девы Марии с точки зрения разума (Логический, аксиологический и лингвистический аспекты христианского учения о любви, сексе, девственности и младенчестве) // Современные проблемы теологического образования (культурологический, богословский, педагогический и лингвистический аспекты): Екатеринбургские чтения : материалы междунар. первой богослов. науч.-практ. конф. 9–10 декабря 2003 г. Екатеринбург : РГППУ, 2003. Вып. 1. С. 94–105.
12. Лобовиков В.О. Брак, любовь, жертвование, материнство, секс, разврат, прелюбодеяние, целомудрие, девственность и монашество как ценностные функции в алгебре естественного права (Логико-лингвистический источник одного аспекта ереси К.С.Ф. Тертуллиана) // Философия: вызов современности. К 40-летию философского факультета Уральского государственного университета: материалы междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1–7 сентября 2005 г. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 82–85.
13. Лобовиков В.О. Формальная этика и теология любви («Любовь истинная» и «любовь земная» как различные бинарные операции в алгебре естественного права. Закон любви и ересь Л. Толстого) // Проблемы теологии. Вып. 3 : материалы Третьей междунар. богослов. науч.-

практ. конф., посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа (2–3 марта 2006 г.) : в 2 ч. Екатеринбург : РГПУ, 2006. Ч. 2. С. 148–160.

14. Лобовиков В.О. Динамика социально-психологических оценок с точки зрения дискретной математической модели психологии ценностей – современный вызов традиционному гуманитарному знанию («самоуверенность», «самонадеянность» и «самовлюбленность») как негативные частные случаи ценностных функций «вера», «надежда» и «любовь»). Возможности устранения негативных «эффектов самоприменимости» в алгебре ценностей // Неожиданная современность: меняющиеся реалии XXI века. Мир – Россия – Урал : материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. Гуманитарного ун-та, 8–9 апреля 2010 г. : доклады в 2 т. Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2010. Т. 1. С. 571–576.

15. Лобовиков В.О. Алгебра естественного права как дискретная математическая модель ценностного аспекта любви и секса – вызов гуманитарному знанию («любовь» и «секс» как морально-правовые ценностные функции от двух переменных, а «эгоизм», «инцест» и «гомосексуализм» как тождественно плохие морально-правовые ценностные функции-константы в алгебре естественного права) // Неожиданная современность: меняющиеся реалии XXI века. Мир – Россия – Урал : материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. Гуманитарного ун-та, 8–9 апреля 2010 г. : доклады в 2 т. Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2010. Т. 2. С. 111–115.

16. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М. : Наука, 1979. 272 с.

17. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М. : Наука, 1972. 288 с.

### References

1. Dionysius the Areopagite. (1994) *O bozhestvennykh imenakh. O misticheskom bogoslovii* [On the Divine Names. On Mystical Theology]. St. Petersburg: Glagol'.

2. Zubkov, V. (ed.) (2010) *Mudrost' tysyacheletiy ot A do Ya. Velikie mysli i aforizmy velikikh lyudey* [Wisdom of the Millennia from A to Z. Great Thoughts and Aphorisms of Great People]. Moscow: AST: Astrel'.

3. Tertullianus, Q.S.F. (1994) *Izbrannye sochineniya* [Selected Works]. Moscow: Progress.

4. Leibniz, G.W. (2025) *Osnovaniya estestvennogo prava* [Elementa juris naturalis]. Translated by V.T. Zvirevich. Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet.

5. *The Bible*. (1999) Moscow: Rossiyskoe bibleyskoe obshchestvo. pp. 1–292.

6. Tertullianus, Q.S.F. (n.d.) *Protiv Markiona: v 5 kn.* [Against Marcion: In 5 Books]. Vol. 1, chapter 29. [Online] Available from: [https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/protiv-markiona-v-pjati-knigakh/1\\_29](https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/protiv-markiona-v-pjati-knigakh/1_29) (Accessed: 23rd December 2025).

7. Maltsev, A.I. (1970) *Algebraicheskie sistemy* [Algebraic Systems]. Moscow: Nauka.

8. Freud, S. (2009) *Interes k psikhoanalizu* [Interest in Psychoanalysis]. Translated from German. Minsk: Popurri.

9. Losskiy, N.O. (2000) *Tsennost' i bytie. Bog i tsarstvo Bozhie kak osnova tsennostey* [Value and Existence. God and the Kingdom of God as the Foundation of Values]. Kharkov: FOLIO; Moscow: AST.

10. Fromm, E. (1990) *Iskusstvo lyubit': Issledovanie prirody lyubvi* [The Art of Loving: An Inquiry into the Nature of Love]. Translated from German. Minsk: POLIFAKT.

11. Lobovikov, V.O. (2003) Chudo materinstva devy Marii s tochki zreniya razuma (Logicheskiy, aksiologicheskiy i lingvisticheskiy aspekty khristianskogo ucheniya o lyubvi, sekse, devstvennosti, i mladenchestve) [The Miracle of the Virgin Mary's Motherhood from the Point of View of Reason (Logical, Axiological, and Linguistic Aspects of the Christian Doctrine of Love, Sex, Virginity, and Infancy)]. *Sovremennye problemy teologicheskogo obrazovaniya (kul'turologicheskiy, bogoslovskiy, pedagogicheskiy i lingvisticheskiy aspekty): Ekaterininskije chteniya* [Modern Problems of Theological Education (Cultural, Theological, Pedagogical and Linguistic Aspects): Catherine's Readings]. Proc. of the First International Theological Conference. December 9–10, 2003. Ekaterinburg. Vol. 1. Yekaterinburg: RGPPU. pp. 94–105.

12. Lobovikov, V.O. (2005) Brak, lyubov', zhertvovanie, materinstvo, seks, razvrat, prelyubodeyanie, tselomudrie, devstvennost' i monashestvo kak tsennostnye funktsii v algebre estestvennogo prava (Logiko-lingvisticheskiy istochnik odnogo aspekta eresi K.S.F. Tertulliana) [Marriage, Love, Sacrifice, Motherhood, Sex, Debauchery, Adultery, Chastity, Virginity, and Monasticism as Value Functions in the Algebra of Natural Law (A Logical-Linguistic Source of One Aspect of Q.S.F. Tertullian's Heresy)]. *Filosofiya: vyzov sovremennosti. K 40-letiyu filosofskogo fakul'teta Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Philosophy: The Challenge of Modernity. On the 40th Anniversary of the Faculty of Philosophy of Ural State University]. Proc. of the International Conference. September 1–7, 2005. Ekaterinburg. Ekaterinburg: Ural University. pp. 82–85.

13. Lobovikov, V.O. (2006) Formal'naya etika i teologiya lyubvi ("Lyubov' istinnaya" i "lyubov' zemnaya" kak razlichnyye binarnyye operatsii v algebre estestvennogo prava. Zakon lyubvi i eres' L. Tolstogo) [Formal Ethics and Theology of Love ("True Love" and "Earthly Love" as Different Binary Operations in the Algebra of Natural Law. The Law of Love and L. Tolstoy's Heresy)]. *Problemy teologii* [Problems of Theology]. Proc. of the Third International Theological Conference. March 2–3, 2006. Ekaterinburg: RGPPU. pp. 148–160.

14. Lobovikov, V.O. (2010a) Dinamika sotsial'no-psikhologicheskikh otsenok s tochki zreniya diskretnoy matematicheskoy modeli psikhologii tsennostey – sovremennyy vyzov traditsionnomu gumanitarnomu znaniyu ("samouverennost", "samonadeyannost" i "samovlyublennost" kak negativnyye chastnyye sluchai tsennostnykh funktsiy "vera", "Nadezhda" i "lyubov"). Vozmozhnosti ustraneniya negativnykh "effektov samoprimenimosti" v algebre tsennostey [The Dynamics of Socio-Psychological Evaluations from the Point of View of a Discrete Mathematical Model of the Psychology of Values – A Contemporary Challenge to Traditional Humanitarian Knowledge ("Self-Confidence", "Presumption", and "Narcissism" as Negative Special Cases of the Value Functions "Faith", "Hope", and "Love"). Possibilities of Eliminating Negative "Self-Referentiality Effects" in the Algebra of Values]. *Neozhidannaya sovremennost': menyayushchiesya realii XXI veka. Mir – Rossiya – Ural* [Unexpected Modernity: Changing Realities of the 21st Century. The World – Russia – The Urals]. Proc. of the 13th All-Russian Conference of the Liberal Arts University. April 8–9, 2010. Vol. 1. Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet. pp. 571–576.

15. Lobovikov, V.O. (2010b) Algebra estestvennogo prava kak diskretnaya matematicheskaya model' tsennostnogo aspekta lyubvi i seksa – vyzov gumanitarnomu znaniyu ("lyubov'" i "seks" kak moral'no-pravovyye tsennostnyye funktsii ot dvukh peremennykh, a "egoizm", "intsest" i "gomoseksualizm" kak tozhdestvenno plokhie moral'no-pravovyye tsennostnyye funktsii-konstanty v algebre estestvennogo prava) [The Algebra of Natural Law as a Discrete Mathematical Model of the Value Aspect of Love and Sex – A Challenge to Humanitarian Knowledge ("Love" and "Sex" as Moral-Legal Value Functions of Two Variables, and "Egoism", "Incest", and "Homosexuality" as Identically Bad Moral-Legal Value Functions-Constants in the Algebra of Natural Law)]. *Neozhidannaya sovremennost': menyayushchiesya realii XXI veka. Mir – Rossiya – Ural* [Unexpected Modernity: Changing Realities of the 21st Century. The World – Russia – The Urals]. Proc. of the 13th All-Russian Conference of the Liberal Arts University. April 8–9, 2010. Vol. 2. Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet. pp. 111–115.

16. Yablonskiy, S.V. (1979) *Vvedenie v diskretnuyu matematiku* [Introduction to Discrete Mathematics]. Moscow: Nauka.

17. Gindikin, S.G. (1972) *Algebra logiki v zadachakh* [The Algebra of Logic in Problems]. Moscow: Nauka.

#### **Сведения об авторе:**

**Лобовиков В.О.** – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела права Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия). E-mail: vlobovikov@mail.ru

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.**

#### **Information about the author:**

**Lobovikov V.O.** – Dr. Sci. (Philosophy), full professor; chief researcher at the Law Department, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: vlobovikov@mail.ru

**The author declares no conflicts of interests.**

Статья поступила в редакцию 30.12.2025;  
одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 30.12.2025;  
approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026

Научная статья

УДК 1(091)+141.4

doi: 10.17223/1998863X/89/6

## СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И УЧЕНИЕ И. КАНТА

**Анастасия Анатольевна Мёдова**

*Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева,  
Красноярск, Россия*

*Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева,  
Красноярск, Россия, amedova@list.ru*

**Аннотация.** С целью выявления характерных признаков трансцендентальной теологии рассматривается проблема преемственности двух первых этапов ее развития. Методом исследования является сравнительный анализ трактовки понятия «трансцендентальный» в двух традициях и экстраполяция его на теологический дискурс. Результаты позволяют говорить о специфическом понимании идеи Бога, сформированном трансцендентальным стилем мышления.

**Ключевые слова:** трансценденталии, рациональная теология, а priori, доказательства бытия Бога, конечная цель чистого разума

**Для цитирования:** Мёдова А.А. Специфика понимания трансцендентального в теологическом дискурсе: схоластическая традиция и учение И. Канта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 62–74. doi: 10.17223/1998863X/89/6

Original article

## THE DISTINCTIVE UNDERSTANDING OF THE TRANSCENDENTAL IN THEOLOGICAL DISCOURSE: SCHOLASTIC TRADITION AND KANT'S DOCTRINE

**Anastasia A. Medova**

*Reshetnev Siberian State University of Science & Technology, Krasnoyarsk, Russian Federation  
Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk, Russian Federation, amedova@list.ru*

**Abstract.** Three phases can be identified in the development of transcendental theology. The first took shape within the framework of the scholastic doctrine of the transcendentals and *scientia transcendens*. The second, “classical” phase was generated by the spirit of the Enlightenment and is associated with the work of Kant and his predecessors. The third phase is related to the works of representatives of transcendental Thomism and neo-orthodox theologians in Europe and America. These three phases differ both methodologically and in content. In this regard, the question arises: what makes transcendental theology something more than a set of views on religion in which the same notion is employed? The article aims to investigate the problem of continuity in the development of transcendental theology. The reverse side of this problem is the question concerning the meaning of the term “transcendental” within this domain. To this end, the author traces points of contact between the medieval doctrine of the transcendentals and Kant’s understanding of the transcendental. The comparative analysis reveals that the transcendentals, like a priori concepts, do not have

an empirical origin and are not the result of abstraction from experience; they are universal, all-encompassing, and pertain to any object of thought. According to Kant, the transcendentals are logical criteria for the possibility of cognition in general, which the Scholastics mistakenly took to be features of things in themselves (B 114–115). They are the most general, universal, and ultimate terms, surpassing even Kantian a priori concepts. The author contends that Kant's final ends of pure reason – namely, free will, the immortality of the soul, and the existence of God – occupy the same structural and conceptual level as the scholastic transcendentals. It is these that are absolute and ultimate in nature, forming the boundary between pure reason, phenomenon, and noumenon. Thus, the concept of God functions as the transcendental in Kant's theology. One may say that a transcendental mode of thinking is intrinsic to both the Scholastics and Kant, and that it has had significant consequences for transcendental theology. The analysis of the concept of "transcendental" reveals a number of characteristic traits of this field. These include: (1) attention to the logical and cognitive status of the concept of God and the reasons for its emergence in reason; (2) discernment of the a priori foundations of faith in the ultimate grounds of reason; (3) the interpretation of the concept of God as an inalienable element of reason; and (4) the recognition that the concept of God cannot be innate, yet neither can God's existence be proven.

**Keywords:** transcendentals, rational theology, a priori, proof of existence of God, ultimate goal of pure reason

**For citation:** Medova, A.A. (2026) The distinctive understanding of the transcendental in theological discourse: Scholastic tradition and Kant's doctrine. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 62–74. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/6

Термин «трансцендентальная теология» ассоциируется прежде всего с учением И. Канта. Подступы к ней он осуществил в докритический период («Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога», 1763; «Исследование отчетливости принципов естественной теологии и морали», 1764) и далее развивал свои теологические идеи в Первой и Второй критиках, рукописях 1778–1780 гг. (так называемые Материалы к «Критике чистого разума») [1, 2], Лекциях по рациональной теологии зимнего семестра 1783/84 гг. [3]. Также этот термин применяется к учениям немецких философов XIX в., в частности Фихте [4] и Шеллинга [5]. В XX в. он употребляется применительно к работам таких теологов, как Ж. Марешаль, Б. Лонерган, К. Ранер, Э. Корет, признаки трансцендентального подхода обнаруживаются у Д. Бонхёффера, К. Барта, Ш. Огдена и др. Однако теологические концепции в рамках данного направления значительно расходятся по своему содержанию. Говоря о трансцендентальной теологии, сложно обобщить ее даже на уровне предмета; нельзя сказать, что ее представители исследовали одни и те же вопросы или одинаково понимали ее задачи.

Тем больший интерес вызывают причины, по которым для обозначения этого типа теологии закрепилось понятие «трансцендентальная». Роль Канта в ее оформлении невозможно игнорировать, но следует отметить, что по Канту трансцендентальная теология, во-первых, не исчерпывает собой всю теологию, а является лишь одной ее разновидностью, наряду с естественной теологией и теологией откровения (B 660/A 632). Во-вторых, она проблематична как таковая, ее польза скорее негативна: она дает чистые понятия богопознания и очищает ложные, отделяя чистые познания разума, основанные на априорных понятиях и идеях, от эмпирических (AA XXVIII : 307) [2. С. 190]. В-третьих, Кант не был первым на этом пути; к примеру, теологические

изыскания Х. Вольфа также созвучны задачам рациональной теологии<sup>1</sup> [6. С. 10–11]. Если говорить о дальнейшем развитии направления, то трансцендентальные теологи XX в. отнюдь не были кантианцами и в большинстве своем не были протестантами (за исключением Д. Бонхёффера и Ш. Огдена), тогда как Кант им был – на его взгляды повлияло такое направление лютеранской церкви, как пиетизм [7, 8]. Впрочем, как отмечает К. Польсков, наличие у теолога априорных утверждений, выраженных в форме догматов, не является существенным свойством научного теологического исследования [9. С. 95]. Иными словами, приверженность определенной догматике не делает теологию трансцендентальной, хотя и определяет ее принципиальным образом. При этом остается открытым вопрос о преемственности в развитии трансцендентальной теологии, обратной стороной которого является вопрос о значении понятия «трансцендентальный» применительно к данному направлению.

Как отмечает С.Л. Катречко, следует учитывать несколько значений понятия «трансцендентальный», на пересечении которых формируется специфика трансцендентальной теологии. Существенным для нее является: 1) средневековое понимание трансцендентального и связанный с ним сверхкатегориальный способ мышления посредством трансценденталий; 2) кантовский смысл трансцендентальной философии как метода познания с помощью априорных понятий; 3) смысл, который вкладывает в данное понятие трансцендентальный томизм (Ж. Марешаль, Б. Лонерган, К. Ранер, Э. Корет) [10]. Исходя из этой установки, мы ставим своей задачей проследить преемственность между средневековым учением о трансценденталиях и пониманием трансцендентального у И. Канта, чтобы затем экстраполировать полученные результаты на дискурс трансцендентальной теологии.

Актуальность работы связана также с тем, что на фоне большого корпуса работ по трансцендентальной теологии конкретных авторов [4, 5, 11–15], обобщающие исследования данного направления отсутствуют и, следовательно, сложно говорить о критериях отнесения той или иной теологии к трансцендентальному типу. Как исключение может быть названа работа О. Мака «Трансцендентальный метод» [16], которая, однако, затрагивает трансцендентальную теологию только XX в. Мы попытаемся восполнить этот пробел посредством выделения некоторых концептуальных моментов трансцендентальной теологии на начальном (схоластическом) и классическом (теология И. Канта) этапах ее развития. Данное исследование может послужить основанием для анализа более поздних ее образцов и выявления общих принципов трансцендентальной теологии.

## Понимание трансцендентального в схоластике

Согласно Бонавентуре, интеллект знает, что такое вещь через определения. Но такие определения должны образовываться через высшие, т.е. более общие понятия, которые опять-таки должны определяться через высшие понятия, пока разум не придет к наиболее общему. Таковое наиболее общее – это сущее (*ens*) и его состояния: единое, истина и благо (*unum, verum, bonum*)

<sup>1</sup> Трансцендентальная теология у Канта – это разновидность рациональной теологии (AA XXVIII : 308) [2. С. 191].

[17. P. 304]. Для таких предельных понятий, дальше которых нельзя помыслить, в XIII в. был введен термин *transcendentia*. Благодаря Ф. Суаресу за ними закрепилось название «трансценденталии» [18. P. 19].

Различение понятий «трансцендентный» и «трансцендентальный» не актуально для схоластов, на этом этапе они взаимозаменяемы. Учение о трансценденталиях касается первых оснований мышления: трансценденталии обнаруживают себя при редукции содержания нашей мысли к исходным самоочевидным понятиям. Поэтому вся философия – это «*scientia transcendens*» согласно высказыванию Иоанна Дунса Скота (In *Metaph.*, prolog., Opera Omnia ed. Vives VII) [19. P. 5]. Однако уже в текстах Аврелия Августина прослеживается использование термина, а именно его глагольной формы *transcendere*, в значении «превосходить». В этом смысле средневековые философы говорят, что божественное бытие трансцендентно нашим способам познания, а божественное благо трансцендентно человеческой природе [18. P. 92].

Для средневековой философии трансцендентальное – это нечто, превосходящее категории мышления. Само понятие «трансцендентальный» было инспирировано пониманием того, что можно пойти дальше учения Аристотеля о категориях: ум должен быть в состоянии оперировать концептами еще до категориальной классификации сущего. Трансценденталии – это предельные понятия, для которых нельзя дать дефиницию, хотя допустимы описания [20. С. 111].

С. Борчиков, разрабатывающий современную теорию трансценденталий, предлагает следующую иерархию восхождения понятия по степени универсализации и предельности: понятие → универсалия → категория → полигония (поликатегория, многозначная категория) → трансценденталия. Трансценденталии превосходят категории, представляя собой «имманентную универсальную сущую поли-интенциональность» [21]. Как отмечает Ж. Эрцен, средневековые трансценденталии превосходят категории не в том смысле, что они обозначают некую отдельную реальность «за пределами» этих категорий. Трансценденталии превосходят категории потому, что они «проходят сквозь все из них» как нечто более общее, при этом не ограничивая бытие как одно из его определений, а будучи коэкстенсивными бытию [18. P. 93]. Средневековые трансценденталии – это то, что является общим для всех предикаций, то, что присуще всем сущим. Они указывают на общее для всех вещей в их существовании, поскольку любая вещь есть сущая, единая, истинная и благая [22. P. 191]. Согласно Филиппу Канцлеру (*Summa de Bono*, 1225–1228 гг.), трансценденции – наиобщие, поскольку они суть первые, и они первые, потому что наиобщие. Они предельно просты потому, что их разложение на логически более ранние термины, входящие в их дефиниции, невозможно [20. С. 112]. Об этом же пишет Кант на примере понятия существования: поскольку «все наше познание в конце концов сводится к дальше уже неразложимым понятиям», мы периодически сталкиваемся с ними в мышлении. Существование есть именно такое почти неразложимое понятие, его признаки «лишь ненамного яснее и проще, чем сама вещь» (AA II, 73–74) [23. С. 394].

Показательно, что именно у Дунса Скота, обосновавшего построение первой философии как *scientia transcendens*, возникает вопрос о том, откуда

мы получаем понятие Бога, весьма характерный для дискурса трансцендентальной теологии. Понятие Высшей сущности может транслироваться в разум самим Богом, или быть врожденной идеей, или же результатом божественной иллюминации (просветления, озарения). Все эти варианты Дунс Скот признает неудовлетворительными [20. С. 213]. Также очевидно, что понятие Бога не может быть получено на основании ранее известных разуму концептов. Если собственное понятие Бога не может быть логически выведено интеллектом и не может быть открыто с помощью *cognitio naturalis*, т.е. нашей природной познавательной способности, значит оно должно быть абстрагировано от тварных вещей. Но ни один из сотворенных объектов не может быть причиной репрезентации Бога в нашем уме [24. Р. 1–48]. Как отмечает А. Уолтер, дело не в том, что понятия, которыми мы обладаем, не соразмерны Божественной сущности, а в том, может ли человеческий разум вообще абстрагировать такое понятие. Если бы мы могли абстрагировать простое собственное понятие Бога, мы бы обладали реальным, хотя и несовершенным, знанием о Боге, закрепленным понятием, аналогичным по статусу понятиям сотворенных существ [25. Р. 42–43].

Важно, что Дунс Скот, как и Кант, не считает, что понятие Бога может быть врожденным. Но также мы не можем его абстрагировать. Doctor subtilis делает вывод: в соответствии со своей природой конечный интеллект может познавать Бога только с помощью понятия, общего для Бога и творения, и оно должно быть безусловно простым (*simpliciter simplex*) (*Ordinatio I, dist. 3, p. 1, q. 1.*). Таким общим понятием является трансценденталия *ens* (сущее) [26. С. 131].

### Понятие трансцендентального у Канта

В кантовской системе различие понятий «трансцендентный» и «трансцендентальный» становится смыслообразующим, сам же смысл этих понятий претерпевает значительные изменения. Суть кантовского понятия «трансцендентальное» принято выводить из онтологической позиции мыслителя, занятой им в критический период. Трансцендентальный идеализм Канта предполагает, что все явления суть репрезентации, а не вещи, созерцаемые сами по себе, и что пространство и время суть только чувственные формы нашего наглядного представления, а не данные сами по себе определения или условия объектов (А 369). Отсюда можно сделать вывод, что трансцендентальное – это нечто, относящееся не к объектам, и не к субъекту мышления, а к *условиям мыслимости объектов субъектом*. Но также нельзя пройти мимо второго смыслового аспекта трансцендентального у Канта – это *пограничная зона объективной реальности и разума*. Нечто, лежащее как в основе внешних явлений, так и в основе внутреннего созерцания, – это *трансцендентальный объект*. Он «не есть ни материя, ни мыслящее существо само по себе, он есть неизвестное нам основание явлений, дающее эмпирическое понятие» (А 379–380) [27. С. 330].

Идея трансцендентального возникает у Канта в связи с тем, что он обнаружил некий зазор между закономерностями разума и возможностью применять их к объективной реальности. В разуме функционируют понятия, не возникшие как абстракции из опыта или восприятия, и, тем не менее, применимые в познании. Поэтому *трансцендентальная логика* «имеет дело исклю-

чительно с законами рассудка и разума, но лишь постольку, поскольку они а priori относятся к предметам» (В 81) [27. С. 105]. Как отмечает Э. Кантериан, в докритический период основной метафизики для Канта была онтология, «истинная первая философия», которая имеет дело с общими предикатами вещей. Принципы познания предположительно были также онтологическими принципами или имели онтологическое значение. Подобное соответствие имеет место в теологии Б. Лонергана [28. С. 36]. Но затем Кант осознал, что существуют фундаментальные когнитивные отношения, которые не являются логическими, и что невозможно модифицировать принципы познания так, чтобы они были достаточными для обоснования метафизики [29. Р. 311]. Это и есть критический поворот Канта. В этой ситуации появляется понятие «трансцендентальный».

Кант в своей теологии не работает с трансценденталиями. Его понятийный аппарат принадлежит другой эпохе, поэтому для него не было актуальным различие понятий *сущее* (лат. ens, нем. das Seiende) и *бытие* (лат. essentia, нем. das Sein, das Dasein), и в целом он не использует понятие das Seiende, соответствующее трансценденталии ens. Однако трансцендентальный стиль мышления предшественников не чужд Канту. Он поднимает схоластическую проблему предикирования существования (Бытия) уже в своей ранней работе «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога» (AA II : 072) [23. С. 392]. Бытие не может быть предикатом; на этом тезисе будут основаны все кантовские опровержения доказательств, выводящих бытие Бога из Его возможности. Речь идет об аргументе, который мы находим, в частности, у Лейбница в Монадологии [30. С. 420]. Если Бог есть необходимое существо, то Он необходимо существует, если только он возможен; так познается существование Бога a priori. Но бытие не есть реальный предикат, это не понятие о чем-то таком, что могло бы присоединиться к понятию вещи. Бытие есть только полагание (Position) вещи или известных определений (В 626) [27. С. 469]. Реальность может быть предикатом, а бытие – нет, поскольку предикаты имеет только то, что существует, т.е. уже обладает бытием (AA XXVIII : 313) [2. С. 194]. Отрицая возможность доказательства бытия Бога на путях чистого умозрения, Кант мыслит существование как трансценденталию.

### От *scientia transcendens* к трансцендентальной теологии

Кант отнюдь не приветствует идею средневековых трансценденталий и тем более и не считает возможным включить эти «мнимотрансцендентальные предикаты вещей» (В 113–114) в число априорных категорий [27. С. 124]. Единство, истинность и совершенство (unum, verum, bonum) – это не новые категории, а лишь способы подводить «пользование категориями под общие логические правила согласия знания с самим собой» (В 115–116), причем невозможно проследить, как они относятся собственно к объектам познания. Дело, вероятно, в том, что трансценденталии не вписываются в собственную кантовскую структуру категорий. Их нельзя отнести к категориям качества, количества, отношения и модальности. Хотя сам Кант утверждает, что это три видоизмененные категории величины, возведенные до логических критериев возможности знания вообще; они нужны, чтобы регулировать сочетание «неоднородных частей знания в едином сознании» (В 115) [27. С. 124–125].

Тем не менее Кант не отрицает, что трансценденции – это неустранимый элемент и всякого мышления. Сложно не заметить, как много общего они имеют с кантовским понятием априорного. Благодаря априорному содержанию, наши утверждения содержат в себе истинную всеобщность и необходимость, что объясняется его неэмпирическим источником (А 2; В 3–4). Априорные понятия у Канта распространяются на все подпадающие под них эмпирические случаи, не допуская никакого исключения. Трансценденции также суть сверхкатегориальные, неэмпирические и наиобщие, они пронизывают представление о всякой вещи. Выражаясь языком Канта, они уже заранее аналитически включены во всякое понятие. Но все же их всеобщность имеет другой, более фундаментальный характер: если созерцания по Канту выборочно подпадают под те или иные априорные категории чистого рассудка, то трансценденции распространяются абсолютно на все понятия и представления.

Как полагает А. Хэмптон, Кант передислоцировал трансценденции из разума Бога, где они существовали как божественные идеи, в разум человека, где они стали категориями рассудка [22. Р. 194]. Это довольно распространенная точка зрения привела к далеко идущим последствиям, а именно к мнению, что Кант обезглавил религию гильотиной разума [31. Р. 131], т.е. уничтожил Бога [32. Р. 193], поставил разум на его место [33. Р. 8; 34. S. 284]. Кант одержим движением к моральной религии разума, и у него не остается ничего от христианства [35. Р. 46; 36. Р. 136]. Парадоксальным образом Кант, который хотел потеснить знание, чтобы дать место вере (В ХХХ), был воспринят как уничтожитель религии; эта ситуация показательна для трансцендентальной теологии с ее ярко выраженным рациональным стилем богопознания.

Возвратимся к вопросу о том, что произошло с трансценденциями в философии Канта. Мы не разделяем мнение Хэмптона о том, что Кант переместил их из божественного разума в человеческий, где они приняли вид априорных категорий. Мы полагаем, что он сохранил трансценденции как принцип, переосмыслив их содержание. На структурно-концептуальном уровне трансценденций у Канта находятся конечные идеалы чистого разума: свобода воли, бессмертие души и бытие Бога. Именно они носят абсолютный, предельный характер, образуя границу между чистым разумом, феноменом и ноуменом. Эти идеи на первый взгляд не пронизывают собой понятие о всякой вещи и не включены в него аналитически. Но они суть цели чистого применения разума. Это такой интерес разума, который «уже не подчинен более ничему» (В 826/А 798) [27. С. 589]. Трансцендентальные идеалы чистого разума суть предельные, внелогические основания, вне которых разум не может действовать. Это своего рода сверхтрансценденции, и первой из них в рамках теологии является Бог.

### **Бог как трансценденция у Канта**

Если у схоластов термин *transcendentia* указывал на логически исходные, не из чего не выводимые сверхкатегориальные основания мышления и несмысловый оттенок запредельного и превосходящего, у Канта термин «трансцендентальный» связан с идеей предельного, пограничного, смежного; трансцендентальное возникает в зазоре между явлениями и вещами самими

по себе. Бог, по Канту, – это *трансцендентальный* идеал чистого разума и как таковой он есть предел или граница между разумом и мыслимой реальностью: «Все многообразие вещей есть лишь многообразие способов ограничивать понятие высшей реальности, составляющее общий субстрат вещей, подобно тому как все фигуры возможны лишь как различные способы ограничения бесконечного пространства» (А 578/В 606) [27. С. 458]. Бог есть предмет идеала разума, находящийся только в разуме, и в этом своем модусе он *ens originarium* (первоначально сущее), *ens summum* (высочайшее сущее), *ens entium* (существо всех существ). Но все это не доказывает Его существования, поскольку трансцендентальная установка не касается объективного отношения действительного предмета к другим вещам. Бог как трансцендентальный идеал есть лишь отношение идеи к понятиям (А 579/В 607).

По Канту, основное понятие трансцендентальной теологии есть понятие первоначальной сущности. «Из этого понятия прежде всего вытекают два основных свойства: абсолютная необходимость и *omnisufficientia* (вседостаточность), состоящая во всеохватывающей реальности» (АА XXVIII : 323) [2. С. 200]. Идея Бога – это прообраз (*Prototypon*) всех вещей, которые заимствуют из него материал для своей возможности (А 578/В 606). Возможность всякой вещи, т.е. синтеза многообразия ее содержания, производна от возможности того, что заключает в себе всю реальность. Идея Бога характеризуется здесь аналогично средневековой трансценденталии.

Обобщим особенности трансцендентального понимания Бога:

- Его бытие недоступно умозрительному обоснованию и абстрагированию из опыта;
- Он есть предельное внелогическое не дискурсивное основание мышления, предшествующее всем предикациям и превышающее все категории;
- Он есть прототип всех вещей как идея их совокупной возможности;
- Бог есть конечная цель применения чистого разума;
- Бог есть абсолютный предел разума («больше чего нельзя помыслить», *id ipsum quo maius cogitari nequit* [37. Р. 118]) и то, через ограничение понятия чего мыслимо все остальное.

## Заключение

Мы выявили концептуальную преемственность между схоластическими трансценденталиями, с одной стороны, и кантовскими априорными идеями и идеалами чистого разума – с другой. Учение о трансценденталиях сообщило трансцендентальной теологии исключительную внимательность к логическому и когнитивному статусу идеи Бога, равно как к причинам ее возникновения в разуме. Трансцендентальная теология – это такая теология, которая ищет априорные основания веры в предельных основаниях разума.

Каков теологический потенциал трансценденталий и чем они являются по отношению к Богу? Безусловно, это категории, в которых может мыслиться Бог – Бог есть Сущий, Единый, Благой и Истинный. Вопрос о том, могут ли трансценденталии предикцироваться Богу является своего рода аналогией кантовскому вопросу о том, на основе каких понятий мы можем мыслить Бога. Бог есть существо, небытие которого невозможно. Однако остается вопрос, мыслим ли мы вообще что-либо посредством этого понятия или нет (А 593/В 621). Как чистое понятие разума идея Бога по Канту содержит в се-

бе лишь указание на известную, хотя и недостижимую полноту и скорее служит для того, чтобы ограничивать рассудок, чем расширять его (А 592/В 620) [27. С. 465–466]. Идея Бога в трансцендентальной теологии встроена в структуру разума, предполагается ею, не будучи при этом врожденной.

Представление о высшей сущности как о необходимом условии деятельности разума – еще одна особенность трансцендентальной теологии. Трансценденталии есть имманентные разуму, универсальные, логически неразложимые понятия, коэкстенсивные бытию, ничего к нему не добавляющие и неотмысливаемые от него. Идея Бога у Канта подобна трансценденталии – это идея всеохватывающей сущности, уничтожение которой одновременно было бы полным устранением всякого мышления (АА XXVIII : 309) [2. С. 192].

Кант наследует средневековую традицию доказательств существования Бога, но в то же время отвергает их состоятельность. Трансцендентальность теологии, начиная с Канта, на наш взгляд, сообщает в первую очередь этот аспект: необходимость допускать существование Бога как конечную цель чистого разума при невозможности обосновать Его существование [38, 39]. Вера для Канта не означает веры на основании авторитета или веры без основания. Это вера в то, во что у нас есть достаточные основания верить, но доказать это с абсолютной уверенностью мы не можем [40. Р. 9]. В этой связи в рамках трансцендентальной теологии очень важна идея, которую сформулировал уже Дунс Скот: идея Бога не может быть врожденной, она требует отыскания, хотя и превышает возможности разума.

В то же время слово «трансцендентальный» в рамках кантовской онтогносеологической позиции означает «условие, при котором что-то возможно» [41. Р. 5]. Как это применимо к теологии? С. Палмквист предлагает понимать трансцендентальную теологию как теорию условий возможности эмпирически реального религиозного опыта. С этих позиций Палмквист оценивает теологию Канта как «критические (или даже трансцендентальные) пролегомены к реальной (эмпирической) религии» [42. Р. 133]. Протестантский теолог Шуберт Огден идет дальше. Он полагает, что все религиозные положения и утверждения, включая и теологические, являются трансцендентальными, поскольку это всегда утверждения об условиях возможности человеческой субъективности [13. Р. 60]. Поэтому еще одна отличительная черта трансцендентальной теологии заключена в том, что ее метод соотносится с требованиями и возможностями самого человеческого сознания [28. С. 29].

#### Список источников

1. *Kant I.* Akademieausgabe. Abteilung IV: Vorlesungen. Band XXVIII. Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie. 2. Hälfte, Tl. 2 / ed. G. Lehmann. Walter de Gruyter GmbH, 1972. 552 S.
2. *Кант И.* Из рукописного наследия (материалы к «Критике чистого разума», *Opus postumum*). М. : Прогресс-Традиция, 2000. 752 с.
3. *Кант И.* Лекции о философском учении о религии (редакция К.Г.Л. Пёлица) / пер., прим. и послесл. Л.Э. Крыштоп ; под ред. А.Н. Круглова. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2016. 384 с.
4. *Crowe B.D.* Fichte's Transcendental Theology // *Archiv für Geschichte der Philosophie*. 2010. Vol. 92, Iss. 1. S. 68–88.
5. *Паткуль А.Б.* A priori и a posteriori: два пути философии к Богу у позднего Шеллинга // *Трансцендентальный журнал*. 2023. Т. 4, № 3 (12). URL: <https://transcendental.su/s271326680027856-1-1/> (дата обращения: 20.03.2024).

6. Крыштон Л.Э. Христиан Вольф и Иммануил Кант о бытии Бога // Кантовский сборник. 2022. № 4. С. 7–37.
7. Hanna R. Kant, Scientific Pietism, and Scientific Naturalism // Revista de Filosofia Aurora. 2016. Vol. 28. P. 583–604.
8. Грибенко В.В. К вопросу о влиянии пиетизма на формирование трансцендентального поворота в «критической» философии И. Канта // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2019. № 1 (3). С. 95–110.
9. Польсков К.О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 93–101. [http://vphil.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=163&Itemid=52](http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52) (дата обращения: 15.03.2024).
10. Катречко С.Л. Как возможна трансцендентальная теология? // Трансцендентальный журнал. 2023. Т. 4, № 3 (12). URL: <https://transcendental.su/s271326680029092-1-1/> (дата обращения: 20.03.2024).
11. Hendry G.S. The Transcendental Method in the Theology of Karl Barth // Scottish Journal of Theology. 1984. Vol. 37, № 2. P. 213–227.
12. Mackey J.P. Divine Revelation and Lonergan's Transcendental Method in Theology // Irish Theological Quarterly. 1973. Vol. 40. P. 3–19.
13. Knight J.A. Truth, Justified Belief, and the Nature of Religious Claims: Schubert Ogden's Transcendental Criterion of Credibility // American Journal of Theology & Philosophy. 2006. Vol. 27, № 1. P. 56–84.
14. Moloney R. S.J. The mind of Christ in transcendental theology: Rahner, Lonergan and Crowe // Heythrop Journal. 1984. Vol. 25, № 3. P. 288–300.
15. Avakian S. The 'Other' in Karl Rahner's Transcendental Theology and George Khodr's Spiritual Theology: Within the Near Eastern Context. Thesis. Peter Lang, 2012. 298 p.
16. Muck O. The transcendental method. Translated by William D. Seidensticker. New York : Herder & Herder, 1968. 356 p.
17. Bonaventure. Breviloquium. Opera Omnia V. / ed. Coll. S. Bonaventurae, Quaracchi, 1891. 606 p.
18. Aertsen J.A. Medieval Philosophy and the Transcendentals: The Case of Thomas Aquinas. Leiden ; New York ; Köln : E.J. Brill, 1996. X+468 p.
19. B. Ioannis Duns Scoti Opera Philosophica. Vol. 1: Quaestiones in Librum Porphyrii Isagoge et Quaestiones super Praedicamenta Aristotelis / ed. R. Andrews et al. New York, 1999. 652 p.
20. Федчук Д.А. Голос «Единого»: Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот. СПб. : Изд-во РХГА, 2019. 304 с.
21. Борчиков С. Система категорий (ч.36, полигория, трансценденталия) // Портал Философский штурм. URL: <http://philosophystorm.org/sistema-kategorii-ch36-poligoriya-transtsendentaliya> (дата обращения: 19.03.2024).
22. Hampton A.J.B. Transcendence and Immanence: Deciphering Their Relation through the Transcendentals in Aquinas and Kant // Toronto Journal of Theology. 2018. Vol. 34, Iss. 2. P.187–198.
23. Кант И. Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога // Сочинения : в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. М. : ЦОРО, 1994. Т. 1. С. 383–498.
24. Duns Scotus OFM. Ioannis Duns Scoti Opera omnia. T. III. Ordinatio I, dist. 3. Studio et cura Commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita. Civitas Vaticana : Typis Polyglottis Vaticanis, 1954. XIV+428 p.
25. Wolter A.B. The Transcendentals and Their Function in the Metaphysics of Duns Scotus. New York : The Franciscan Institute St. Bonaventure University, 1946. 204 p.
26. Иоанн Дунс Скот ОМБ. Ординация. Кн. I. Дистинкция 3. Ч. 1: О познаваемости Бога. Вопрос 1: Познаваем ли Бог природно интеллектом путника? / пер. В. Иванова // ESSE: Философские и теологические исследования. 2018. Т. 3, № 1. С. 121–180.
27. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н.О. Лосского с вариантами пер. на рус. и европ. языки. М. : Наука, 1999. 655 с.
28. Лонерган Б. S.J. Метод в теологии / пер. Г.В. Вдовиной. М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 400 с.
29. Kanterian E. Kant, God and Metaphysics: The Secret Thorn. Abingdon : Routledge, 2017. 444 p.
30. Лейбниц Г.В. Сочинения : в 4 т. / ред. и сост., авт. вст. ст. и прим. В.В. Соколов ; пер. Я.М. Боровского и др. М. : Мысль, 1982. Т. I. 636 с.
31. Heine H. On the History of Religion and Philosophy in Germany and Other Writings. New York : Cambridge University Press, 2007. XLI+218 p.

32. Rosen M. *The Shadow of God. Kant, Hegel, and the Passage from Heaven to History*. The Cambridge, Massachusetts & London, England : Belknap Press of Harvard University Press, 2022. 416 p.
33. Taylor Ch. *A Secular Age*. Cambridge, Massachusetts & London, England : Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 874 p.
34. Deussen P. *Allgemeine Geschichte der Philosophie*. Bd. 2(3): *Neuere Philosophie von Descartes bis Schopenhauer*. Leipzig : F.A. Brockhaus, 1922. 568 p.
35. Edwards R.B. *Reason and Religion*. Washington, DC : University Press of America, 1979. 386 p.
36. Sala G.B. “Est Deus in nobis”. Überlegungen zu einer revolutionierenden Interpretation des Gottespostulats in Kants Kritik der praktischen Vernunft // *Philosophischer Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*. 2007. Bd. 114. S. 117–137.
37. *St. Anselm's Proslogion*. By Anselm; M.J. Charlesworth; Gaunilo. Notre Dame, Indiana : University of Notre Dame Press, 1979. 196 p.
38. Palmquist S.R. Faith as Kant's Key to the Justification of Transcendental Reflection // *The Heythrop Journal*. 1984. Vol. 25, Iss. 4. P. 442–455.
39. Мёдова А.А. Идея Бога как условие работы разума в трансцендентальной теологии Канта // *Философская мысль*. 2024. № 2. С. 1–15. URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=69754](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69754) (дата обращения: 19.03.2024).
40. Ewing A.C. *A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason*. London, 1950. 278 p.
41. Adams N. *Kant // Blackwell Companion to Nineteenth Century Theology* / ed. D. Fergusson. Oxford : Blackwell, 2011. P. 3–30.
42. Palmquist S.R. Does Kant reduce religion to morality? // *Kant-Studien*. 1992. Vol. 83. P. 129–148.

### References

1. Kant, I. (1972) *Akademieausgabe. Abteilung IV: Vorlesungen. Band XXVIII. Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie*. 2. Hälfte, Tl. 2. Edited by G. Lehmann. Walter de Gruyter GmbH.
2. Kant, I. (2000) *Iz rukopisnogo naslediya (materialy k “Kritike chistogo razuma”, Opus postumum)* [From the Handwritten Legacy (Materials for the “Critique of Pure Reason”, Opus postumum)]. Translated from German. Moscow: Progress-Traditsiya.
3. Kant, I. (2016) *Leksii o filosofskom uchenii o religii (redaktsiya K.G.L. Pelitsa)* [Lectures on the Philosophical Doctrine of Religion (C.G.L. Pöhlitz edition)]. Translated by L.E. Kryshtop. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitatsiya”.
4. Crowe, B.D. (2010) Fichte's Transcendental Theology. *Archiv für Geschichte der Philosophie*. 92(1), pp. 68–88.
5. Patkul, A.B. (2023) A priori i a posteriori: dva puti filosofii k Bogu u pozdnego Shellinga [A priori and a posteriori: Two Paths of Philosophy to God in the Late Schelling]. *Transcendental'nyy zhurnal*. 4(3(12)). [Online] Available from: <https://transcendental.su/s271326680027856-1-1/> (Accessed: 20th March 2024).
6. Kryshtop, L.E. (2022) Khristian Vol'f i Immanuel Kant o bytii Boga [Christian Wolff and Immanuel Kant on the Existence of God]. *Kantovskiy sbornik*. 4. pp. 7–37.
7. Hanna, R. (2016) Kant, Scientific Pietism, and Scientific Naturalism. *Revista de Filosofia Aurora*. 28. pp. 583–604.
8. Gribenko, V.V. (2019) K voprosu o vliyaniy pietizma na formirovanie transtsedental'nogo povorota v “kriticheskoy” filosofii I. Kanta [On the Question of the Influence of Pietism on the Formation of the Transcendental Turn in I. Kant's “Critical” Philosophy]. *Sotsial'nye i gumanitarnye nauki: teoriya i praktika*. 1(3). pp. 95–110.
9. Polyskov, K.O. (2010) K voprosu o nauchnom bogoslovskom metode [On the Question of the Scientific Theological Method]. *Voprosy filosofii*. 7. pp. 93–101. [Online] Available from: [http://vphil.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=163&Itemid=52](http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52) (Accessed: 15th March 2024).
10. Katrechko, S.L. (2023) Kak vozmozhna transtsedental'naya teologiya? [How is Transcendental Theology Possible?]. *Transcendental'nyy zhurnal*. 4(3(12)). [Online] Available from: <https://transcendental.su/s271326680029092-1-1/> (Accessed: 20th March 2024).
11. Hendry, G.S. (1984) The Transcendental Method in the Theology of Karl Barth. *Scottish Journal of Theology*. 37(2). pp. 213–227.
12. Mackey, J.P. (1973) Divine Revelation and Lonergan's Transcendental Method in Theology. *Irish Theological Quarterly*. 40. pp. 3–19.

13. Knight, J.A. (2006) Truth, Justified Belief, and the Nature of Religious Claims: Schubert Ogden's Transcendental Criterion of Credibility. *American Journal of Theology & Philosophy*. 27(1). pp. 56–84.
14. Moloney, R.S.J. (1984) The mind of Christ in transcendental theology: Rahner, Lonergan and Crowe. *Heythrop Journal*. 25(3). pp. 288–300.
15. Avakian, S. (2012) The 'Other' in Karl Rahner's Transcendental Theology and George Khodr's Spiritual Theology: Within the Near Eastern Context. Thesis. Peter Lang.
16. Muck, O. (1968) *The transcendental method*. Translated by W.D. Seidensticker. New York: Herder & Herder.
17. Bonaventure (1891) *Opera Omnia V*. Edited by Collegium S. Bonaventurae. Quaracchi: [s.n.].
18. Aertsen, J.A. (1996) *Medieval Philosophy and the Transcendentals: The Case of Thomas Aquinas*. Leiden, New York, Köln: E.J. Brill.
19. Duns Scotus, J. (1999) *Quaestiones in Librum Porphyrii Isagoge et Quaestiones super Praedicamenta Aristotelis*. In: Andrews, R. et al. (eds) *B. Ioannis Duns Scoti Opera Philosophica*. Vol. 1. New York: [s.n.].
20. Fedchuk, D.A. (2019) *Golos "Edinogo": Al'bert Velikiy, Foma Akvinskiy i Duns Skot* [The Voice of the "One": Albert the Great, Thomas Aquinas, and Duns Scotus]. St. Petersburg: Russian Christian Academy for the Humanities.
21. Borchikov, S. (n.d.) Sistema kategoriy (ch.36, poligoriya, transtsendentaliya) [System of Categories (part 36, Polygory, Transcendentia)]. *Portal Filosofskiy shturm*. [Online] Available from: <http://philosophystorm.org/sistema-kategorii-ch36-poligoriya-transtsendentaliya> (Accessed: 19th March 2024).
22. Hampton, A.J.B. (2018) Transcendence and Immanence: Deciphering Their Relation through the Transcendentals in Aquinas and Kant. *Toronto Journal of Theology*. 34(2). pp. 187–198.
23. Kant, I. (1994) *Sochineniya: v 8 t.* [Works: In 8 vols.]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Choro. pp. 383–498.
24. Duns Scotus, OFM. (1954) *Ioannis Duns Scoti Opera omnia*. Vol. III. Civitas Vaticana: Typis Polyglottis Vaticanis.
25. Wolter, A.B. (1946) *The Transcendentals and Their Function in the Metaphysics of Duns Scotus*. New York: The Franciscan Institute St. Bonaventure University.
26. Ioann Duns Skot OMB (2018) Ordinatsiya. Kn. I. Distinktsiya 3. Ch. 1: O poznavаемosti Boga. Vopros 1: Poznavaem li Bog prirodno intellektom putnika? [Ordinatio. Book I. Distinction 3. Part 1: On the Knowability of God. Question 1: Is God Naturally Knowable by the Intellect of the Wayfarer?]. Translated by V. Ivanova. *ESSE: Filosofskie i teologicheskie issledovaniya*. 3(1). pp. 121–180.
27. Kant, I. (1999) *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. Translated by N.O. Losskiy. Moscow: Nauka.
28. Lonergan, B.S.J. (2010) *Metod v teologii* [Method in Theology]. Translated by G.V. Vdovina. Moscow: Institute of Philosophy, Theology and History of St. Thomas.
29. Kanterian, E. (2017) *Kant, God and Metaphysics: The Secret Thorn*. Abingdon: Routledge.
30. Leibnitz, G.W. (1982) *Sochineniya: v 4 t.* [Works: In 4 vols.]. Vol. I. Translated by Ya.M. Borovskiy et al. Moscow: Mysl'.
31. Heine, H. (2007) *On the History of Religion and Philosophy in Germany and Other Writings*. New York: Cambridge University Press.
32. Rosen, M. (2022) *The Shadow of God. Kant, Hegel, and the Passage from Heaven to History*. Cambridge, Massachusetts & London, England: Belknap Press of Harvard University Press.
33. Taylor, Ch. (2007) *A Secular Age*. Cambridge, Massachusetts & London, England: Belknap Press of Harvard University Press.
34. Deussen, P. (1922) *Allgemeine Geschichte der Philosophie*. Bd. 2(3): Neuere Philosophie von Descartes bis Schopenhauer. Leipzig: F. A. Brockhaus.
35. Edwards, R.B. (1979) *Reason and Religion*. Washington, DC: University Press of America.
36. Sala, G.B. (2007) "Est Deus in nobis". Überlegungen zu einer revolutionierenden Interpretation des Gottespostulats in Kants Kritik der praktischen Vernunft. *Philosophischer Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*. 114. pp. 117–137.
37. Anselm, St. (1979) *St. Anselm's Proslogion*. By Anselm; M.J. Charlesworth; Gaunilo. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
38. Palmquist, S.R. (1984) Faith as Kant's Key to the Justification of Transcendental Reflection. *The Heythrop Journal*. 25(4). pp. 442–455.

39. Medova, A.A. (2024) Ideya Boga kak uslovie raboty razuma v transtsendental'noy teologii Kanta [The Idea of God as a Condition for the Work of Reason in Kant's Transcendental Theology]. *Filosofskaya mysl'*. 2. pp. 1–15. [Online] Available from: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=69754](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69754) (Accessed: 19th March 2024).

40. Ewing, A.C. (1950) *A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason*. London: [s.n.].

41. Adams, N. (2011) Kant. In: Fergusson, D. (ed.) *Blackwell Companion to Nineteenth Century Theology*. Oxford: Blackwell. pp. 3–30.

42. Palmquist, S.R. (1992) Does Kant reduce religion to morality? *Kant-Studien*. 83. pp. 129–148.

***Сведения об авторе:***

**Мёдова А.А.** – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социальных наук Института социального инжиниринга Сибирского государственного университета науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева (Красноярск, Россия); профессор кафедры музыкально-художественного образования Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Красноярск, Россия). E-mail: [amedova@list.ru](mailto:amedova@list.ru)

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Medova A.A.** – Dr. Sci. (Philosophy), professor at the Department of Philosophy and Social Sciences, Institute of Social Engineering, Reshetnev Siberian State University of Science & Technology (Krasnoyarsk, Russian Federation); professor at the Department of Music and Artistic Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: [amedova@list.ru](mailto:amedova@list.ru)

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 20.03.2024;*

*одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 20.03.2024;*

*approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 1(100) (091)

doi: 10.17223/1998863X/89/7

## ФЕНОМЕН НЕОДНОРОДНОГО И НЕСЕКУЛЯРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: У ИСТОКОВ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ПОВОРОТА КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В.

**Валентин Валентинович Яковлев**

*Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень, Россия,  
v-yakovlev@yandex.ru*

**Аннотация.** Поднимается проблема преодоления стереотипов о преимущественной однородности и антирелигиозной – секулярной направленности Просвещения. Проведён аналитический обзор отдельных фрагментов работ Дж.Г.А. Покока, Р.С. Портера, Дж.Ч.Д. Кларка, Б.У. Янга, Дж. Шихана – одних из первых последовательных представителей религиозно-философского и теологического поворота в интерпретациях Просвещения. Подчёркивается, что ими сформирован актуальный дискурс осмысления феномена неоднородного и несекулярного Просвещения, убедительно обосновывающий важность места, роли, функций религии и теологии в эпоху Просвещения.

**Ключевые слова:** Просвещение, историография, секуляризация, религиозная философия, теология

**Для цитирования:** Яковлев В.В. Феномен неоднородного и несекулярного просвещения: у истоков историографического поворота конца XX – начала XXI в. // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 75–85. doi: 10.17223/1998863X/89/7

Original article

## THE HETEROGENEOUS AND NON-SECULAR ENLIGHTENMENT: AT THE ORIGINS OF THE HISTORIOGRAPHIC TURN OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES

**Valentin V. Yakovlev**

*Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation, v-yakovlev@yandex.ru*

**Abstract.** This article raises the problem of overcoming stereotypes concerning the predominant homogeneity and anti-religious – that is, secular – orientation of the Enlightenment. It is noted that the study of Western historiography of the Enlightenment is of significant importance in finding solutions to this problem. Toward the end of the twentieth and the beginning of the twenty-first centuries, an approach crystallized whose proponents began to substantiate successfully the importance of the place, role, and functions of religion and theology in the Age of Enlightenment. The author proposes calling this development a religious-philosophical and theological turn in interpretations of the Enlightenment. Overall, the relevance of the article is reinforced by the need to draw attention to the phenomenon of a heterogeneous and non-secular Enlightenment. This article provides an analytical review of selected fragments from the works of J. G.A. Pocock, R.S. Porter, J.C.D. Clark, B.W. Young, and J. Sheehan – some of the first consistent representatives of the aforementioned historiographic turn. Particular attention is paid to the ideas of Pocock, Clark, and Young concerning the British Enlightenment, which they

explicitly or implicitly identified as a striking case of the implementation of programs characteristic of a heterogeneous and non-secular Enlightenment. As a result, the defining elements of the discourse through which these scholars understand the phenomenon of a heterogeneous and non-secular Enlightenment are presented. In summary: (1) following R.S. Porter, it is necessary to recognize that the Enlightenment assumed multiple forms, conditioned by the specific socio-political circumstances of different regions; (2) according to J.G.A. Pocock, the activity of the Anglican Church is fundamental to the history of Britain in the eighteenth century—the Age of Enlightenment; (3) in agreement with B. W. Young, the English Enlightenment was undeniably clerical and intellectually conservative, as evidenced by the involvement of clerics in organizing fruitful polemics; (4) in line with the conclusions of J.C.D. Clark, contrary to the established opinion, the process of secularization did not occur in England in the seventeenth and eighteenth centuries; (5) following the position of J. Sheehan, as is evident from research trends of the late twentieth and early twenty-first centuries, the Enlightenment is naturally losing the status previously attributed to it as the starting point of inevitable secularization. All of the foregoing allows the author of the article to emphasize that the researchers in question shaped a relevant discourse for understanding the phenomenon of a heterogeneous and non-secular Enlightenment, convincingly substantiating the importance of the place, role, and functions of religion and theology in the Age of Enlightenment.

**Keywords:** Enlightenment, historiography, secularization, religious philosophy, theology

**For citation:** Yakovlev, V.V. (2026) The heterogeneous and non-secular Enlightenment: at the origins of the historiographic turn of the late 20th – early 21st centuries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 75–85. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/7

## 1. Введение

Просвещение – идейное движение и эпоху – чаще всего воспринимают и оценивают как приблизительно однородное явление, одними из главных компонентов которого были продвигаемые философами программы секуляризации и всевозможной критики религии и теологии (прямо или опосредованно направленной на христианство). Классические примеры разработки подобных сущностных характеристик Просвещения встречаются в монументальной двухтомной монографии Питера И. Гэя<sup>1</sup> «Просвещение: интерпретация». Подход Гэя к теме ожидаемо раскрывается на первых страницах первого тома «Зарождение современного язычества» [1]. Здесь первая часть вступления – «Просвещение в своём мире», носящая подзаголовок «Группка философов», начинается следующими словами: «[в] XVIII в. было много философов, но Просвещение было только одно» [1. Р. 3]. С точки зрения Гэя, образовывавшие абсолютно неорганизованное объединение культурные критики, религиозные скептики, политические реформаторы, философы Британии, Западной Европы и Северной Америки были «шумным хором» с малочисленными диссонирующими голосами. Однако Гэя поражало их общее единство, а не спорадические расхождения. По его убеждению, деятелей Просвещения объединяла чрезвычайно амбициозная программа – секуляризма, гуманизма, космополитизма, свободы в многообразии её форм.

Гэй акцентировал также, что И. Кант (опираясь на аналогичные сентенции других интеллектуалов) призвал рассматривать Просвещение как заявление человека о достижении им состояния зрелости и ответственности [1]. Собственно согласие, с которым философы отстаивали это заявление, и самое

---

<sup>1</sup> Peter Joachim Gay (nee Fröhlich); 1923–2015; Yale University, USA.

заявление превращают Просвещение в столь весомый факт истории западного мышления [1. Р. 3–4]. Но, как резюмировал Гэй, единство не сопровождалось единодушием. Для философской коалиции были свойственны расхождения по философским и политическим вопросам, так что иногда она находилась под угрозой исчезновения. Лишь отдельные философы сохраняли приверженность угасающим ориентирам воспитавшей их христианской школьной традиции. Некоторые стали проявлять интерес к атеизму и материализму. Кто-то сохранял верность династической власти. Радикалы разрабатывали идеи демократии [1. Р. 4].

Однако сообразно с замечаниями Уильяма Ф. Бристоу<sup>1</sup>, сделанными им в тематической статье, размещённой в электронной Стэнфордской философской энциклопедии [2], Просвещение правильнее репрезентировать не как «врага» религии, но как движение, направленное на критику присущих религии суеверий, экзальтации, фанатизма и веры в сверхъестественное. В связи с чем Бристоу также нашёл нужным выделить, что и Вольтер острие своей критики направлял против французской католической Церкви, но не против религии самой по себе [2]. Приведённые соображения Бристоу выглядят более чем уместными и как нельзя лучше очерчивающими поднимаемую в данной статье проблему преодоления стереотипов о преимущественной однородности и антирелигиозной – секулярной направленности Просвещения.

Существенное значение при поиске решений этой проблемы имеет изучение западной историографии Просвещения. Здесь в конце XX – начале XXI в. получил оформление подход, выразители которого стали с успехом обосновывать важность места, роли, функций религии и теологии в эпоху Просвещения. Автор настоящей статьи предлагает называть указанный процесс религиозно-философским и теологическим поворотом в интерпретациях Просвещения. В числе провозвестников этого поворота были Дж. Тонелли<sup>2</sup> и В. Шнайдерс<sup>3</sup>, плодотворно описывавшие в своих трудах случаи национального, культурного, содержательного многообразия западноевропейского Просвещения [3, 4]. Одними из первых последовательных представителей характеризуемого историографического поворота были Дж.Г.А. Покок<sup>4</sup>, Р.С. Портер<sup>5</sup>, Дж.Ч.Д. Кларк<sup>6</sup>, Б.У. Янг<sup>7</sup>, Дж. Шихан<sup>8</sup>. Шихан также внёс неоценимый вклад в систематизацию западной историографии неоднородного и несекулярного Просвещения, принадлежащей периоду конца XX – начала XXI в.: ссылки на его капитальное историографическое эссе [5] в основной части подготовленной статьи объективируют присутствующие в нём основательные комментарии и справочно-библиографическую информацию.

Таким образом, актуальность статьи подкрепляется следующими обстоятельствами: 1) необходимостью привлечения внимания к феномену неоднородного и несекулярного Просвещения, к идеям одних из первых последовательных представителей религиозно-философского и теологического

<sup>1</sup> William Fred Bristow; born in 1964; University of Wisconsin–Milwaukee, USA.

<sup>2</sup> Giorgio Tonelli; 1928–1978; State University of New York at Binghamton, USA.

<sup>3</sup> Werner Schneiders; 1932–2021; Universität Münster, Deutschland.

<sup>4</sup> John Greville Agard Pocock; 1924–2023; Johns Hopkins University, USA.

<sup>5</sup> Roy Sydney Porter; 1946–2002; University College London, UK.

<sup>6</sup> Jonathan Charles Douglas Clark; born in 1951; University of Kansas, USA.

<sup>7</sup> Brian Walter Young; born in 1963; College Christ Church, Oxford, UK.

<sup>8</sup> Jonathan Sheehan; born in 1969; University of California, Berkeley, USA.

поворота в интерпретациях Просвещения; 2) принципиальной перспективностью и практической значимостью преодоления стереотипов восприятия и оценок Просвещения, выражающихся в приписывании ему преимущественной однородности и антирелигиозной – секулярной направленности; 3) сопряжённостью проблематики текста с актуальной проблематикой недавних произведений отечественных авторов – М.Ю. Кречетовой, Л.Э. Крыштоп, И.С. Дмитриева, В.П. Леги, В.В. Слепцовой, Е.Б. Хитрук, изучивших в них, соответственно, вопросы Контрпросвещения [6], истолкования феномена немецкого Просвещения [7], влияния теологии и религии на натурфилософию Просвещения [8], на физику раннего Нового времени [9], а также вопросы ведущихся в современных аналитической философии и философии религии обсуждений доктрин теизма и атеизма [10, 11].

Цель статьи заключается в представлении определяющих элементов дискурса осмысления феномена неоднородного и несекулярного Просвещения Дж.Г.А. Пококом, Р.С. Портером, Дж.Ч.Д. Кларком, Б.У. Янгом, Дж. Шиханом. Задача состоит в проведении аналитического обзора отдельных фрагментов содержательно ключевых работ перечисленных специалистов. Особое внимание уделено идеям Покока, Кларка и Янга о Просвещении Британии, явно либо косвенно обозначенном ими в качестве яркого казуса реализации программ неоднородного и несекулярного Просвещения.

## **2. Феномен неоднородного и несекулярного Просвещения в оценках экспертов**

Можно согласиться с выводом Шихана, сводящимся к тому, что произошедшее в конце XX – начале XXI в. постепенное возвращение вопросов религии в повестку исследований Просвещения произошло на фоне начавшегося с 1989 г. широкого восстановления в гуманитарном научном сообществе интереса к религиозной тематике вообще [5. Р. 1062]. Шихан разъяснил содержательную грань приведённого им хронологического маркера в конце своей обзорной статьи. По его словам, после названного года произошло крушение политической определённости XX в., и на «проект современности» стали неизбежно влиять неотступные «призраки религиозной политики» [5. Р. 1079].

Но, естественно, соответствующие труды издавались и раньше. Одним из первых разработчиков центральной для этой статьи тематики неоднородного и несекулярного Просвещения стал Рой С. Портер. В 1981 г. вышел в свет сборник статей «Просвещение в национальном контексте», редакторами которого стали Портер и Микулаш Тейч<sup>1</sup>. Портером подготовлено и знаковое предисловие к сборнику [12]. Здесь констатируется, что продолжает сохраняться по меньшей мере один значительный пробел в нашем понимании Просвещения: оно недостаточно изучено как «культурное движение» в его географическом, социально-политическом ракурсах. У специалистов всё ещё в обиходе суждения о том, что Просвещение являло собой систему социально обезличенных воззрений. Из-за того, что философы Просвещения выдвигали на первый план свой космополитизм, нашлись историки, считающие ненужным принимать в расчёт особенности социально-политической среды, в которой те находились. Иные же аналитики исходили из того, что квинтэссен-

---

<sup>1</sup> Mikuláš Teich; 1918–2018; Robinson College, Cambridge, UK.

цией Просвещения был его французский вариант, возвращённый в Les Délices<sup>1</sup> и Париже.

В противоположность этому Портер настаивал на важности признания факта множественности форм Просвещения, обусловленных различными социально-политическими условиями. Согласно Портеру, существуют стереотипы об атеистической, радикальной, скептической, литературной и салонной направленностях французского Просвещения; но они не универсальны и неприменимы, когда приходится фиксировать иные роли просветительских элит в других странах [5. P. 1066–1067, 1071; 12. P. vii].

Заметным событием в рассматриваемой историографии стала публикация в 1995 г. сборника эссе «Рубежи ортодоксии: неортодоксальная литература и культурный отклик, 1660–1750» под редакцией Роджера Д. Ланда<sup>2</sup>. Открывает сборник и его первую часть – «Идеология и истоки гетеродоксии» статья Джона Г.А. Покока «На рубежах: определения ортодоксии» [13]. Им произведён весьма глубокий анализ трактовок истории со стороны приверженцев гетеродоксии и ортодоксии. Его мысль была обращена к интересному парадоксу и «полезной полуправде» западной либеральной культуры: историю здесь часто пишут «проигравшие» («losers»), воспринимающие себя победителями и теми, кто, проиграв, держит «ключи от будущего». Так, (британскую. – В.Я.) историю написали в основном неконформисты<sup>3</sup> или те, кто сочувствовал неконформизму и не исключал того, что общественный прогресс равен движению «от ортодоксии к гетеродоксии» [13. P. 33].

Следуя дальнейшим размышлениям Покока, укоренившуюся парадигму прогресса поддерживает то допущение, что ортодоксия текущего времени является мёртвой и статичной, а «горчичным зерном, солью» является гетеродоксия текущего времени; и в этой логике история как процесс сводится к «краткосрочному подрыву ортодоксии гетеродоксией» [13. P. 34]. В частности, постпротестантские интеллектуалы либеральной культуры конца XX в. некоторым образом живут в рамках «ортодоксии гетеродоксии», называемой постмодернизмом [13. P. 34–35]. В контексте этих комментариев Покок резонно заметил, что парадигма гетеродоксии вполне естественно может представлять в виде ортодоксии (самый простой и яркий пример – непосредственно англиканство. – В.Я.). Но он подчеркнул, что недостаточно относиться к истории как к бесконечной цепочке выпархивающих из коконов бабочек. По его убеждению, можно лучше понимать историю, если не отвергать то, что у ортодоксии есть собственная история во всей полноте и взаимосвязях [13. P. 35].

По убеждению Покока, в протестантских культурах Просвещение стало фактическим продолжением Synod of Dort<sup>4</sup>. Однако «англо-американский мир был преимущественно английским», и ортодоксия, поборники которой,

<sup>1</sup> Дом в Женеве (фр. Les Délices – «наслаждение», «блаженство»), где жил и работал Ф.-М. Аруэ – Вольтер (1755–1760).

<sup>2</sup> Roger Dean Lund; born in 1949; Le Moyne College, Syracuse, New York, USA.

<sup>3</sup> Неконформисты (англ. nonconformists – «несогласные») – обособившиеся от англиканской Церкви инакомыслящие; синоним – диссентеры (от англ. dissent – «разногласие», к лат. dissentio – «не соглашаюсь»).

<sup>4</sup> Дортский синод (г. Дордрехт, Голландия; 11 / 13.11.1618–09.05.1619), утвердивший «Пять пунктов кальвинизма».

несомненно, стремились к господству после 1660 г.<sup>1</sup>, ассоциировалась с доктринами не кальвинистской Церкви, а Церкви Англии [13. Р. 36]. Покок также уведомил читателя, что признание им основополагающего значения для британской истории XVIII в. деятельности официальной Церкви базируется на соответствующем подходе Джонатана Ч.Д. Кларка, выкристаллизованном в его знаковой монографии «Английское общество 1688–1832: Идеология, социальная структура и политическая практика в период Старого порядка»<sup>2</sup> [5. Р. 1066; 13. Р. 36–37; 14].

В 1998 г. была опубликована монография Брайана У. Янга «Религия и Просвещение в Англии XVIII в.: Теологические дебаты от Локка до Бёрка» [15]. Очерчивая здесь предметное поле своего исследования, Янг поделился мыслями о своеобразии британского Просвещения. Он оттенил, что представитель кальвинистского возрождения в англиканской Церкви Джозеф Милнер<sup>3</sup> осудил «дух века» за чрезмерное увлечение рассуждениями. Милнера особенно беспокоило то безразличие, с каким англиканское духовенство воспринимало кальвинистское учение о благодати; однако, как полагал Янг, в пространном смысле целесообразно понимать, что общие упреки Милнера в адрес Церкви, переполненной сторонниками разума, принадлежали к составу похожей критики, высказывавшейся другими интеллектуалами XVIII в.

Согласно Янгу, обращение в монографии к релевантным идеям Джона Локка обусловлено их решающим влиянием на изучаемую британскую религиозную мысль периода 1690–1780 гг. [15. Р. 1]. По Янгу, Локк положительно оценивал «дух», заклеименный Милнером: об этом свидетельствует хвалебное упоминание Локка о «нашем знающем веке» в «Послании к читателю» из «Опыта о человеческом разумении» (1689 г.) [15. Р. 1–2]. Янг напомнил также, что в рассматриваемую эпоху для её характеристики помимо словосочетания «знающий век» использовали и другие выражения, в числе которых частотой использования отличается конструкция «просвещенный век». В одном из своих сочинений возвеличивал своё время – «этот просвещенный век» священник-диссентер Джозеф Пристли<sup>4</sup>. Хотя нужно понимать, что он не распространял понятие просвещенности на каких бы то ни было выразителей интересов англиканства. Янг заключил, что условный спектр, образуемый идеями Локка и Пристли, вмещает в себя основные положения многих деятелей своеобразного английского клерикального Просвещения [15. Р. 2]. По замечанию Янга, в своей работе он углубляет выводы Дж.Г.А. Покока (см. у Янга ссылки на труды Покока в сносках 7 и 10. – В.Я.) о неоспоримой клерикальности и интеллектуальной консервативности английского Просвещения, что достигается за счёт приведения свидетельств вовлеченности представителей клерикальной культуры в организацию плодотворных полемики [5. Р. 1067–1068; 15. Р. 3].

<sup>1</sup> Первый год периода Реставрации Стюартов (1660–1688).

<sup>2</sup> Старый порядок (фр. Ancien Régime, англ. Old Order) – понятие, обычно используемое для характеристики общественно-политического устройства дореволюционной Франции (до 1789). У Кларка применительно к истории Британии – эпоха от «Славной революции» (1688–1689), результатом которой стало низложение Якова II Стюарта (во втором издании монографии (см. ниже) – от Реставрации Стюартов) до Избирательной реформы 1832.

<sup>3</sup> Joseph Milner; 1744–1797.

<sup>4</sup> Joseph Priestley; 1733–1804.

В 2000 г. состоялась публикация во второй исправленной редакции уже упомянутой монографии Дж.Ч.Д. Кларка, приобретшей и откорректированное заглавие: «Английское общество 1660–1832: Религия, идеология и политика в период Старого порядка» [14, 16]. Как и в первом издании, освещение религиозной проблематики или связанных с ней вопросов занимает здесь одно из центральных мест. Третий пункт Введения, имеющего развёрнутый подзаголовок – «Природа Старого порядка», носит название «Конфессиональное государство».

По Кларку, в политическом словаре Старого порядка можно найти синонимы современного понятия «конфессиональное государство». В искомом контексте англичанам XVIII в. было свойственно говорить о «единообразии»; последнее, безусловно, восполнялось «терпимостью» (к многочисленным сектам диссентеров. – *В.Я.*), что, впрочем, не предполагало отвержения казуса «установления» Церкви<sup>1</sup> либо «верховенства» Короны в церковном управлении [16. Р. 28].

Кларк заострил внимание на том, что в данной монографии он опосредованно оспаривает устоявшиеся суждения, в соответствии с которыми в Англии XVII–XVIII вв. происходил «некий естественный процесс секуляризации» [16. Р. 28–29]. Противопоставление науки и религии, ставшее нормативным в XX в., тогда ещё не находилось в широком употреблении. Атеистов среди естествоиспытателей почти не было. Зато во множестве (наподобие Ньютона и Пристли) встречались обладатели самобытных или гетеродоксальных воззрений о Боге. Немногочисленные атеисты чаще всего принадлежали к кругам философов. По мысли Кларка, не в пример французскому, английское естественно-научное знание не превратилось в некий механизм по вытеснению «традиционных» (“traditional”) верований. Напротив, после Реставрации в Англии Церковь стала инициатором альянса с формирующимся естественно-научным знанием, который ей удавалось успешно поддерживать до середины XIX в. Кларк ниже выдвинул сентенцию, по которой христианство, начиная с Реформации и до XIX в., стремилось к реализации такой модели взаимодействия с «материальной сферой», которая указывала на отсутствие существенных различий между ними. Безотносительно к тому, вера или дела ставились во главу угла, результат воплощался в практическом взаимодействии [16. Р. 29]. Клирики всех вероисповеданий, представители разнообразных религиозно-теологических направлений и школ сходились во мнении об отсутствии непреодолимых преград между видимым и невидимым [16. Р. 29–30]. А католические и протестантские сектанты и диссентеры порой превосходили в рвении клириков, отстаивая тезис о зависимости людей от целей Бога.

Кларк был склонен думать, что в последние пятьдесят лет существования Старого порядка в Англии наиболее заметным был подъём не неверия, а диссентерства – инакомыслия. Также не вполне понятно, можно ли говорить о наличии секуляризации в смысле проведения последовательных разработок постулатов материализма. Решающий вызов государственной религии и её

---

<sup>1</sup> Церковь Англии (The Church of England) является государственной Церковью на положении «by law established» («установленной законом»), закреплённом в ходе и после английской Реформации XVI в. многочисленными законодательными актами.

социальным функциям исходил от идейных носителей гетеродоксальной теологии [5. Р. 1062, 1069–1070, 1072–1073; 16. Р. 30].

Наконец, уместно обратиться к описанию ряда концептуальных положений о неоднородном и несекулярном Просвещении, высказанных Джонатаном Шиханом в его фундаментальной обзорной статье «Просвещение, религия и загадка секуляризации», опубликованной в 2003 г. [5]. В понимании Шихана, возрастание интереса к религиозной тематике Просвещения было весьма драматичным. Ибо по традиции преимущественно Просвещение воспринималось в образе «колыбели секулярного мира» [5. Р. 1063]. В соответствии с выводом Шихана, до недавнего времени вне зависимости от оптимистичной или пессимистичной направленности соображения о Просвещении фокусировались на том, что оно обесценило значимость религии в человеческом опыте, дискредитировало религиозные взгляды на «природу, общество и человечество» [5. Р. 1065–1066] (уже упоминавшийся выше П. Гэй в интерпретациях Шихана предстаёт как один из идейных вдохновителей такого рода объяснений [5]). Исходя из этого выводили, что Просвещение легитимизировало современность. Тогда как вытеснение им религии избавило современность «от оков прошлого», придало ей уникальные легитимность и авторитетность. А современность современна («Modern is modern») в той степени, в какой она является секулярной. Однако, как подчеркнул Шихан далее, повсеместно наблюдаемое в последнее время укрепление значимости религиозной политики не позволяет соглашаться с тем, что размывание идеологического могущества религии есть безальтернативное обстоятельство современности. Вот это-то растущее осознание силы религии заставляет серьёзно сомневаться по поводу наличия «секулярной современности» [5. Р. 1066].

В завершении своего исследования Шихан выделил то, что в новейшей историографии философская и антирелигиозная составляющие Просвещения уже не акцентируются; вместо этого специалисты выказывают готовность видеть в нём «совокупность культурных институтов и практик», находящихся в неоднозначных отношениях с религией. Стало быть, Просвещение закономерно освобождается от ранее приписываемого ему статуса начального этапа неизбежного заката религии – секуляризации [5. Р. 1079]. Между тем саму секуляризацию лучше трактовать не как «вытеснение религии на задворки человеческого опыта», а как «случайный и активный набор *стратегий*» (курсив в тексте. – В.Я.), постепенно меняющих религию. И это, по убеждению Шихана, одинаково истинно применительно к XIX и XX вв., как и к XVIII в. [5. Р. 1079–1080].

### 3. Заключение

Итак, проведённый аналитический обзор позволяет заявить о достижении цели статьи и представить следующие определяющие элементы дискурса осмысления феномена неоднородного и несекулярного Просвещения Дж.Г.А. Пококом, Р.С. Портером, Дж.Ч.Д. Кларком, Б.У. Янгом, Дж. Шиханом.

Согласно Р.С. Портеру, 1) необходимо признать, что Просвещение имело множественные формы, обусловленные спецификой социально-политических условий в разных регионах; 2) существующие стереотипы об особенностях

французского Просвещения не универсальны и неприменимы для истолкования особенностей Просвещения других стран [12. P. vii].

По мысли Дж.Г.А. Покока, 1) следует учитывать, что комментаторами британской истории в XVIII в. выступали по преимуществу нонконформисты или те, кто сочувствовал нонконформизму и не исключал того, что сущность общественного прогресса раскрывается в метафоре движения, представленного сменой ортодоксии гетеродоксией [13. P. 33]; 2) в протестантском мире Просвещение очерчивалось в конечном счёте как продолжение Дортского синода; но при этом в англо-американском мире – главным образом, английском, ортодоксию соотносили с установлениями Церкви Англии, а не кальвинистской Церкви [13. P. 36]; 3) деятельность англиканской Церкви является основополагающей в истории Британии XVIII в. – века Просвещения [13. P. 36–37].

По мнению Б. У. Янга, 1) идеи Джона Локка и священника-диссентера Джозефа Пристли – некие крайние точки условного спектра, в границах которого располагались идеи интеллектуалов, репрезентировавших самобытное английское клерикальное Просвещение [15. P. 2]; 2) английское Просвещение было неоспоримо клерикальным и интеллектуально консервативным, о чём свидетельствует вовлечённость клириков в организацию плодотворных полемик [15. P. 3].

Следуя выводам Дж.Ч.Д. Кларка, 1) вопреки устоявшимся суждениям, в Англии XVII–XVIII вв. не происходил процесс секуляризации [16. P. 28–29]; 2) в последние пятьдесят лет периода английского Старого порядка набрало силу отнюдь не неверие, но инакомыслие [16. P. 30].

Сообразно с положениями Дж. Шихана, 1) современные специалисты больше не делают акцент на философской и антирелигиозной сторонах Просвещения и указывают на то, что отображавшие Просвещение культурные институты и практики находились в неоднозначных отношениях с религией; 2) следовательно, Просвещение закономерно утрачивает приписываемый ему ранее статус отправной точки неизбежной секуляризации [5. P. 1079].

Таким образом, стержневыми результатами изысканий Дж.Г.А. Покока, Р.С. Портера, Дж.Ч.Д. Кларка, Б.У. Янга, Дж. Шихана стали: 1) комплексная объективация феномена неоднородного и несекулярного Просвещения; 2) надёжное обоснование бесперспективности маргинализации его как явления и предмета анализа и в целом 3) формирование актуального вплоть до настоящего времени дискурса осмысления упомянутого феномена – дискурса, убедительно обосновывающего важность места, роли, функций религии и теологии в эпоху Просвещения.

#### Список источников

1. *Gay P.* The Enlightenment: An Interpretation. New York : Knopf, 1966. [Vol. 1]: The Rise of Modern Paganism. xviii, 555, xv, (2) p.
2. *Bristow W.* Enlightenment // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / eds. E.N. Zalta, U. Nodelman. [Stanford], 2025. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/#toc> (accessed: 25.05.2025).
3. *Tonelli G.* “Lumières”, “Aufklärung”: A Note on Semantics // International Studies in Philosophy. 1974. Vol. 6. P. 166–169.
4. *Schneiders W.* Aufklärung und Vorurteilstheorie : Studien zur Geschichte der Vorurteilstheorie. Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog, 1983. 358 S.

5. Sheehan J. Enlightenment, Religion, and the Enigma of Secularization: A Review Essay // *The American Historical Review*. 2003. Vol. 108, № 4. P. 1061–1080.
6. Кречетова М.Ю. Основные аргументы Контрпросвещения // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2019. № 52. С. 65–75.
7. Крыштон Л.Э. Феномен немецкого Просвещения // *Идеи и идеалы*. 2018. Т. 2, № 2 (36). С. 84–99.
8. Дмитриев И.С. Теологические ипостаси натуральной философии в эпоху Просвещения // *Социология науки и технологий*. 2023. Т. 14, № 2. С. 40–60.
9. Лега В.П. Физика Аристотеля и физика Лейбница // *Сретенский сборник : науч. тр. преподавателей СДС. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. Вып. 7–8. С. 501–528.*
10. Слепцова В.В. Теизм и атеизм в дебатах современных аналитических философов. М. : ИФ РАН, 2024.
11. Хитрук Е.Б. Теизм и атеизм в современной философии религии. СПб. : НИЦ АРТ, 2023.
12. Porter R. Preface // *The Enlightenment in National Context* / ed. by R. Porter, M. Teich. Cambridge : Cambridge University Press, 1981. P. vii–viii.
13. Pocock J.G.A. Within the Margins: The Definitions of Orthodoxy // *The Margins of Orthodoxy: Heterodox Writing and Cultural Response, 1660–1750* / ed. by R.D. Lund. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. [Part] 1: The Ideology and Origins of Heterodoxy, chapter 1. P. 33–53.
14. Clark J.C.D. English Society 1688–1832: Ideology, Social Structure and Political Practice During the Ancien Régime. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. xiii, 442 p.
15. Young B.W. Religion and Enlightenment in Eighteenth-Century England: Theological Debate from Locke to Burke. Oxford : Clarendon Press; Oxford; New York : Oxford University Press, 1998. ix, 259 p.
16. Clark J.C.D. English Society 1660–1832: Religion, Ideology and Politics During the Ancien Régime. 2 ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. xii, 580 p.

### References

1. Gay, P. (1966) *The Enlightenment: An Interpretation*. Vol. 1. New York: Knopf.
2. Bristow, W. (2025) Enlightenment. In: Zalta, E.N. & Nodelman, U. (eds) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford: [s.n.]. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/#toc> (Accessed: 25th May 2025).
3. Tonelli, G. (1974) “Lumières”, “Aufklärung”: A Note on Semantics. *International Studies in Philosophy*. 6. pp. 166–169.
4. Schneiders, W. (1983) *Aufklärung und Vorurteilstheorie: Studien zur Geschichte der Vorurteilstheorie*. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.
5. Sheehan, J. (2003) Enlightenment, Religion, and the Enigma of Secularization: A Review Essay. *The American Historical Review*. 108(4). pp. 1061–1080.
6. Krechetova, M.Yu. (2019) The Main Arguments of the Counter-Enlightenment. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 52. pp. 65–75. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/52/7
7. Kryshon, L.E. (2018) Fenomen nemetskogo Prosveshcheniya [The Phenomenon of the German Enlightenment]. *Idey i idealy*. 2(2(36)). pp. 84–99.
8. Dmitriev, I.S. (2023) Teologicheskie ipostasi natural'noy filosofii v epokhu Prosveshcheniya [Theological Hypostases of Natural Philosophy in the Age of Enlightenment]. *Sotsiologiya nauki i tekhnologii*. 14(2). pp. 40–60.
9. Lega, V.P. (2017) Fizika Aristotelya i fizika Leybnitsa [The Physics of Aristotle and the Physics of Leibniz]. In: *Sretenskiy sbornik: nauch. tr. prepodavateley SDS* [Sretensky Collection: Scholarly Works of the Faculty of the Sretensky Theological Seminary]. Vol. 7–8. Moscow: Sretensky Monastery Press. pp. 501–528.
10. Sleptsova, V.V. (2024) *Teizm i ateizm v debatakh sovremennykh analiticheskikh filosofov* [Theism and Atheism in the Debates of Contemporary Analytic Philosophers]. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
11. Khitruk, E.B. (2023) *Teizm i ateizm v sovremennoy filosofii religii* [Theism and Atheism in Contemporary Philosophy of Religion]. St. Petersburg: ART Research Center.
12. Porter, R. (1981) Preface. In: Porter, R. & Teich, M. (eds) *The Enlightenment in National Context*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. vii–viii.

13. Pocock, J.G.A. (1995) Within the Margins: The Definitions of Orthodoxy. In: Lund, R.D. (ed.) *The Margins of Orthodoxy: Heterodox Writing and Cultural Response, 1660–1750*. Part 1. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 33–53.

14. Clark, J.C.D. (1985) *English Society 1688–1832: Ideology, Social Structure and Political Practice During the Ancien Régime*. Cambridge: Cambridge University Press.

15. Young, B.W. (1998) *Religion and Enlightenment in Eighteenth-Century England: Theological Debate from Locke to Burke*. Oxford: Clarendon Press; Oxford, New York: Oxford University Press.

16. Clark, J.C.D. (2000) *English Society 1660–1832: Religion, Ideology and Politics During the Ancien Régime*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

***Сведения об авторе:***

**Яковлев В.В.** – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры медицинской деонтологии с сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО Института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского государственного медицинского университета (Тюмень, Россия). E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Yakovlev V.V.** – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor at the Department of Medical Deontology with UNESCO Bioethics Network Section, Institute of Public Health and Digital Medicine, Tyumen State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Tyumen, Russian Federation). E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 12.12.2025;  
одобрена после рецензирования 22.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 12.12.2025;  
approved after reviewing 22.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

## СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья  
УДК 165.2  
doi: 10.17223/1998863X/89/8

### КРЕАТИВНЫЙ ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ МЫШЛЕНИЯ

Дарья Николаевна Боровинская<sup>1</sup>, Валерий Александрович Суровцев<sup>2</sup>,  
Алексей Николаевич Козлов<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> *Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия,*

<sup>2</sup> *Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,*

<sup>1</sup> *sweetharddk@mail.ru*

<sup>2</sup> *surovtsev1964@mail.ru*

<sup>3</sup> *scenicart@gmail.com*

**Аннотация.** Систематизировано знание о креативном продукте, которое обладает устойчивым характером в теоретическом плане. Выделены такие разнородные элементы знания, как форма и содержание, что позволяет структурировать имеющееся знание и о креативном продукте, способствуя формированию ясного представления того, что вызывает концептуальную путаницу. Форма задаётся универсальными логическими структурами (понятие, суждение, умозаключение), тогда как содержание варьируется в зависимости от предметной области исследования.

**Ключевые слова:** мышление, форма знания, содержание знания, креативный продукт, креативность как способность, философские подходы к изучению мышления

**Благодарности:** исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда научно-технологического развития Югры в рамках научного проекта № 2023-05-01, <https://www.f-std.ru/news/139>

**Для цитирования:** Боровинская Д.Н., Суровцев В.А., Козлов А.Н. Креативный продукт как результат мышления // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 86–97. doi: 10.17223/1998863X/89/8

## SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

### CREATIVE PRODUCT AS A RESULT OF THINKING

Daria N. Borovinskaya<sup>1</sup>, Valeriy A. Surovtsev<sup>2</sup>, Alexey N. Kozlov<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> *Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russian Federation*

<sup>2</sup> *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

<sup>1</sup> *sweetharddk@mail.ru*

<sup>2</sup> *surovtsev1964@mail.ru*

<sup>3</sup> *scenicart@gmail.com*

**Abstract.** This article offers a philosophical and methodological analysis of creativity, understood not primarily as a psychological trait, but as a result of thinking and as a specific form of knowledge. The study is framed by a formal-logical approach, according to which any product of thinking is knowledge composed of two heterogeneous elements: form and content. Form is given by logical structures (concepts, judgments, inferences, and operations upon them), which are universal and independent of subject matter. Content is determined by the disciplinary and socio-historical context in which creativity is described – economics, psychology, cultural studies, etc. – and by the values that fix criteria such as novelty, originality, adaptability, and “timeliness.” The study advances the thesis that a formal-logical approach to the study of thinking specifically facilitates the reconstruction of universal characteristics of thinking as a source of knowledge, common to both humans and artificial intelligence. Thinking is viewed as the activity of manipulating signs, organized into stable forms of knowledge – concepts, judgments, and inferences. The content of knowledge about a creative product depends on the subject area of research, but it is precisely form that can influence the scope of any knowledge. The authors show that economic discourse tends to reduce creativity to a marketable creative product, defined through financial transactions, intellectual property rights, licenses, and statistical classifications, whereas psychological research focuses on person, process, product, and environment. In contrast, the philosophical perspective shifts attention to thinking as an extra-subjective process whose objective features are captured by logic. A key role is played by the distinction between knowledge about the world and knowledge about knowledge itself, as well as by reflection and communication in the generation of new content. Ontologically, thinking is analyzed as the operational and object-related constitution of content and its fixation in textual sign-forms; epistemologically, thinking is considered as something given to us in language and signs. Creativity is interpreted as a specific mode of reflective activity in which shifts in systems of ideal objects are intertwined with the variability of meanings in communicative acts. The article concludes that a productive theory of creativity must explicitly distinguish and jointly consider logical forms of knowledge and their diverse contents. This provides a common framework for reconciling disciplinary approaches and opens prospects for analyzing how both humans and artificial intelligence systems can produce genuinely new knowledge and creative products.

**Keywords:** thinking, form of knowledge, content of knowledge, creativity as skill, formal-logical approach

**Acknowledgments:** The reported study was funded by the Foundation for Scientific and Technological Development of Yugra within the framework of Research Project No. 2023-01-05, <https://www.f-std.ru/news/139>

**For citation:** Borovinskaya, D.N., Surovtsev, V.A. & Kozlov A.N. (2026) Creative product as a result of thinking. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 86–97. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/8

В условиях ускоренного научно-технологического развития и институционализации креативных индустрий всё больше возрастает потребность в философско-методологическом анализе того, как создаётся креативный продукт и какие рациональные формы определяют его понимание и практическую реализацию.

В науке накоплен огромный опыт, связанный с изучением мышления, где особого успеха достигли учёные в области когнитивной психологии, нейрофизиологии и ряде других междисциплинарных научных направлений исследования. Однако проблема здесь заключается в том, что большинство подобных исследований ориентировано на изучение субъективных проявлений мыслительного процесса, а не на то, чтобы выявить объективные универсальные алгоритмы получения знания, в том числе обладающего свойствами новизны, оригинальности и рядом других свойств в контексте того или иного

этапа развития общества и технологий. Это является актуальным и в исследовании глубоких рассуждений искусственного интеллекта. А так как любой процесс обучения включает освоение пространства знаков, норм, рациональных форм мышления и законов логики, это даёт основания для детального изучения технологии получения идей, которые являются новыми, ценными, оригинальными не только у человека, но и у искусственного интеллекта.

Уточняя рамки данного исследования, во-первых, основной акцент сделаем на раскрытии разнородных элементов знания о креативности как объективного результата мышления согласно философским подходам, несмотря на то, что большая часть фундаментальных работ в области мышления формирует определённое единство логических и психологических представлений о мышлении. Такая конкретизация вызвана необходимостью проведения дальнейших исследований, не столько ориентированных на индивидуальные проявления психической деятельности, сколько учитывающих объективные составляющие мышления, результатом которого являются знания. А это задача философских подходов к исследованию данного вопроса. Ведь именно не замечаемые нами концептуальные связи и порождают путаницу. «Наглядное представление является переупорядочиванием правил употребления слов, которые открыты нашему взору и с которыми мы на самом деле прекрасно знакомы, но которые не всегда воспринимаем как целое. Они становятся обозримы благодаря такому переупорядочиванию, которое проясняет логический характер слов, озадачивающий нас при философском размышлении» [1. С. 50–51].

Во-вторых, применительно к ситуации обучения, в содержательном плане знание о креативности чаще рассматривается как способность порождать креативный продукт – решение проблемы. Например, «способность мышления субъекта образовательного процесса, реализация которой направлена на преодоление „ситуаций разрыва“, на решение задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства. Это мышление человека как социального индивида, его деятельная способность, реализуемая посредством языка и экстралингвистических средств коммуникации, направленная на получение результатов в социально значимой форме и заданная рамками проблемной ситуации, и нацеленная на формирование нового содержания субъективной реальности» [2. С. 265].

Универсальность категории «креативность» обусловлена тем, что «это естественная деятельная способность мышления, которая развивается в образовательном процессе» [3. С. 182]. В контексте нашего исследования – мышления как деятельности оперирования со знаками. А в случае с обучением – это формирование или развитие компетенций через следование правилам, которые являются основой процесса понимания. «В процессе понимания происходит какое-то сложное взаимодействие между знаниями и конструкциями значений, содержание знаний каким-то образом определяет получающуюся структуру смысла и ту новую плоскость содержания, которая ей соответствует» [4. С. 128].

Результат такого мыслительного процесса – способность формулировать нестандартное решение за ограниченный период времени, исходя из поставленной цели, имеющихся ресурсов и ограничений. Это есть и особый системно тренируемый режим функционирования мышления.

Прежде чем ответить на вопрос, как проявляется мышление, каковы объективные проявления мыслительного процесса, связанные со способностью создавать новое знание при решении задач, целесообразно обратиться к исследованию мышления как источнику знания вообще.

Безусловно, большинство исследователей интересуется, что есть знание о креативности и что оно собой представляет? Ответ на этот вопрос можно получить исходя из ясного понимания того, что есть мышление.

Для того чтобы процесс назвать мыслительным, он должен обладать конкретными объективными характеристиками, которые совершенно не зависят от субъективных условий его протекания. И здесь исследование ориентировано на мышление как таковое, это внесубъективный процесс, объективные черты которого устанавливаются логикой и способствуют получению ответа на вопрос, каков объективный результат мыслительного процесса, свойственный человеку и(или) искусственному интеллекту. Ответ на данный вопрос целесообразно дать в контексте формально-логического подхода.

Результат мыслительного процесса – это знание в широком смысле слова; и любое знание – объективно, так как является общим достоянием. У каждого человека – индивидуальный мыслительный процесс, при этом знания – это общее, что есть у людей.

Когда логика анализирует законы мышления, она начинает с анализа знания, которое возникает в процессе мышления. Если обратиться к такому анализу, то окажется, что любое знание состоит из существенно разнородных компонентов.

Важным элементом организации любого знания является форма. При этом, несмотря на содержательное различие, формы организации знания одинаковы. Например, из одной формы знания мы получаем новое знание с помощью слова «следовательно». Или операции обобщения – исходные знания мы распространяем на массив фактов; при ограничении мы исходные наши знания конкретизируем.

По форме знание о том, как осуществляется мышление при решении задач, для которых не срабатывают традиционные способы, ничем не отличается от любого другого знания, так как формы организации одинаковы для всех знаний. Однако от того, как мы организуем знание, в какой форме его представляем, зависит и объективность получаемого результата нашего мышления.

Несмотря на то, что по-разному воспринимается логическая форма и по-иному трактуются законы логики, в традиционной логике выделяются такие формы логического мышления, как понятие, суждение, умозаключение, учение о логических элементах и учение о выводе (теория дедукции). Такое деление имеет историческое основание и теоретическую подоплёку.

Понятие – форма, в которой мы мыслим окружающие нас предметы, суждения – мы мыслим ситуации, умозаключения – определённая связь ситуаций.

Итак, конкретная научная терминология в отношении формирования понятия позволяет выделить такие категории, как «предмет», «признак», «класс предметов». Если в качестве предмета выступает креативность, то разнообразные признаки формируются в процессе характеристики предмета. При этом в случае с креативностью речь скорее идёт о признаках-отношениях, которые проявляются в конкретных связях предмета с другими предметами.

Например, то, что креативный продукт является ответом на «большие вызовы», следует отнести к её признакам-отношениям, поскольку используется в отношении к человеку.

Что касается классов предметов, то к числу наиболее распространённых признаков, на основании которого происходит объединение креативности в класс, относится признак новизны.

«Креативность – способность представить и разработать принципиально новые подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом, или выражать идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания» [5. Р. 16]. Тогда как в отношении самого мышления, чаще всего «креативное и инновационное мышление, – это вид мышления, которое ведет к инсайтам, новым подходам, свежим взглядам, в целом это новый путь понимания и видения вещей. Продукты креативного мышления включают наблюдаемые вещи, такие как музыка, поэзия, танец, драматическая литература и технические инновации. Но есть и то, что менее очевидно, например, такая постановка вопросов, которая открывает новые варианты решений, или установка таких связей между явлениями, которые становятся вызовом для наших ожиданий и открывают возможность увидеть мир новым образом, с помощью воображения» [6. Р. 14].

Однако в случае с креативностью, скорее, интересует вопрос не столько о том, что такое креативное или некреативное мышление (свойством креативности обладает продукт мышления, а не само мышление), сколько о том, каким образом можно подходить к исследованию мышления, чтобы получить это новое знание.

Следуя формально-логическому подходу, многообразию знаний, обладающих в том числе и признаком новизны, может проявляться не столько в получении абсолютно нового знания в различных областях деятельности, сколько в способе оперирования формой готового знания.

Вклад формально-логического подхода в исследование мышления обусловлен тем, что в качестве предмета выступают, собственно, не процессы формирования нового знания, а, скорее, процессы систематизации и изложения уже известного [7, 8]. «Проблемы решаются не через приобретение нового опыта, а путем упорядочения уже давно известного» [9. С. 127].

Ценным является и детальное изучение знаковых выражений, соотношение знания с самим собой, т.е. соотношение компонентов, элементов знания. «Основной принцип языка – говорить нечто о внеязыковой реальности. Язык для того и создаётся, чтобы сообщить нечто о внелингвистической области. Но ситуация такова, что приходится говорить и о самом языке, как о чём-то объективно данном. Это и породило необходимость учитывать принцип дихотомии знания: его деление на два вида. Знание о мире и знание о самом себе...» [10. С. 63].

В этом смысле важным становится не только то, о чём говорится с помощью языка, но и как именно это делается: какие типы выражений используются, как устроены связи между обозначающим и обозначаемым, между частями высказывания и целостной конструкцией знания. Знание реализуется через различные конфигурации одних и тех же знаковых средств, и потому анализировать их только на уровне содержания оказывается недостаточно. Целесообразно выделить те параметры знаковой организации, которые фор-

мируют базу, т.е. такие свойства выражений, которые определяются не предметом речи, а характером мыслительной деятельности, в которой они функционируют. Именно переход от простого описания языковых средств к описанию роли в структуре мышления позволяет говорить о специальном классе характеристик знака, задающих форму знания.

«Характеристики типов знаковой формы, определяемые относительно мыслительной деятельности, мы называем *логической характеристикой формы*, или *логической формой*. Вместе эти две группы характеристик будут составлять *логическую характеристику знания*» [11. С. 63].

Применительно к образовательной практике, в качестве примера может послужить достаточно распространённый вариант преобразования готового знания и, как следствие, получение нового знания у обучающегося. Объективности ради, нас не интересует процесс субъективной мыслительной деятельности самого обучающегося, как, собственно, если речь идёт и об обучении машины.

Если креативный продукт есть продукт мышления, который выражен в форме знания, то процесс его создания, как и любого другого знания, подчинён законам мышления и реализуется в конкретных рациональных формах.

Согласно формально-логическому подходу, любое знание как результат мышления обладает объективными чертами, устанавливаемыми логически. «Логические формы выражают объективную вычислительную процедуру, позволяющую из имеющихся знаний получать другие знания. Подобные алгоритмические процедуры имеют собственную нормативную базу, которая представляет собой совокупность законов логики. Законы логики бессодержательны и в отличие, например, от законов природы имеют не фактический (то есть имеющий отношение к опыту), а формальный характер. Нормативная база логики в силу своей формальности применима к любому знанию независимо от содержательных различий» [12. С. 143–144].

Следуя тезису, что любое знание – совокупность двух разнородных элементов, возьмём второй его элемент – содержание. Речь идёт о том, чем одно знание о креативности отличается от другого.

Содержание знания о креативности многообразно, так как является предметом пристального внимания многих наук. И, в зависимости от предметного поля наук, определяется и содержание заявленного знания о креативности. Именно это, чаще всего, и порождает различия в любом знании.

К числу таких исследований относятся работы в области дисциплинарных (психология, философия, экономика, культурология и др.) и междисциплинарных (генетика, нейрофизиология) научных направлений.

Например, содержание креативности в экономике, как правило, включает творческий продукт, умноженный на финансовые трансакции. «В качестве предмета исследования выступают условия развития креативности в форме рыночного продукта, а именно – финансовых трансакций творческих продуктов, законодательных норм, регулирующих оборот творческих продуктов» [13. Р. xiv]. В политико-экономическом контексте креативный продукт часто определяется по ряду формальных свойств. А именно, как результат деятельности, ценность которой основана на интеллектуальной собственности и измеряется через права, лицензии, роялти, метрики вовлечённости. И речь не

про вкус и смысл, а про классификацию, учёт и измерение: правовые дефиниции, статистические классификаторы, KPI – метрики платформ и др.

Такое содержание креативности фиксирует одну внешнюю сторону явления. Там, где креативный продукт описывается через оборот прав, лицензий и транзакций, за скобками остаётся вопрос: какие именно изменения в способах действия и мышления делают возможным появление этих продуктов? Так, на уровне реальной практики оказывается, что для технологической креативности далеко не всегда требуется радикально новое знание: достаточно иной комбинации уже существующих технологических и организационных решений. Очень часто макроэкономический ракурс неизбежно пересекается с психологическим, с изучением того, как конкретно мыслят отдельно взятые люди и как они действуют в той или иной ситуации, в команде, какие процессы и личностные черты влияют на создание продукта, который затем становится объектом правового и финансового учёта. И здесь традиционные психологические типологии креативности дополняют и углубляют экономическое понимание креативного продукта.

«Технологическая креативность как экономическое явление не требует получения совершенно новых знаний: для инноваций не обязательны изобретения. Заимствование, развитие и адаптация технологий также позволяют увеличить предложение товаров и услуг» [14. С. 79]. Или если взять изучение индивидуальных проявлений психической деятельности отдельно взятых людей, что наполняют содержание креативности с позиции психологии. А именно, среда, в которой возникает креативность (климат, ситуация, место); креативный продукт; креативный процесс; креативный человек и его личностные характеристики [15]. Развёрнутая типология традиционных подходов к определению креативности была сформулирована К. Тейлором [16].

Именно содержание порождает различия в знании. «Нет одного точного употребления слова „знание“; но мы можем создать несколько таких употреблений, которые будут согласоваться более или менее с тем, как действительно употребляются слова» [17. С. 74]. Примером может послужить содержание знания о креативности, которое формируется и наполняется согласно предмету приложения и в зависимости от тех ценностей, которые доминируют в обществе на конкретном историческом этапе его развития. А к широко распространённым свойствам креативности относятся новизна, оригинальность, адаптивность и соответствие духу времени. При том, что «степень выделяемых характерных свойств может быть разной – начиная от комбинации и реализации ранее известных идей до жизненно важных нововведений».

Выделяя такой компонент любого знания, как содержание, стоит отметить, что отдельного внимания в этой связи заслуживают результаты исследований в рамках онтологического и гносеологического подходов к изучению мышления, производящего новый продукт.

Так, в онтологическом плане мышление характеризуется в контексте акта коммуникации и в контексте деятельности.

Мышление выступает как операционально-объектное выделение или соиздание содержания и выражение (или фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста (именно такое представление, в частности, фиксировали многоплоскостные изображения мышления в со-

держательно-генетической логике); в качестве «побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать смысл – связку из многих сопоставлений и соотношений объектных и операциональных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста. Её мы можем представить в виде статической структуры из отношений и связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями содержания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла, рассматривается как объективное, или экстерииоризованное, знание [18]. Тогда как в коммуникативном плане мышление ориентировано на создание идеальных сущностей посредством языка и символов. «Мышление не является самостоятельным, непосредственно данным, непосредственно воспринимаемым объектом исследования; оно дано нам прежде всего в языке, или, вернее, нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление» [19. С. 56].

Рассматривая мышление как данное нам в языке и знаках, естественным шагом становится переход к гносеологической проблематике: каким образом субъект может обращать мышление «на самого себя», выделять и анализировать собственные идеальные объекты и как это опосредуется коммуникацией. Возникают вопросы о взаимосвязи рефлексии и креативности и о том, как традиция рефлексивного анализа сознания и традиция понимания совместно задают направление исследования. «В рамках же гносеологических исследований вопросы взаимосвязи рефлексии и креативности определяются через традицию собственно рефлексивного анализа сознания, ведущую к прояснению идеальных значений и связанную с конструированием идеальных объектов, и традицию понимания, ведущую к уяснению тех смыслов, которые проявляются в межличностном общении, в процессе коммуникации» [20. С. 152–153].

С одной стороны, рефлексия обеспечивает изменение в системе образов и понятий, позволяя субъекту выходить за пределы идеального содержания и конструировать новые объекты мысли. С другой стороны, эти изменения не являются чисто внутренними: они сразу же проверяются, уточняются и закрепляются в соотношении с уже сложившимися сетями смыслов. Именно в этой точке пересечения внутреннего идеального конструирования и внешнего смыслового обмена и проявляется креативность как специфическая форма рефлексивного процесса. «По содержанию – это дуальность рефлексивных процессов, которые, с одной стороны, ориентируют на сдвиг в идеальных образах и связаны с конструированием идеальных объектов, с другой – это вариативность, изменчивость смысла, включенного в акты коммуникации, в том числе и языковой. И здесь феномен креативности переплетается с механизмами рефлексии как способности естественного мышления – на этапе между предметным и абстрактным мышлением» [20. С. 153].

Пожалуй, самый распространённый вариант наполнения содержательно-го элемента знания о креативности в отечественной практике можно проследить на примере соотношения со знанием о творчестве. Например, «с учётом существующего многообразия трактовок понятий творчество и креативность, а также при их соотношении содержание первой категории обладает более широким и сложным диапазоном, чем содержание категории креативного. Последняя имеет меньше смысловых „измерений“, ибо, согласно ряду отечественных исследований, она ориентирована главным образом на фиксацию специфики явлений творчества, проявляющихся через такие признаки, как

полезность, прагматичность, утилитарность и др., на то, что служит основанием для их противопоставления духовной реальности. Содержание же категории „творчества“ этим не исчерпывается, ибо включает многообразие смысловых „измерений“, фиксирующих его общность и с материальными, и с духовными процессами» [21. С. 63].

Креативность фактически выступает как «редуцированное отражение творчества», где на первый план выдвигаются именно утилитарные, прагматические и рыночные характеристики результата, тогда как духовно-смысловые измерения оказываются за скобками. Творчество мыслится как более общий процесс, охватывающий и материальные, и духовные формы преобразования реальности. Такая расстановка акцентов порождает важное методологическое следствие: отождествление креативности с творчеством или их простая взаимозаменяемость в терминах приводят к размыванию понятий и логической функции каждой из категорий.

Следовательно, «как философские категории, творчество и креативность схожи по объёму, но различны по содержанию, которое позволяет установить несовпадение логических функций заявленных категорий» [21. С. 77].

Определяя содержание креативности в зависимости от предмета той или иной науки, мы, как правило, основываемся на заведомо уже сформированных критериях знания. Однако любой познаваемый нами объект есть целое, располагающее множеством определений, что накладывает определенные ограничения и в сегодняшнем процессе формирования содержания знания о креативности.

Знание о креативности по содержанию очень часто подводится под меру адекватности той социальной практики, которая имеет место быть на конкретном этапе социально-экономического развития общества, а именно, ситуацией, которую создаёт общество. Мы видим только то, что хотим видеть, и не задумываемся о том, как мы мыслим, с помощью какого языка.

Тем самым на каждом этапе образуются исходные понятия – «элементарные кирпичики», и в контексте формально-логического подхода к исследованию производства нового знания интерес, скорее, вызывает движение, в котором эти понятия соединяются и разъединяются между собой.

Таким образом, если исследовать мышление как источник знания, то в качестве разнородных элементов выступают формы знания, их отношения – законы правильного построения мышления и содержание.

Подводя итог, отметим, проведённое исследование позволяет выстроить целостную философско-методологическую рамку для анализа креативного продукта как результата мышления. Учитывая многообразие предметных трактовок креативности, последовательно были представлены аргументы в пользу того, что ключ к прояснению феномена лежит не столько в ещё одном содержательном определении, сколько в анализе рациональных форм знания, через которые мыслится креативный продукт.

В логическом фокусе представлена дихотомия формы и содержания знания. В рамках проведённого исследования не стояло задачи довести содержание знания о креативном продукте до единственно верного; ключевая задача, скорее, заключалась в том, чтобы обозначить процесс формирования знания вообще и о креативном продукте в частности и выделить объективные характеристики мышления, производящего новое знание при решении задач.

И здесь важным аспектом выступает знание того, как систематизируются логические формы и используются законы логики.

Проведённое исследование позволило получить ряд результатов.

Во-первых, креативный продукт как результат мышления требует детального анализа с учётом двух разнородных элементов – формы и содержания. Формально-логический подход не отменяет существующие интерпретации креативного продукта, но задаёт общую рамку, в которой их можно согласовывать и критически пересматривать.

Во-вторых, креативный продукт не может быть исчерпывающе понят только через его «внутренние признаки», которые формируются на каждом этапе развития общества. Он всегда уже вписан в сеть формальных и институциональных форм знания, которые определяют, что вообще считается креативным, как измеряется новизна и ценность, что признаётся существующим и доказанным.

Перспективой дальнейших исследований выступает более детальная проработка логических моделей, а также их применение к анализу образовательного процесса и генеративных возможностей систем искусственного интеллекта.

#### **Список источников**

1. *Хаккер П.М.С.* Витгенштейн о человеческой природе / пер. с англ. В.В. Оглезнева, В.А. Суворцева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. 192 с.
2. *Боровинская Д.Н.* Измерение социального запроса на креативное образование // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 58. С. 264–271.
3. *Мелик-Гайказян И.В.* Методология моделирования творческой образовательной системы // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М., 2013. С. 181–204.
4. *Щедровицкий Г.П.* Мышление–Понимание–Рефлексия. М. : Наследие ММК, 2005. 800 с.
5. *Lucas B., Claxton G., Spencer E.* Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments // OECD Education Working Papers. Paris : OECD Publishing, 2013. No 86.
6. *Facione P.* Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. 2003.
7. *Reichenbach H.* Elements of symbolic logic. New York, 1944. 444 p.
8. *Wright C.H.* The logical Problem of induction. Oxford : Basil Black well. Second edition, 1957. 249 p.
9. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Философские работы / пер. с нем. М.С. Козловой. М., 1994. Ч. 1. С. 80–130. (пар. 1–120).
10. *Сухотин А.К., Чухно А.В.* Очерки по методологии науки : учеб. пособие. Томск : Томский государственный университет, 2006. 72 с.
11. *Щедровицкий Г.П.* О строении атрибутивного знания // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1. С. 63–66.
12. *Суворцев В.А.* О предмете и методе формальной логики // ПРАЭНМА. 2024. № 4 (42). С. 143–165.
13. *Howkins J.* The Creative Economy: How people make money from ideas. London, 2002. 288 p.
14. *Мокир Дж.* Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс / пер. с англ. Н. Эдельмана ; под науч. ред. Т. Дробышевской, А. Смирнова. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 504 с.
15. *Mooney R.L.* A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent // Scientific creativity: its recognition and development / eds. C.W. Taylor, F. Barron. New York, 1963. P. 331–340.
16. *Taylor C.W.* Various approaches to and definitions of creativity // The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives / ed. R.J. Sternberg. New York, 1988. P. 99–121.

17. Витгенштейн Л. Голубая и Коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям» / пер. с англ. В.А. Суровцева, В.В. Иткина ; под общ. ред. В.А. Суровцева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. 384 с.
18. Шchedrovitskiy Г.П., Якобсон С.Г. Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание». URL: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67>
19. Шchedrovitskiy Г.П. «Языковое мышление» и его анализ // Вопросы языкознания. 1957. № 1. С. 56.
20. Боровинская Д.Н. Проблема креативности в образовательной перспективе. Томск : Изд. дом Том. гос. ун-та, 2019. 220 с.
21. Боровинская Д.Н. Философско-методологические основания научного знания о креативности в образовании : специальность 09.00.01 «Онтология и теория познания» : дис. ... д-ра филос. наук, 2020. 336 с.

## References

1. Hakker, P.M.S. (2022) *Vitgenshteyn o chelovecheskoy prirode* [Wittgenstein on Human Nature]. Translated by V.V. Ogleznev & V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya".
2. Borovinskaya, D.N. (2020) Measuring Social Demand for Creative Education. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 58. pp. 264–271. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/58/24
3. Melik-Gaykazyan, I.V. (2013) Metodologiya modelirovaniya tvorcheskoy obrazovatel'noy sistemy [Methodology for Modeling a Creative Educational System]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: [s.n.]. pp. 181–204.
4. Shchedrovitskiy, G.P. (2005) *Myshlenie–Ponimanie–Refleksiya* [Thinking–Understanding–Reflection]. Moscow: Nasledie MMK.
5. Lucas, B., Claxton, G. & Spencer, E. (2013) Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments. *OECD Education Working Papers*. 86. Paris: OECD Publishing.
6. Facione, P. (2003) *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. [s.l.]: [s.n.].
7. Reichenbach, H. (1944) *Elements of Symbolic Logic*. New York: [s.n.].
8. Wright, C.H. (1957) *The Logical Problem of Induction*. 2nd ed. Oxford: Basil Blackwell.
9. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Part 1. Translated by M.S. Kozlova. Moscow: [s.n.]. pp. 80–130.
10. Sukhotin, A.K. & Chukhno, A.V. (2006) *Ocherki po metodologii nauki* [Essays on the Methodology of Science]. Tomsk: Tomsk State University.
11. Shchedrovitskiy, G.P. (1958) O stroenii atributivnogo znaniya [On the Structure of Attributive Knowledge]. *Doklady APN RSFSR*. 1. pp. 63–66.
12. Surovtsev, V.A. (2024) On the Subject and Method of Formal Logic. *ИПАЭИМА Journal of Visual Semiotics*. 42(4). pp. 143–165. (In Russian). doi: 10.23951/2312-7899-2024-4-143-165
13. Howkins, J. (2002) *The Creative Economy: How people make money from ideas*. London: [s.n.].
14. Mokyry, J. (2014) *Rychag bogatstva. Tekhnologicheskaya kreativnost' i ekonomicheskyy progress* [The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress]. Translated by N. Edelman. Moscow: Gaidar Institute Press.
15. Mooney, R.L. (1963) A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent. In: Taylor, C.W. & Barron, F. (eds) *Scientific creativity: its recognition and development*. New York: [s.n.]. pp. 331–340.
16. Taylor, C.W. (1988) Various approaches to and definitions of creativity. In: Sternberg, R.J. (ed.) *The Nature of Creativity. Contemporary Psychological Perspectives*. New York: [s.n.]. pp. 99–121.
17. Wittgenstein, L. (2022) *Golubaya i Korichnevaya knigi: predvaritel'nye materialy k "Filosofskim issledovaniyam"* [The Blue and Brown Books: Preliminary Materials for the "Philosophical Investigations"]. Translated by V.A. Surovtsev and V.V. Itkin. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya".
18. Shchedrovitskiy, G.P. & Jakobson, S.G. (n.d.) *Zametki k opredeleniyu ponyatiy "myshlenie" i "ponimanie"* [Notes on the Definition of the Concepts "Thinking" and "Understanding"]. [Online] Available from: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67>
19. Shchedrovitskiy, G.P. (1957) "Yazykovoe myshlenie" i ego analiz ["Linguistic Thinking" and its Analysis]. *Voprosy yazykoznaviya*. 1. pp. 56.

20. Borovinskaya, D.N. (2019) *Problema kreativnosti v obrazovatel'noy perspective* [The Problem of Creativity in an Educational Perspective]. Tomsk: Tomsk State University.

21. Borovinskaya, D.N. (2020) *Filosofsko-metodologicheskie osnovaniya nauchnogo znaniya o kreativnosti v obrazovanii* [Philosophical and Methodological Foundations of Scientific Knowledge about Creativity in Education]. Philosophy Dr. Diss.

***Сведения об авторах:***

**Боровинская Д.Н.** – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета (Сургут, Россия). E-mail: sweetharddk@mail.ru

**Суровцев В.А.** – доктор философских наук, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: surovtshev1964@mail.ru

**Козлов А.Н.** – магистрант кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета (Сургут, Россия). E-mail: scenicart@gmail.com

***Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the authors:***

**Borovinskaya D.N.** – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor at the Department of Social and Humanitarian Education, Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation). E-mail: sweetharddk@mail.ru

**Surovtsev V.A.** – Dr. Sci. (Philosophy), professor, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: surovtshev1964@mail.ru

**Kozlov A.N.** – master's student of Social and Humanitarian Education, Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation). E-mail: scenicart@gmail.com

***The authors declare no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 25.12.2025;*

*одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 25.12.2025;*

*approved after reviewing 23.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 930:01, 930:02

doi: 10.17223/1998863X/89/9

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

**Андрей Александрович Линченко**

*Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  
Липецк, Россия*

*Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия,  
AALinchenko@fa.ru*

**Аннотация.** Изучается специфика теоретического анализа исторической ответственности в рамках новой прикладной дисциплины – исторической этики. Выявляются интеллектуальные предпосылки становления исторической этики. На основе методологической программы неклассической этики ответственности анализируются особенности конструктивистской интерпретации исторической ответственности, ее проективный характер в условиях множественности акторов, перспектив и уровней этической рефлексии в отношении прошлого.

**Ключевые слова:** историческая ответственность, историческая этика, историческая культура, теория истории, философия истории, историческое сознание, этика ответственности

**Благодарности:** статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

**Для цитирования:** Линченко А.А. Историческая ответственность как проблема исторической этики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 98–115. doi: 10.17223/1998863X/89/9

Original article

## HISTORICAL RESPONSIBILITY AS A PROBLEM OF ETHICS OF HISTORY

**Andrei A. Linchenko**

*Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Lipetsk, Russian Federation*

*Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russian Federation, AALinchenko@fa.ru*

**Abstract.** This article explores the specifics of the theoretical analysis of historical responsibility within the new applied discipline – ethics of history. It identifies the intellectual preconditions for the development of ethics of history. Within the framework of historical science, this was associated with an increase in the number of historical sources, the transformation of their epistemological significance, and also with the emergence of the problem of the ethos of historical writing. In the philosophy of history, the growth of the axiological component was associated with a distrust of the theoretical language of metanarratives and the problematization of historical narrative. In history didactics, this was associated not only with a broad formulation of the problem of historical consciousness but also with the spread of ethical concepts into history didactics. It was found that the growth of the axiological component was reflected in the rise of the problem of historical responsibility in historical science and history didactics. Based on the methodological program of non-

classical ethics of responsibility, the article analyzes the features of the constructivist interpretation of historical responsibility. It has been revealed that ethics of history, which goes beyond the “ethos” of historical science and focuses on the problems of historical culture, is a variant of value-oriented consequential ethics that can successfully correlate with the pragmatic approach as a method of contemporary ethics of science. In this case, it is projective, that is, it focuses on practical actions and their consequences. Accordingly, the model of historical responsibility that it seeks to develop should be projective rather than reactive, focusing not on the concept of historical guilt, but on the concept of freedom. In this case, the interpretation of historical responsibility in ethics of history should be largely interpreted as the result of the transformation of the social practices of a particular memory community engaged in symbolic struggle in the corresponding social field, presupposing a plurality of actors and different perspectives, as well as levels of ethical reflection on the past (personal, group, and global).

**Keywords:** historical responsibility, ethics of history, historical culture, theory of history, philosophy of history, historical consciousness, ethics of responsibility

**Acknowledgments:** The article was prepared based on the results of research carried out using budgetary funds under the state assignment of the Financial University.

**For citation:** Linchenko A.A. (2026) Historical responsibility as a problem of ethics of history. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 98–115. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/9

Вопросы исторической ответственности являются важным символическим инструментом современной исторической политики, сообществ памяти, активно используются в мемориальных конфликтах и «войнах памяти». Однако было бы неверно сводить вопросы исторической ответственности к политическому использованию образов прошлого, поскольку категория «ответственность», равно как и связанные с ней категории «справедливость», «вина», «прощение», «покаяние», является в первую очередь этическим понятием. Присутствие моральной составляющей в рамках политического использования образов прошлого, например, отчетливо видно в контексте так называемого «морального памятования» – особого термина, который, по мысли зарубежных [1] и российских исследователей [2], указывает на проникновение моральных категорий в дискурс акторов исторической политики. В этой связи Д.А. Аникин резонно замечает, что «морализация отношения к прошлому стала инструментом защиты того образа будущего, который строился в послевоенной Европе на чувстве коллективного признания немецкой вины и который должен был – в рамках идеалистических представлений – стать альтернативой любым способам политизации прошлого» [3. С. 65]. Данный факт явно указывает на то, что категория «историческая ответственность» имеет не только политическое, правовое, но и моральное измерение.

Своеобразным ответом социально-гуманитарных наук в этой связи стало появление целого ряда аспектов изучения исторической ответственности в теории истории [4–6], memory studies [7–9], социальной и политической философии [10, 11]. Однако не будет преувеличением заметить, что собственно этическая сторона интерпретации исторической ответственности в меньшей степени интересовала исследователей обозначенных выше дисциплин.

Важную роль играет теоретическое осмысление проблем ответственности Германии за преступления нацизма в работах К. Ясперса и Х. Арендт, предложивших свои теоретические модели исторической ответственности. Однако и в случае К. Ясперса, и в случае Х. Арендт, целью теоретической

интерпретации проблемы исторической ответственности был в первую очередь немецкий исторический опыт, что требует дальнейшего анализа применения их моделей исторической ответственности в отношении современности. В этой связи определенные перспективы намечаются в рамках новой теоретической дисциплины – исторической этики (*The Ethics of History, Geschichtsethik*), которая в последние годы все чаще становится объектом внимания исследователей за рубежом [12–14] и в нашей стране [15]. Однако было бы неверным говорить о том, что историческая этика как прикладная наука является полностью сложившейся научной дисциплиной. Это предполагает дальнейший анализ основных понятий и категорий исторической этики, а также ее функций как прикладной науки в контексте ее взаимодействия с социальной и политической философией, теорией истории, исторической дидактикой и *memory studies*. В этой связи целью данной статьи является теоретический анализ проблематики исторической ответственности с позиций исторической этики.

Проблемы исторической ответственности являются составной частью более общей проблемы моральной составляющей в исторической культуре, историческом сознании и исторической науке. Казалось бы, в XX в. было сделано немало, чтобы вытолкнуть моральную проблематику как из исторической науки, так и философии истории [16, 17]. Вместе с тем утверждать, что этическая (и шире, ценностная) проблематика в отношении истории полностью отсутствовала, было бы тоже серьезным упущением [18]. В этой связи не будет лишним кратко обратиться к ключевым интеллектуальным предпосылкам формирования проблематики исторической этики и исторической ответственности.

Значимым интеллектуальным источником, способствовавшим появлению современных дискуссий об исторической этике, являются философия и теория истории. В данной части статьи мы не претендуем на широкое и исчерпывающее описание основных этапов трансформации и развития философии истории и теории истории в прошлом столетии. Нашей задачей является стремление показать, как изменялось место и роль ценностного отношения к прошлому в указанных дисциплинах.

Давно уже не вызывает возражений интерпретация ценностей не только как положительной или отрицательной значимости какого-либо объекта для субъекта, но и понимание их как нормативной, предписательно-оценочной стороны явлений общественного сознания (этнос). В таком случае постараемся кратко проанализировать интересующую нас проблему в свете трансформации этоса как исторической науки, так и философии истории в минувшем столетии. Мы не будем выходить за пределы того определения, которое дал «этносу» Р. Мертон, говоря о нем как о комплексе ценностей и согласованных норм, институционально одобренных и защищаемых правил, предписаний, суждений, разделяемых научным сообществом.

Важной начальной вехой нашего краткого обзора является позитивистская историография, актуализировавшая в свое время критический подход к историческим источникам. «Безусловной заслугой позитивизма XIX в. было то, что он впервые начал рассматривать проблему исторического источника как проблему философскую» [16. С. 8]. В дальнейшем, благодаря работам Вильгельма Дильтея, Георга Зиммеля, Бенедетто Кроче, была обоснована

важнейшая роль познающего субъекта в историческом познании, что в конечном итоге привело к «переоткрытию» термина «историческое сознание» (В. Дильтей).

Не менее важный шаг делает и историческая наука, которая усилиями первого поколения школы «Анналов» предлагает говорить об обновлении предмета исторической науки и ее ценностей. Как подчеркивает Б.Г. Могильницкий, кризису позитивистской историографии французские историки М. Блок и Л. Февр противопоставляют принципиально новое понимание предмета истории и ее ценностных стандартов. Речь идет об утверждении неразрывной связи прошлого и настоящего, гуманизации истории, понимании человека в истории как существа социального, синтезирующего все стороны человеческой деятельности, обосновании междисциплинарного подхода [19. С. 20–37]. Круг исторических источников расширяется, а вопросам роли ценностей в работе историка начинает уделяться важное место. Так, М. Блок в своей книге «Апология истории» указывал на необходимость понимания прошлого, а не его оценки. Б.Г. Могильницкий подчеркивал: «...антитеза „понимать или судить“ была поставлена первым поколением „Анналов“ слишком категорично“, но самое главное, что она „поднимается в исторической концепции „Анналов“ до ранга важнейшей проблемы» [19. С. 37]. Развитие исторической науки во второй половине XX в. еще более усилило тренд на расширение источниковой базы, методов их оценки, а также повышенного внимания к историку. Давая общую оценку ситуации в историографии, сложившуюся на рубеже XX–XXI вв., Л.П. Репина отмечает: «...невозможность абсолютной нейтральности доказана всей историей историографии <...> историографическая ситуация настоящего времени свидетельствует о ярко выраженной теоретической рефлексии историков над проблемами исторического исследования и способами построения исторических текстов» [20. С. 557].

Если историческая наука пошла по пути расширения арсенала исторических источников, то в философии истории второй половины XX в. на первый план выходит утрата доверия к историческим метанарративам и повышенное внимание к специфике самого нарратива историописания. В данном случае имеется в виду широкая палитра исследований в рамках феноменологической герменевтики М. Хайдеггера и философской герменевтики Х.Г. Гадамера, в рамках работ представителей аналитической философии истории и нарратологии (Х. Уайт), структурализма (Р. Барт), постструктурализма (М. Фуко) и постмодернизма (Ф. Анкерсмит). Тем не менее следует согласиться с Е.М. Сергейчик, которая подчеркивает наличие общей тенденции, стоящей за указанными вехами как в исторической науке, так и в философии истории. Данной общей тенденцией является антропологический подход в интерпретации истории, когда социально-гуманитарное знание «через самого человека определить основы и смысл его бытия и бытия окружающего его мира» [18. С. 452].

Еще одной вехой трансформации ценностной составляющей исторической науки стало появление целого ряда «этосов», начиная с 1970-х гг. Первый из них Алейда Ассман называет «социальным», подчеркивая, что его задачей было «получить доступ к скрытым и забытым до настоящего времени аспектам повседневной жизни, истории рабочих, женщин и сельского населения» [12. Р. 29], что в свою очередь вело к проблематизации темы со-

циальной справедливости. «Постколониальный этос», по мысли немецкой исследовательницы, выходит на передний край в 1980-е гг., подчеркивая важность темы ответственности и признания специфики истории в Африке, Азии и Латинской Америке. В этой связи И.Н. Ионов подчеркивает, что постколониальный дискурс имеет отчетливую деконструктивистскую перспективу, поскольку он «работает главным образом не с объектами, их сущностями и универсалиями, а с безличными контекстами – политиками, практиками и процессами, в частности, с процессом обретения угнетенным собственного голоса, с актуализацией и различием образов целого ряда Иных, которым ранее было отказано в обладании правом голоса» [22. С. 162]. Третьей вехой на данном пути становится «посттравматический этос» (1980–1990-е гг.), который превращает исторический опыт холокоста в универсальную рамку для интерпретации различных случаев коллективных травм. Это напрямую позволило говорить о проблемах исторической ответственности наравне с темой исторической истины. В этой связи заметим, что в дальнейшем проблемы исторической ответственности еще отчетливее будут звучать в рамках так называемого «социально ориентированного историописания», которое все больше отделяется от профессиональной исторической науки и уже подробно исследовалось в российской литературе [23]. Наконец, Алейда Ассман упоминает так называемый «постдиктаторский этос», который в большей мере связывается ей с историческими комиссиями или так называемыми «комиссиями правды» в Южной Америке, Южной Африке и Восточной Европе в 1980–1990-х гг. Ставя в центр внимания преступления диктаторских режимов, комиссии были призваны «наводить мосты между политикой, профессиональной экспертизой и общественным знанием» [17. Р. 30].

Ориентация на синтез теоретического и практического в философии истории конца XX – начала XXI в. может быть обнаружена в работах Йорна Рюзена, который предлагает теоретическую модель синтеза модернистских и постмодернистских интерпретаций истории, а также с уверенностью говорит о необходимости синтеза теоретической и практической сторон исторического сознания. В первом случае речь идет об исторической науке. Во втором – об исторической дидактике, исторической политике и *memory studies*. Примечательно, что немецкий ученый подчеркивает возможность сосуществования нескольких измерений «правдоподобия»: эмпирическое, теоретическое, нормативное и нарративное [24. S. 85].

Еще одним исследовательским полем, где проблемы исторической этики привлекают все большее внимание, является историческая дидактика. Начиная с конца 1960-х гг., можно говорить о двух измерениях исторической дидактики: традиционном, понимающем ее как раздел педагогики, направленным на изучение методов обучения истории в школе и вузах, и новом, более широком понимании, которое рассматривало историческую дидактику как компонент развития политического и исторического самосознания учащихся. В таком ключе дидактика истории переориентировалась на анализ целей и условий обучения, развития исторического мышления и его практического воплощения в жизни. Это время начала активной политики «преодоления нацистского прошлого» (*Vergangenheitsbewältigung*), давшей толчок радикальной переоценке нацистского периода как в немецкой исторической науке, так и в общественной среде ФРГ. Центральными вопросами историче-

ской дидактики оказываются не столько проблемы уровня исторических знаний учащихся, сколько проблемы их исторического сознания, проблемы конфликта ценностей исторической памяти разных поколений [25]. По мысли Йорна Рюзена, историческое сознание есть совокупность ментальных операций, служащих цели соединения опыта прошлого, интерпретаций настоящего и ожиданий будущего, формирующих практическое ориентирование в жизни [26. Р. 68]. Именно практическая ориентированность исторической дидактики всегда отличала ее от традиционной педагогики. Усилиями немецких ученых развитие исторической дидактики в 1970–1980-е гг. шло по пути превращения исторического сознания в важнейший фактор демократизации и гуманизации западногерманского общества. Предпринятый нами несколько лет назад сравнительный анализ основных теоретических моделей исторического сознания в современной немецкой исторической дидактике показал, что его аксиологическая составляющая не только не уступает познавательной, но и в ряде моделей (модели Х.Ю. Панделя, Б. фон Борриса, Й. Рюзена, П. Гаучи) оказывается ключевой, проявляя себя в либо в выделении морального измерения исторического сознания (модели Х.Ю. Панделя, Б. фон Борриса), либо в выделении интерпретативной, оценочной и нарративной компетенций учащихся (модель П. Гаучи) [27]. Российскому читателю хорошо знакома теоретическая модель исторического сознания Йорна Рюзена, которая до настоящего времени продолжает оставаться самой востребованной среди исследователей проблем исторической дидактики в современном мире. Следует заметить, что этическая составляющая играет важную роль в работах Й. Рюзена. Показательно, что в одной из своих статей немецкий ученый рассматривает типы исторического сознания (традиционный, поучительный, критический, генетический) именно в контексте их отношения к моральным ценностям и моральной аргументации [26. Р. 72].

Современная историческая дидактика не только идет по пути дальнейшего уточнения ее базовых понятий (историческое сознание, историческое мышление, историческая культура), но и актуализирует этический дискурс. Ряд исследователей обращают внимание на моральную составляющую исторического сознания школьников [28], на место проблемы исторической ответственности в историческом сознании молодежи [29]. В некоторых исследованиях замечен интерес к теоретической интерпретации понятия «историческая ответственность» [4, 5]. Недавняя конференция явно показывает стремление определить место и значение концепта «историческая ответственность» в круге понятий и категорий исторической дидактики [30]. Не менее значимым для некоторых исследователей является также определение роли и значения этики в преподавании истории [31], где центральную роль начинает играть понятие достоинства.

Запрос на историческую этику можно увидеть в XX в. и в рамках эволюции этического знания, где на место этики долга и этики блага приходит новый тип теории морали – этика ответственности [32]. Вне зависимости от того, о какой этике ответственности мы говорим, одним из ее важнейших достижений стало введение в этику феномена времени, который, по мнению В.А. Канке, не проблематизируется ни в этике свободы, ни в этике справедливости [33. С. 297]. В особенности это касается работ по этике ответственности XX в. Так, по мысли Ханса Йонаса, сам факт существования человека

делает необходимым заботу о будущем [34]. На пути к нему каждый человек обладает своей ролевой ответственностью. В противовес классической концепции ответственности, где постулируется ответственность субъекта за последствия своих действий (например, в этике Дж.С. Милля), неклассическая концепция этики ответственности указывает на практический и ситуативный контекст истоков и последствий субъекта ответственности. По этому поводу В.А. Канке подчеркивает, что «в неклассической концепции ответственности особо проблемный характер имеет вопрос о согласовании интересов людей, о соотношении личностного и общественного, в том числе в рамках демократического общества» [33. С. 302].

Современными исследователями ответственности отмечается: «...ответственность – обязательство перед кем-то, забота о ком-либо, долг, т.е. нечто воспринимаемое в качестве основания решений или действий в отношении другого. Более широкое значение слова „ответственность“ связано со свободой воли, с непреднамеренными или непредусмотренными последствиями поступка. Наконец, можно отметить коммуникативный аспект ответственности: внимание, респонзивность, способность вступить в диалог с другим» [35. С. 7]. В этой же работе справедливо отмечается актуальность трансцендентально-прагматического подхода к ответственности, реализованного в работах К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. Суммируя позиции немецких теоретиков, отечественные исследователи указывают: «...перформативные высказывания, а именно таковыми являются требования ответственности, предполагают признание оппонента или пропонента как личностей, а это и есть первичный этический акт» [35. С. 15]. Еще одним важным выводом, который следует из книги, является тезис о развивающемся характере самой дефиниции ответственности. Применение трансцендетально-прагматической методологии с ее ориентацией на коммуникативный консенсус в данном случае означает, что публичный дискурс и свободные дискуссии будут способствовать дальнейшему усложнению как понятия ответственности, так и языка ее описания, открывая в ней все новые грани и уровни, связанные с профессиональными этиками современности.

Современное развитие этики ответственности указывает на еще одну причину, которая делает обращение к исторической этике небесполезным. Обращенность этики в отличие от универсальной морали на индивидуальное поведение означает, что ответственность личности всегда связана с ее окружением. В работах современных коллег из Германии данный тезис раскрывается в контексте категории «ориентирования» [36]. Ставится вопрос о философском понимании структур ориентирования, а также прослеживается специфика этих структур в целом ряде повседневных, социально-экономических и политических ситуаций. Отдельное место занимает аналитика этического ориентирования, одним их важнейших условий которой является темпоральность. Другими словами, не существует неизменного этического ориентирования, а «этический суверенитет» (Ethische Souveränität) – результат этического ориентирования, в понимании исследователя, достигается через взаимодействие с разными этическими традициями [36. S. 626]. Таким образом, ориентирование предполагает не только пространственный, но и темпоральный аспект, что актуализирует историческое сознание. Взаимодействие с различными этическими традициями, включая традиции прошлого, всегда

является осознанным к ним отношением, предполагает рефлексию относительно оснований собственного выбора к ним. И здесь в свои права вступает именно историческая этика, которая в отличие от истории этики проблематизирует особенности нашего ценностного выбора в отношении прошлого.

Наш краткий обзор показывает, что трансформация всех проанализированных дисциплин убедительно свидетельствует о росте интереса к этической рефлексии в отношении событий прошлого и их интерпретации в настоящем. При этом следует заметить, что интерпретации исторической ответственности в философии истории, исторической науке и исторической дидактике были во многом ограничены спецификой проблемного поля данных дисциплин и не вели к широкой этической теоретизации исторической ответственности. В свою очередь, появление неклассической этики ответственности и актуализацию темпорального измерения в ней можно считать не только интеллектуальной предпосылкой исторической этики, но и ее методологическим основанием.

Среди зарубежных исследователей продолжают споры о предмете исторической этики. Казалось бы, как разновидность этики науки, историческая этика является прикладной этикой, рефлексирующей о ценностных и мировоззренческих вопросах исторической науки. Карл-Христиан Вебер дает следующее определение исторической этике: «...историческая этика описывает и обосновывает ценности и нормы, которые имеют отношение к процессам исторического исследования, исторической презентации, а также к процессам восприятия прошлого» [37. S. 114]. Сходным образом историческая этика рассматривается в исследовании Кристофа Кюбергера и Клеменса Седмака, которые подчеркивают, что работа историка строится на доверии к результатам работ предшествовавших поколений [14. S. 11], а также в исследовании Герарда Бёкенкампа, где показываются двойственные взаимоотношения между этикой и исторической наукой [38]. Однако определение исторической этики как этической составляющей исторической науки не позволяет в полной мере поставить вопрос о социальных функциях исторической этики, а также о ее роли в контексте расширения роли и значения непрофессионального сегмента исторической культуры.

Иной подход к пониманию исторической этики можно предложить, если рассматривать ее шире, чем «этос» исторической науки. В данном случае подчеркивается консеквенциональный и социально ориентированный характер. Подобная экстерналистская интерпретация позволяет нам рассматривать историческую этику в качестве важного фактора циркуляции представлений о прошлом в исторической культуре. Следует согласиться с Йорном Рюезеном, который в целом ряде своих работ развивает трактовку исторической культуры как исторического сознания, схваченного в действии. Он намеренно расширяет понимание исторической культуры, которая, по его мысли, охватывает все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни [24]. В нашем понимании историческая культура – это универсальная среда реактуализации исторического бытия, воспроизводящая способ схватывания временности и историчности в культуре; форма социальной циркуляции представлений о прошлом, проявляющая себя в конфигурации взаимодействия коммуникативной и культурной памяти, мемориальных культур, личного и коллективного исторического опыта и исторического сознания; медиативная

среда, связывающая всю совокупность знаний о прошлом, способов исторической оценки, практик памяти и забвения, а также их институциональные формы, отражающие как собственную культурную изменчивость, так и изменчивость других культур.

Нам уже приходилось писать о том, что если принять историческую культуру как основной контекст актуализации проблем исторической этики, то мы могли бы интерпретировать историческую этику как «раздел прикладной этики, задачей которого являются анализ, обоснование и пересмотр ценностно-нормативных контекстов как научно-исторического познания, так и всех вненаучных форм обращения к прошлому в исторической культуре с целью выработки стратегий исторического сознания и основанного на нем культурно-исторического ориентирования» [15. С. 429]. «Потребность в исторической этике фундирована самим медиативным характером исторической культуры, где в зонах обмена между профессиональными и непрофессиональными способами обращения к прошлому возникает потребность именно в этической медиации. Эта медиация усиливает социальную циркуляцию знаний о прошлом и ускоряет динамику самой исторической культуры, ее внутреннюю работу по переосмыслению прошлого в актуальной ситуации настоящего» [15. С. 430].

Историческая этика, выходящая за пределы «этоса» исторической науки, является вариантом ценностно-ориентированной консеквенциональной этики, которая может удачно коррелировать с прагматическим подходом как методом современной этики науки. В таком случае она оказывается проективной, т.е. ориентируется на практические действия и их последствия. Соответственно, и модель исторической ответственности, которую она стремится выработать, должна быть не реактивной, а проективной, ставя во главу угла не понятие исторической вины, а понятие свободы. Подобная модель исторической ответственности идет в разрез с универсалистским подходом к исторической ответственности, который, по-прежнему, в явной или неявной форме стоит не только за философскими попытками интерпретировать историческую ответственность, но и широко применяется в практике реализации исторической политики и ее мемориальных конфликтах.

Ярким примером универсалистского подхода в отношении проблематики исторической ответственности является позиция немецкого философа Карла Ясперса, обращавшегося к интересующей нас проблеме в контексте аналитики немецкой вины после завершения Второй мировой войны. Как отмечал К. Ясперс, не только каждому немцу должна быть присуща вина за преступления нацизма, но и всем говорящим на немецком языке. Он писал, что «мы чувствуем себя соучастниками не только того, что происходит сейчас, т.е. соучастниками деяний наших современников, но мы чувствуем себя ответственными и за взаимосвязь того исторического наследия, которое мы переняли от прошлых поколений. Поэтому мы должны перенять вину отцов» [39. S. 70–71]. Однако каким образом можно было бы «очиститься» от этой вины? «Мы немцы <...> обязаны ясно осознать свою вину и сделать выводы. К этому обязывает нас человеческое достоинство. Мы не можем быть равнодушны к тому, что думает о нас мир, ибо мы принадлежим человечеству – мы прежде всего люди, а потому уже немцы» [39. S. 29]. Не трудно увидеть, что немецкий философ говорит об общечеловеческой ответственности, предпола-

гающей некую «общечеловеческую» память. Именно она могла бы стать той рамкой, внутри которой была бы осознана национальная вина немцев. В дальнейшем данную линию мысли будет развивать Х. Арендт, которая писала об идее гуманности и рассматривала ее в качестве своеобразного базиса общей ответственности за все человеческие преступления, как в прошлом, так и в настоящем [40]. Соответственно, проблема вины субстанциализируется и рассматривается как свойство человеческого бытия, как проявление человеческой субъективности. При этом нельзя не сказать, что подобный подход ведет к гипертрофии персонального отношения к исторической ответственности, когда последняя рассматривается как онтологическая заданность личности.

В наши дни универсалистский подход к исторической ответственности продолжает оставаться одним из влиятельных в научной литературе. Так, в работе Бернварда Грюневальда отмечается, что «причина нашей ответственности лежит не в объектах, а в том, что мы можем сами контролировать наше сознание ответственности и сами должны определять наши убеждения. Здесь лежит причина нашей (внутренней) свободы. Причина ответственности лежит в нашей свободе» [13. S. 100]. Другими словами, причина ответственности связана не с внешним миром, а с самим человеком. Речь таким образом идет о персональной способности человека держать ответ за свое действие/бездействие [13. S. 96], а также возможность Другого требовать что-либо от человека [13. S. 100]. По сути, Б. Грюневальд занимает кантианскую позицию и рассматривает моральный закон как базис для реализации исторической ответственности: «Только через сознание этого универсального и действующего для всех закона, на который некто, кто должен проявить ответственность, в состоянии ответить, вопрос об ответственности приобретает свой смысл» [13. S. 100].

В противоположность универсалистскому подходу в целом ряде работ в последние годы развивается конструктивистский подход, релятивизирующий историческую ответственность и рассматривающий ее в первую очередь как практику в борьбе за символический капитал между сообществами памяти. Важной вехой становления данной конструктивистской позиции стали работы немецкого теоретика истории – Йорна Рюзена, который в одной из своих статей показывает важность самой истории и, шире, культуры как инстанции для ценностей исторической ответственности. Как и в более ранних работах Й. Рюзена, важнейшую роль приобретает культурная функция исторического знания, что позволяет ему говорить о теоретической и практической исторических истинах. С теоретической исторической истиной он связывает идею исторической объективности, в то время как с практической исторической истиной – историческую ответственность [4. S. 50]. Соответственно, акцент на персональном «чувстве ответственности» оказывается недостаточным и требует более широкой постановки вопроса об исторической ответственности на уровне сообществ памяти и исторической культуры в целом. В понимании самого Й. Рюзена это находит выражение в феномене «темпоральной интерсубъективности», которая является формой взаимосвязи ценностей разных поколений как субъектов исторической культуры. Однако подобная взаимосвязь в разные эпохи разворачивалась по-разному, где наиболее известными способами взаимосвязи Йорн Рюзен признает: 1) непрерывность

действия одной и той же системы ценностей; 2) вечную актуальность универсальных этических принципов; 3) эволюцию ценностей в аспектах дифференциации и универсализации [4. S. 68].

Еще более радикальную трактовку конструктивистского подхода находим в монографии Дженни Тиллманнс «Что означает историческая ответственность? Историческая несправедливость и ее последствия для настоящего» [5]. Как и ее предшественники, отталкиваясь от проблематики немецкого исторического опыта, Дженни Тиллманнс разворачивает в своей книге философско-историческую перспективу исследования исторической ответственности, которая связывается ей в первую очередь с перспективой настоящего. В ее интерпретации историческая ответственность предстает как проблема исторической самоидентификации современников, так и основанная на этом практика формирования желаемого образа будущего. В первом случае конструирование модели исторической идентичности отвечает на вопрос «Кем мы являемся?», а во втором случае – на вопрос «Что нам делать?» [5. S. 15]. В книге Дженни Тиллманнс мы видим четыре перспективы исторической ответственности, каждая из которых подразумевает свою особую интерпретацию: перспектива жертвы (вспоминать о прошлом), перспектива участника (передавать прошлое), перспектива наблюдателя (рассказывать прошлое) и внутренняя перспектива (задавать вопросы после вопросов о прошлом). Перспектива жертвы, основанная на доминировании воспоминания о прошлом (*Erinnern von Vergangenheit*), делает акцент на коммеморации страданий и наиболее полно, по мысли Д. Тиллманнс, выражена в работах В. Беньямина, М. Хоркхаймера. Перспектива участника делает акцент на преступниках и процессе передачи исторической ответственности (*Überliefern von Vergangenheit*) к их потомкам и всем тем, кто приобретает гражданство страны с «негативным историческим опытом». В данном случае автор книги обращается к работам К. Ясперса, Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. Еще одной перспективой, рассматриваемой в книге, является перспектива наблюдателя прошлого, которая соотносится со способностью рассказывать о событиях прошлого (*Erzählen von Vergangenheit*). В первую очередь имеются в виду ученые, способные дать моральную и научную оценку историчности и особенностям исторического мышления. Соответственно, способы обоснования ответственности получают свою интерпретацию как стратегии нарратива, что связывается с именами П. Рикёра, Й. Рюзена, В. Моммзена, С. Фридлэндера. Четвертая модель предстает как пострефлексия относительно уже сложившихся оценок и постановок проблемы исторической ответственности (*Fragen nach der Frage von Vergangenheit*). По мысли Д. Тиллманнс, наиболее ярко данная позиция выражена в работах Жака Дерриды, проекте гуманизма Йорна Рюзена, исследовании этоса вопрошания Сандры Леманн, исследовании смысла истории в работах Яна Паточки. Речь идет о трактовке исторической ответственности как осознании неспособности понять тотальность истории и признании факта ограниченности нашего исторического мировоззрения.

Как мы постарались показать выше, именно конструктивистская трактовка исторической ответственности является наиболее приемлемой для исторической этики. В таком случае трактовка исторической ответственности в исторической этике в большей мере должна интерпретироваться как результат трансформации социальных практик определенного сообщества памяти,

включенного в символическую борьбу в соответствующем социальном поле (экономическом, политическом, культурном). Соответственно, конструирование образа жертвы, преступника, соучастника, свидетеля оказывается символическим инструментом в борьбе за доминирование над конкурентами, которые также могут выступать или восприниматься как сообщества памяти. Заметим, что акцент на сообществах памяти и акторах конструирования дискурса исторической ответственности представляется нам более многообещающим, чем поколенческая перспектива [4. S. 76; 41. S. 235], поскольку сама категория «поколение» предстает в указанных работах как некая тотальность, а применение данной категории не позволяет дифференцировать возникающие даже внутри одного поколения сообщества памяти и их дискурсы исторической ответственности, которые могут существенно отличаться друг от друга.

Еще одним важным следствием является признание множества акторов конструирования дискурсивных практик исторической ответственности и динамический характер ее интерпретации. С одной стороны, это позволяет принять во внимание явных и неявных акторов конструирования дискурса исторической ответственности, а с другой – делает перманентным процесс согласования ценностей акторов конструирования исторической ответственности. В этой связи по-прежнему трудно найти какую-либо иную альтернативу этике дискурса как методологическому основанию согласования позиций акторов конструирования дискурсивных практик исторической ответственности.

Ситуация множественности акторов конструирования исторической ответственности в свою очередь ведет к необходимости расширения числа примеров прошлого, которые могли бы выступать в качестве отправной точки для конструирования соответствующего дискурса исторической ответственности. Ярким примером в данном случае является ситуация релятивизации холокоста, универсальный смысл которого в последние десятилетия все чаще размывался в рамках исторической политики восточноевропейских государств [42], а также доминирование колониализма как символически более важного события для государств Азии, Африки и Латинской Америки [3. С. 66]. Совершенно очевидно, что целая серия недавних военных конфликтов (конфликт в Югославии, конфликты на Ближнем Востоке), равно как и продолжающийся конфликт на Украине, будет требовать дальнейшего согласования набора исторических событий, имеющих морально-историческое значение для дискурса исторической ответственности.

Тезис Д. Тиллманнс о специфике исторической ответственности в рамках различных перспектив (перспектива жертвы, перспектива участника, перспектива наблюдателя, внутренняя перспектива) в рамках исторической этики следует дополнить также и тезисом о наличии нескольких уровней рефлексии относительно исторической ответственности, где в наибольшей степени выделяются личностный, групповой и глобальный уровни. Сохранение личностного уровня связано с тем, что как прикладная этика, так и этика в целом, в отличие от универсальной морали, обращается к персональному поведению. Однако одновременно за каждым индивидом стоит перспектива одного или нескольких сообществ памяти, к которым он может принадлежать. Еще более интересным представляется в этой связи глобальный уровень рефлексии, который, на наш взгляд, связан не столько с применением

неких универсальных ценностей в отношении прошлого, сколько с контекстом транскультурных воспоминаний, когда национальные или культурные образы памяти (включая образы коллективной травмы) способны перемещаться через границы и воспроизводиться в новых контекстах [43]. Не случайно в этой связи, что один из виднейших теоретиков транскультурного поворота на Западе, американский мыслитель М. Ротберг, особо подчеркивает, что ситуация миграции коллективных воспоминаний, трансформации памяти миграционных обществ, соотношение различных традиций памяти о геноцидах с памятью о холокосте в конечном счете ставят вопрос именно о новой этике памяти [44. Р. 142].

Складывающейся сегодня исторической этике еще только предстоит выработать механизм переключения между указанными выше перспективами и уровнями этической рефлексии. Следует подчеркнуть, что целью механизма переключения вряд ли может стать какая-либо единая «инстанция», которая бы позволила определить некую универсальную этическую позицию в отношении прошлого. Наоборот, согласование различных перспектив и уровней этического подхода к прошлому в качестве промежуточного этапа, вероятнее всего, будет предполагать «разрывы» и «разрушение» исторической преемственности. В этой связи В.Н. Сыров резонно отмечает: «...подойти к прошлому как опыту означает представить его не как сумму успехов или неудач, а как столкновение целей и задач, поставленных историческими акторами, с непредвиденными ими обстоятельствами и соответственно с неопределенным финалом <...> Так видеть прошлое возможно только тогда, когда стабильность настоящего поставлена под вопрос, а будущее мыслится неопределенным и многовариантным. Собственно говоря, это и есть ситуация разрыва. Идея альтернативности подразумевает, что среди возможных вариантов может повториться и прошлое, а значит, осмысление его как опыта приобретает значение и культурную ценность» [45. С. 190]. Соответственно, трудновыполнимой представляется попытка развернуть проект этики исторической ответственности на основе «транспоколенческой солидарности» [41], принимающей во внимание моральные интересы поколений в отношении друг друга и в отношении их настоящего. Например, в условиях современного миграционного общества становится все сложнее говорить о возможности исторической преемственности между поколениями, поскольку данные поколения оказываются в принципиально разных культурных контекстах принимающего общества и общества исхода, когда молодое поколение с миграционными корнями в принимающей стране стремится не идентифицировать себя с ее «трудным» прошлым, дистанцируясь от него или оказываясь носителями транскультурных воспоминаний.

Таким образом, появление новой прикладной дисциплины – исторической этики можно считать своеобразным ответом на рост аксиологической составляющей в философии истории, исторической науке и исторической дидактике. В рамках исторической науки это было связано с увеличением числа исторических источников, трансформацией их эпистемологического значения, а также с появлением проблемы этоса историописания. В философии истории рост аксиологической составляющей был связан с недоверием к теоретическому языку метанарративов, а также проблематизацией исторического нарратива. В исторической дидактике это было связано не только с ши-

рокой постановкой проблемы исторического сознания, но и с проникновением в историческую дидактику этических понятий. Было выявлено, что рост аксиологической составляющей нашел отражение в выходе на первый план проблематики исторической ответственности в исторической науке и исторической дидактике. При этом интерпретации исторической ответственности в философии истории, исторической науке и исторической дидактике были во многом ограничены спецификой проблемного поля данных дисциплин и не вели к широкой этической теоретизации исторической ответственности. Появление неклассической этики ответственности и актуализация темпорального измерения в ней можно считать не только интеллектуальной предпосылкой исторической этики, но и ее методологическим основанием.

Было выявлено, что историческая этика, выходящая за пределы «этоса» исторической науки и ориентированная на проблемы исторической культуры, является вариантом ценностно-ориентированной консеквенциональной этики, которая может удачно коррелировать с прагматическим подходом как методом современной этики науки. В таком случае она оказывается проективной, т.е. ориентируется на практические действия и их последствия. Соответственно, и модель исторической ответственности, которую она стремится выработать, должна быть не реактивной, а проективной, ставя во главу угла не понятие исторической вины, а понятие свободы. Подобная модель исторической ответственности идет в разрез с универсалистским подходом к исторической ответственности, который по-прежнему, в явной или неявной форме, стоит не только за философскими попытками интерпретировать историческую ответственность, но и широко применяется в практике реализации исторической политики и ее мемориальных конфликтах. В статье обосновывается мысль, что наиболее приемлемой для исторической этики является конструктивистская трактовка исторической ответственности. В таком случае трактовка исторической ответственности в исторической этике в большей мере должна интерпретироваться как результат трансформации социальных практик определенного сообщества памяти, включенного в символическую борьбу в соответствующем социальном поле, предполагать множественность акторов и различных перспектив (перспектива жертвы, перспектива участника, перспектива наблюдателя, внутренняя перспектива), а также уровней этической рефлексии относительно прошлого (личностный, групповой и глобальный). В условиях релятивизации исторического опыта холокоста была зафиксирована необходимость расширения числа примеров прошлого, которые могли бы выступать в качестве отправной точки для конструирования соответствующего дискурса исторической ответственности. Вместе с тем историческая этика по-прежнему находится на пути своего становления, поскольку механизм переключения между выявленными этическими перспективами и уровнями этической рефлексии в отношении прошлого еще только предстоит выработать.

#### **Список источников**

1. *David L.* The Past Can't Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 226 p.
2. *Miller A.I.* Global Memory Culture in Doubt // *Russia in Global Affairs*. 2024. Vol. 22., Iss. 3. P. 32–44.

3. Аникин Д.А. Дискурс исторической справедливости: этико-политические основания и концептуальные противоречия // Антиномии. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 55–70.
4. Rüsen J. Kann gestern besser werden? Essays zum Bedenken der Geschichte. Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2003. 160 S.
5. Tillmanns J. Was heißt historische Verantwortung? Historisches Unrecht und seine Folgen für die Gegenwart. Bielefeld : Transcript-Verlag, 2012. 354 S.
6. Сыров В.Н. Историческая ответственность: за пределами проблемы соотношения свободной воли и детерминизма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 57. С.108–127.
7. Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М. : НЛЮ, 2014. 328 с.
8. Wyschogrod E. An Ethics of Remembering. History, Heterology, and the nameless others. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1998. 281 p.
9. Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge, London : Harvard University Press, 2004. 237 p.
10. Vernon R. Historical Redress. Must we pay for the past? London : Continuum, 2012. 177 p.
11. Tillmanns J. Can Historical Responsibility Strengthen Contemporary Political Culture? // The American Journal of Economics and Sociology. 2009. Jan. Vol. 68, № 1. P. 127–151.
12. *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn, R.A. Makkreel. Evanston : Illinois, Northwestern University Press, 2004. 178 p.
13. Grinewald B. Gesinnung oder Verantwortung? Über den Widersinn der Entgegensetzung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik // Busche U.A. Schmitt (Hrsg.). Kant als Bezugspunkt philosophischen Denkens. Würzburg : Königshausen u. Neumann, 2010. S. 85–100.
14. Kühberger C., Sedmak C. Ethik der Geschichtswissenschaft. Zur Einführung. Wien : Verlag Turia + Kant, 2008. 272 S.
15. Буллер А., Линченко А.А. Зачем нужна историческая этика? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2023. Т. 39, вып. 3. С. 423–435.
16. Герасимов О.В. Историческое познание: опыт исторической эпистемологии. Самара : Самарский гос. техн. ун-т, 2016. 116 с.
17. Лингвистический поворот и историческое познание в западной философии XX–XXI вв. / отв. ред. Б.Л. Губман, К.В. Ануфриева. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2021. 304 с.
18. Сергейчик О.М. Философия истории. СПб.: Лань, 2002. 608 с.
19. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. Вып. 2: Становление исторической мысли. Томск : Изд-во Томского университета, 2003. 178 с.
20. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М. : Круть, 2011. 560 с.
21. Assman A. Towards a New Ethos of History? // *The Ethos of History. Time and Responsibility* / ed. by S. Helgesson, J. Svenungsson. London : Berghahn books, 2018. P. 14–31.
22. Ионов И.Н. Мировая история в глобальный век: новое историческое сознание. М. : Аквилон, 2015. 464 с.
23. Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание. Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. 254 с.
24. Rüsen J. Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 2013. 322 S.
25. Jeismann K.-E. Geschichtsbewußtsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik // *Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen* / Hrsg. G. Schneider. Pfaffenweiler : Centaurus, 1988. S. 1–11.
26. Rüsen J. Historical consciousness: Narrative Structure, Moral function, and Ontogenetic Development // *Theorizing historical consciousness* / ed. P. Seixas. Toronto : University of Toronto Press, 2004. P. 63–86.
27. Линченко А.А., Ковригин В.В. Этноцентризм и историческое сознание молодежи в современном мире. Воронеж : ВГПУ, 2014. 279 с.
28. Kölbl C. Moral im Geschichtsbewusstsein. Theoretische Überlegungen und empirische Befunde als mögliche Anknüpfungspunkte für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I // Hg. D. Horster and J. Oelkers. Pädagogik und Ethik. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. S. 235–259.
29. Löfström J., Myrny L. Analysing adolescents' reasoning about historical responsibility in dialogue between history education and social psychology // *Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education*. 2017. № 4 (1). P. 68–80.

30. *The Graz Conference: Historical Consciousness. Historical Thinking. Historical Culture. Core Concepts of History Didactics and Historical Education in Intercultural Perspectives Reflections on Achievements. Challenges for the New Generation.* 11th – 14th November 2020 University of Graz, Austria. Graz: Graz Univ. Press, 2020. 130 p.
31. *Edling S., Sharp H., Löfström J., Ammert N.* Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness // *Ethics and Education*. 2020, June. Vol. 15, № 4. P. 1–19.
32. *Беляева Е.В.* «Этика ответственности» как тип теории морали в сравнении с «этикой долга» и «этикой блага» // *Вестник прикладной этики*. 2022. Вып. 59. С. 73–92.
33. *Канке В.А.* Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. М.: Логос, 2000. 320 с.
34. *Йонас Х.* Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-Пресс, 2004. 480 с.
35. *Лисанюк Е.Н., Перов В.Ю.* Философия ответственности. СПб.: Наука, 2014. 253 с.
36. *Stegmaier W.* Philosophie der Orientierung. Berlin; New York: De Gruyter, 2014. 334 S.
37. *Weber K.-C.* Ethisch reflektierter Geschichtsunterricht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB), 2013. 188 S.
38. *Bökenkamp G.* Wie kommt die Ethik in die Geschichte? URL: <https://ef-magazin.de/2013/03/27/4126-geschichtsphilosophie-wie-kommt-die-ethik-in-die-geschichte> (accessed: 28.01.2026).
39. *Jaspers K.* Die Schuldfrage. Heidelberg: Lambert Schneider, 1946. 106 S.
40. *Арендт Х.* Ответственность и суждение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 352 с.
41. *Heidbrink L.* Zum Problem historischer Verantwortung // *Philosophisches Jahrbuch*. 1996. Vol. 103, № 2. S. 225–247.
42. *Миллер А.И.* Вторая мировая война в «войнах памяти» // *Новое прошлое*. 2020. № 4. С. 222–231.
43. *Erl A.* Travelling Memory // *Parallax*. 2011. Vol. 17. № 4. P. 4–18.
44. *Rothberg M.* Multidirectional Memory in Migratory Settings: The Case of Post-Holocaust Germany // *The Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales* / eds. Ch. De Cesari, A. Rigney. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. P. 123–147.
45. *Сыров В.Н.* В каком историческом сознании мы нуждаемся: к методологии подхода и практике использования // *Вестник Томского государственного университета. История*. 2013. № 1 (21). С. 183–190.

### References

1. David, L. (2020) *The Past Can't Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Miller, A.I. (2024) Global Memory Culture in Doubt. *Russia in Global Affairs*. 22(3). pp. 32–44.
3. Anikin, D.A. (2024) Diskurs istoricheskoy spravedlivosti: etiko-politicheskie osnovaniya i kontseptual'nye protivorechiya [The Discourse of Historical Justice: Ethical-Political Foundations and Conceptual Contradictions]. *Antinomii*. 24(3). pp. 55–70.
4. Rüsen, J. (2003) *Kann gestern besser werden? Essays zum Bedenken der Geschichte*. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
5. Tillmanns, J. (2012) *Was heißt historische Verantwortung? Historisches Unrecht und seine Folgen für die Gegenwart*. Bielefeld: Transcript-Verlag.
6. Syrov, V.N. (2020) Historical Responsibility: Beyond Free Will and Determinism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 57. pp. 108–127. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/57/11
7. Assman, A. (2014) *Dlinnaya ten' proshlogo: memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. Moscow: NLO.
8. Wyszogrod, E. (1998) *An Ethics of Remembering. History, Heterology, and the nameless others*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
9. Margalit, A. (2004) *The Ethics of Memory*. Cambridge, London: Harvard University Press.
10. Vernon, R. (2012) *Historical Redress. Must we pay for the past?* London: Continuum.
11. Tillmanns, J. (2009) Can Historical Responsibility Strengthen Contemporary Political Culture? *The American Journal of Economics and Sociology*. 68(1). pp. 127–151.

12. Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) (2004) *The Ethics of History*. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
13. Grünewald, B. (2010) Gesinnung oder Verantwortung? Über den Widersinn der Entgegensetzung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik. In: Busche, H. & Schmitt, A. (eds) *Kant als Bezugspunkt philosophischen Denkens*. Würzburg: Königshausen u. Neumann. pp. 85–100.
14. Kühberger, C. & Sedmak, C. (2008) *Ethik der Geschichtswissenschaft. Zur Einführung*. Wien: Verlag Turia + Kant.
15. Buller, A. & Linchenko, A.A. (2023) Zachem nuzhna istoricheskaya etika? [Why is Historical Ethics Needed?]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya*. 39(3). pp. 423–435.
16. Gerasimov, O.V. (2016) *Istoricheskoe poznanie: opyt istoricheskoy epistemologii* [Historical Knowledge: An Experience of Historical Epistemology]. Samara: Samara State Technical University.
17. Gubman, B.L. & Anufrieva, K.V. (eds) (2021) *Lingvisticheskiy povорот i istoricheskoe poznanie v zapadnoy filosofii XX-XXI vv.* [The Linguistic Turn and Historical Knowledge in Western Philosophy of the 20th-21st Centuries]. Moscow, St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ.
18. Sergeychik, O.M. (2002) *Filosofiya istorii* [Philosophy of History]. St. Petersburg: Lan’.
19. Mogilnitskiy, B.G. (2003) *Istoriya istoricheskoy mysli XX veka: kurs lektsiy* [History of Historical Thought of the 20th Century: A Course of Lectures]. Vol. 2: Stanovlenie istoricheskoy mysli [The Formation of Historical Thought]. Tomsk: Tomsk State University.
20. Repina, L.P. (2011) *Istoricheskaya nauka na rubezhe XX-XXI vv.: sotsial’nye teorii i istoriograficheskaya praktika* [Historical Science at the Turn of the 21st Century: Social Theories and Historiographical Practice]. Moscow: Krug’.
21. Assman, A. (2018) Towards a New Ethos of History? In: Helgesson, S. & Svenungsson, J. (eds) *The Ethos of History. Time and Responsibility*. London: Berghahn books. pp. 14–31.
22. Ionov, I.N. (2015) *Mirovaya istoriya v global’nyy vek: novoe istoricheskoe soznanie* [World History in the Global Age: A New Historical Consciousness]. Moscow: Akvilon.
23. Malovichko, S.I. & Rumyantseva, M.F. (2013) *Istoriya kak strogaya nauka vs sotsial’no orientirovannoe istoriopisanie* [History as a Rigorous Science vs. Socially Oriented Historiography]. Orekhovo-Zuevo: Moscow State Regional Institute for the Humanities.
24. Rüsen, J. (2013) *Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
25. Jeismann, K.-E. (1988) Geschichtsbewußtsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik. In: Schneider, G. (ed.) *Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen*. Pfaffenweiler: Centaurus. pp. 1–11.
26. Rüsen, J. (2004) Historical consciousness: Narrative Structure, Moral function, and Ontogenetic Development. In: Seixas, P. (ed.) *Theorizing historical consciousness*. Toronto: University of Toronto Press. pp. 63–86.
27. Linchenko, A.A. & Kovrigin, V.V. (2014) *Etnotsentrizm i istoricheskoe soznanie molodezhi v sovremennom mire* [Ethnocentrism and Historical Consciousness of Youth in the Modern World]. Voronezh: Voronezh State Pedagogical University.
28. Kölbl, C. (2005) Moral im Geschichtsbewusstsein. Theoretische Überlegungen und empirische Befunde als mögliche Anknüpfungspunkte für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I. In: Horster, D. & Oelkers, J. (eds) *Pädagogik und Ethik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. pp. 235–259.
29. Löfström, J. & Myrsky, L. (2017) Analysing adolescents’ reasoning about historical responsibility in dialogue between history education and social psychology. *Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education*. 4(1). pp. 68–80.
30. *The Graz Conference: Historical Consciousness. Historical Thinking. Historical Culture. Core Concepts of History Didactics and Historical Education in Intercultural Perspectives Reflections on Achievements. Challenges for the New Generation* (2020). 11th – 14th November 2020, University of Graz, Austria. Graz: Graz University Press.
31. Edling, S., Sharp, H., Löfström, J. & Ammert, N. (2020) Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness. *Ethics and Education*. 15(4). pp. 1–19.
32. Belyaeva, E.V. (2022) “Etika otvetstvennosti” kak tip teorii morali v sravnenii s “etikoy dolga” i “etikoy blaga” [“Ethics of Responsibility” as a Type of Moral Theory in Comparison with “Ethics of Duty” and “Ethics of Good”]. *Vedomosti prikladnoy etiki*. 59. pp. 73–92.
33. Kanke, V.A. (2000) *Osnovnye filosofskie napravleniya i kontseptsii nauki. Itogi XX stoletiya* [Basic Philosophical Directions and Concepts of Science. Results of the 20th Century]. Moscow: Logos.

34. Jonas, H. (2004) *Printsip otvetstvennosti. Opyt etiki dlya tekhnologicheskoy tsivilizatsii* [The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age]. Moscow: Ayris-Press.
35. Lisanyuk, E.N. & Perov, V.Yu. (2014) *Filosofiya otvetstvennosti* [Philosophy of Responsibility]. St. Petersburg: Nauka.
36. Stegmaier, W. (2014) *Philosophie der Orientierung*. Berlin, New York: De Gruyter.
37. Weber, K.-C. (2013) *Ethisch reflektierter Geschichtsunterricht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB).
38. Bökenkamp, G. (2013) *Wie kommt die Ethik in die Geschichte?* [Online] Available from: <https://ef-magazin.de/2013/03/27/4126-geschichtsphilosophie-wie-kommt-die-ethik-in-die-geschichte> (Accessed: 28th January 2026).
39. Jaspers, K. (1946) *Die Schuldfrage*. Heidelberg: Lambert Schneider.
40. Arendt, H. (2013) *Otvetsvennost' i suzhdenie* [Responsibility and Judgment]. Moscow: Gaidar Institute Press.
41. Heidbrink, L. (1996) Zum Problem historischer Verantwortung. *Philosophisches Jahrbuch*. 103(2). pp. 225–247.
42. Miller, A.I. (2020) Vtoraya mirovaya voyna v “voynakh pamyati” [The Second World War in the “Memory Wars”]. *Novoe proshloe*. 4. pp. 222–231.
43. Ertl, A. (2011) Travelling Memory. *Parallax*. 17(4). pp. 4–18.
44. Rothberg, M. (2014) Multidirectional Memory in Migratory Settings: The Case of Post-Holocaust Germany. In: De Cesari, Ch. & Rigney, A. (eds.) *The Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin, Boston: De Gruyter. pp. 123–147.
45. Syrov, V.N. (2013) What Historical Consciousness Do We Need: On the Methodology of Approach and Practice of Use. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 21 (1). pp. 183–190. (In Russian).

***Сведения об авторе:***

**Линченко А.А.** – кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал Финуниверситета) (Липецк, Россия); Липецкий государственный технический университет (Липецк, Россия). E-mail: AALinchenko@fa.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Linchenko A.A.** – Cand. Sci. (Philosophy), docent, research fellow, Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russian Federation); Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russian Federation). E-mail: AALinchenko@fa.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 02.01.2026;  
одобрена после рецензирования 29.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 02.01.2026;  
approved after reviewing 29.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 001.1; 16; 316.33

doi: 10.17223/1998863X/89/10

## СОЦИОЛОГИЯ, КОТОРОЙ НЕТ: О ВЛИЯНИИ ИДЕЙ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА НА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ

Наталья Николаевна Погожина

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,  
pogozhinann@gmail.com*

**Аннотация.** Несмотря на отсутствие единой «социальной теории» Витгенштейна, его взгляды на коммуникацию и природу нормативности активно интерпретировались социальными теоретиками и во многом заложили базис тех глобальных представлений о социальных интеракциях и предмете социологического знания, которые составляют суть конструктивистских подходов, где язык и правила рассматриваются как фундамент социального мира. В статье реконструируются ключевые идеи философа, определившие оригинальные позиции социальных теоретиков, с использованием социально-эпистемологической оптики – с акцентом на трактовку социальной природы знания, анализ коммуникации.

**Ключевые слова:** Л. Витгенштейн, социальная теория науки, язык, знание, правила, значение, социальный институт, научная коммуникация

**Благодарности:** доклад выполнен при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 24-18-00440 «Анализ социальной казуальности и инвариантов общественного развития как метод преодоления фрагментации социально-философского познания».

**Для цитирования:** Погожина Н.Н. Социология, которой нет: о влиянии идей Л. Витгенштейна на социально-ориентированное исследование знания и социальную теорию // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 116–123. doi: 10.17223/1998863X/89/10

Original article

## THE SOCIOLOGY THAT DOES NOT EXIST: ON THE INFLUENCE OF WITTGENSTEIN'S IDEAS ON SOCIALLY ORIENTED RESEARCH INTO KNOWLEDGE AND SOCIAL THEORY

Natalya N. Pogozhina

*Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,  
pogozhinann@gmail.com*

**Abstract.** As is well known, there is no stable theory or unified research practice that could be unequivocally termed the body of “Ludwig Wittgenstein’s social theory.” Nevertheless, his ideas have been immensely influential in the study of social relations, in defining the essential characteristics of the subject matter of social research, and in the methodology of the social sciences, thereby significantly impacting various social theorists – sociologists, social philosophers, and epistemologists. This influence is implicitly embedded within most

constructivist social-theoretical approaches of the second half of the twentieth century, where language and rules occupy a special place (these considerations are transferred from language to the functioning of the social world), and discursivity is established as the foundation for the constitution of the social. This manifests both as solidarity with Wittgenstein's ideas and as the development of a critical perspective (for instance, of the narrow "linguistic" understanding of discourse in a number of poststructuralist approaches). In this article, I outline a reconstruction of those ideas of Wittgenstein which, in my opinion, most profoundly influenced the foundational positions of major social theorists and were reflected in various discussions on the nature of the social (e.g., M. Lynch, P. Winch). Particular attention is paid to the epistemological perspective applied to Wittgenstein's legacy in social theory, namely the interpretation of the social nature of knowledge and the social conditions for the development and dissemination of knowledge in the works of D. Bloor. Specifically, I examine Bloor's ideas concerning the causal interpretation of social institutions, social actions, and, more broadly, any social sphere – including scientific knowledge – through the lens of Wittgenstein's skeptical paradox (as interpreted by S. Kripke) regarding the absence of a rigid connection between a rule and its application. This perspective allows for asserting the primacy of social contextuality. An attempt is also made to engage with the theorization of communication and to compare the approaches to studying communicative processes in Wittgenstein and N. Luhmann.

**Keywords:** L. Wittgenstein, causality, social theory of science, language, knowledge, rules, meaning, social institution, scientific communication

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-18-00440: Analysis of Social Causality and Invariants of Social Development as a Method of Overcoming the Fragmentation of Socio-Philosophical Cognition.

**For citation:** Pogozhina, N.N. (2026) The sociology that does not exist: on the influence of Wittgenstein's ideas on socially oriented research into knowledge and social theory. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 116–123. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/10

Дискуссии о природе научного познания, институциональных характеристиках науки, процессах выработки и распространения научного знания, связи науки и общества являются значимой частью развития как философской, так и социологической мысли. Доказательством этому служит тенденция обращения к социальной природе научного знания в исследованиях науки, которая преобладает на протяжении как минимум второй половины XX в., и находит свое практическое выражение в оформлении специфических предметных областей исследования науки в социальной теории – социологии знания, социологии науки, социальной истории науки, социологии научного знания, исследованиях науки и технологий (STS), социальной эпистемологии и др.

В качестве предпосылок к включению науки в обширную систему социальных отношений и взаимодействий как отдельного элемента (или общественной подсистемы) и к осмыслению специфических социально обусловленных характеристик института науки традиционно выделяют теоретические взгляды и позиции, формировавшиеся с учетом кризисного состояния позитивистской традиции – например, вспоминаются известные дебаты в философии науки XX в. о сущности научного знания, о кумулятивных и антикумулятивных моделях развития науки, оформившиеся в теоретических позициях К. Поппера, И. Лакатоса, с одной стороны, и Т. Куна – с другой, связаны с кризисом постпозитивизма [1]. Обозначим, что конкретная дискуссия, направленная на переосмысление методологии социогуманитарного знания («спор о позитивизме»), инициированная докладом К. Поппера, позиция ко-

того была поддержана Х. Альбертом, разворачивалась в связи с критикой основ социологии знания, в частности, ценностной привязки основных научных категорий (например, истины), что, согласно взгляду К. Поппера, не соответствует демаркации научного (как беспристрастного стремления к истине) и ненаучного поиска [2]. В этом споре также принял участие Ю. Хабермас, который стоял на позиции критической социальной теории, продолжая линию Т. Адорно, и, в качестве ответной реплики К. Попперу, подчеркивал слабость позитивистской позиции выделенного научного знания, высвобожденного от любых ценностных притязаний, абсолютно неангажированного, особенно если речь идет о социальной теории. В этом смысле первичными будут выступать социальные отношения, суть которых «схватывают» (*описывают и объясняют*) социальные науки, более того *нормативный характер* социальных явлений не может быть встроен в социальную теорию по аналогии с конституированием естественно-научного закона, поскольку социальная теория влияет на объект своего исследования, что означает – *социальная наука не может быть внеидеологичной*. Это следствие вполне может быть вписано в общую риторику Франкфуртской школы об опасности тотального господства рационализма и идеала просвещенного разума самого по себе, порывающего связи с ценностями [3]. Несмотря на значимость указанных дискуссий о движущих силах развития науки и переосмысления основ позитивистской традиции, эти дебаты все равно касались скорее осмысления *научного знания через собственное определение существования «научности»* (как знания непротиворечивого, истинного, связанного или разнесенного с ценностями), чем встраивания дискурсивных практик науки в общий контекст публичной коммуникации и социальной структуры общества. Для нас же будет принципиальным рассмотрение науки через ее коммуникативные связи: а) в определении подходов к научной коммуникации; б) в анализе свойств научной коммуникации как части публичной коммуникации в обществе; в) и, наконец, в обозначении специфики научной коммуникации как коммуникативной подсистемы, заключающей в себе определенные функциональные связи и встроенной в обширную систему общественных коммуникаций. Подобная постановка исследовательских задач отсылает нас к необходимости анализа коммуникации и языка, а также их социальной каузальности.

Одна из ключевых ролей в «лингвистическом повороте», опора на определение корреляционных отношений языка и реальности, тотальная контекстуальность и осмысление оснований нормативности, проблематизация «следования правилам», формирующим институциональные рамки – все эти характеристики и положения философии Л. Витгенштейна позволяют говорить о серьезном влиянии его идей на социальные исследования. Это влияние имплицитно заложено в большинстве конструктивистских социально-теоретических подходов второй половины XX в., где особое место занимают язык и правила (осуществляется трансфер этих соображений от языка на функционирование социального мира), фиксируется дискурсивность как фундамент конституирования социального: как в виде солидаризации с идеями Л. Витгенштейна, так и в виде развития критического взгляда (например, на узкое («языковое») понимание дискурса в ряде постструктуралистских подходов и т.д.).

Однако это воздействие на социальную теорию важно рассматривать, на наш взгляд, с учетом как минимум двух значимых аспектов. Во-первых, стиль письма, само изложение Л. Витгенштейном своих идей в известной мере специфичны, что отражается как на трактовке этих положений, так и на трансфере их в социальную теорию. Во-вторых, мы говорим именно о трансфере, точнее о рецепции идей Л. Витгенштейна социальной теорией, поскольку никаких работ, представляющих собственно социологический корпус, у него нет. Социальная теория «перенимает» взгляды, отраженные в поздних работах Л. Витгенштейна [4–8]. Речь здесь идет о том, как смыслы, содержащиеся в них, будут интерпретированы и включены конкретными социальными исследователями в социально-теоретическое построение. Это, безусловно, порождает не только разные способы включения, но и внутренние споры – взаимную критику, и, наоборот, апологетику тех или иных интерпретаций. Несмотря на отсутствие устойчивой теории и единообразной исследовательской практики, которую можно было бы однозначно назвать корпусом «социальной теории Л. Витгенштейна», его влияние на социологию очень внушительно – как в вопросе относительно самой сущности социальной науки (фактически, веберовской задачи понимания смысла социального действия, составляющего фундамент «понимающей социологии», т.е. социологии как самостоятельной науки), так и в интерпретации институциональных социальных рамок, обязательного включения норм в контекст (идея практики как «формы жизни») [9–11].

Для понимания влияния Л. Витгенштейна на социально ориентированное исследование науки и знания обратимся к реконструкции исследовательского опыта Д. Блура, который часто и буквально обращается к наследию позднего Л. Витгенштейна, а также концептуально продолжает теорию «языковых игр» и переносит связку «значение-употребление / деятельностьное начало» на почву знания вообще, фактически ставя знак равенства между знанием и социальным бытованием. Как формируется подобная позиция?

Отметим, что Д. Блур, прежде всего, известен как автор (вместе с Б. Барнсом) «сильной программы» в социологии знания, которая противопоставляет принципы симметричности и тотальной социальной обусловленности знания мертоновским принципам специфичного научного этоса, отраженным в «слабой программе». В книге «Знание и социальная образность» («Knowledge and social imagery») формулируются знаменитые принципы *каузальности, эквивалентности, симметричности и рефлексивности* [12]:

1. *Каузальность*: задача социологии знания – выявление *причинной обусловленности* любых состояний сознания и когнитивных установок ученых, а также дифференциация их на социальные и иные типы каузальных детерминант.

2. *Беспристрастность (эквивалентность)*: социология знания «равнодушна» в отношении эпистемологических оценок, т.е. ее объяснительные схемы в равной мере применимы к феноменам, ретроспективно оцениваемым как «истинные» или «ложные», «рациональные» или «иррациональные».

3. *Симметрия*: также объяснительные механизмы, применяемые к убеждениям, должны быть идентичными по своей форме, независимо от их последующей оценки (истина / ложь), что обеспечивает единство метода.

4. *Рефлексивность*: установленные принципы должны быть применимы и к социологическому знанию как таковому, тем самым снимается привилегированный статус исследователя и обеспечивается методологическая последовательность.

Таким образом, основа социального конструктивизма сильной программы состоит в рассмотрении знания как социального конструкта, однако суть его не сводится к индивидуальным представлениям, но составляет общественные интересы и коллективные убеждения. Все это базируется на устойчивости практики правилоприменения. В таком случае возникает вопрос: какова связь между правилом и тем, как мы его воплощаем в социальном контексте, и есть ли она?

Д. Блур в ряде своих работ в дальнейшем предметно обращается к переосмыслению идей Л. Витгенштейна, вероятно, преодолевая некоторые ограничения, наложенные «сильной программой», и расширяя ее до теории познания, продуцированной коллективными (социальными) практиками [13, 14]. Здесь интересной выступает статья о том, как Л. Витгенштейн, по мнению Д. Блура, понимал *институциональность* [15]. Д. Блур, конечно, отмечает, что Л. Витгенштейн прямо не приводит определения социального института, но подспудно эта идея присутствует в его поздних текстах в виде «коллективистской» трактовки ментального, т.е. язык и, соответственно, ментальный акт (акт сознания) социален (институционален) в том виде, в котором требует следования правилу, определение которого возможно «выхватить» только в употреблении самого этого правила (что соответствует рассуждениям Л. Витгенштейн о языковой игре). Таким образом, институциональность самореферента именно в том смысле, в котором социальный институт не может быть объяснен чем-то внешним по отношению к нему: значение зависит от практики употребления, а практика употребления – от значения. Это приводит к «уравниванию в правах» не только науку (как социального института), теряющую свою эпистемологическую инаковость по сравнению с другими формами выработки и распространения знания, но и знания как такового, включенного в культуру.

Примечательно, что в этом же сборнике итогов международного симпозиума «Витгенштейн и философия культуры», в котором была представлена упоминаемая нами статья Д. Блура «Что Витгенштейн имел в виду под „институтом“?», встречается текст К.-О. Апеля о герменевтической реконструкции истории с использованием идей Л. Витгенштейна. К.-О. Апель, наряду с Ю. Хабермасом и Н. Луманом, внес значительный вклад в разработку теории коммуникации как фундамента социального исследования. Можно говорить об этом как о важном направлении для социальной теории конца XX в., особенно с появлением и укоренением в обыденной жизни технологий, влияющих на интенсификацию коммуникации, что вновь поднимает вопрос о сущности языка, природе сознания, и шире – интерпретации общества через призму коммуникаций, разворачивающихся в нем. Например, подобный взгляд на общество как систему коммуникаций последовательно развивает системно-коммуникативная теория, предложенная Н. Луманом [16]. Прямую корреляцию идей Н. Лумана и Л. Витгенштейна установить сложно, но мы видим их смысловую близость в той точке, с которой начинается разговор о роли коммуникации – и Л. Витгенштейн, и Н. Луман полагают в

основу своих концептуальных построений механизм безальтернативной реализации коммуникации. Коммуникация (использование языка) – начало социального порядка, а не наоборот (и в этом их отличие, например, от К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса, ориентированных на этическое приложении коммуникативной практики – дискурсивную этику). Безусловно, необходимо отметить, что Н. Луман, в отличие от Л. Витгенштейна, понимает коммуникацию как модель, как набор смысловых операций, исключая из поля исследования тех, кто эти операции осуществляет, т.е. в каком-то смысле преодолевает философскую традицию, влияющую на понимание языка Л. Витгенштейном как реального (и человеческого) коммуникативного процесса. В частности, это предельная операциональность дает Н. Луману возможность ввести в систему коммуникации «наблюдение второго порядка» (наблюдение за наблюдением) и различить операции внутри отдельных общественных подсистем коммуникации (политика, право, наука, хозяйство и т.д.) и, соответственно, дифференцировать сами указанные подсистемы.

Подводя итог, хотелось бы отметить непреходящий интерес к философскому наследию позднего периода творчества Л. Витгенштейна в социальной теории. Мы кратко реконструировали то, как его идеи пользовались и продолжают пользоваться огромной популярностью в приложении к исследованию общественных отношений, определению сущностных характеристик предмета социального исследования, методологии социальных наук и социально ориентированному анализу знания, института науки и научной коммуникации, тем самым по-прежнему оказывая существенное влияние на различных социальных теоретиков – социологов, социальных философов, эпистемологов.

#### **Список источников**

1. *Касавин И.Т., Шиповалова Л.В.* Современная философия науки: вечное возвращение // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59, № 4. С. 6–20.
2. *Popper K.R.* The Logic of the Social Sciences // Popper K.R. In Search of a Better World. Lectures and Essays from Thirty Years. London : Routledge, 1992. P. 64–81.
3. *Хоркхаймер М., Адорно Т.В.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М. ; СПб. : Медиум : Ювента, 1997. 312 с.
4. *Витгенштейн Л.* Философские исследования / пер. с нем. Л. Добросельского. М. : Изд-во АСТ, 2018. 352 с.
5. *Витгенштейн Л.* О достоверности // Вопросы философии. 1991. № 2. С. 67–120.
6. *Витгенштейн Л.* Zettel. М. : Ad Marginem, 2020. 240 с.
7. *Витгенштейн Л.* Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрезера // Историко-философский ежегодник. М. : Наука, 1989. С. 251–268.
8. *Витгенштейн Л.* Голубая и Коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям» / пер. с англ. В.А. Суровцева, В.В. Иткина. Новосибирск: Сиб. университетское изд-во, 2008. 256 с.
9. *Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии / пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М. : Русское феноменологическое общество, 1996. 107 с.
10. *Линч М.* Развивая Витгенштейна: решающий шаг от эпистемологии к социологии науки // Социология власти. 2013. № 1–2. С. 155–213.
11. *Ogien A.* Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology. Cambridge Scholars Publishing, 2018. 121 p.
12. *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1991. 203 p.

13. Bloor D. Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. New York : Columbia University Press, 1983. 225 p.
14. Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. New York : Routledge, 1997. 188 p.
15. Медведев Н.В. Рецензия на кн.: Витгенштейн и философия культуры : труды 18 международного витгенштейновского симпозиума (Wittgenstein and the Philosophy of Culture: proceedings of the 18th International Wittgenstein Symposium, 13th to 20th August 1995, Kirchberg am Wechsel (Austria) / ed. Kjell S. Johannessen / Tore Nordenstam. Vienna: Holder-Pitcher-Tempusky, 1996) // История Философии, 2001. № 8. С.163–180.
16. Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. 732 S.

### References

1. Kasavin, I.T. & Shipovalova, L.V. (2022) Sovremennaya filosofiya nauki: vechnoe vozvrashchenie [Contemporary Philosophy of Science: The Eternal Return]. *Epistemologiya i filosofiya nauki*. 59(4). pp. 6–20.
2. Popper, K.R. (1992) *In Search of a Better World. Lectures and Essays from Thirty Years*. London: Routledge. pp. 64–81.
3. Horkheimer, M. & Adorno, T.W. (1997) *Dialektika Prosveshcheniya. Filosofskie fragment* [Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments]. Translated from German by M. Kuznetsov. Moscow, St. Petersburg: Medium: Yuventa.
4. Wittgenstein, L. (2018) *Filosofskie issledovaniya* [Philosophical Investigations]. Translated from German by L. Dobroselskiy. Moscow: AST Press.
5. Wittgenstein, L. (1991) O dostovernosti [On Certainty]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 67–120.
6. Wittgenstein, L. (2020) *Zettel*. Moscow: Ad Marginem.
7. Wittgenstein, L. (1989) Zametki o “Zolotoy vetvi” Dzh. Frezera [Remarks on J. Frazer’s “Golden Bough”]. In: *Istoriko-filosofskiy ezhegodnik* [Yearbook of Historical and Philosophical Studies]. Moscow: Nauka. pp. 251–268.
8. Wittgenstein, L. (2008) *Golubaya i Korichnevaya knigi: predvaritel’nye materialy k “Filosofskim issledovaniyam”* [The Blue and Brown Books: Preliminary Materials for the “Philosophical Investigations”]. Translated from English by V.A. Surovtsev & V.V. Itkin. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel’stvo.
19. Winch, P. (1996) *Ideya sotsial’noy nauki i ee otnoshenie k filosofii* [The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy]. Translated from English by M. Gorbachev & T. Dmitriev. Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo.
10. Lynch, M. (2013) Razvivaya Vitgenshteyna: reshayushchiy shag ot epistemologii k sotsiologii nauki [Developing Wittgenstein: A Decisive Step from Epistemology to Sociology of Science]. *Sotsiologiya vlasti*. 1–2. pp. 155–213.
11. Ogien, A. (2018) *Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology*. [s.l.]: Cambridge Scholars Publishing.
12. Bloor, D. (1991) *Knowledge and Social Imagery*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
13. Bloor, D. (1983) *Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge*. New York: Columbia University Press.
14. Bloor, D. (1997) *Wittgenstein, Rules and Institutions*. New York: Routledge.
15. Medvedev, N.V. (2001) Retsenziya na kн.: Vitgenshteyn i filosofiya kul’tury: trudy 18 mezhdunarodnogo vitgenshteynovskogo simpoziuma [Review of: Wittgenstein and the Philosophy of Culture: proceedings of the 18th International Wittgenstein Symposium]. *Istoriya Filosofii*. 8. pp. 163–180.
16. Luhmann, N. (1990) *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

### Сведения об авторе:

**Погожина Н.Н.** – младший научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: pogozhinann@gmail.com

*Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.*

***Information about the author:***

**Pogozhina N.N.** – junior research fellow at the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: pogozhinann@gmail.com

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 07.11.2025;  
одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*  
*The article was submitted 07.11.2025;  
approved after reviewing 23.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 130.122

doi: 10.17223/1998863X/89/11

## В ПОИСКАХ ЭТИКИ ЕДИНСТВА: РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ VS. УНИВЕРСАЛИСТСКАЯ ЭТИКА

Светлана Борисовна Токарева

*Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия, svet-tok2008@yandex.ru*

**Аннотация.** Поставлена проблема этических оснований человеческой солидарности. Представлен анализ различных вариантов универалистской этики, связывающей возможность общественного единства только с институциональными гарантиями. В качестве этической максимы солидарности в русской цивилизации выделена нравственная идея всечеловеческого единства. Сделан вывод о том, что конкретные варианты этики единства коррелируют с менталитетом носителей соответствующего цивилизационного кода.

**Ключевые слова:** солидарность, русский менталитет, этика единства, универалистская этика, пост-этика

**Благодарности:** Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 24-28-01661 «Русский менталитет как модальная целостность».

**Для цитирования:** Токарева С.Б. В поисках этики единства: русский менталитет vs. универалистская этика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 124–137. doi: 10.17223/1998863X/89/11

Original article

## IN SEARCH OF AN ETHICS OF UNITY: THE RUSSIAN MENTALITY VS. UNIVERSALIST ETHICS

Svetlana B. Tokareva

*Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation, svet-tok2008@yandex.ru*

**Abstract.** In the modern world, there is an urgent need to search for an ethics that allows not only to justify but also to put into practice the idea of unity. Global communication in contemporary society everywhere turns into confrontation, a phenomenon with deep ethical and civilizational-historical roots. Modern society finds itself in a post-ethical situation, which can be described as the degradation of the ethical. The tradition of understanding solidarity in the spirit of post-ethics has been influenced by the ideas of Jürgen Habermas, who argued about the forms of human unity and cohesion from the standpoint of “neutrality” and believed that it was possible to “cement” society only with the help of ideas and values devoid of direct national, moral, or religious connotations. According to Kant, solidarity is a boon for the empirical person, but not for the ethical one. Paradoxically, conflicts cannot be eliminated from human life for ethical reasons, because they underpin the need for legal conditions that ennoble the human race. In contrast to this approach, Russian civilization had as its moral basis the recognition that the ethical maxim of solidarity was introduced into both Eastern European and Western culture by Christianity not in the form of a coherent moral judgment, but in the form of the commandment: “Love your neighbor as yourself.” Typical attitudes of the Russian mentality include tolerance for another’s religion; maintaining pragmatic relations through trade, diplomatic contacts, and intellectual

exchange; and expanding knowledge about their counterparts, among others. Moreover, the ethical understanding of solidarity in Russian civilization is shaped by its conceptual link to the principles of all-unity and *sobornost*. Specific variants of the ethics of unity bear the stamp of civilizational affiliation and correlate with the mentality of the bearers of the corresponding civilizational code. Unlike various forms of universalist ethics, the Russian mentality's conceptions of unity, solidarity, and brotherhood are based on the idea developed in Eastern Christianity, according to which true unity is not an abstraction, but rather a real "multi-unity" of individualities—a unity that can be embodied by both individuals and nations.

**Keywords:** solidarity, Russian mentality, ethics of unity, universalist ethics, post-ethics

**Acknowledgments:** The research was supported by the Russian Science Foundation grant No. 24-28-01661 "Russian mentality as a modal integrity".

**For citation:** Tokareva, S.B. (2026) In search of an ethics of unity: the Russian mentality vs. universalist ethics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 124–137. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/11

Невиданный ранее всплеск трансграничных связей, вызванный глобализацией, обнаружил фатальную неспособность исповедующих различные ценности сообществ к ведению конструктивного диалога, что привело не только к ухудшению культурного климата, но и к резкому усилению политических разногласий, выливающимся в открытые конфликты и прокси войны. На наших глазах глобальная коммуникация повсеместно оборачивается конфронтацией, которая имеет глубокие этические и цивилизационно-исторические причины, обусловленные различием ценностей, моральных установок и культурных традиций [1. С. 36]. Победа антитрадиционализма, провозгласившего отказ от устойчивых этических правил и норм, отнюдь не принесла человечеству «раскрытия рационально-этического потенциала» [2. С. 52]. Современное общество оказалось в постэтической ситуации, которую надо понимать не как выход в некую «внеэтическую» фазу, а как деградацию этического, его распад на частные, «имманентные» этики, содержание которых определяется многообразными концепциями субъекта, а моральный выбор зависит от того, в какое сообщество сумел вписаться / вовлечен индивид и какие господствующие нарративы им интериоризированы [3. С. 12].

Одна из ключевых причин дрейфа современной культуры в направлении постэтики описана в философии информации Лучано Флориди [4], показавшего, что подверженность людей гиперубеждению, обусловленная их тотальной вовлеченностью в инфосферу и приводящая к этическим катастрофам, формируется под влиянием технологий, которые вовсе не являются морально нейтральными, поскольку «технология разрабатывается в соответствии с какими-то явными или неявными ценностями, определенными людьми для определенных людей, в рамках определенной культуры и с учетом этой культуры, для одних целей, а не для других, с определенными возможностями и ограничениями и т.д.» [4. С. 3]. Технологии лишь кажутся ценностно-нейтральными – до тех пор, пока уравновешены суммарно действующие на них (и через них на людей) моральные силы и вследствие этого не выражен явно вектор морального добра или морального зла (по выражению Флориди, пока они являются более или менее «ценностно-статичными»). В век цифровых инноваций технологии (и искусственный интеллект в особенности) перестают быть просто инструментом, они не только влияют на то,

как мы думаем, учимся и принимаем решения, но и отражают и многократно усиливают ценности тех, кто им пользуется, придавая аргументам в защиту этих ценностей сверхубедительность. В своей работе «Структура научных революций» Томас Кун показал, как неотразимо влияют сверхубедительные аргументы даже на критически настроенных ученых [5. С. 201]. В этой связи Флориди делает вывод о том, что разработка любой технологии представляет собой моральный акт.

Очевидно, что хотя технологии способствуют налаживанию связей между людьми, они также могут усугубить разногласия. В связи с этим в постэтике проблема человеческой солидарности ставится в прагматическом ключе: как сделать так, чтобы технологии укрепляли, а не ослабляли человеческие связи? Могут ли они стать инструментом для сотрудничества и совместного творчества, а не для изоляции?

Большое влияние на традицию понимания солидарности в духе постэтики оказали идеи Юргена Хабермаса. Справедливо рассматривая вопрос о формах человеческого единства и сплоченности как животрепещущий и жизненно важный для современного мира, он рассуждал о нем с позиций «нейтральности», полагая, что «сцементировать» общество возможно только при помощи идей и ценностей, лишенных прямых национальных, моральных или религиозных коннотаций – вроде абстрактной «честности» или «справедливости». Это предполагает создание некоей универсальной этики, в которой придание этическим ценностям значимости долженствования и возведение их в нормативный ранг «обеспечивается исключительно формированием беспристрастных суждений» [6. С. 102].

С одной стороны, постэтика находится под влиянием идеологии либерализма, представляющей собой с точки зрения морали «абсолютно бессердечное, прагматическое мировоззрение, лишенное сострадания, нравственной солидарности и поэтому обрекающее общество на деградацию» [7. С. 38]. Эта деградация проявляется в вырождении международных институтов, непрочности связей между сообществами любого уровня, отсутствии доверия не только между противниками, но и между союзниками. С другой стороны, постэтика находится в преемственной связи с новоевропейской этикой, основы которой были заложены И. Кантом. Последняя, хотя и была сформулирована как общечеловеческая этика, оказалась, однако, бессильной против дискриминации и разобщения.

Все это диктует настоятельную необходимость поисков этики, позволяющей не только обосновать, но и реализовать на практике идею единства.

Не может быть универсальной этики единства, дело которой заключалось бы в преодолении некоей абстрактной разобщенности между индивидами с целью достижения того, что Флориди назвал «нейтральным равновесием» – таким, в котором было бы исключено действие ценностно разнонаправленных сил. Напротив, приходится признать наличие конкурирующих цивилизационных вариантов этики солидарности, субъекты которых как носители различных метанарративов – целостных и всеобъемлющих систем мировоззрения, в которых факты истории увязаны со сверхидеями и сверхцелями данной цивилизации – обнаруживают ментальное неприятие друг друга [8. С. 11]. Ж.-Ф. Лиотар справедливо отмечал, что плодотворные, основанные на уважении и признании авторитета друг друга обсуждения,

выливающиеся в «бесконечную дискуссию», возможны только между субъектами, объединенными единым нарративом [9].

Идея синтеза конфликтующих цивилизационных этик утопична в той же мере, в какой была утопична идея объединения вер под эгидой разума немецкого просветителя Готтольда Эфраима Лессинга, пытавшийся в условиях спровоцированного секуляризацией разрыва с традициями сформулировать «единую, вневероисповедную, сверхисторическую форму самой веры» [8. С. 421]. Полученное в результате абстрактное, содержательно бедное («тощее») определение религии, которое по задумке должно было мыслиться в качестве общего знаменателя и общей формы всех вер, оказалось совершенно непригодным для роли их «примирителя». В реальной жизни, как справедливо отмечает М.Н. Эпштейн, соединению разных вер в их позитивности всегда будет препятствовать их обремененность «твердыми историческими, национальными, семейными традициями», поскольку люди воспитываются в определенной вере и приобщаются к религии в ее определенной национально-исторической форме [8. С. 421].

Аналогично, содержательно бедное, «тощее» понимание этики соответствует постэтической эпохе «поликультурности» и «полисубъектности», характеризующейся релятивизацией привычной морали и апелляцией отдельных людей, стран и целых цивилизаций к разным моральным концепциям [3. С. 3]. В этой этике не может быть ничего сформированного и определенного, она не может иметь своего языка и, как следствие, единого нарратива, обеспечивающего взаимную переводимость цивилизационных этик. В результате солидарные решения и мнения могут быть легитимизированы только на основе социального и культурного признания их субъектами коммуникации: «„Действенность“ моральных норм означает теперь, что они способны снижать одобрение всех, кого они касаются, коль скоро эти затрагиваемые ими лица в одних лишь практических дискурсах сообща выясняют, представляет ли соответствующая практика равный интерес для всех них. В этом одобрении выражается <...> допускающая возможность своего опровержения разумность совещающихся между собой субъектов, взаимно убеждающих друг друга в том, что гипотетически введенная норма достойна признания...» [6. С. 102].

Идея о том, что общественное единство может быть задано только институционально, характерна не только для либерально-коммуникативного проекта, она пронизывает собой все европейские проекты мирного объединения государств, которые с регулярностью появлялись в период XIV–XVII вв. [10]. Уже самые первые из них – план создания европейской «христианской республики», разработанный советником французского короля Филиппа Красивого Пьером Дюбуа (1306 г.), проект чешского короля Иржи Подебраза, изложенный в «Трактате об установлении мира в мире христианском» (1464 г.), проект «вечного мира», авторство которого приписывается министру Генриха IV герцогу Максимилиану Сюлли (1620–1630 гг.), «Проект вечного мира в Европе» Шарля-Ирене Кастеля, аббата де Сен-Пьера (1713 г.) и др. – предполагали институциональную легитимацию идеи европейского единства, требующую целенаправленных усилий власти по интериоризации определенного нормативно-ценностного символического комплекса, выраженного в идеологии «единой Европы» [11, 12].

При этом социальное и политическое единство во всех этих проектах обеспечивалось узакониваемым в них прямым или символическим насилием со стороны правящих элит.

Появившийся в самом конце XVIII в. проект «вечного мира» И. Канта опирался на его этику, выводившую универсальность моральных законов из нравственности как производной от автономной разумной воли. Кантовский «вечный мир» был, таким образом, делом ответственного существования руководящегося своим разумом человека, который выступал «не в связи с космосом, полисом, Богом, церковной общиной, цехом и другими защитными силами, а сам по себе, именно как индивид» [13. С. 8].

Канту никак нельзя поставить в упрек то, что он игнорировал связь обоснованного им нравственного закона с историей; напротив, он видел в исторической действительности «полигон» применения этики. Однако интересующий Канта «этический человек» видится ему отнюдь не субъектом эмпирической истории (поскольку последняя для этой оптики оказывалась в «слепом пятне»), но субъектом всемирной истории, в которой человек выступает как родовое существо, редуцируемое в конечном счете к государству как своему этическому идеалу. Эмпирическая история служит для Канта не более чем иллюстрацией вывода о достаточности нравственного закона для обеспечения культуры, цивилизованности и правосознания.

Противопоставив в рамках обоснования этики этического и эмпирического человека, Кант утверждает, что согласие и солидарность являются благом только для последнего, тогда как высшие проявления родовой человеческой сущности, напротив, обнаруживаются через раздор и принуждение, поскольку именно последние требуют для своего регулирования создания права. Таким образом, главные цивилизационные достижения (к каковым Кант относит «облагороженных» правом всеобщих субъектов в лице гражданского общества и государства как гаранта свободы, законности и справедливости) являются производными от вражды и раздора. Парадоксальным образом получается, что конфликты не могут быть устранены из человеческой жизни по этическим соображениям, ибо они фундируют необходимость облагораживающих человеческий род правовых состояний.

Приговор Канта идее солидарности (и признание позитивного смысла войны, обусловленной различиями между народами и вынуждающей глав государств «уважать человечество») строится на двух основных «обвинениях» различным формам единства: во-первых, «слияние народов в единое общество» препятствует всякому дальнейшему культурному развитию; во-вторых, разделение народов ведет их к единству нравственности, а это более значимо, чем предусматриваемое слиянием в «христианскую» или даже «универсальную» монархию единство религии.

Таким образом, согласно Канту, наличие общего для всех разумных существ нравственного закона не может устранить конфликтов, вытекающих из того факта, что индивиды, народы, расы и цивилизации весьма различаются между собой природными задатками, нравами, образом жизни, социальной организацией, технической оснащенностью и т.д. Там, где развитые государства и народы, вступая в конфликты друг с другом из-за разницы интересов, преодолевают незаконное состояние, вырабатывают правовой регламент и вступают в политические союзы на правовой основе, «варварские» народы не

выходят за пределы своей «дикой» свободы и остаются чуждыми самой идее всемирно-гражданского состояния.

В работе «К вечному миру» Кант, излагая эгалитарный взгляд на расы, «солидаризируется с общепринятым мнением, согласно которому расы значительно варьируются в зависимости от их способности к действию и силы интеллекта» [14. С. 142]. Л.В. Клепикова делает вывод о том, что расовое учение Канта было «вполне органично встроено в колониальный дискурс эпохи Просвещения и выполняло функцию по легитимизации расширения европейских территорий посредством географических открытий» [14. С. 144]. При этом Кант полагает, что складывающаяся «мировая нравственность» позволит решать вопросы общежития для носителей разных языков и религий.

Ни один из европейских проектов «вечного мира», включая кантовский, не предполагал создания «этики единства» как основания общечеловеческой солидарности, и во второй половине XVIII в. начавшаяся в эпоху Великих географических открытий европейская колониальная экспансия накрыла тремя последовательными волнами все заселенные людьми континенты. Универсальная этика Канта, декларативно отрицающая насилие и порабощение, в силу своей формальности не создавала барьера признанию неравенства, оправдывающего любые формы дискриминации, включая расизм, нацизм, колониализм и пресловутое «бремя белого человека». Щекотливый вопрос о том, как быть с формальным запретом на насилие, ложь и манипуляцию, снимался на том основании, что все эти требования действуют в отношении равноценного морального субъекта, но не являются обязательными (поскольку мыслятся как нереализуемые) в отношении индивидов или сообществ со «сниженной нравственностью», определяемых Редьярдом Киплингом как «полулюди, полудемоны».

Субъект, присваивающий себе право на насилие, оправдывает его преимуществом своей системы ценностей. Формально он не нарушает при этом требований кантовской этики, поскольку ничто не мешает мыслить дискриминируемых (порабощенных, колонизируемых) как субъектов, которые формально продолжают оставаться потенциальными носителями всеобщей законодательной воли. Кантовская схема не учитывает при этом, что формальное равенство субъектов исчезает при соединении их воли с системой цивилизационно обусловленных ценностей, выводящей нравственные категории добра и блага за пределы «естественных».

Запрос на этику единства сформировался в конце XVIII в. на периферии западного мира – на североамериканском континенте, столкнувшимся с проблемами государственного и цивилизационного строительства. Бывшие колонии Нового Света, одержав победу в войне за независимость (1775–1783 гг.) и получив по итогам Парижского мирного договора признание и новые границы, оказались перед лицом целого ряда экономических, организационных и управленческих вызовов. Наличие в каждом сообществе собственных законов и систем власти создавало существенные сложности при объединении территорий в единое государство [15. С. 273], и основной цивилизационный вызов, стоявший перед Америкой, диктовал необходимость преодоления разнообразия, повсеместно превращаемого в орудие противоборствующих политических сил.

Ответы на этот цивилизационный вызов духовные лидеры формирующейся американской нации – литератор Ральф Уолдо Эмерсон, поэт Уолт Уитмен – искали в области моральной философии, что отвечало просвещенческому духу эпохи. Позднее философско-теологический смысл этики единства сформулировал в одноименной книге Джереми Дэвид Энгельс [16]. При этом показательно, что предлагаемый вариант этики (названной Эмерсоном «нравственной философией») они стремились согласовать с формирующимся американским национальным характером: «Наша философия должна быть крепка и приспособлена к форме человека, приспособлена к образу его жизни...» [17. С. 293].

Этим стремлением был обусловлен отход от кантовской этики в нескольких важных пунктах. Во-первых, Эмерсон, исходя из признания нравственного индивидуализма, видит в качестве действующего лица истории реального человека, личность, поступки которой определяются интуитивным прочтением универсального морального закона. Поэтому он подчеркивает значимость личных качеств человека, их первичность по отношению к социальным институтам: «Там, где действует человек, действует великое драматическое лицо, действует великий мыслитель, <...> истинный человек не принадлежит такому-то месту, такому-то времени, но <...> он может сделаться средоточием мира. Он измерит людей, события, и вы будете принуждены идти под его знаменами. Родится Цесарь – и на несколько веков создается Римская империя. Реформация возникает с Лютером, аболиционизм с Клэрксоном: всякое учреждение есть только удлинённая тень человека» [17. С. 70]. Лишь «по недостатку доверия к себе» люди полагаются в своем бытии на внешние вещи и социальные учреждения, а не на прогресс своей души, выражаемый в гражданственности, в просвещении и в богопочитании [17. С. 84].

Во-вторых, в отличие от Канта, Эмерсон ставит нравственное чувство выше долга и утверждает превосходство нравственной природы над волей, отказываясь от отождествления нравственности с самопринуждением и отдавая преимущество естественной добродетели: «Нравственная наша природа точно так же бывает искажена безвременным напряжением воли. Люди по сих пор изображают добродетель как битву; с высокомерием повествуют о своих борениях и победах; всюду в ходу правило: добродетелен тот, кто наиболее бьется с искушениями»; между тем «характер прекрасен по мгновительности и естественности своих главных стремлений и... мы тем более любим человека, чем менее он приневоливает себя к добродетелям, чем менее ведет им счет и гордится ими» [17. С. 153–154].

В-третьих, именно естественное нравственное чувство Эмерсон кладет в основание братского отношения между людьми и видит в нем фундамент социального единства американской нации. Его рецепт единения представителей разных социальных групп выглядит как призыв к соотечественникам следовать «благой природе» – быть правдивыми, умеренными и благородными, «чтобы прочувствовать свое братство с большинством людей, пребывающих в нужде» [17. С. 103]. Сходные с Эмерсоном взгляды по вопросу о моральном единстве народа высказывал У. Уитмен, призывавший граждан Соединенных Штатов быть великодушными и благородными, стать новой расой, возвращенной в условиях политической свободы, обладающей «единой душой и телом» и находящейся в единстве со Вселенной.

Дж.Д. Энгельс видит в обращении к идее единства закономерную реакцию на раскол в политическом мире и в социальной структуре страны. В своей работе «Этика единства: Эмерсон, Уитмен и Бхагавад-Гита» он стремится доказать, что сформулированная его предшественниками этика солидарности, во-первых, не противоречит американскому характеру и американскому духу и, во-вторых, не предполагает безоговорочной, «тоталитарной» сплоченности, но вполне сочетается с демократией.

Для обоснования своей позиции Дж.Д. Энгельс обращается к зародившимся на фронтах американской жизни процессам взаимопроникновения культурных традиций. Одним из них в начале XX в. стал широкомасштабный импорт различных религиозных систем и духовных практик с Востока, сплетение с которыми отразилось в американской культуре в многообразии циркулирующих в ней религиозных символов, о которых Мирче Элиаде говорил как о «несущих священное» в разные сферы человеческой жизни. Солидаризируясь с основными положениями этики единства, Дж.Д. Энгельс ищет для нее философско-теологическое обоснование, обращаясь к откровению о единстве в сакральном тексте древнеиндийской поэмы «Бхагавадгита». С одной стороны, Дж.Д. Энгельс видит в этом сакральном тексте «урок единства», показывающий, что когда люди глубинно связаны через идею божественного, они обретают духовную силу, служащую противовесом против сил изоляции, насилия и доминирования [16]. С другой стороны, влияние «Бхагавадгиты» на повседневные практики американского общества служит примером межнациональных взаимодействий, пронизывающих социальные отношения в демократическом обществе. Не случайно С.Л. Бурмистров называет «Бхагавадгиту» «памятником интеркультурного диалога», в котором нашел отражение синтез арийской культуры с культурами коренного населения Индостана [18. С. 7].

Этика единства не рождается из теоретической потребности обоснования всеобщей нравственности, она формируется в условиях конкретного цивилизационного опыта и не может быть понята в отрыве от ментальных особенностей носителей этого опыта. Однако универсальная этическая система, согласованная только с требованиями разума (или построенная на конвенциональных основаниях), не может ассимилировать ментальные характеристики по той причине, что они относятся к «сниженным» формам мышления, не «отфильтрованного» и не процензурированного сознанием. Менталитет действует как программа, определяющая в конкретном сообществе способы усвоения и интерпретации информации, навыки действий и т.п. [19. С. 8–9]. Народ как носитель менталитета, связанного с определенным «культурным кодом», обнаруживает черты социального куматоида, действующего с неотвратимостью автоматизма: «Народ – это... не сумма индивидуумов, а набор имперсональных программ, сценариев и стереотипов мифообразования и соответствующих им форм социального поведения и других практик. Индивидуумы же являются лишь ситуационными... проводниками, агентами-исполнителями этих приходящих как бы извне программ. <...> смутное осознание этого обстоятельства понуждает стихийную массовую интуицию трактовать образ народа исключительно в метафизической и подчеркнуто имперсональной оптике» [20. С. 12].

В отличие от универсалистской этики Канта и постэтики, которые в вопросе о путях преодоления человеческой разобщенности двигались в направлении утверждения общечеловеческого как абстрактно-всеобщего, русская цивилизация имела своим нравственным основанием признание того, что этическая максима солидарности привнесена и в восточноевропейскую, и в западную культуру христианством не в виде согласованного морального суждения, а в виде заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». С.Л. Франк, раскрывая суть начала солидарности, видит в этой заповеди не «какое-либо произвольное моральное предписание, касающееся только личной жизни человека», но придает ей социально-онтологический статус и определяет как «первичное внутреннее единство людей, начало непосредственного доверия и уважения человека к человеку, сознание внутренней близости, интуитивное взаимное понимание, коренящееся в последнем счете в первичном единстве „мы“» [21. С. 112–113]. Именно поэтому заповедь о любви к ближнему определяет понимание истории как России как образца братского содружества народов, основанного на нравственном подвиге [22–24].

При этом и в русской философии, и в русской литературе этика единства предстает не как разработанная теоретическая концепция, но как нравственная максима, в которой находит отражение русская ментальность. Ф.М. Достоевский в «Объяснительном слове» к «Речи о Пушкине» 1880 г. выделяет способность русской души, русского народного гения «вместить в себя идею всечеловеческого единения», нести в себе «склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению» [25. С. 131], из которой, по его мнению, выростала «всечеловечность русской литературы» и всемирность русской культуры, предназначение которой состоит в том, чтобы «в будущем постигнуть и объединить все многообразие национальностей и снять все противоречия их». В.В. Кожин обращает внимание, что и приверженцы западного пути развития России высоко оценивают эти ментальные особенности русского народа: так, В.Г. Белинский отмечает «многосторонность, с какою русский человек понимает чуждые ему национальности», а П.Я. Чаадаев – «отсутствие национального эгоизма», в чем он усматривал руку провидения, поставившего русского человека «вне интересов национальностей» и поручившего ему интересы человечества [26. С. 150].

Русский менталитет формировался в условиях особого цивилизационного фронта – проницаемой, «пористой» границы, функционирующей не в качестве барьера или межи, а в качестве зоны коммуникации и взаимодействия соседствующих общностей [27. С. 66]. Благодаря популярности концепции Фредерика Джексона Тёрнера, связавшего уникальность американской цивилизации с той ролью, которую сыграли в становлении Соединенных Штатов как централизованного государства динамические границы в форме продвигающихся поселений [28], понятие фронта закрепилось в современном гуманитарном дискурсе и сегодня рассматривается не только в качестве способа, каким социальные общности и государственные образования отделяют свое социальное пространство от находящегося за реальной или воображаемой демаркационной линией «другого» или «чужого» [29. С. 199], но и в качестве культурной парадигмы – «гетеротопного пространства, где различные формы трансгрессии приводят к рождению новых культурных элементов» [30. С. 296].

В случае России цивилизационный фронт как переходное пространство смежных цивилизаций, подвижная зона контактов и взаимодействий с разными этносами, народами, культурами и религиями была особенно обширной и разнородной и постоянно увеличивалась по мере роста территории Российского государства. Опыт взаимодействия Руси, а затем России с завоевателями, врагами, союзниками, представителями покоренных и дружественных народов стал источником ключевых идейных и духовных установок российского этоса. С одной стороны, эти установки играли охранительную роль, накладывая ограничения на содержание контактов и регулируя глубину культурной экспансии с целью исключения или минимизации деструктивного влияния на русскую культуру. Говоря словами Данилевского, допустимо заимствовать «технику», но не чужой дух и не чуждые идеалы, «дабы вместе с заимствованием обычаев и нравов не потерять своей самобытности» [22. С. 280]. Среди такого рода охранительных установок важную роль играла избирательность при заимствовании административных, политических, военных, финансовых и прочих институтов: «Русские выказали достойную похвалы проницательность в копировании тех институтов в области военного дела и управления, которые позволили монголам создать и контролировать империю, простиравшуюся от Тихого океана до Балтийского и Черного морей. Русские не заимствовали институтов, которые не подходили им; например, монгольская перепись (число) была слишком эгалитарна для русской аристократии, а диванная система бюрократии, взятая из Персии, несла на себе отпечаток ислама. Вместо этого русские преимущественно копировали ордынские институты из Монгольской империи: монгольские институты были предпочтительнее как менее связанные с исламом» [27. С. 86].

Одновременно формировались такие жизненно важные установки, как терпимость к чужой религии в той мере, в какой она не наносит ущерба или оскорбления (порушения) собственной; поддержание прагматичных отношений в форме торговли, дипломатических контактов, интеллектуального обмена; расширение знаний о своих контрагентах (использование двуязычия, развенчание излишне негативных стереотипов); поддержание постоянных контактов между представителями профессионального этоса, разделяющими общие ценности (военными, дипломатами, учеными и т.д.), как устойчивых каналов коммуникации. Складывавшиеся в зонах цивилизационного фронта социальные и коммуникативные практики существенно повлияли на формирующийся русский менталитет, особенности которого проявились в дальнейшем в нравственном чувстве и нравственных реакциях русского народа.

С другой стороны, этические представления о солидарности в русской цивилизации обусловлены смысловой связью с принципами всеединства и соборности. Образ всеединства в русском национальном самосознании амбивалентен: он выражает как существующую (в реальности или в идеале) общность / целостность / гармонию / симфонию, так и процесс преодоления разобщенности, собирания в целое разрозненного или враждующего, нацеленный на достижение будущего единства. Этика единства нашла воплощение в концепции «русской идеи» Ф.М. Достоевского и в проекте «общего дела» Н.Ф. Федорова. В известной мере их можно рассматривать как дополняющие друг друга: Достоевский призывал к преодолению разобщенности между народами и культурами как условию единения человечества с

Богом, Федоров говорит о братстве, о родстве людей, о всеобщем объединении их на основании религиозной сверхэтики («супраморализма») [31. С. 659].

Это общее настроение русского самосознания Франк выражает в следующем общем убеждении, касающемся организации социальности: даже индивидуализм, конкурентная борьба, международные конфликты совершаются «на почве некой элементарной классово-солидарности, сознания взаимного соучастия в общем деле и просто человеческой близости представителей разных классов», а также на почве «международного сотрудничества и солидарности» [21. С. 113].

Конкретные варианты этики единства несут на себе печать цивилизационной принадлежности и коррелируют с менталитетом носителей соответствующего цивилизационного кода. В отличие от различных вариантов универсалистской этики в русском менталитете представления о единстве, солидарности и братстве фундированы сложившимся в восточном христианстве представлением, согласно которому подлинное единство не есть абстракция, оно не суммативно и не конвенционально, но представляет собой реальное многоединство индивидуальностей, в качестве которых могут выступать как личности, так и народы.

Везде – от «Слова о законе и Благодати» Илариона до текстов Достоевского, Страхова и Данилевского – в русской культуре высвечивается способность русского самосознания к добровольному самоотречению, по причине чего присущая ему «всечеловечность» оказывается не просто общим признаком со всеми христианскими народами, а идеалом, воплотившимся в русском самосознании в качестве русской идеи, в которой «великая нравственная мысль» о всечеловеческом единстве приобретает характер запредельного идеала, связанного с «вековыми целями», единящим людей этическим началом.

Этот нравственный принцип усмотрения в другом человеке «ближнего», «себе подобного», сочувственное сопереживание его как личности как нельзя лучше высказал Ф.И. Тютчев:

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –  
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»  
Но мы попробуем спаять его любовью, –  
А там увидим, что прочней...

#### Список источников

1. *Фань Хэтин*. Этический взгляд на цивилизацию: «Окончательное пробуждение» не-обычной этики // Век глобализации. 2024. № 2. С. 34–46.
2. *Чигирёв С.В.* Становление секулярного общества: социально-философские основания исследования // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2013. Т. 13. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. Вып. 1. С. 50–53.
3. *Железнов А.С.* Социальное и этическое: обоснование форм единства : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Екатеринбург, 2013. 24 с.
4. *Floridi L.* On Good and Evil, the Mistaken Idea That Technology Is Ever Neutral, and the Importance of the Double-Charge Thesis // Philosophy and Technology. 2023. Vol. 36, № 3. P. 1–25.
5. *Кун Т.* Структура научных революций. М. : АСТ, 2003. 605 с.
6. *Хабермас Ю.* Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб. : Наука, 2001. 417 с.

7. Марков Б.В. В поисках другого // Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб. : Наука, 2001. С. 5–44.
8. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М. : Высшая школа, 2006. 559 с.
9. Lyotard J.-F. The postmodern condition a report on knowledge. Manchester : Manchester University Press, 1984. 110 p.
10. Трактаты о вечном мире. М. : Соцэкгиз, 1963. 283 с.
11. Юмашев Ю.М. Европейская идея и ее развитие от «Христианской республики» до европейского союза // Труды Института государства и права РАН. 2015. № 3. С. 5–46.
12. Гуторевич О.В., Маишкова Е.Ю. Этактизация войны и проекты вечного мира // Вестник РХГА. 2018. № 1. С. 165–176.
13. Гусейнов А.А. Кант на все времена (Об этике Канта в 295-ю годовщину со дня его рождения) // Вопросы философии. 2019. № 7. С. 6–17.
14. Клепикова Л.В. Расовая теория И. Канта в контексте колониального дискурса эпохи Просвещения // Kant. 2022. № 3 (44). С. 140–145.
15. Сейидов С., Чарыева А. История формирования и становления Соединенных Штатов Америки // Наука и мировоззрение. 2025. № 41. С. 269–275.
16. Engels J.D. The Ethics of Oneness. Emerson, Whitman, and Bhagavad Gita. Chicago and London : The University of Chicago Press, 2021. 211 p.
17. Эмерсон Р. Нравственная философия. Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. 384 с.
18. Бурмистров С.Л. Бхагавадгита – памятник интеркультурного диалога // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2009. № 1 (25). С. 7–15.
19. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / пер. с фр. Е. Кальщикова. СПб. : Европейский дом, 2002. 400 с.
20. Пелипенко А.А. Русская система на весах истории // Философские науки. 2010. № 3. С. 7–22.
21. Франк С.Л. Духовные основы общества : сборник / сост. и авт. вступ. ст. П.В. Алексеев. М. : Республика, 1992. 510 с.
22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. 564 с.
23. Кожин В.В. Россия как уникальная цивилизация и культура // Победы и беды России. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 9–31.
24. Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе. М. : Изд. Ин-та рус. цивилизации, 2010. 576 с.
25. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Т. 26: Дневник писателя за 1877 Сентябрь – декабрь; 1880 Август. Л. : Наука, 1984. 518 с.
26. Кожин В.В. Россия как цивилизация и культура / сост., предисл., коммент. С.С. Куныев / отв. ред. О.А. Платонов. М. : Ин-т рус. цивилизации, 2012. 1072 с.
27. Гальперин Ч. Идеология молчания: предвзятость и прагматизм на средневековой религиозной границе // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси : антология / сост. Дж. Маджеска ; пер. с англ. З.Н. Исидоровой. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2001. С. 65–97.
28. Тёрнер Ф.Дж. Фронтир в американской истории : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2009. 304 с.
29. Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронта: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства : сб. ст. / под ред. И.В. Герасимова и др. Казань, 2004. С. 199–223.
30. Якушенок С.Н. Фронтир как культурная парадигма // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. №1 (42). С. 288–298.
31. Федоров Н.Ф. Сочинения / общ. ред.: А.В. Гулыга ; вступ. ст., примеч. и сост. С.Г. Семенов. М. : Мысль, 1982. 711 с.

### References

1. Fan Khepin (2024) Eticheskiy vzglyad na tsivilizatsiyu: “Okonchatel’noe probuzhdenie” neobychnoy etiki [An Ethical View of Civilization: The “Final Awakening” of an Unusual Ethics]. *Vek globalizatsii*. 2. pp. 34–46.
2. Chigirev, S.V. (2013) Stanovlenie sekulyarnogo obshchestva: sotsial’no-filosofskie osnovaniya issledovaniya [The Formation of Secular Society: Socio-Philosophical Foundations of the Study]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika*. 13(1). pp. 50–53.

3. Zhelezov, A.S. (2013) *Sotsial'noe i eticheskoe: obosnovanie form edinstva* [The Social and the Ethical: Justification of Forms of Unity]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Ekaterinburg.
4. Floridi, L. (2023) On Good and Evil, the Mistaken Idea That Technology Is Ever Neutral, and the Importance of the Double-Charge Thesis. *Philosophy and Technology*. 36(3). pp. 1–25.
5. Kuhn, T. (2003) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English. Moscow: AST.
6. Habermas, J. (2001) *Vovlechenie drugogo. Ocherki politicheskoy teorii* [The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.
7. Markov, B.V. (2001) V poiskakh drugogo [In Search of the Other]. In: Habermas, J. *Vovlechenie drugogo. Ocherki politicheskoy teorii* [The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory]. St. Petersburg: Nauka. pp. 5–44.
8. Epshteyn, M.N. (2006) *Slovo i molchanie: Metafizika russkoy literatury* [Word and Silence: The Metaphysics of Russian Literature]. Moscow: Vysshaya shkola.
9. Lyotard, J.-F. (1984) *The postmodern condition a report on knowledge*. Manchester: Manchester University Press.
10. Andreeva, I.S. & Gulyga, A.V. (eds) (1963) *Traktaty o vechnom mire* [Treatises on Perpetual Peace]. Moscow: Sotsekgiz.
11. Yumashev, Yu.M. (2015) Evropeyskaya ideya i ee razvitiye ot “Khristianskoy respubliki” do evropeyskogo soyuza [The European Idea and Its Development from the “Christian Republic” to the European Union]. *Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN*. 3. pp. 5–46.
12. Gutorovich, O.V. & Mashukova, E.Yu. (2018) Etatzatsiya voyny i proekty vechnogo mira [The Etatisation of War and Projects of Perpetual Peace]. *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii*. 1. pp. 165–176.
13. Guseynov, A.A. (2019) Kant na vse vremena (Ob etike Kanta v 295-yu godovshchinu so dnya ego rozhdeniya) [Kant for All Time (On Kant’s Ethics on the 295th Anniversary of His Birth)]. *Voprosy filosofii*. 7. pp. 6–17.
14. Klepikova, L.V. (2022) Rasovaya teoriya I. Kanta v kontekste kolonial'nogo diskursa epokhi Prosveshcheniya [I. Kant’s Racial Theory in the Context of the Colonial Discourse of the Enlightenment]. *Kant*. 44(3). pp. 140–145.
15. Seyidov, S. & Charyeva, A. (2025) Istoriya formirovaniya i stanovleniya Soedinennykh Shtatov Ameriki [The History of the Formation and Establishment of the United States of America]. *Nauka i mirovozzrenie*. 41. pp. 269–275.
16. Engels, J.D. (2021) *The Ethics of Oneness. Emerson, Whitman, and Bhagavad Gita*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
17. Emerson, R.W. (2001) *Nravstvennaya filosofiya* [Moral Philosophy]. Minsk: Kharvest; Moscow: AST.
18. Burmistrov, S.L. (2009) Bhagavadgita – pamyatnik interkul'turnogo dialoga [The Bhagavad Gita as a Monument of Intercultural Dialogue]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina*. 25(1). pp. 7–15.
19. Lévy-Bruhl, L. (2002) *Pervobytnoe myshlenie* [Primitive Mentality]. Translated by E. Kalshchikov. St. Petersburg: Evropeyskiy dom.
20. Pelipenko, A.A. (2010) Russkaya sistema na vesakh istorii [The Russian System on the Scales of History]. *Filosofskie nauki*. 3. pp. 7–22.
21. Frank, S.L. (1992) *Dukhovnye osnovy obshchestva* [The Spiritual Foundations of Society]. Moscow: Respublika.
22. Danilevskiy, N.Ya. (1991) *Rossiya i Evropa* [Russia and Europe]. Moscow: Kniga.
23. Kozhinov, V.V. (2002) Rossiya kak unikal'naya tsivilizatsiya i kul'tura [Russia as a Unique Civilization and Culture]. In: *Pobedy i bedy Rossii* [Victories and Troubles of Russia]. Moscow: EKSMO-Press. pp. 9–31.
24. Strakhov, N.N. (2010) *Bor'ba s Zapadom v nashey literature* [The Struggle with the West in Our Literature]. Moscow: Institute of Russian Civilization Press.
25. Dostoevskiy, F.M. (1984) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 26. Leningrad: Nauka.
26. Kozhinov, V.V. (2012) *Rossiya kak tsivilizatsiya i kul'tura* [Russia as a Civilization and Culture]. Compiled by S.S. Kunyaev. Moscow: Institute of Russian Civilization.
27. Galperin, Ch. (2001) Ideologiya molchaniya: predvzyatost' i pragmatizm na srednevekovoy religioznoy granitse [The Ideology of Silence: Prejudice and Pragmatism on the Medieval Religious Frontier]. In: Majeska, G. (ed.) *Amerikanskaya rusistika: Vekhi istoriografii poslednykh let. Period Kievskoy i Moskovskoy Rusi* [American Russian Studies: Milestones of Recent Historiography. The

Period of Kyivan and Muscovite Rus’]. Translated by Z.N. Isidorova. Samara: Samara University. pp. 65–97.

28. Turner, F.J. (2009) *Frontir v amerikanskoj istorii* [The Frontier in American History]. Translated from English. Moscow: Ves’ mir.

29. Riber, A. (2004) *Menyayushchiesya kontseptsii i konstruksii frontira: sravnitel’no-istoricheskiy podkhod* [Changing Concepts and Constructions of the Frontier: A Comparative-Historical Approach]. In: Gerasimov, I.V. et al. (eds) *Novaya imperskaya istoriya postsovetskogo prostranstva* [New Imperial History of the Post-Soviet Space]. Kazan: [s.n.]. pp. 199–223.

30. Yakushenkov, S.N. (2015) *Frontir kak kul’turnaya paradigma* [The Frontier as a Cultural Paradigm]. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul’tura*. 42(1). pp. 288–298.

31. Fedorov, N.F. (1982) *Sochineniya* [Works]. Moscow: Mysl’.

***Сведения об авторе:***

**Токарева С.Б.** – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и теории права Волгоградского государственного университета (Волгоград, Россия). E-mail: svet-tok2008@yandex.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Tokareva S.B.** – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor at the Department of Philosophy and Theory of Law, Volgograd State University (Volgograd, Russian Federation). E-mail: svet-tok2008@yandex.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 09.11.2025;*

*одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 09.11.2025;*

*approved after reviewing 23.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

## СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья  
УДК 316.334  
doi: 10.17223/1998863X/89/12

### НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ЕГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

**Юлия Владимировна Бельская**

*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия  
Новосибирский государственный университет геосистем и технологий,  
Новосибирск, Россия, [belskaya.73@mail.ru](mailto:belskaya.73@mail.ru)*

**Аннотация.** Рассматриваются неолиберальные трансформации высшего образования. Предпринят анализ организационно-структурного и статусно-ролевого устройства университета в современных условиях. Показывается, что университет выступает гибридной формой институциональных правил образовательного и экономического институтов.

**Ключевые слова:** неолиберализм, высшее образование, институциональные роли

**Для цитирования:** Бельская Ю.В. Неолиберальный университет и его институциональное устройство // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 138–150. doi: 10.17223/1998863X/89/12

## SOCIOLOGY

Original article

### THE NEOLIBERAL UNIVERSITY AND ITS INSTITUTIONAL STRUCTURE

**Yulia V. Belskaya**

*Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation  
[belskaya.73@mail.ru](mailto:belskaya.73@mail.ru)*

**Abstract.** This article examines the influence of neoliberal ideas on the transformation of higher education. In terms of organizational and structural aspects, it analyzes changes in the structure and functions of universities, their new organizational practices, as well as university policy and organizational culture. The manifestations of neoliberal performative culture in the educational environment are presented through the introduction of metric modes of compliance with measurable goals, the drive toward constant audit and control, and the maintenance of constructed narratives about organizational performance. The transformation of the university's role is revealed, wherein economic and educational institutions are represented by various status-normative models of interaction between subjects. The main attention is devoted to two principal subjects – students and teachers –

from the perspective of changing status-role relations. The description of status-role changes in the behavioral practices of students is presented through the consumerist model of interaction between the university and the student. The thesis is advanced that the increased reliance on performative culture within the neoliberal university also affects the normative foundations of the teacher's status and role. The main conclusions are that neoliberal influence redefines the goals of education, as well as the organizational culture of the university, thereby creating a new space of norms and rules of action for the main participants in the educational process. While students in their observed behavior widely demonstrate the consumerist model characteristic of an economic institution, teachers in their interactions with students most often maintain the traditional position characteristic of an educational institution. In reality, the university functions as a hybrid form of two social institutions: in its organizational and structural composition, the dominance of the institutional rules of the economic institution is observed, while in status-role interaction, it is primarily teachers – rather than students – who preserve the institutional norms and values of the educational institution.

**Keywords:** neoliberalism, higher education, institutional roles

**For citation:** Belskaya, Yu.V. (2026) The neoliberal university and its institutional structure. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 138–150. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/12

Немногие организации могут гордиться такой же долговечностью, как университеты. Учитывая их длительное и глобальное распространение, а также роль в производстве и распространении знаний, университеты можно обоснованно считать «успешной организационной формой» [1. Р. 10]. Однако с середины 1960-х гг. высшее образование в западных странах претерпело значительные изменения, главным образом, в связи с переходом от государственной поддержки к функционированию в условиях свободного рынка. Академическое сообщество подверглось критике за «неактуальность в реальном мире», «безделье в размышлениях», «неуправляемость», «закрытость в башни из слоновой кости» [2. Р. 7]. В связи с этим университеты должны были стать «более полезными» и «подотчетными обществу» [3. Р. 120]. Решением этих проблем стали реформы, направленные на реструктуризацию высшего образования по принципу экономической рациональности и свойственным рынку институциональным отношениям.

В западной литературе такие структурные изменения чаще всего обсуждаются в теоретических рамках концепции неолиберализма, которая активно распространяет логику рынка и модель экономического поведения за пределы самой экономики. Рыночное (неолиберальное) понимание института образования закрепило такое понятие, как «неолиберальный университет» [4, 5], который является удобным сокращением для обозначения идеи университета как экономического субъекта. Так называемый неолиберальный поворот в сфере высшего образования стал объектом пристального изучения, что находит свое отражение в достаточном количестве публикаций в зарубежной и отечественной и научной литературе. В основном они касаются изменения положения и роли университетов в обществе и самого содержания высшего образования, что часто понимается как кризис.

Представляется, что эта тема содержит целый комплекс проблем, рассматриваемых в основном в таких аспектах, как **организационно-структурные трансформации университета**, а также его новое **статусно-ролевое устройство**.

**В организационно-структурном аспекте** изучаются изменения в структуре и функциях университетов, новые организационные практики, а также университетская политика и культура. В академической литературе для концептуального описания таких изменений многие авторы используют понятие перформативности [6–8]. Перформативность появляется в контексте постмодернистского обсуждения Ж.-Ф. Лиотара состояния и легитимации научного знания в развитых западных обществах [9. Р. 505]. S. Ball и другие социологи образования выделяют три аспекта перформативности, которые проявляются в университетской среде: 1) квантификация (quantification); 2) идеал совершенного контроля (the ideal of perfect control); 3) фабрикация (fabrication) [10–12].

Первый аспект связан с распространением «измеримой производительности в образовательных учреждениях через метрические режимы соответствия» [13. Р. 720]. Количественная оценка как совокупность показателей эффективности так называемых объективных и нейтральных измерений делает сотрудников взаимозаменяемыми, линейно ранжируемыми объективированными единицами счета [14. Р. 132]. Таким образом, управление «по числам» может превратиться в управление «только по числам», что фактически приводит к тому, что переосмысливается сама область, подвергшаяся квантификации [15. Р. 561]. Представляется, что негативный эффект квантификации также заключается в функциональной перестройке педагогической и научной деятельности на те виды деятельности, которые, вероятно, окажут положительное влияние на измеримые результаты производительности. Достижение желаемых результатов – например, высокого рейтинга в исследованиях и публикациях, объема привлеченных грантовых средств, удовлетворенности студентов, результатов трудоустройства выпускников – становится движущим стимулом и может маргинализировать другие области институциональной жизни, которые не могут быть количественно выражены в установленных показателях. Таким образом, системы оценки и рейтинги достигают статуса необоснованной истины, который делает их самореализующимися в силу постоянства их существования. Как отмечает К. Lynch, ирландский социолог образования, «они создают то, что они якобы измеряют» [16. Р. 145] и «устанавливают тиранию метрик против академической среды» [17. Р. 19].

Второй аспект перформативности проявляется в структурно-функциональной перестройке университета в связи с его движением «к идеалу совершенного контроля», возникшему в результате упадка более ранних, коллегиальных форм университетского управления и его замены системами управления «сверху вниз». Укоренившаяся культура аудита с ее «стратегическим планированием, показателями эффективности, мерами по обеспечению качества и академическими проверками» [18. Р. 313], «постоянным измерением и оценкой результатов преподавания и исследований» [19. Р. 14], «высокой производительностью в сжатые сроки» [20. Р. 1236] приводит к появлению большого числа «профессиональных» менеджеров. Характер самих управляющих воздействий становится все более осуждающим и карательным, а не развивающим и поддерживающим, тем самым усиливая беспокойство со стороны сотрудников. Таким образом, стремление «к идеальному контролю над деятельностью» в конечном итоге может привести к ее упадку [21. Р. 410]. Опираясь на идею Маркузе о «тотальном администрировании»,

L. McCann и соавт. показывают, как «идеальный контроль» со стороны администраторов университета и высшего руководства приводит к тотальному «захвату» сотрудников: сдерживанию сопротивления, нетерпимости к инакомыслию, «тревожному и оборонительному рабочему климату» [22. Р. 15].

В своем исследовании американской образовательной среды В. Ginsberg доказывает, что рост администрирования идет рука об руку с ростом власти менеджеров [23. Р. 154]. Управление университетами становится более авторитарным, в отличие от управления, основанного на профессиональной коллегии, работающей в соответствии с академическими нормами. Администраторы становятся новым правящим классом университетов. Большинство функций таких менеджеров направлены не на поддержку работы профессорско-преподавательского состава, а на повышение конкурентоспособности учреждения и привлечение внешнего финансирования.

Другим фактором, определяющим структурно-функциональную трансформацию, является маркетинг образования. Чтобы завоевать широкую легитимность, университеты стремятся соответствовать «институциональным мифам» о том, как должна выглядеть «хорошая бизнес-организация» [24. Р. 31]. Это предполагает демонстрацию того, что у них есть стратегическое видение и маркетинг, системы управления человеческими ресурсами, PR, функции брендинга и т.д. Однако это отражает продолжающееся уменьшение фокуса с основной деятельности университета.

Третий аспект проявления перформативности – это фабрикация, которые создают организационную непрозрачность и связаны с воспроизводством и поддержанием искусственных представлений об организации [25. Р. 260]. Рейтинги создают фабрику успешности, скрывая настоящую академическую жизнь.

Университеты в стремлении быть конкурентоспособными непропорционально много тратят средств на маркетинг, брендинг, управление набором и роскошные помещения кампуса, чтобы «выглядеть хорошо», а не «быть (академически) хорошими». Это проявляется в пространственной организации университетов по подобию штаб-квартиры Google в Кремниевой долине, где «работа и жизнь становится игривой, непринужденной, быстро развивающейся, живой и ориентированной на рынок» [2. Р. 7]. Кампусы-курорты с лаунж-зонами, атриумами, лужайками для отдыха могут выступать примером гиперреальности Ж. Бодрийера, вытесняя такие примеры, как торговый центр и Диснейленд, и вовлекая посетителей в мир эскапизма и счастья [26. Р. 75].

Как таковые, фабрикация парадоксальны, потому что они означают как «сопротивление, так и одновременно капитуляцию перед перформативными режимами» [21. Р. 417]. Стремление к измеримым результатам неизбежно снижает строгость и качество исследовательской и преподавательской работы. Это, в свою очередь, способствует игровому менталитету, когда сотрудники и студенты отдают приоритет показателям, а не сути – когда рейтинг журнала или оценки важнее самого процесса. Недавнее исследование британских ученых показало, что игра – это широко используемая метафора. В исследовании N. Butler и S. Spoelstra подготовка научных публикаций рассматривалась как «игра в игру». Авторы указывают на то, что «многие из респондентов признались, что они вложили много труда в адаптацию своей статьи для удовлетворения ожиданий редакторов и рецензентов» [27. Р. 542].

Некоторые авторы говорят, что ученые-менеджеры «теперь имеют больше капитала в игровых навыках, чем в науке» [28. Р. 472]. Однако игра указывает на прагматичный ответ вызовам, а не на глубокое соответствие какому-либо сценарию. Более того, метафора игры помогает сохранить «идею о том, что под или за игроком находится его неиграющее „я“» [24. Р. 33].

Трансформации института образования определяют также и его новое **статусно-ролевое устройство**. Основное внимание привлечено к двум главным субъектам: студентам и преподавателям с точки зрения изменения статусно-ролевых отношений между этими участниками образовательного процесса.

### **Студент как субъект неолиберального университета**

В академической литературе описание статусно-ролевых изменений проявляющихся в поведении студентов в основном представлено через консьюмеристскую модель взаимодействия университета и студентов. Причиной этого является развитие феномена студента как потребителя, который получил распространение в эпоху неолиберализма. Консьюмеристская модель отношений между университетом и студентами определяет, что университет представляет на рынке образовательные услуги, а студент является потребителем этих услуг по всем правилам такого «жанра» отношений.

Студент в консьюмеристской модели – это рациональный экономический субъект, который: 1) принимает ответственность за своё будущее, целью которого является улучшение своих экономических перспектив; 2) имеет представление о спросе на рынке труда, понимает, какие знания и навыки будут ему нужны; 3) обладает полной информацией в ситуации выбора («время-стоимость-ценность») и может сформировать образовательный запрос; 4) делает рациональный выбор, основанный на максимизации личной выгоды и удовлетворении своей потребности наилучшим образом.

Интересный подход к пониманию ролевой модели «студент-потребитель» демонстрируют J. Singleton-Jackson, обсуждая новый феномен студенческих прав [29. Р. 346]. Поскольку обычно понимается, что право одной стороны является обязанностью другой стороны, студент не обязан брать на себя ответственность за свое обучение. Но осуществление права не только подразумевает отрицание обязательств, оно также подчеркивает права студента более значимым образом. Право не может быть ценным, если оно не представлено какой-либо осязаемой «вещью». Таким образом, право на образование (получение услуги) становится правом не только требовать квалификацию (диплом), но и хорошие оценки, которые дают внутреннюю ценность такой квалификации. Такие авторы, как С. Mutch и J. Tatebe, описывают, «на что готовы пойти ученики, чтобы получить более высокую оценку». Среди таких способов «эмоциональный шантаж», «грубые отзывы-жалобы о нас самих как о людях, а не о нашей профессиональной и преподавательской практике», «напоминания о расходах на образование» [30. Р. 223].

Анонимное оценивание качества услуги также выступает инструментом «дисциплинирования» преподавателей и определяет более высокую статусную позицию студента-потребителя. S. Collini называет это «псевдоизмерением» удовлетворенности потребителя. Центральным понятием здесь является «студенческий опыт». Указывая на ограничения такого подхода, автор

высказывается следующим образом: «Модель представляет собой, скажем, гостя отеля, заполняющего анкету обратной связи утром перед отъездом. Был ли «гостевой опыт» хорошим? Вы нашли пушистые полотенца достаточно пушистыми?» [31. Р. 13].

По мнению R. Raaper, неолиберальное влияние на понимание студентами высшего образования формирует способы, которыми они не только рассуждают о ценности образования, но и оценивают его, в основном с экономических позиций: образование нужно прежде всего для обеспечения занятости [32. Р. 5]. Стоит также согласиться с высказыванием других авторов о том, что текущий рыночный дискурс в образовании продвигает способ существования, в котором студенты стремятся «иметь степень», а не «быть учениками» [33. Р. 279]. В своем исследовании В. Grant (2017) обнаружила, что студенты-потребители имеют повышенную потребность в мгновенном удовлетворении, нежелание испытывать неопределенность, страх или риск, а также «нетерпение, даже ярость по отношению к тому, что не приносит пользы» [34. Р. 151], что свидетельствует о требованиях комфорта в статусно-ролевом взаимодействии и запросе потребителя быть удовлетворенным на его условиях. Однако «удовлетворение» студентов можно легко спутать с выполнением краткосрочных целей, которые могут включать достижение утилитарных результатов, но имеют ограниченное отношение к подлинному качеству или внутренней ценности этого опыта.

### **Преподаватель как субъект неолиберального университета**

Изменения, связанные с ролью преподавателя, уже продолжительное время критически обсуждаются в специальной литературе. Широко распространенным аргументом является высказывание, что возросшая опора на перформативную культуру неолиберализма не только изменяет образование как процесс, но затрагивает и нормативные основы статусно-ролевой позиции преподавателя.

В достаточно острых высказываниях утверждается, что перформативные технологии управления представляют собой форму «идеологического нападения» на первичные цели образования [35. Р. 369], имеют «тенденцию завладеть, колонизировать, подавлять и обесценивать академическую жизнь» [36. Р. 290], тем самым способствовать «переосмыслению самих профессионалов» [37. Р. 562], что приводит в итоге к «появлению нового романа, в котором перформативный академик является центральной фигурой» [17. Р. 19]. Перформативный академик «не является, тем, кто он есть, а тем, что он делает», он в высшей степени «инструментален и производителен, предприимчив, индивидуалистичен и ориентирован на успех» [38. Р. 730]. Очевидно, что такая модель переопределяет нормативные рамки традиционной институциональной роли преподавателя.

Кроме того, перформативные технологии управления «приглашают» преподавательский состав сосредоточиться на режиме обладания и «товарищизации» своего труда. Они больше не ученые и не педагоги, а «перформативные» сотрудники, у которых есть публикации, гранты, баллы, за которые они получают вознаграждение, связанное с их производительностью. Чаще всего такие требования обсуждаются в связи с научной деятельностью преподавателей. Суровое предупреждение «публикуйся или погибнешь» отражает реа-

лии квантификации труда, когда исследования сводятся к измеримым публикациям – «результатам». Публикации стали «валютой» в академической жизни, создав иерархию, в которой научные исследования занимают более высокий уровень значимости, а преподавание – более низкий.

Есть ряд исследований, связанных с изучением академической жизни в более широком плане, где в фокус внимания попадают такие стороны жизни, как нестабильные перспективы занятости и «академический прекариат» [39. Р. 48], эксплуатация начинающих ученых, «цифровое насилие», «растяжение рабочего дня» в виртуальном пространстве, академическая идентичность и психическое благополучие [40. Р. 340].

Изменяется также положение преподавателей и их поведение по отношению к студентам-потребителям. Преподаватели в «рыночных» университетах вынуждены подчиняться не только давлению администрации, но студентов, подстраиваясь под их требования. По этой причине они не могут сохранять прежние академические стандарты в преподавании, и вынуждены идти на компромисс с педагогическими ценностями, включая принципы предметной строгости и глубины понимания. Когда знания преобразуются в товар, который можно купить и затем обменять, в высших учебных заведениях появляются правила поля, связанные с продуктом (результатами), а не с процессом (педагогикой). Принятие учащихся как «потребителей товаров», а преподавателей в качестве «информационных брокеров», чья роль заключается в упаковке и представлении наиболее полезной информации максимально эффективным способом, означает, что основополагающие образовательные ценности и цели значительно маргинализируются [41. Р. 271]. Однако преподавание – это не просто упаковка и объяснение уже известного и практически полезного знания. Преподавателям «нужно время для размышлений и личного обучения», если они хотят «быть в курсе новых разработок в своих предметах», а также хотят оставаться «интеллектуально живыми» [31. Р. 11]. Однако обращая внимание на изменение роли преподавателя в статусно-ролевом взаимодействии со студентами, S. Collini предупреждает, «что отныне от моих достойных восхищения коллег будут ожидать, что они будут топтать друг друга в надежде получить похвалу „лучший в шоу“ от сонных императоров в глубине зала» [31. Р. 15].

Несмотря на то, что дискуссии о кризисе высшего образования продолжают уже более 20 лет, актуальность изложенных в статье проблем сохраняется как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации. Основные выводы, связанные с предпринятым анализом, сводятся к следующей логике рассуждений:

Во-первых, организационно-структурные трансформации института образования происходят в соответствии с нормативными правилами экономического института, определяя поведение участников и способы их взаимодействия. В результате целью университета является производство образовательных услуг для рынка потенциальных потребителей с использованием ограниченных ресурсов (материально-технических, интеллектуальных, финансовых). Целевое предназначение университета связывается с экономической эффективностью его деятельности, которое выражается во множестве количественных показателей, например, числе обучающихся студентов, объемах привлеченных средств из внешних источников и т.д. Статус-

ная (рейтинговая) конкуренция является рыночным условием и также целью университета в части достижение статуса, отодвигая на задний план основное предназначение университета как социального института общества: производство общественного блага.

Переосмысление цели университета в экономической логике, как было показано, переопределяет организационную культуру университета, создавая иное пространство норм и правил действий, существенно отличающееся от академической культуры традиционного университета. Перформативный характер управления закрепляет авторитарный стиль управления с большой дистанцией между административным и академическим персоналом. Такое положение дел формирует новые группы персонала: управленческую элиту, с концентрацией власти и большими надбавками к зарплате, и прекариат преподавателей, которые часто работают на долю ставки по временным или нестабильным (не продолжительным по времени) договорам, зависящим от результатов по эффективному контракту. Профессорско-преподавательский состав в такой организационной культуре представляет собой объекты, которые используются в соответствии с квалификацией для производства образовательного продукта и выполнения требований институциональной рыночной среды в статусной конкуренции за инвестиции. Субъектность личностей уничтожается, порождая процессы конформизма преподавательского состава.

Во-вторых, в силу распространения норм и организационных правил экономического института меняется статусно-ролевое устройство института образования с традиционных ролей института образования (учитель – ученик) на статусно-ролевую модель (поставщик услуги – потребитель-клиент). Модель «поставщик услуги – потребитель» в современных условиях существенно усложняется новыми требованиями студентов в связи с высокими ожиданиями «цифрового совершенства» услуги. Потребительские запросы студентов растут, как и убежденность администрации университетов, что студентов нужно защищать от всего, что может их потенциально расстроить, обеспечивая тем самым эмоциональную удовлетворенность их студенческим опытом.

Устойчивость, функциональность и стабильность социального института зависят от того, насколько ответственно участники подходят к исполнению своих социальных ролей. Если студенты в своем наблюдаемом поведении широко демонстрируют консьюмеристскую модель поведения, свойственную экономическому институту, то со статусно-ролевой моделью преподавателя как поставщика услуги все не так очевидно. Представляется, что сначала меняются нормы поведения студентов, ставших потребителями образовательной услуги, а затем вынуждено и преподавателей, которые, чаще всего находясь на традиционных позициях, стремясь сохранить прежнюю статусно-ролевую структуру, входят в конфликт с поведением студентов-потребителей или подчиняются, в той или иной степени, требованиям роли поставщиков услуги.

В действительности получается, что университет выступает гибридной формой двух социальных институтов, где в его организационно-структурном устройстве наблюдается доминирование институциональных правил экономического института. На уровне же взаимодействия статусно-ролевых позиций студенты в большей степени усвоили и воспроизводят консьюмерист-

ские установки к получению образования, тогда как преподаватели в целом сохраняют институциональные нормы и ценности традиционного образования. Таким образом, оказывается, что именно на статусно-ролевой позиции «учитель-преподаватель» институт образования сохраняет свою устойчивую форму, связанную с реализацией основных общественных функций. Однако высокое давление внешней институциональной среды, внутреннего перформативного менеджмента, организационной культуры, подменяющей истинные ценности и цели образования, не исключает и трансформацию основной статусно-ролевой позиции «учитель-преподаватель» в сторону «поставщика услуги» со всеми вытекающими из этой роли последствиями для высшего образования.

#### Список источников

1. Engwall L. The Governance and Missions of Universities // Higher Education Dynamics. Springer. 2020. Vol. 55. P. 1–19. doi: 10.1007/978-3-030-41834-2\_1
2. Troiani I., Dutton C. The Neoliberal University as a Space to Learn/Think/Work in Higher Education // Architecture and Culture. 2021. Vol. 9, Iss. 1. P. 5–23. doi: 10.1080/20507828.2021.1898836
3. Collini S. Universities and “Accountability”: Lessons from the UK Experience? // Higher Education Dynamics. Springer. 2020. Vol. 55. P. 115–130. doi: 10.1007/978-3-030-41834-2\_8
4. Enright E., Alfrey L., Rynne S. Being and becoming an academic in the neoliberal university: a necessary conversation // Sport, Education and Society. 2016. Vol. 22, Iss. 1. P. 1–4. doi: 10.1080/13573322.2016.1259999
5. Brown W. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York : Zone Books, 2015. 296 p.
6. Ball S. Subjectivity as a site of struggle: refusing neoliberalism? // British Journal of Sociology of Education. 2015. Vol. 37, Iss. 8. P. 1129–1146. doi: 10.1080/01425692.2015.1044072
7. Jeffrey B., Geoff T. The Construction of Performative Identities // European Educational Research Journal. 2015. Vol. 10, Iss. 4. P. 484–501. doi: 10.2304/eerj.2011.10.4.484
8. Jones D. Taking freedom back from the “Performative University” special issue revisited: A dead end or a pathway to taking freedom forward? // Management Learning. 2025. Vol. 56, Iss. 1, P. 90–98. doi: /10.1177/13505076241280249
9. Jones C. Theory after the postmodern condition // Organization. 2003. Vol. 10, Iss. 3. P. 503–525.
10. Ball S. The teacher’s soul and the terrors of performativity // Journal of Education Policy. 2003. Vol. 18, Iss. 2. P. 215–228. doi: 10.1080/0268093022000043065
11. Jones D., Visser M., Stokes P., Örtengren A. et al. The Performative University: “Targets”, “Terror” and “Taking Back Freedom” in Academia // Management Learning. 2020. Vol. 51, Iss. 4. P. 363–377. doi: 10.1177/1350507620927554
12. Visser M., Stokes P., Andersson A., Lynne M. The “Performative” university: theoretical and personal reflections // Journal of Education Policy. 2024. Vol. 39, Iss. 6. P. 1030–1048. doi: 10.1080/02680939.2024.2403431
13. Tomlinson M. Conceptions of the Value of Higher Education in a Measured Market // Higher Education. 2017. Vol. 75, Iss. 4. P. 711–727. doi: 10.1007/s10734-017-0165-6
14. Olssen M. Neoliberal competition in higher education today: Research, accountability and impact // British Journal of Sociology of Education. 2016. Vol. 37, Iss. 1. P. 129–148.
15. Miller P., Power M. Accounting, Organizing, and Economizing: Connecting Accounting Research and Organization Theory // The Academy of Management Annals. 2013. Vol. 7, Iss. 1. P. 557–605. doi: 10.1080/19416520.2013.783668
16. Lynch K. New managerialism, neoliberalism and ranking // Ethics in Science and Environmental Politics. 2013. Vol. 13, Iss. 2. P. 141–153. doi: 10.3354/esepp00137
17. Ball S. Performativity, Commodification and Commitment: An I-Spy Guide to the Neoliberal University // British Journal of Educational Studies. 2012. Vol. 60, Iss. 1. P. 17–28. doi: 10.1080/00071005.2011.650940
18. Olssen M., Peters M. Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism // Journal of Education Policy. 2005. Vol. 20. P. 313–345.

19. Shore C., Davidson M. Beyond collusion and resistance: Academic-management relations within the neoliberal university // *Learning and Teaching*. 2014. Vol. 7. P. 12–28. doi: 10.3167/latiss.2014.070102
20. Mountz A., Bonds A., Mansfield B. et al. For slow scholarship: A feminist politics of resistance through collective action in the neoliberal university // *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*. 2015. Vol. 14. P. 1235–1259.
21. Alvesson M., Szkuclarek B. Honorable Surrender: On the Erosion of Resistance in a University Setting // *Journal of Management Inquiry*. 2021. Vol. 30, Iss. 4. P. 407–420. doi: 10.1177/1056492620939189B
22. McCann L., Granter E., Hyde P. et al. Upon the gears and upon the wheels: Terror convergence and total administration in the neoliberal university // *Management Learning*. 2020. Vol. 1, Iss. 21. P. 1–21. doi: 10.1177/1350507620924162
23. Ginsberg B. *The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why it Matters*. New York : Oxford University Press, 2011. 248 p.
24. Alvesson M., Spicer A. (Un)Conditional surrender? Why do professionals willingly comply with managerialism // *Journal of Organizational Change Management*. 2016. Vol. 29, Iss. 1. P. 29–45. doi: 10.1108/JOCM-11-2015-0221
25. Anderson G. Mapping academic resistance in the managerial university // *Organization*. 2008. Vol. 15, Iss. 2. P. 251–270. doi: 10.1177/1350508407086583
26. Austin S., Sharr A. The University of Nonstop Society: Campus Planning, Lounge Space, and Incessant Productivity // *Architecture and Culture*. 2020. Vol. 9, Iss. 1. P. 69–97. doi: 10.1080/20507828.2020.1766300
27. Butler N., Spoelstra S. The regime of excellence and the erosion of ethos in critical management studies // *British Journal of Management*. 2014. Vol. 25, Iss. 3. P. 538–550.
28. Macdonald S., Kam J. The skewed few: people and papers of quality in management studies // *Organization*. 2011. Vol. 18, Iss. 4. P. 467–475.
29. Singleton-Jackson J., Jackson D., Reinhardt J. Students as Consumers of Knowledge: Are They Buying What We're Selling? // *Innovative Higher Education*. 2010. Vol. 35, Iss. 5. P. 343–358. doi: 10.1007/s10755-010-9151-y
30. Mutch C., Tatebe J. From collusion to collective compassion: putting heart back into the neoliberal university // *Pastoral Care in Education*. 2017. Vol. 35, Iss. 3. P. 221–234. doi: 10.1080/02643944.2017.1363814
31. Collini S. From Robbins to McKinsey // *London Review of Books*. 2011. Vol. 33, Iss. 16. P. 9–14.
32. Raaper R. Students as consumers? A counter perspective from student assessment as a disciplinary technology // *Teaching in Higher Education*. 2018. Vol. 24, Iss. 1. P. 1–16. doi: 10.1080/13562517.2018.1456421
33. Molesworth M., Nixon E., Scullion R. Having, being and higher education: the marketisation of the university and the transformation of the student into consumer // *Teaching in Higher Education*. 2009. Vol. 14, Iss. 3. P. 277–287. doi: 10.1080/13562510902898841
34. Grant B. On delivering the consumer-citizen: New pedagogies and their affective economies. // *Death of the public university? Uncertain futures for higher education in the knowledge economy* / eds. C. Shore, S. Wright. New York : Bergahn Books, 2017. P. 138–155. doi: 10.2307/j.ctvw04bj2.12
35. Tang S. Teachers' professional identity, educational change and neo-liberal pressures on education in Hong Kong // *Teacher Development*. 2011. Vol. 15, Iss. 3. P. 363–380. doi: 10.1080/13664530.2011.608518
36. Liew W. Perform or else: the performative enhancement of teacher professionalism // *Asia Pacific Journal of Education*. 2012. Vol. 32, Iss. 3. P. 285–303. doi: 10.1080/02188791.2012.711297
37. Shore C., Wright S. Audit culture and anthropology: neo-liberalism in British higher education // *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 1995. Vol. 4. P. 557–575. doi: 10.2307/2661148
38. Englund H., Frostenson M., Beime K. Magnus Frostenson & Kristina S. Beime Performative Technology Intensity and Teacher Subjectivities // *Scandinavian Journal of Educational Research*. 2019. Vol. 63, Iss. 5. P. 725–743. doi: 10.1080/00313831.2018.1434825
39. Hartung C., Barnes N., Welch R., O'Flynn G. et al. Beyond the academic precariat: a collective biography of poetic subjectivities in the neoliberal university // *Sport, Education and Society*. 2016. Vol. 22, Iss. 1. P. 40–57. doi: 10.1080/13573322.2016.1202227
40. Knights D., Clarke C. It's a bittersweet symphony, this life: Fragile academic selves and insecure identities at work // *Organization Studies*. 2014. Vol. 35, Iss. 3. P. 335–357.

41. Naidoo R., Jamieson I. Empowering Participants or Corroding Learning: Towards a Research Agenda on the Impact of Student Consumerism in Higher Education // Journal of Education Policy. 2005. Vol. 20, Iss. 3. P. 267–281.

### References

1. Engwall, L. (2020) The Governance and Missions of Universities. *Higher Education Dynamics*. 55. pp. 1–19. doi: 10.1007/978-3-030-41834-2\_1
2. Troiani, I. & Dutson, C. (2021) The Neoliberal University as a Space to Learn/Think/Work in Higher Education. *Architecture and Culture*. 9(1). pp. 5–23. doi: 10.1080/20507828.2021.1898836
3. Collini, S. (2020) Universities and “Accountability”: Lessons from the UK Experience? *Higher Education Dynamics*. 55. pp. 115–130. doi: 10.1007/978-3-030-41834-2\_8
4. Enright, E., Alfrey, L. & Rynne, S. (2016) Being and becoming an academic in the neoliberal university: a necessary conversation. *Sport, Education and Society*. 22(1). pp. 1–4. doi: 10.1080/13573322.2016.1259999
5. Brown, W. (2015) *Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution*. New York: Zone Books.
6. Ball, S. (2015) Subjectivity as a site of struggle: refusing neoliberalism? *British Journal of Sociology of Education*. 37(8). pp. 1129–1146. doi: 10.1080/01425692.2015.1044072
7. Jeffrey, B. & Geoff, T. (2015) The Construction of Performative Identities. *European Educational Research Journal*. 10(4). pp. 484–501. doi: 10.2304/eejr.2011.10.4.484
8. Jones, D. (2025) Taking freedom back from the “Performative University” special issue revisited: A dead end or a pathway to taking freedom forward? *Management Learning*. 56(1). pp. 90–98. doi: 10.1177/13505076241280249
9. Jones, C. (2003) Theory after the postmodern condition. *Organization*. 10 (3). pp. 503–525.
10. Ball, S. (2003) The teacher’s soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*. 18(2). pp. 215–228. doi: 10.1080/0268093022000043065
11. Jones, D., Visser, M., Stokes, P., Örténblad, A. et al. (2020) The Performative University: “Targets”, “Terror” and “Taking Back Freedom” in Academia. *Management Learning*. 51(4). pp. 363–377. doi: 10.1177/1350507620927554
12. Visser, M., Stokes, P., Andersson, A. & Lynne, M. (2024) The “Performative” university: theoretical and personal reflections. *Journal of Education Policy*. 39(6). pp. 1030–1048. doi: 10.1080/02680939.2024.2403431
13. Tomlinson, M. (2017) Conceptions of the Value of Higher Education in a Measured Market. *Higher Education*. 75(4). pp. 711–727. doi: 10.1007/s10734-017-0165-6
14. Olssen, M. (2016) Neoliberal competition in higher education today: Research, accountability and impact. *British Journal of Sociology of Education*. 37(1). pp. 129–148.
15. Miller, P. & Power, M. (2013) Accounting, Organizing, and Economizing: Connecting Accounting Research and Organization Theory. *The Academy of Management Annals*. 7(1). pp. 557–605. doi: 10.1080/19416520.2013.783668
16. Lynch, K. (2013) New managerialism, neoliberalism and ranking. *Ethics in Science and Environmental Politics*. 13(2). pp. 141–153. doi: 10.3354/esep00137
17. Ball, S. (2012) Performativity, Commodification and Commitment: An I-Spy Guide to the Neoliberal University. *British Journal of Educational Studies*. 60(1). pp. 17–28. doi: 10.1080/00071005.2011.650940
18. Olssen, M. & Peters, M. (2005) Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. *Journal of Education Policy*. 20. pp. 313–345.
19. Shore, C. & Davidson, M. (2014) Beyond collusion and resistance: Academic-management relations within the neoliberal university. *Learning and Teaching*. 7. pp. 12–28. doi: 10.3167/latiss.2014.070102
20. Mountz, A., Bonds, A., Mansfield, B. et al. (2015) For slow scholarship: A feminist politics of resistance through collective action in the neoliberal university. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*. 14. pp. 1235–1259.
21. Alvesson, M. & Szkludlarek, B. (2021) Honorable Surrender: On the Erosion of Resistance in a University Setting. *Journal of Management Inquiry*. 30(4). pp. 407–420. doi: 10.1177/1056492620939189
22. McCann, L., Granter, E., Hyde, P. et al. (2020) Upon the gears and upon the wheels: terror convergence and total administration in the neoliberal university. *Management Learning*. 1(21). pp. 1–21. doi: 10.1177/1350507620924162

23. Ginsberg, B. (2011) *The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why it Matters*. New York: Oxford University Press.
24. Alvesson, M. & Spicer, A. (2016) (Un)Conditional surrender? Why do professionals willingly comply with managerialism. *Journal of Organizational Change Management*. 29(1). pp. 29–45. doi: 10.1108/JOCM-11-2015-0221
25. Anderson, G. (2008) Mapping academic resistance in the managerial university. *Organization*. 15(2). pp. 251–270. doi: 10.1177/1350508407086583
26. Austin, S. & Sharr, A. (2020) The University of Nonstop Society: Campus Planning, Lounge Space, and Incessant Productivity. *Architecture and Culture*. 9(1). pp. 69–97. doi: 10.1080/20507828.2020.1766300
27. Butler, N. & Spoelstra, S. (2014) The regime of excellence and the erosion of ethos in critical management studies. *British Journal of Management*. 25(3). pp. 538–550.
28. Macdonald, S. & Kam, J. (2011) The skewed few: people and papers of quality in management studies. *Organization*. 18(4). pp. 467–475.
29. Singleton-Jackson, J., Jackson, D. & Reinhardt, J. (2010) Students as Consumers of Knowledge: Are They Buying What We're Selling? *Innovative Higher Education*. 35(5). pp. 343–358. doi: 10.1007/s10755-010-9151-y
30. Mutch, C. & Tatebe, J. (2017) From collusion to collective compassion: putting heart back into the neoliberal university. *Pastoral Care in Education*. 35(3). pp. 221–234. doi: 10.1080/02643944.2017.1363814
31. Collini, S. (2011) From Robbins to McKinsey. *London Review of Books*. 33(16). pp. 9–14.
32. Raaper, R. (2018) Students as consumers? A counter perspective from student assessment as a disciplinary technology. *Teaching in Higher Education*. 24(1). pp. 1–16. doi: 10.1080/13562517.2018.1456421
33. Molesworth, M., Nixon, E. & Scullion, R. (2009) Having, being and higher education: the marketisation of the university and the transformation of the student into consumer. *Teaching in Higher Education*. 14(3). pp. 277–287. doi: 10.1080/13562510902898841
34. Grant, B. (2017) On delivering the consumer-citizen: New pedagogies and their affective economies. In: Shore, C. & Wright, S. (eds) *Death of the public university? Uncertain futures for higher education in the knowledge economy*. New York: Berghahn Books. pp. 138–155. doi: 10.2307/j.ctvw04bj2.12
35. Tang, S. (2011) Teachers' professional identity, educational change and neo-liberal pressures on education in Hong Kong. *Teacher Development*. 15(3). pp. 363–380. doi: 10.1080/13664530.2011.608518
36. Liew, W. (2012) Perform or else: the performative enhancement of teacher professionalism. *Asia Pacific Journal of Education*. 32(3). pp. 285–303. doi: 10.1080/02188791.2012.711297
37. Shore, C. & Wright, S. (1995) Audit culture and anthropology: neo-liberalism in British higher education. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 4. pp. 557–575. doi: 10.2307/2661148
38. Englund, H., Frostenson, M. & Beime, K. (2019) Magnus Frostenson & Kristina S. Beime Performative Technology Intensity and Teacher Subjectivities. *Scandinavian Journal of Educational Research*. 63(5). pp. 725–743. doi: 10.1080/00313831.2018.1434825
39. Hartung, C., Barnes, N., Welch, R., O'Flynn, G. et al. (2016) Beyond the academic precariat: a collective biography of poetic subjectivities in the neoliberal university. *Sport, Education and Society*. 22(1). pp. 40–57. doi: 10.1080/13573322.2016.1202227
40. Knights, D. & Clarke, C. (2014) It's a bittersweet symphony, this life: Fragile academic selves and insecure identities at work. *Organization Studies*. 35(3). pp. 335–357.
41. Naidoo, R. & Jamieson, I. (2005) Empowering Participants or Corroding Learning: Towards a Research Agenda on the Impact of Student Consumerism in Higher Education. *Journal of Education Policy*. 20(3). pp. 267–281.

#### Сведения об авторе:

**Бельская Ю.В.** – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия); доцент кафедры специальных устройств, инноватики и метрологии Сибирского государственного университета геосистем и технологий (Новосибирск, Россия). E-mail: belskaya.73@mail.ru

*Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.*

***Information about the author:***

**Belskaya Yu.V.** – Cand. Sci. (Economics), associate professor at the Department Sociology and Mass Communications, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation); associate professor at the Department of Special Devices, Innovations and Metrology, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: belskaya.73@mail.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 13.03.2025;  
одобрена после рецензирования 25.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 13.03.2025;  
approved after reviewing 25.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 168.2; 308; 316.346.32

doi: 10.17223/1998863X/89/13

## УРБАНИСТИЧЕСКОЕ ДЕТСТВО: ОТ КОНЦЕПТА К ПОНЯТИЮ

**Альбина Ахметовна Бесчасная**

*Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ,  
Санкт-Петербург, Россия, aabes@inbox.ru*

**Аннотация.** Показано формирование понятия «урбанистическое детство» как отражение жизни детей в условиях урбанизации и нашедшее первоначальное отражение в одноименном концепте. Обоснована специфика понятия «урбанистическое детство», очерчены его существенные характеристики, отличные от «городского детства». Понятие «урбанистическое детство» объединяет многочисленные социальные факты из жизни детей в разные исторические эпохи, которые зависят от урбанистических изменений и в последующем приобретают постоянный и институциональный характер в контексте понятия «городское детство».

**Ключевые слова:** детство, урбанизация, город, концепт, понятие, социология детства

**Благодарности:** автор благодарит рецензента за внимательное отношение и доброжелательные советы с целью раскрытия проблематики статьи.

**Для цитирования:** Бесчасная А.А. Урбанистическое детство: от концепта к понятию // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 151–164. doi: 10.17223/1998863X/89/13

Original article

## URBAN CHILDHOOD: FROM CONCEPT TO TERM

**Albina A. Beschasnaya**

*North-West Institute of Management, Branch of RANEP, St. Petersburg, Russian Federation,  
aabes@inbox.ru*

**Abstract.** This article substantiates the specific features of the emerging concept of “urban childhood” as capturing the dynamic impact of urbanization on children’s lives. It aims to reveal the methodological characteristics of the concept of “urban childhood.” To reach this aim, the study draws upon thematic publications by Russian and foreign scholars, a comparative analysis of the use of lexemes based on “urbs,” and a theoretical and methodological analysis of the term – ranging from its initial conceptualization to the substantiation of conceptual characteristics that reflect changes in children’s lives resulting from the penetration of urbanization. The description of the urban context of childhood is grounded in the characteristics and indicators of urbanization. These characteristics include technological modernization, which leads to the uneven spread of urbanization across regions and, consequently, the structuring of space; the demand for diverse resources as a condition for urbanization processes; transformations in demographic and migration patterns; and changes in the daily order of life, among others. The evolution of the concept of “urban childhood” gives rise to an appropriate conceptual framework, the specificity of which lies in its reflection of dynamic transformations in children’s lives, the emergence of new, significant events under the influence of urbanization, the need for children to develop adaptive abilities in response to innovations, their integration into an emerging new life order, and their openness to acquiring new experiences in self-realization.

The concept of “urban childhood” encompasses a set of indicators pointing to changes in children’s lives – in play, educational activities, household routines, communication, and so forth – grounded in the technological innovations that accompany urbanization. The content of the concept is shaped by social facts and information drawn from the life histories of children and from the evolution of childhood, which register innovations occurring under the influence of urbanization. These innovations both separate the past from the present and stratify the children’s community, while also shaping children’s opportunities for meeting their needs and achieving self-realization. The concept of “urban childhood” thus synthesizes numerous social facts from the lives of children across different historical epochs—facts that depend on urban changes and that subsequently acquire a permanent and institutional character within the context of “urban childhood.”

**Keywords:** childhood, city, urban childhood, concept, concept, sociology of childhood

**Acknowledgments:** The author thanks the reviewer for their attentive attitude and kind advice aimed at exploring the issues of the article.

**For citation:** Beschasnaya, A.A. (2026) Urban childhood: from concept to term. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 151–164. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/13

## Введение

Урбанизация является одной из популярных тем исследований и дискуссий. Она затронула практически все общества, преобразовала прежние и способствовала возникновению новых явлений, событий, артефактов. Подобные изменения испытало и детство. Урбанизация противопоставила городскую жизнь сельской, а город – селу. Благодаря этому собирательный образ жизни детей в городских условиях нашел отражение в понятиях «городские дети» и «городское детство».

Однако данные обозначения носят относительный характер, так как урбанизация как динамичное явление не имеет строго фиксированных границ. Урбанизация оказывается тем процессом, в котором заложен бифуркационный потенциал, способный сельский населенный пункт технологически модернизировать или перевести в разряд городского поселения, а также, наоборот, при неприятии технологических изменений образует риски потери городом своего статуса. Поэтому с научной точки зрения представляет интерес выявление момента и места внедрения новшеств урбанизации, в которых происходит бифуркационный выбор вектора развития населенного пункта.

С точки зрения развития общества основными реципиентами и проводниками внедрения инноваций в будущем являются дети. Детство, испытывающее воздействия технологий, обусловленные урбанизацией, может происходить как в городских, так и сельских поселениях, но урбанизация вносит динамичный и бифуркационный характер событиям и перспективам в жизни детей, проживающих в населенных пунктах. Это придает некоторые особенности их жизни, усиливая динамизм событийности, ломая привычный порядок повседневности и внося изменения в устоявшуюся модель детства – городского или сельского. Проникновение урбанизации формирует специфичное явление – урбанистическое детство, которое в лексическом выражении эволюционирует от концепта к понятию. Таким образом, целью статьи является определение контуров формирующегося понятия «урбанистическое детство» и определение его познавательного потенциала в изучении детства как социального феномена.

## Концепт и понятие

В современном наукознании и формировании новых научных направлений концепту принадлежит одно из значимых мест (примерами могут служить концепты «мир-системный анализ», «общество 4.0», «немодальное родительство», «макдональдизация детства»). «Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами» [1]. Выявление концепта и определение его контуров позволяет наметить поиск сущностных характеристик соответствующего формируемого понятия. В понятии происходит упорядочивание знаний, построение системы логических цепочек, образующих «концептуальное единство». Другими словами, возникновение лингвистических концептов (как предвестников понятий) свидетельствует об отклике в языке процессов изменений и развития, происходящих в жизни, а в понятии происходит кристаллизация характеристик явления. Данное эволюционирование представлений от концепта к понятию коснулось урбанистического детства. Представления об урбанистическом детстве отражают динамику явления, т. е. «проживание» детства в динамично изменяющихся условиях.

Условием возникновения концепта является выделение из окружающего мира явления, прежде не замечаемого. Доказательством того, что урбанизация изменяет и образует новые представления и образ детства, стали многочисленные наблюдения, зафиксированные в текстах разных жанров. Например, лирические воспоминания о детских годах в прошлом в сравнении с настоящим *урбанистическим* («...все мы родом из детства. У города ведь тоже есть своя философия и лирика. „Урбанистическое“ детство может быть не менее милым...» [2], «...памятуют урбанистическое детство, свой дебютный обзор я бы хотела посвятить...» [3–5]). В исследованиях, посвященных проблемам воздействия урбанизации на жизнь детей, в российской литературе использовалось обозначение «городское детство», однако в 2011 г. российский историк и социолог И. Бестужев-Лада предложил выражение «урбанизация детства». Ученый обратил внимание на изменения в семейных и межпоколенческих отношениях, произошедших в России в XX в. Нуклеаризация семей, занятость родителей в общественном производстве, разобщенность детей и взрослых в делах и в отдыхе, инфантилизация молодого поколения, разрыв межпоколенных связей представлены автором как следствие урбанизации. Таким образом, И. Бестужев-Лада обозначил эти изменения как «урбанизацию детства» [6].

В российском научном дискурсе урбанистическое детство впервые было описано автором статьи в 2016 г. [7], рассматривающим урбанизацию как один из факторов, обуславливающих множественность образов детства [8. С. 68]. Это многообразие визуализирует себя в событиях, которые наполняют детскую жизнь и детство, маркируют хронологические границы и вехи детства в зависимости от условий жизни, формируя соответственным образом разные конструкты и паттерны детства.

С момента формулирования характеристик урбанистического детства данный термин вызвал интерес и различное контекстуальное применение в научных работах, посвященных детству [9. С. 10; 10; 11]. Очевидная связь

урбанизации и всего городского способствует нивелированию смыслов слов «урбанистический» и «городской». Однако данные обстоятельства вызывают необходимость уточнения сходств и различий понятия «урбанистическое детство» наряду с понятием «городское детство».

### От концепта к понятию

Исходным пунктом определения специфики концепта «урбанистическое детство» является этимологический анализ данного словосочетания. Практически во всех культурах и обществах «детство» (как основное слово в словосочетании) содержит в себе смысл возрастного периода, на протяжении которого происходит формирование личности, перенятие ею жизненного и социокультурного опыта социума с последующим его обогащением и трансляцией. Так, по мнению Л. Поллок, «различные культуры могут по-разному воспитывать детей, но у всех них одна и та же цель: воспитать своего ребенка для того, чтобы он стал независимым, ответственным взрослым человеком, полностью способным стать полноценным членом общества» [12. С. 146]. Разница в исполнении данной социальной миссии заключается в формах, условиях, продолжительности социализации [13, 14]. На протяжении истории происходит «конструирование» детства как культурной универсалии и преобразование статуса детей от крайней зависимости и уязвимости к приобретению субъектности, ценности, права, защиты и свободы [15–18].

Далеко не так однозначно обстоит дело со значением и употреблением слова «урбанистический». Лексемы «урбанизация» и «урбанистический» имеют этимологические основы *urbs* и *urbanus*, что означает «город» и «городской» соответственно, но которые не всегда используются для описания предметов или явлений, связанных с городом как локацией. Так, краткий обзор некоторых европейских языков по обозначению детства городским и некоторых других лексем выявил особенности (таблица). Обозначение города и его компонентов (например, пространство, условие, житель) происходит в двух вариантах. В одних случаях используются определения только на основе лексем национального языка. Например, в немецком языке город «Stadt» и городское пространство «städtischer Raum», городские условия «städtische Bedingungen» или в чешском языке город «město» и городские условия «městské podmínky», городской ребенок «městské dítě» и т.д. В других случаях наблюдается двойственность – для обозначения города используются лексемы национального языка, а для обозначения городской принадлежности (характеристик городской жизни) используются «*urbs*»/«*urbanus*». Например, в испанском языке город «ciudad», но городское пространство «espacio urbano» или во французском языке город «ville», «cité», но городские условия «conditions urbaines» и т.д.

Таким образом, краткий обзор этимологии и употребления «*urbs*»/«*urbanus*» в словосочетании «городское детство» позволяет предположить, что в некоторых национальных языках, социокультурных средах и общественном сознании существуют различия в понимании значения «город» как локации, имеющей определенные границы, и значения «городской» как характеристики, отражающей динамику изменений под влиянием урбанизации. Поэтому для точности формулировок и передачи смысла во втором значении используется определение «урбанистический».

## Примеры употребления лексем «город» и «городской» в некоторых европейских языках

Язык	Город	Примеры перевода слов с определением «городской»			
		Городское пространство	Городские условия	Городской ребенок	Городское детство
Английский	city, town	<b>urban space</b>	<b>urban conditions</b>	<b>urban child</b>	<b>urban childhood</b>
Испанский	ciudad	espacio <b>urbano</b>	condiciones <b>urbanas</b>	niño <b>urbano</b>	infancia <b>urbana</b>
Немецкий	stadt	städtischer raum	städtische bedingungen	städtisches kind	städtische kindheit
Португальский	cidade	espaço <b>urbano</b>	condições <b>urbanas</b>	criança <b>urbana</b>	infância <b>urbana</b>
Чешский	město	městský prostor	městské podmínky	městské dítě	městské dětství
Финский	kaupunki	kaupunkitila	kaupunkiolosuhteet	kaupunkilapsi	kaupunkilapsi
Французский	ville, cité	espace <b>urbain</b>	conditions <b>urbaines</b>	enfant <b>urbain</b>	enfance <b>urbaine</b>
Шведский	stad	stadsrum	<b>urbana</b> förhållanden	<b>urban</b> barn	<b>urban</b> barndom

В связи с тем, что словоосновы *urbs* и *urbanus* часто отождествляют со значением *городской*, также целесообразно охарактеризовать понятие *город*. Для социологов город – это система, которая имеет структурно-функциональные основания своего происхождения и существования [19. С. 59]. Е. Трубина обозначает город как «тип поселения, определяемый в соответствии с размером населения и административным статусом» [20. С. 506]. Т.А. Фролова определяет город в соответствии с большинством региональных нормативно-правовых актов. «Город – населенный пункт, являющийся промышленным, экономическим и культурным центром, имеющий развитую инфраструктуру, определенную численность жителей, большинство из которых заняты несельскохозяйственными видами производства и обслуживания, имеющий важное значение, перспективу дальнейшего развития и роста численности населения» [21]. Таким образом, предложенные понятия указывают на признаки, которые *зафиксированы в пространстве в течение некоторого времени и атрибутирующие город и городскую жизнь*. Эти признаки получили институциональное и нормативное оформление, а город – хронотопные координаты существования и статус.

Контуры урбанистического детства простираются в историческом взгляде на урбанизацию. В общественно-историческом процессе выделены этапы развития обществ: допромышленный (традиционный, аграрный), индустриальный и постиндустриальный (информационный), отличающиеся «формами человеческой жизни», соотношением сельского и городского населения и типами городских поселений [22]. Жизнь детей в разные исторические эпохи демонстрирует специфику повседневности, образования, труда, воспитания, удовлетворения потребностей в зависимости от господствующей производственной технологии. Так как распространение той или иной производственной технологии тесно взаимосвязано с урбанизацией, то внутри урбанистического мейнстрима можно выделить образы детства, соответствующие определенной эпохе: детство аграрного, индустриального и цифрового общества.

Кроме этого, неоднородность и динамика урбанизации отразились в ранжировании городов и их территорий по степени развития и вовлеченности в урбанистические трансформации. Например, модель концентрических зон города Э. Бёрджесса визуализирует неоднородность развития городских районов; стадийность развития городов, предложенная Д. Джиббсом, показы-

вает хронологические этапы урбанистических изменений [23]; ранжирование на «четыре России» Н.В. Зубаревич построено на различиях в демографических показателях, в образе и уровне жизни, на экономической активности населения городов и регионов России [24].

Данные концепции неравномерного продвижения урбанизации подтверждают, что детство различается не только между городом и селом, но даже внутри детского социума распределение достижений урбанизации неравномерно, что дифференцирует детей и образует их социальное неравенство. Поэтому специфику урбанистического детства, отличающегося от городского, необходимо искать в особенностях самой урбанизации, которая привносит изменения и обновления в ранее сформированный порядок жизни.

Специфика урбанистического детства, по нашему мнению, возникает под влиянием особенностей урбанизации, которые носят общий, вневременной характер:

1. *Технологическая модернизация производства, коммуникаций и повседневной жизни является материальной основой и свидетельством проникновения инноваций, атрибутирующих урбанистическую динамику.* Та или иная технологическая революция (изобретение плуга и других приспособлений аграрного производства, применяемые с помощью силы одомашненных животных; внедрение конвейерного производства в индустриальную эпоху, приводимого в действие посредством топливной энергии; цифровые и информационные технологии в постиндустриальном обществе и т.п.) преобразует производственные основы общества и непромышленные отношения, в том числе процессы социализации детей как в семье, так и во внесемейных социальных институтах общества (институтах здравоохранения, образования, культуры). Это в первую очередь касается коммуникативных, игровых и образовательных сторон жизни детей. Технологические инновации, внедряясь в жизнь детей, первоначально носят точечный и неинституционализированный характер и закладывают основы для последующего массового и тиражируемого использования. Так, например, было с игрушками и играми, которые до эпохи Просвещения были предметами развлечения и не применялись в качестве дидактической единицы социальными институтами образования. Именно с приданием подобного смысла игрушке и играм английский историк Дж. Пламб зафиксировал «новый мир детства» [25]. В XXI в. гаджеты, образовательные интернет-платформы и технологии, социальные сети стали характеристиками формирования «цифрового детства» [26], их дефицит или недоступность – «цифрового неравенства» детей [27]. А дистанционные формы обучения, построенные на цифровых и информационных технологиях, продемонстрировали пример урбанистического мейнстрима в отрыве от границ городской жизни. Вне зависимости от места проживания (город или село), в условиях противопандемийных мероприятий в 2020 г. детям пришлось в сжатые сроки осваивать новые технологии, которые стремительно проникли в повседневность и приобрели нормативное сопровождение образовательной деятельности [28, 29]. Таким образом, в рамках рассмотрения урбанистического детства внедрение технологических инноваций имеет прединституциональный характер, а само урбанистическое детство детерминировано не столько городскими условиями, сколько необходимостью детям проявлять активность по освоению разнообразных новшеств в повседневности.

2. *Ресурсы как фактор динамики урбанизации.* Земельные, водные ресурсы, ресурсы природных недр, технологические, финансово-экономические, образовательные и другие социокультурные ресурсы в разные эпохи привлекали к себе людей с целью удовлетворения их насущных потребностей. Ресурсоцентричность формирует агломерации в одном месте и малонаселенность – в другом. Согласно результатам всероссийских переписей населения 2002, 2010, 2021 гг., направленность миграционных потоков из сел в города сохранилась, а число сельских населенных пунктов и поселков городского типа сократилось. С 2010 по 2023 г. количество городов с численностью населения более 1 млн человек увеличилось с 12 до 16 соответственно. В других же городах, где наблюдается сокращение ресурсной базы и ресурсных потоков, происходит снижение темпов жизни и возврат к ресурсам, технологиям по их использованию и образу жизни, характерным для предыдущих эпох.

В жизни детей усиление урбанизации проявляется в увеличении доступа к разнообразным институциональным сервисам образовательного, медицинского, развлекательного и торгового характера. Это обеспечивает массовость услуг, возможность их выбора, развитие и самореализацию детей, достижение социального статуса в пределах детского сообщества, а также в усилении действия фактора времени, приобретающего значение ресурса. Например, как отмечают российские и зарубежные психологи, городская среда повышает шансы участия детей в усложняющихся социальных отношениях, расширение и разнообразие социокультурного мира ребенка приводит к повышению уровня его психического развития. Этому способствуют образование и наличие работы у родителей, материальный достаток семьи, которые обусловлены местом жительства [30]. Сокращение ресурсообеспеченности и затухание урбанизации, т.е. деурбанизация, сопровождаются оттоком населения. Вследствие этого сокращаются возможности детей по получению качественных услуг и зарождаются риски потери социокультурных достижений и «деконструкции» детства. Примером необходимости достаточной ресурсной базы для продвижения урбанизации и ее достижений является исследование по реализации Государственной программы всеобщей иммунизации в Индии. Данное исследование демонстрирует, что скудность экономических (отсутствие оборудованных и комфортных мест оказания медицинских услуг), информационных (отсутствие просветительской работы с родителями) и человеческих (дефицит медработников) ресурсов создает барьеры в иммунизации детей и затормаживает проникновение достижений урбанизации [31]. Таким образом, урбанизация проявляет себя, если подкреплена ресурсами, а урбанистическое детство, следовательно, появляется в новшествах в повседневности детей, соответствующих прогрессивному развитию общества и усовершенствованному удовлетворению детских потребностей и интересов.

3. *Урбанизация вносит структурные изменения в демографические процессы – рождаемость, смертность и миграцию населения.* Исторически урбанизация характеризуется снижением смертности и рождаемости населения в городах и увеличением его численности за счет миграционных потоков. По оценкам ООН, ожидается, что к 2050 г. доля жителей городских районов достигнет 66% [32]. В России наблюдается прирост городского населения. Как показывает статистика, количество детей (от рождения до 18 лет), прожива-

ющих в городских населенных пунктах выросло с 21 млн в 2016 г. до 24 млн в 2023 г., что составляло 19 и 22% от общей численности городского населения (108,6 и 108,9 млн человек) соответственно [33]. В связи с тем что урбанизация сопровождается технологической модернизацией и внедрением инноваций, расширением разнообразия сферы услуг для детей и в интересах детей, признаком динамичного характера урбанистического детства будет сокращение рождаемости. Однако история показывает, что снижение рождаемости компенсируется развитием технологий по охране жизни и здоровьесбережению матерей и детей. Например, запрет инфантицида (в Древнем мире), распространения санитарно-гигиенических и педагогических рекомендаций по отношению к детям (в конце Средних веков), возникновение педиатрии как специализированной отрасли медицинской науки и отрасли здравоохранения (в Новое время) и развитие технологий искусственного оплодотворения в настоящем.

Таким образом, квинтэссенция урбанизации – это перманентные изменения, а сущность урбанистического детства – это моменты и процессы трансформации, происходящие в жизни детей под воздействием урбанистических факторов независимо от места их проживания – города или села. Урбанизация может «сжиматься» и полностью «уйти с территории» ввиду отсутствия эффектов, востребованных людьми (производство, обеспечение ресурсных потоков, транспортная досягаемость и т.д.), следовательно, ориентированность на городской образ жизни может снижаться, а жизнь детей все больше будет отдаляться от городских стандартов и институциональных характеристик.

В отличие от понятия «урбанистическое детство» понятия «городское детство» и «сельское детство» фиксируют явления, которые принадлежат к определенной локации, получившей статус города или села со своими административными границами. Внутри этих границ уже существуют сформировавшийся порядок жизни, атрибутика, характерная для города или села, визуально обнаруживается деятельность социальных институтов и социокультурной инфраструктуры, обеспечивающая стабильное обслуживание потребностей и интересов детей. Именно такой устоявшийся порядок жизни детей подвергается воздействиям урбанизации, он генерирует изменения, которые несут в себе новизну и неизвестность, потенциал принятия или отвержения, проблематизацию интегрированности инноваций в ранее сформированный уклад. Внутри каждого населенного пункта существуют барьеры, которые обуславливают ограничения для проникновения урбанизации и дифференцируют уровень и качество жизни людей. Это вызывает неравномерность распространения урбанизации и дифференцированность жизни детей, вовлеченных в урбанистический мейнстрим. Поэтому города с разным уровнем выраженности урбанизации и технологической модернизации представляют разные условия и возможности для развития детей, обуславливая социальное неравенство [7]. Таким образом, исследовательский потенциал понятия «урбанистическое детство» выражен в предвидении и выявлении социальных проблем детства – детства, находящегося в состоянии перемен.

### **Перспективы формирования понятия**

Признание правомерности подобного авторского подхода к осмыслению детства в условиях урбанизации обнаруживается в ряде российских и зару-

бежных исследований последних лет. Так, Н.Л. Антонова и С.Б. Абрамова отмечают появление и распространение DIY-практик детей и подростков, благодаря чему происходит их активное интегрирование в городской образ и ритм жизни, а также самореализация и самоутверждение [11. С. 153]. Н.М. Филиппова и М.В. Кураколов на примере анализа привлечения детей к инициативному бюджетированию подтверждают, что субъектность детей зависит от структурно-функциональных отношений в городах, вовлеченных в разной степени в урбанистические трансформации [34]. На примере исследований агломерации г. Москвы С.И. Прохоров подтверждает зависимость повседневности детей от их вовлеченности в технологическую модернизацию и мозаичность паттерна урбанистического детства в мегаполисах [35].

Особый характер детства именно в условиях урбанистической динамики, а не только городской и устоявшейся, выделяют зарубежные исследователи. Так С. Фегтер отмечает, что урбанистическое детство («urban childhood») как практика жизни детей в городах проявляется в «одомашнивании» детей («a 'domestication' of urban childhood») и в утрате «уличного детства» («street childhoods») в связи с опасностями, подстерегающими детей в городском пространстве. Успешная интеграция в городское пространство и городскую жизнь с возможностью справляться с неожиданными ситуациями, людьми и событиями возможно при условии формирования субъектности и собственной идентичности [36. P. 292, 299]. Интенсивность урбанистических изменений формирует, согласно исследованиям Ph. Mizen и Y. Ofosu-Kusi, в городе «новое» урбанистическое детство («'New' Urban Childhood»). Оно востребует от детей «талант выживания» («a Talent for Living»). Согласно мнению ученых, форсирование урбанизации приводит к социально-экономическому расслоению, снижению безопасности, увеличению ограничений в социальной и городской среде. Это особенно остро ощущается среди детей, у которых вырабатываются выносливость («hardiness»), тактика жизнестойкости («tactics of resilience»), находчивость, практики самозащиты, а также построение дружеских отношений, сотрудничество и взаимная поддержка [37. P. 22]. Как и предыдущие авторы, исследователи приходят к выводу, что ведущая роль в инкорпорировании детей в динамично изменяющиеся условия жизни, подверженные урбанизации, является помощь взрослых, родителей и поддержка социума.

Урбанистическое детство характеризуется возрастанием субъектной роли детей в городском пространстве. По мнению ряда авторов, целесообразно проектировать и планировать развитие городов и городских пространств с привлечением детей, т.е. тех, кто в перспективе будет тем самым «будущим поколением», задающим вектор городского развития. По их мнению, активность и инициативность детей, выбор и свободное перемещение в городе и по городским территориям – это то, что присуще урбанистическому детству в XXI в. [38, 39].

## Заключение

Таким образом, «урбанистическое детство» в качестве концепта намечает вектор движения исследовательской мысли и деятельности, а также перспективные контуры понятия. С точки зрения теоретического дискурса концепт «урбанистическое детство» формирует смысловой контур исследований

жизни детей в условиях проникновения урбанизации в повседневность, что создает бифуркационное деление между изменяющимся и сформировавшимся, между «здесь и сейчас» и «везде и всегда», между ушедшим в прошлое и нарождающимся будущим.

Данные концептуальные аспекты позволяют смоделировать понятие «урбанистическое детство». Урбанистическое детство – это динамично изменяемый паттерн детства, образующийся из социальных практик детей, трансформация и модернизация которых происходит под влиянием урбанизации. В образе урбанистического детства сконцентрированы представления о пробах использования и попытках интеграции детей в урбанистические новации, в ритм и пространство урбанистических изменений, в употребление ресурсов, предоставляемых урбанизацией. Таким образом, исследовательский фокус урбанистического детства направлен на выявление и фиксацию точек трансформации (бифуркации или полифуркации) в жизни детей под влиянием урбанизации, образующих в итоге детство, разнообразное в пространственно-временных координатах. Следовательно, понятие «урбанистическое детство» рассматривает всю совокупность признаков, указывающих на изменения в жизни детей (игровой, учебной, бытовой деятельности, коммуникациях и т.д.), возникающих под воздействием внедрения технологических новшеств, сопровождающих урбанизацию. Эти социальные факты дифференцируют «здесь и сейчас», отличное от прошлого, и детерминированы местом проживания, статусной принадлежностью ребенка, ролевыми ожиданиями по отношению к нему, социально-экономическими и технологическими условиями, образовательным и культурным уровнем в первичном круге социализации и в обществе, этнокультурными и религиозными факторами, т.е. всем тем, что стратифицирует возможности детей в их самореализации и персонификации, а также отдаляет от общинных форм жизни под влиянием урбанизации. Сдвиги, происходящие в жизни детей под воздействием урбанистических факторов, нередко требуют инициативной активности самих детей, так как это ускоряет их адаптацию к изменяющимся обстоятельствам жизни. Урбанизация вносит в повседневность изменения, которые выступают в качестве испытаний и вызовов, на которые ребенок должен дать соответствующий ответ в форме новых социальных практик, формирующих основу новых моделей поведения, деятельности, институций.

По общему правилу, становление, уточнение и конкретизация понятия происходит по мере его применения для описания событий социальной реальности. Поэтому конструирование и закрепление понятия «урбанистическое детство» зависит от степени внимания исследователей к интенсивности урбанистических процессов и к изменениям в жизни детей, происходящим «в моменте».

#### Список источников

1. Пименова М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследования // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. Т. 2, № 2 (54). С. 127–131.
2. Литсовет. URL: [http://www.litsovet.ru/index.php/material.comments?material\\_id=24716](http://www.litsovet.ru/index.php/material.comments?material_id=24716) (дата обращения: 6.04.2024).
3. NewsNN.ru. URL: <https://newsnn.ru/news/2015-07-09/esli-u-vas-netu-dachi-2372317> (дата обращения: 6.04.2024).

4. *Газета.Ru*. URL: [https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2013/04/a\\_5251117.shtml](https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2013/04/a_5251117.shtml) (дата обращения: 6.04.2024).
5. *Photoclub.by*. URL: [https://photoclub.by/work.php?id\\_photo=289022](https://photoclub.by/work.php?id_photo=289022) (дата обращения: 6.04.2024).
6. *Проза.ру*. URL: <https://proza.ru/2011/05/31/705> (дата обращения: 6.04.2024).
7. *Бесчасная А.А.* Урбанистическое детство: социологический анализ. СПб. : Астерион, 2016.
8. *Кон И.С.* Ребенок и общество. М. : Академия, 2003.
9. *Нюхаева А.А., Фадеева И.М.* Социальное пространство школы в оценках родителей // *Огарёв-Online*. 2018. № 11 (116). URL: <https://journal.mrsu.ru/arts/socialnoe-prostranstvo-shkoly-v-ocenках-roditelej> (дата обращения: 6.04.2024).
10. *Федотова О.В.* Конструирование социально-культурного ландшафта города: дискурс детство // Социальный урбанизм: время и пространство городской жизни : сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. Саратов, 2021. С. 330–337.
11. *География* детства: междисциплинарный синтез исследовательских подходов и практик / под ред. А.Г. Филиповой. СПб. : Астерион, 2020.
12. *Хейвуд К.* Филипп Арьес и современные историки детства // «Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства : в 4 ч. Ч. 1. М. : РГГУ, 2012.
13. *Калверт К.* Дети в доме: материальная культура раннего детства, 1600–1900. М. : НЛО, 2009.
14. *Синова И.В.* Правовое положение, труд и повседневная жизнь детей во второй половине XIX – начале XX века. М. : ИНФРА-М, 2019.
15. *Archard D.* Children: Rights and childhood. London : Routledge. 2014.
16. *Global Childhoods in International Perspective: Universality, Diversity and Inequalities* / ed. by C. Baraldi, R.L. De Castrol. 2020. URL: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/global-childhoods-in-international-perspective-universality-diversity-and-inequalities/book271771> (дата обращения: 6.04.2024).
17. *Buhler-Niederberger D., Xiaorong Gu, Schwittek J., Kim E.* The Emerald Handbook of Childhood and Youth in Asian Societies: Generations Between Local and Global Dynamics. Emerald Publishing, 2023.
18. *The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies* : Four volume set / ed. by D.Th. Cook. Rutgers University, 2020.
19. *Касаткина С.С.* Российский город как социальный феномен // *Известия Саратовского университета. Серия: История. Международные отношения*. 2012. № 12 (4). С. 58–61.
20. *Трубина Е.* Город в теории. М. : НЛО, 2013.
21. *Фролова Т.А.* Понятие «город» в законодательстве субъектов Российской Федерации об административно-территориальном делении // *Пролог: журнал о праве*. 2016. № 3. С. 51–55.
22. *Галич З.Н.* Урбанизация и мегаполизация как глобальный процесс // *Экономические и социальные проблемы России*. 2020. № 1. С. 7–21.
23. *Gibbs J.* The evolution of population concentration // *Economic Geography*. 1963. № 2. P. 119–129.
24. *Зубаревич Н.В.* Социальная дифференциация регионов и городов России // *Гуманитарный портал*. URL: <https://gtmarket.ru/library/articles/5278?ysclid=m4tper5kx8254681976> (дата обращения: 6.04.2024).
25. *Дизайн* детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней / под ред. М. Брендоу-Фаллер. М. : НЛО, 2021.
26. *Timmons K., Cooper A., Bozek E., Braund H.* The Impacts of COVID-19 on Early Childhood Education: Capturing the Unique Challenges Associated with Remote Teaching and Learning in K-2 // *Early Childhood Education Journal*. 2021. № 49. P. 887–901.
27. *Malenya F.L., Ohba A.* Equity issues in the provision of online learning during the Covid-19 pandemic in Kenya // *Journal of International Cooperation in Education*. 2023. № 25 (1). P. 96–107.
28. *Сафонова О.В.* Обучение литературе в средней школе с применением дистанционных образовательных технологий // *Мировая литература глазами современной молодежи. Цифровая эпоха* : сб. материалов X междунар. молодежн. науч.-практ. конф. Магнитогорск, 2024. С. 645–649.
29. *Томеева Г.Л., Решетникова Т.Д., Удодова Ю.В., Кардаполова Н.А., Монхаева Б.Б., Олдуурова И.А.* Педагогический дизайн как эффективная технология организации обучения учащихся начальной школы в дистанционном формате в условиях пандемии // *Обзор педагогических исследований*. 2022. Т. 4, № 2. С. 11–15.

30. Петрофф Н. Urban Baby, или перспективы культурно-исторического изучения раннего возраста в контексте американского городского социума // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 127–137.
31. Sanjeev Singh, Damodar Sahu, Ashish Agrawal, Meeta Dhaval Vashi. Perceptions of childhood vaccination practices among beneficiaries and healthcare service providers in slums under the national immunization program of India: a qualitative study // Journal of Health Research. 2022. № 36 (4). P. 629–640.
32. World Urbanization Prospects: 2014 Revision. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2015. URL: <https://population.un.org/wup/publications/files/wup2014-report.pdf> (дата обращения: 21.05.2024).
33. Официальный сайт Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo11.xls> (дата обращения: 21.05.2024)
34. Филитова Н.М., Кураколов М.В. Основные подходы к разработке моделей школьного инициативного бюджетирования в условиях системы образования России // Проблемы современного образования. 2020. № 4. С. 107–116.
35. Прохоров С.И. О необходимости расширения нижней возрастной границы в ряде социологических исследований в пространстве городских агломераций // Социологический парадигм 2020. Общество в эпоху турбулентности. М. : РГГУ, 2020. С. 402–409.
36. Fegter S. Urban Childhoods and Subjectification: Perspectives and Practices of Children on their Way to School // Children & Society. 2017. № 31. P. 290–301.
37. Mizen Ph., Ofosu-Kusi Y. A Talent for Living: Exploring Ghana's 'New' Urban Childhood // Children & Society. 2012. № 27. P. 13–23.
38. Cities Alive. Designing for Urban Childhoods / ed. by H. Wright, J. Hargrave, S. Williams, F. Dohna. London : Arup, 2017.
39. Tesar M. Tracing Notions of Sustainability in Urban Childhoods // Reimagining Sustainability in Precarious Times / ed. by K. Malone, S. Truong, T. Gray. Springer Singapore. 2017. P. 115–127.

### References

1. Pimenova, M.V. (2013) Tipy kontseptov i etapy kontseptual'nogo issledovaniya [Types of Concepts and Stages of Conceptual Research]. *Vestnik KemGU*. 2(2(54)). pp. 127–131.
2. Litsovet (n.d.) [Online] Available from: [http://www.litsovet.ru/index.php/material-comments?material\\_id=24716](http://www.litsovet.ru/index.php/material-comments?material_id=24716) (Accessed: 6th April 2024).
3. Shilo, M. (2015) *Esli u vas netu dachi* [If you do not have a dacha]. [Online] Available from: <https://newsnn.ru/news/2015-07-09/esli-u-vas-netu-dachi-2372317> (Accessed: 6th April 2024).
4. Mityusheva, N. (2013) *Drugoe detstvo* [Another childhood]. [Online] Available from: [https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2013/04/a\\_5251117.shtml](https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2013/04/a_5251117.shtml) (Accessed: 6th April 2024).
5. Anon. (n.d.) *Moe urbanisticheskoe detstvo* [My urban childhood]. [Online] Available from: [https://photoclub.by/work.php?id\\_photo=289022](https://photoclub.by/work.php?id_photo=289022) (Accessed: 6th April 2024).
6. Bestuzhev-Lada, I. (2011) *Urbanizatsiya detstva* [Urbanization of childhood]. [Online] Available from: <https://proza.ru/2011/05/31/705> (Accessed: 6th April 2024).
7. Beschasnaya, A.A. (2016) *Urbanisticheskoe detstvo: sotsiologicheskii analiz* [Urban Childhood: A Sociological Analysis]. St. Petersburg: Asterion.
8. Kon, I.S. (2003) *Rebenok i obshchestvo* [The Child and Society]. Moscow: Akademiya.
9. Nyukhaeva, A.A. & Fadeeva, I.M. (2018) Sotsial'noe prostranstvo shkoly v otsenkakh roditeley [The Social Space of School in Parents' Assessments]. *Ogarev-Online*. 11(116). [Online] Available from: <https://journal.mrsu.ru/arts/socialnoe-prostranstvo-shkoly-v-ocenках-roditelej> (Accessed: 6th April 2024).
10. Fedotova, O.V. (2021) Konstruirovaniye sotsial'no-kul'turnogo landshafta goroda: diskurs detstvo [Constructing the Socio-Cultural Landscape of the City: The Discourse of Childhood]. In: *Sotsial'nyy urbanizm: vremya i prostranstvo gorodskoy zhizni* [Social Urbanism: Time and Space of Urban Life]. Saratov: [s.n.], pp. 330–337.
11. Filipova, A.G. (ed.) (2020) *Geografiya detstva: mezhdistsiplinarnyy sintez issledovatel'skikh podkhodov i praktik* [Geography of Childhood: An Interdisciplinary Synthesis of Research Approaches and Practices]. St. Petersburg: Asterion.
12. Heywood, C. (2012) Filipp Ariès i sovremennyye istoriki detstva [Philippe Ariès and Contemporary Historians of Childhood]. In: *"Vsya istoriya napolnena detstvom": nasledie F. Ariès a novyye podkhody k istorii detstva* ["All History is Filled with Childhood": The Legacy of F. Ariès and

New Approaches to the History of Childhood]. Vol. 1. Moscow: Russian State University for the Humanities.

13. Calvert, K. (2009) *Deti v dome: material'naya kul'tura rannego detstva, 1600–1900* [Children in the House: The Material Culture of Early Childhood, 1600–1900]. Moscow: NLO.

14. Sinova, I.V. (2019) *Pravovoe polozhenie, trud i povsednevnyaya zhizn' detey vo vtoroy polovine XIX – nachale XX veka* [The Legal Status, Work and Daily Life of Children in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries]. Moscow: INFRA-M.

15. Archard, D. (2014) *Children: Rights and childhood*. London: Routledge.

16. Baraldi, C. & De Castrol, R.L. (eds) (2020) *Global Childhoods in International Perspective: Universality, Diversity and Inequalities*. [Online] Available from: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/global-childhoods-in-international-perspective-universality-diversity-and-inequalities/book271771> (Accessed: 6th April 2024).

17. Buhler-Niederberger, D., Xiaorong Gu, Schwittek, J. & Kim, E. (2023) *The Emerald Handbook of Childhood and Youth in Asian Societies: Generations Between Local and Global Dynamics*. [s.l.]: Emerald Publishing.

18. Cook, D. Th. (ed.) (2020) *The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies*. Four volume set. [s.l.]: Rutgers University.

19. Kasatkina, S.S. (2012) Rossiyskiy gorod kak sotsial'nyy fenomen [The Russian City as a Social Phenomenon]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya: Istoriya, Mezhdunarodnye otnosheniya*. 12(4). pp. 58–61.

20. Trubina, E. (2013) *Gorod v teorii* [The City in Theory]. Moscow: NLO.

21. Frolova, T.A. (2016) Ponyatie "gorod" v zakonodatel'stve sub'ektov Rossiyskoy Federatsii ob administrativno-territorial'nom delenii [The Concept of "City" in the Legislation of the Subjects of the Russian Federation on Administrative-Territorial Division]. *Prolog: zhurnal o prave*. 3. pp. 51–55.

22. Galich, Z.N. (2020) Urbanizatsiya i megapolizatsiya kak global'nyy protsess [Urbanization and Megapolization as a Global Process]. *Ekonomicheskie i sotsial'nye problemy Rossii*. 1. pp. 7–21.

23. Gibbs, J. (1963) The evolution of population concentration. *Economic Geography*. 2. pp. 119–129.

24. Zubarevich, N.V. (n.d.) *Sotsial'naya differentsiatsiya regionov i gorodov Rossii* [Social Differentiation of Regions and Cities of Russia]. [Online] Available from: <https://gtmarket.ru/library/articles/5278?ysclid=m4tper5kx8254681976> (Accessed: 6th April 2024).

25. Brendou-Faller, M. (ed.) (2021) *Dizayn detstva: Igrushki i material'naya kul'tura detstva s 1700 goda do nashikh dney* [Designing Childhood: Toys and the Material Culture of Childhood, 1700 to the Present]. Moscow: NLO.

26. Timmons, K., Cooper, A., Bozek, E. & Braund, H. (2021) The Impacts of COVID-19 on Early Childhood Education: Capturing the Unique Challenges Associated with Remote Teaching and Learning in K-2. *Early Childhood Education Journal*. 49. pp. 887–901.

27. Malenya, F.L. & Ohba, A. (2023) Equity issues in the provision of online learning during the Covid-19 pandemic in Kenya. *Journal of International Cooperation in Education*. 25(1). pp. 96–107.

28. Safonova, O.V. (2024) Obuchenie literature v sredney shkole s primeneniem distantsionnykh obrazovatel'nykh tekhnologiy [Teaching Literature in Secondary School Using Distance Learning Technologies]. In: *Mirovaya literatura glazami sovremennoy molodezhi. Tsifrovaya epokha* [World Literature Through the Eyes of Modern Youth. The Digital Age]. Magnitogorsk: [s.n.]. pp. 645–649.

29. Tyumeeva, G.L., Reshetnikova, T.D., Udodova, Yu.V., Kardapolova, N.A., Monkhaeva, B.B. & Oldurova, I.A. (2022) Pedagogicheskiy dizayn kak effektivnaya tekhnologiya organizatsii obucheniya uchashchikhsya nachal'noy shkoly v distantsionnom формате v usloviyakh pandemii [Pedagogical Design as an Effective Technology for Organizing the Education of Primary School Students in a Remote Format During a Pandemic]. *Obzor pedagogicheskikh issledovaniy*. 4(2). pp. 11–15.

30. Petroff, N. (2010) Urban Baby, ili perspektivy kul'turno-istoricheskogo izucheniya rannego vozrasta v kontekste amerikanskogo gorodskogo sotsiuma [Urban Baby, or Prospects for the Cultural-Historical Study of Early Childhood in the Context of American Urban Society]. *Antropologicheskii forum*. 12. pp. 127–137.

31. Sanjeev Singh, Damodar Sahu, Ashish Agrawal & Meeta Dhaval Vashi (2022) Perceptions of childhood vaccination practices among beneficiaries and healthcare service providers in slums under the national immunization program of India: a qualitative study. *Journal of Health Research*. 36(4). pp. 629–640.

32. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2015) *World Urbanization Prospects: 2014 Revision*. [Online] Available from: <https://population.un.org/wup/publications/files/wup2014-report.pdf> (Accessed: 21st May 2024).

33. ROSSTAT. (n.d.) *Ofitsial'nyy sayt ROSSTAT* [Official site of ROSSTAT]. [Online] Available from: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo11.xls> (Accessed: 21st May 2024).

34. Filippova, N.M. & Kurakolov, M.V. (2020) *Osnovnye podkhody k razrabotke modeley shkol'nogo initsiativnogo byudzhetrovaniya v usloviyakh sistemy obrazovaniya Rossii* [Main Approaches to Developing Models of School Participatory Budgeting in the Conditions of the Russian Education System]. *Problemy sovremennoy obrazovaniya*. 4. pp. 107–116.

35. Prokhorov, S.I. (2020) *O neobkhodimosti rasshireniya nizhney vozrastnoy granitsy v ryade sotsiologicheskikh issledovaniy v prostranstve gorodskikh aglomeratsiy* [On the Need to Expand the Lower Age Limit in a Number of Sociological Studies in the Space of Urban Agglomerations]. In: *Sotsiologicheskiy narrativ 2020. Obshchestvo v epokhu turbulentnosti* [Sociological Narrative 2020. Society in an Era of Turbulence]. Moscow: Russian State University for the Humanities. pp. 402–409.

36. Fegter, S. (2017) *Urban Childhoods and Subjectification: Perspectives and Practices of Children on their Way to School*. *Children & Society*. 31. pp. 290–301.

37. Mizen, Ph. & Ofosu-Kusi, Y. (2012) *A Talent for Living: Exploring Ghana's 'New' Urban Childhood*. *Children & Society*. 27. pp. 13–23.

38. Wright, H., Hargrave, J., Williams, S. & Dohna, F. (eds) (2017) *Cities Alive. Designing for Urban Childhoods*. London: Arup.

39. Tesar, M. (2017) *Tracing Notions of Sustainability in Urban Childhoods*. In: Malone, K., Truong, S. & Gray, T. (eds.) *Reimagining Sustainability in Precarious Times*. Springer Singapore. pp. 115–127.

***Сведения об авторе:***

**Бесчасная А.А.** – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: aabes@inbox.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Beschasnaya A.A.** – Dr. Sci. (Sociology), professor at the Faculty of State and Municipal Management, North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: aabes@inbox.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 23.12.2024;  
одобрена после рецензирования 24.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 23.12.2024;  
approved after reviewing 24.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 316.35

doi: 10.17223/1998863X/89/14

## ОТ КОМПЕТЕНЦИЙ – К ЦЕННОСТЯМ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В КОНТЕКСТЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

**Инна Александровна Газиева**

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ, Москва, Россия, gazieva-ia@ranepa.ru*

**Аннотация.** Предлагается новый подход к пониманию профессионального потенциала студенческой молодёжи, смещающий акцент с традиционных компетенций и способностей на систему ценностей. Аргументируется, что несоответствие между образовательной подготовкой и реальным трудоустройством выпускников вуза обусловлено не столько дефицитом навыков, сколько разрывом между признанием молодёжью ценностей и фактическим следованием этим ценностям, включая готовность к трудовой деятельности в рамках конкретной профессии.

**Ключевые слова:** социология ценностей, социология молодёжи, социология образования, ценности, человеческий потенциал

**Для цитирования:** Газиева И.А. От компетенций – к ценностям: переосмысление профессионального потенциала в контексте молодёжной политики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 165–175. doi: 10.17223/1998863X/89/14

Original article

## FROM COMPETENCIES TO VALUES: RETHINKING PROFESSIONAL POTENTIAL IN THE CONTEXT OF YOUTH POLICY

**Inna A. Gazieva**

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  
Moscow, Russian Federation, Gazieva-ia@ranepa.ru*

**Abstract.** Despite the considerable number of strategic initiatives implemented by the state to build the professional potential of students – including through the development of professional competencies – a significant proportion of graduates are not employed in their specialty. This disrupts the continuity of the professional structure’s reproduction and necessitates the development of new approaches to the formation and realization of students’ professional potential. This situation has determined the aim of this article: to develop a new scientific approach to the formation and realization of the professional potential of student youth. This approach is seen in the cumulative analysis of meaningful content and professional values, described based on an analysis of the values declared by the state (traditional Russian spiritual and moral values) (Decree of the President of the Russian Federation No. 809 dated 11/09/2022 “On Approval of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral values”) and the values of student youth proposed by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Methodological recommendations for the development of a work program for education and a calendar plan for educational work of an educational

organization of higher education (approved by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation on 12/29/2023)). These values form the desired value image of Russian students and therefore constitute the content of the author's empirical model for the value-based diagnostics of students' professional potential. The model is based on assessments of judgments that characterize the attitude toward each value from the perspective of: an ideal attitude toward social reality in accordance with the value (meaning: "this value is significant for the whole society"); the significance of each indicator included in the description of a particular value for the individual (meaning: "this value is significant for me"); readiness to take actions based on the value (meaning: "I am ready to act in accordance with the value"); the reflection of the following values in specific actions and deeds (meaning: "I act in accordance with the value"). This approach makes it possible to comprehensively describe the value-based image of the professional potential of student youth. It can serve as the foundation for the youth policy implementation program of both a particular university and the entire university system of the country. Thus, the article suggests moving from a competence-based approach to youth policy implementation to a value-based one. In this new approach, the key indicator of professional potential formation is the willingness to work (not just the quality of skills), which makes it possible to predict the real involvement of young people in the profession, identify the "value gap" between the state and youth, and develop more effective career guidance and youth policy implementation programs.

**Keywords:** sociology of values, sociology of youth, sociology of education, values, human potential

**For citation:** Gazieva, I.A. (2026) From competencies to values: rethinking professional potential in the context of youth policy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 165–175. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/14

## Введение

Формирование профессионального потенциала студенческой молодежи является одним из важнейших направлений реализации молодежной политики в системе высшего образования. В условиях быстро меняющейся социально-экономической ситуации в стране и в мире, а также растущей конкуренции на рынке труда решения, связанные с развитием социально-профессиональных навыков и компетенций молодежи, выходят на первый план. Так, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.08.2024 № 2233-р, утверждающему Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 г.<sup>1</sup>, среди целого ряда ее приоритетных направлений (ст. 116) указано формирование «социального потенциала молодежи», подразумевающее, согласно законодателю, обеспечение «социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности» и т.д. (п. 3), а также «профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству и предпринимательской деятельности» (п. 4).

Однако, несмотря на большое внимание государства и различных социальных институтов к повестке формирования и реализации профессионального потенциала молодежи вообще и студенческой молодежи, в частности, уровень ее трудоустройства по специальности, получаемой в ходе обучения, не является достаточно высоким. Так, согласно результатам выборочного федерального статистического наблюдения трудоустройства выпускников,

---

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024 № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «Консультант +». URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/86206.html>

получивших среднее профессиональное и высшее образование (ВТР-2021), каждый четвертый выпускник, получивший высшее образование, не работает по специальности [1]. Кроме того, согласно результатам социологического исследования, проведенного в 2021 г. Институтом социологии ФНИСЦ РАН (руководитель исследования – М.К. Горшков), где респондентами выступили 4000 молодых специалистов, имеющих стаж работы 1–5 лет после выпуска из университета, содержание выполняемой ими работы не совпадает со специализацией, которую они получили в университете (38% респондентов); не выбрали бы вновь специальность, по которой окончили вуз, 24% респондентов. Такое положение дел негативно отражается на преемственности воспроизводства социально-профессиональной структуры специалистов с высшим образованием, поскольку, по мнению исследователей, одним из двух условий ее гарантии является максимальное число трудоустройства выпускников по освоённой в университете специальности [2].

Заметим, что ключевые принципы и подходы к поиску наилучшего соответствия личности и конкретной профессии были определены еще более ста лет назад Ф. Парсонсом, а впоследствии подтверждены и расширены в исследованиях отечественных социологов (В.Н. Шубкин, В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова Э.К. Васильева, Ф.Р. Филиппов, Г.А. Чередниченко и др.). Согласно этим принципам и подходам, для эффективного трудоустройства, дальнейшего профессионального развития и самореализации необходимо предварительно соотнести информацию о профессиональных способностях кандидата (сейчас в дополнение к этому принято говорить о сформированных компетенциях) с информацией об особенностях профессии, соответствующей индивидуальному набору способностей и компетенций. Однако, несмотря на логичность данного подхода и стремление субъектов профориентационной и образовательной деятельности к его использованию, на сегодняшний день по ряду причин он не является эффективно работающим, что делает затруднительным и эффективное формирование профессионального потенциала молодежи в системе высшего образования. Такое положение дел определило цель данной статьи, заключающуюся в разработке нового научного подхода к формированию и реализации профессионального потенциала студенческой молодежи.

### **От человеческого – к личностному: трансформация понятия потенциала**

В своем изначальном понимании потенциал (от лат. *potencia* – сила) относится к сфере «возможного», которое как философская категория выражает способность материи в процессе движения принимать различные формы; отсюда можно допустить, что любое социальное явление при известных условиях может изменить форму своего существования или превратиться в другое явление. В социологической традиции «возможное», равно как и производный от него термин «возможность», не являясь ключевым понятием, нередко используется классиками социологии в качестве смыслоопределяющего в ходе их понятийной концептуализации.

Направление социальных изменений как в обществе в целом, так и в молодежной среде в частности, следуя определенным социологическим законам, не всегда зависит от условий или обстоятельств, подчиняющихся воле и

сознанию людей. Поэтому *возможность* как социологическая категория *есть тенденция осуществления социального действия*, т.е. то, что содержится в социальной действительности как предпосылка ее изменения и развития, как нереализованная деятельность, дальнейшая реализация которой зависит от наличия существующих для этого условий; здесь *возможность есть основа потенциала*.

В силу комплексности и широты понятия профессионального потенциала, включающего целый ряд переменных, определяющих положение человека на рынке труда, если речь идет об индивидуальном профессиональном потенциале, либо определяющих возможности отдельных социально-демографических, профессиональных групп, составляющих ресурс социально-экономического развития общества, оно, безусловно, нуждается в серьезном уточнении.

Наиболее часто используемыми характеристиками применительно к понятию потенциала и являющимися своеобразными регуляторами объема данного понятия является отнесение его к общности людей («человеческий потенциал») и отнесение к индивидууму или личности («личностный потенциал»), каждое из которых требует дополнительного пояснения.

Понятие человеческого потенциала, будучи в фокусе внимания как социологов, так и экономистов, объединяет в себе «совокупность способностей, знаний, навыков и личностных характеристик человека вне зависимости от того, в какой мере они находят или могут найти конкретное применение в производительной деятельности» [3, 4]. По мнению авторов монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы», рассматривающих «человеческий потенциал» как понятие, наряду с «социальным капиталом» [5] и «культурным капиталом» [6], дополняющее более основательное и устоявшееся в науке понятие «человеческий капитал» [7–10], в «человеческом потенциале» должны «интегрально учитываться все существенные характеристики человека как работника» [11. С. 22]. Таким образом, человеческий потенциал представляет собой понятие, охватывающее все возможности и способности человека, как врожденные, так и приобретенные; он присущ всем людям, независимо от их индивидуальных особенностей.

Поскольку человеческий потенциал, в отличие от личностного, относится к различным человеческим общностям, он часто фигурирует в одном контексте не только с понятием «человеческий капитал», но и с такими социально-экономическими категориями, как «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы» [12]. Более узким, частным понятием по сравнению с «человеческим капиталом» является «личностный потенциал», представляющий собой «сложную систему характеристик, связанных с движущими силами духовного развития, с мотивацией и самооценкой» [9. С. 57], обеспечивая социально-психологическую устойчивость личности.

Заметим, что в зарубежных работах чаще всего рассматривается именно понятие «личностный потенциал» в контексте разработки прикладных инструментов управления талантами (Talent Management) в организации [13–15] как практики выявления, поощрения, развития, удержания и управления преемственностью сотрудников. Этот процесс привлекает внимание компаний по всему миру, поскольку становится все более сложной задачей в оценке

потенциала, поиске и удержании специалистов с высоким потенциалом роста и преемственности. В данном контексте оценка потенциала есть способ измерения способностей каждого сотрудника достичь профессиональных целей с помощью изучения личных качеств, осознания своих природных талантов, а также постоянного обучения и саморазвития.

Например, по мнению С. Тэнсли, потенциал связан со способностью человека продвигаться к более высоким и руководящим должностям, которые она определяет следующим образом: «человек, обладающий способностью, вовлеченностью и стремлением подняться до более высоких и критически важных должностей и добиться успеха» [15. Р. 272]. На наш взгляд, здесь предполагается уже более узкая категория, чем личностный потенциал, – управленческий потенциал, в основе которого лежат лидерские качества, которые у индивида могут быть, а могут и не быть. Оценка личностного потенциала является «результатом определенного момента или ситуации», это не значит, что профессионалы всегда будут классифицироваться как одни и те же [16]. Результатом является перспектива на будущее с учетом текущей ситуации [17], после чего важно продолжить оценку для разработки плана преемственности, удержания, развития и привлечения новых сотрудников в организацию.

Таким образом, в контексте работ, посвященных управлению талантами, потенциал определяется как «будущее измерение таланта», где «потенциал таланта включает в себя приверженность и отношение сотрудника к выбору, росту и продвижению в компании и оказывает мультипликативное влияние на будущие показатели» [13. Р. 908], а измеряется «будущей способностью человека адаптироваться к стратегическим потребностям компании, учиться и прогрессировать, что материализуется в более высоких показателях в будущем» [17. Р. 25].

Человек, имеющий личностный потенциал умений и способностей в определенной сфере жизнедеятельности общества, является частью человеческого потенциала в этой сфере. Вместе с тем человек одновременно может иметь склонности к самореализации в нескольких сферах, и в зависимости от сложившихся объективных и субъективных условий его потенциал может быть раскрыт либо не раскрыт. Удачное раскрытие и последующая реализация потенциала могут способствовать качественному улучшению развития данной профессиональной сферы.

### **Ценностный подход как основание профессионального потенциала**

Понятие «профессиональный потенциал» имеет в своей структуре и термин «профессия», который чаще всего употребляется в значении рода трудовой деятельности, «занятий, определяемых производственно-технологическим разделением труда и его функциональным содержанием», либо как «большая группа людей, объединенная общим родом занятий, трудовой деятельностью» [18]. Отсюда очевидно, что «профессиональное» есть категория, объясняющая совокупность определенных черт, характеристик того или иного качества действий, связанных с человеческим трудом, что демонстрирует деятельностную природу профессии и связывает определяемый нами профессиональный потенциал с возможностями будущих работников включиться в профессиональную среду организации, понимая ее цели.

Однако, говоря о перспективах становления профессионала, еще находящегося в стенах вуза и не включенного в организационную среду места приложения своего труда, согласимся с коллегами из Университета короля Хуана Карлоса (King Juan Carlos University) [17] в том, что профессиональный потенциал определяется в том числе и как способность прогрессировать и быстрее обучаться, что приводит к способности адаптироваться к будущим потребностям будущей компании.

Кроме того, анализ влияния проявления профессионализма как реализации профессионального потенциала через призму перспективы качества деятельности можно увидеть в работах американских ученых Р. Силзера и А.Х. Черча [19, 20], которые подчеркивают, что профессиональный потенциал редко упоминается в отношении текущей работы, но обычно упоминается для того, чтобы предположить, что человек обладает качествами, позволяющими ему эффективно работать и вносить вклад в реализацию более широких функций в организации в какой-то момент в будущем. Очевидно, речь идет о том, что характеристиками профессионального потенциала являются не только текущие навыки сотрудника, но и способность к обучению и адаптации в будущей организации, что, в свою очередь, во многом, определяется и его ценностными ориентациями и установками [21].

Отсюда сформулируем ключевые *характеристики потенциала будущего профессионала: не только и не столько наличные, сформированные компетенции, сколько готовность и способность индивида развиваться, а также готовность индивида к возможным изменениям в будущей своей организации и готовность брать на себя новые функции.*

Фрэнк Парсонс, заложивший научные основы профориентационной деятельности и определивший ключевые принципы поиска наилучшего соответствия между личностью и конкретной профессией, подчеркивал важность понимания как «индивидуальных особенностей», так и факторов, присущих различным профессиям, для обеспечения успешного и удовлетворительного выбора профессии [22]. Его метод включает ряд шагов, направленных на самооценку респондентов, изучение профессии и, в конечном счете, на сопоставление этих двух факторов для оптимального выбора профессии, по сути – определение профессиональной ориентации.

Исходя из предложенного Ф. Парсонсом подхода, современные ученые определяют профессиональную ориентацию как «процесс осознания индивидом существующих в обществе конкретных видов трудовой деятельности – профессий, собственных склонностей и способностей к одному (или нескольким из них), путей или средств овладения знаниями и навыками, необходимыми для выполнения профессионально-трудовых функций» [23]; «сложный процесс, где личные желания и способности человека часто сталкиваются с требованиями рынка труда» [2. С. 67]. По мнению ряда ученых, это столкновение нередко приводит к разочарованию в выборе профессии, поскольку ожидания не всегда совпадают с реальностью [24], кроме того, профессиональные ориентации студенческой молодежи в принципе носят весьма неустойчивый характер [25]. В результате возникает желание сменить профессию, что запускает новый виток профориентации. Этот процесс продолжается на протяжении всей жизни человека, формируя профессиональный ландшафт общества. И именно поэтому, говоря о профессиональном потен-

циале, мы не делаем акцент на какой-то одной профессии, а ориентируемся на способности молодёжи быть субъектами профессиональной деятельности без привязки к конкретной профессии, но с опорой на их систему ценностей.

Такой подход дает нам возможность определить *профессиональный потенциал студенческой молодёжи как детерминированную социальными ценностями готовность молодёжи использовать свои личностные свойства и сформированные в вузе профессиональные компетенции для осуществления целенаправленной продуктивной трудовой деятельности.*

Заметим, что здесь ключевым термином являются не сами личностные свойства (устойчивые индивидуально-психологические характеристики личности, которые влияют на её поведение, мотивацию, способности и адаптацию в профессиональной среде, например, темперамент, характер, способности, волевые качества и т.д.) или компетенции, а именно готовность к их использованию, что обуславливает сознательный уход автора от измерения этих свойств и компетенций, поскольку, во-первых, современная система профессиональной социализации, элементом которой является система профессиональной ориентации, «малоэффективна, разбалансирована, функционирует в условиях отсутствия связей с потребностями общества» [26. С. 96]. Соответственно, студенты, имеющие высокоразвитые компетенции по своей будущей профессии, не обязательно пойдут трудиться по этой профессии, реализуя себя в ней и применяя полученные в вузе знания. Во-вторых, студенты, у которых не сформирована, например, ценность созидательного труда или ценность профессионального развития, с очень малой вероятностью будут составлять реальный потенциал социально-экономического развития общества. Более того, человека приводят в профессию не столько хорошо сформированные компетенции, соответствующие ей, сколько ценность этой профессии, независимо от того, в чём выражается эта ценность (доход, статус, профессиональные перспективы и т.д.).

Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что одним из подходов к изучению профессионального потенциала студенческой молодёжи должен быть именно ценностный.

### **Ценностная основа изучения профессионального потенциала студенческой молодёжи**

В качестве ценностной основы изучения профессионального потенциала студенческой молодёжи автор предлагает использовать смысловые и профессиональные ценности, описываемые на основе анализа декларируемых государством ценностей (традиционных российских духовно-нравственных ценностей)<sup>1</sup> и ценностей студенческой молодёжи, предложенных Министерством науки и высшего образования РФ<sup>2</sup>, являющих собой, по сути, желаемый ценностный образ российского студенчества, соответственно, представляющий целевой образ реализации молодёжной политики вуза.

<sup>1</sup> Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

<sup>2</sup> Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования (утв. Минобрнауки России 29.12.2023).

Данные ценности составили содержание авторской эмпирической модели ценностной диагностики профессионального потенциала студенческой молодёжи, описанной ранее [27]. Не останавливаясь детально на модели, с результатами апробации которой можно ознакомиться в указанных трудах автора, лишь напомним, что она включает вопросы, направленные на оценку интериоризации каждой декларируемой государством ценности: респонденту предлагается, пользуясь шкалой Лайкерта, выразить свое согласие или несогласие с суждениями, характеризующими его отношение к каждой ценности с позиции *идеального отношения* к социальной реальности в соответствии с ценностью (в значении «эта ценность значима для всего общества»); отношение к *значимости* каждого индикатора, входящего в описание конкретной ценности, для него самого (в значении «эта ценность значима для меня»); отношение к *готовности* к совершению действий, руководствуясь ценностью (в значении «я готов действовать в соответствии с ценностью»); отражение следования ценности в *конкретных действиях* и поступках (в значении «я действую в соответствии с ценностью»). Данный подход дает возможность многосторонне описать ценностный образ профессионального потенциала студенческой молодёжи, который может быть положен в основу программы реализации молодежной политики как конкретного вуза, так и всей вузовской системы страны.

## Заключение

Современная система профессиональной социализации сталкивается с фундаментальным противоречием: выпускники теоретически подготовлены, но не всегда мотивированы работать по специальности. Причина – в игнорировании ценностного измерения профессионального потенциала.

В статье предложено перейти от компетентностного подхода в реализации молодежной политики к ценностно ориентированному, в котором ключевым показателем сформированности профессионального потенциала становится готовность к труду, а не только качество навыков, что позволяет прогнозировать реальную вовлечённость молодёжи в профессию, выявлять «разрыв ценностей» между государством и молодёжью, разрабатывать более эффективные программы профориентации и реализации молодежной политики.

## Список источников

1. Бронникова Е.М., Васютина Е.С., Виноградова М.В. и др. Анализ различных аспектов трудоустройства выпускников. 2021: статистический бюллетень. М. : Рос. гос. соц. ун-т, 2022. 179 с.
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э., Тюрина И.О. Воспроизводство специалистов интеллектуального труда: социологический анализ. М. : ФНИСЦ РАН, 2023. 383 с.
3. Федотов А.А. Человеческий потенциал и человеческий капитал: сущность и отличие понятий // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 7 (77). С. 148–155. doi: 10.24412/2411-0450-2021-7-148-155
4. Федотов А.А. Человеческий потенциал и качество населения: подходы к определению // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3-2 (42). С. 79–86. doi: 10.24411/2500-1000-2020-10266
5. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2000. № 3. С. 121–139.
6. Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60–74.

7. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // *Общественные науки и современность*. 2005. № 3. С. 5–16
8. Иванов О.И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование). СПб. : Скифия-принт, 2013. 336 с.
9. *Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода*. М. : Эдиториал УРСС, 1999. 176 с.
10. Teixeira P.N. Gary Becker's early work on human capital – collaborations and distinctiveness // *IZA J Labor Econ* 3, 12. 2014. doi: 10.1186/s40172-014-0012-2
11. Тихонова Н.Е., Латов Ю.В., Латова Н.В. и др. Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы. М. : ФНИСЦ РАН, 2023. 488 с.
12. Зуцина Г.М. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. М. : Наука, 1996. 143 с.
13. Chuai X., Preece D., Iles P. Is talent management just “old wine in new bottles”? The case of multinational companies in Beijing // *Management Research News*. 2008. Vol. 31, № 12. P. 901–911. doi: 10.1108/01409170810920611
14. Collings D.G., Mellahi K. Strategic talent management: A review and research agenda // *Human Resource Management Review*. 2009. Vol. 19. P. 304–313. doi: 10.1016/j.hrmr.2009.04.001
15. Tansley C. What do we mean by the term “talent” in talent management? // *Industrial and Commercial Training*. 2011. Vol. 43, № 5. P. 266–274. doi: 10.1108/00197851111145853
16. Thiago Sagawe et al. Professional potential evaluation using a multicriteria approach: An AHP-ELECTRE-TRI proposal // *Procedia Computer Science*. 2022. 214. P. 628–635. doi: 10.1016/j.procs.2022.11.221
17. De La Calle-Duran M.C., Fernandez-Alles M.L., Valle-Cabrera R. Talent identification and location: A configurational approach to talent pools // *Intangible Capital*. 2021. Vol. 17, № 1. P. 17–32. doi: 10.3926/ic.1440
18. Филиппов Ф.П. Профессия // *Российская социологическая энциклопедия* / под общ. ред. Г.В. Осипова. М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 425.
19. Silzer R., Church A.H. The pearls and perils of identifying potential // *Industrial and Organizational Psychology*. 2009. Vol. 2. P. 377–412. doi: 10.1111/j.1754-9434.2009.01163.x
20. Silzer R.F., Borman W.C. The potential for leadership (Chapter 5) // *Oxford Handbook of Talent Management* / eds. D.G. Collings, K. Mellahi, W.F. Cascio. Oxford, UK : Oxford University Press, 2017. P. 87–114. doi: 10.1017/iop.2016.75
21. Ядов В.А. Функционирование диспозиционной системы // *Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция*. М. : ЦСПиМ, 2013. С. 40–49.
22. Parsons F. *Choosing a Vocation* // Open Library. London, 1909. 165 p. URL: <https://archive.org/details/choosingvocation00parsuoft/page/n9/mode/2up?ref=ol&view=theater> (дата обращения: 23.03.2025).
23. Филиппов Ф.П. Ориентация профессиональная // *Российская социологическая энциклопедия* / под общ. ред. Г.В. Осипова. М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 353.
24. Зеер Э.Ф., Сьманюк Э.Э. Эмоциональный компонент в профессиональном становлении педагога // *Мир психологии*. 2002. № 4 (32). С. 194–203.
25. Потёмкин В.К. Социально-профессиональные ориентации студенческой молодёжи // *Социология и право*. 2018. № 2 (40). С. 14–22.
26. Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики) : в 2 т. М. : Новый хронограф, 2016. Т. 1. 416 с.
27. Газиева И.А. Социология ценностей: методология исследования. М. : Инфра-М, 2024. 253 с. doi: 10.12737/2133680 (RSCI)

### References

1. Bronnikova, E.M., Vasyutina, E.S., Vinogradova, M.V. et al. (2022) *Analiz razlichnykh aspektov trudoustroystva vypusnikov. 2021: statisticheskiy byulleten'* [Analysis of Various Aspects of Graduate Employment. 2021: Statistical Bulletin]. Moscow: Russian State Social University.
2. Gorshkov, M.K., Sheregi, F.E. & Tyurina, I.O. (2023) *Vosproizvodstvo spetsialistov intellektual'nogo truda: sotsiologicheskii analiz* [The Reproduction of Intellectual Labor Specialists: A Sociological Analysis]. Moscow: FNISC RAS.
3. Fedotov, A.A. (2021) *Chelovecheskiy potentsial i chelovecheskiy kapital: sushchnost' i otliche ponyatiy* [Human Potential and Human Capital: The Essence and Difference of Concepts]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. 77(7). pp. 148–155. doi: 10.24412/2411-0450-2021-7-148-155

4. Fedotov, A.A. (2020) Chelovecheskiy potentsial i kachestvo naseleniya: podkhody k opredeleniyu [Human Potential and Population Quality: Approaches to Definition]. *Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk.* 42(3-2). pp. 79–86. doi: 10.24411/2500-1000-2020-10266
5. Coleman, J. (2000) Kapital sotsial'nyy i chelovecheskiy [Social and Human Capital]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. 3. pp. 121–139.
6. Bourdieu, P. (2002) Formy kapitala [The Forms of Capital]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya.* 3(5). pp. 60–74.
7. Zaslavskaya, T.I. (2005) Chelovecheskiy potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse [Human Potential in the Contemporary Transformation Process]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. 3. pp. 5–16.
8. Ivanov, O.I. (2013) *Chelovecheskiy potentsial (formirovanie, razvitie, ispol'zovanie)* [Human Potential (Formation, Development, Utilization)]. St. Petersburg: Skifiya-print.
9. Frolov, I.T. (1999) *Chelovecheskiy potentsial: opyt kompleksnogo podkhoda* [Human Potential: An Experience of an Integrated Approach]. Moscow: Editorial URSS.
10. Teixeira, P.N. (2014) Gary Becker's early work on human capital – collaborations and distinctiveness. *IZA Journal of Labor Economics.* 3(12). doi: 10.1186/s40172-014-0012-2
11. Tikhonova, N.E., Latov, Yu.V., Latova, N.V. et al. (2023) *Chelovecheskiy kapital rossiyskikh professionalov: sostoyanie, dinamika, factory* [The Human Capital of Russian Professionals: State, Dynamics, Factors]. Moscow: FNISC RAS.
12. Zushchina, G.M. (1996) *Trudovye resursy i trudovoy potentsial obshchestva* [Labor Resources and the Labor Potential of Society]. Moscow: Nauka.
13. Chuai, X., Preece, D. & Iles, P. (2008) Is talent management just “old wine in new bottles”? The case of multinational companies in Beijing. *Management Research News.* 31(12). pp. 901–911. doi: 10.1108/01409170810920611
14. Collings, D.G. & Mellahi, K. (2009) Strategic talent management: A review and research agenda. *Human Resource Management Review.* 19. pp. 304–313. doi: 10.1016/j.hrmr.2009.04.001
15. Tansley, C. (2011) What do we mean by the term “talent” in talent management? *Industrial and Commercial Training.* 43(5). pp. 266–274. doi: 10.1108/00197851111145853
16. Thiago Sagawe et al. (2022) Professional potential evaluation using a multicriteria approach: An AHP-ELECTRE-TRI proposal. *Procedia Computer Science.* 214. pp. 628–635. doi: 10.1016/j.procs.2022.11.221
17. De La Calle-Duran, M.C., Fernandez-Alles, M.L. & Valle-Cabrera, R. (2021) Talent identification and location: A configurational approach to talent pools. *Intangible Capital.* 17(1). pp. 17–32. doi: 10.3926/ic.1440
18. Filippov, F.R. (1998) Professiya [Profession]. In: Osipov, G.V. (ed.) *Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya* [Russian Sociological Encyclopedia]. Moscow: NORMA-INFRA-M Publishing Group. pp. 425.
19. Silzer, R. & Church, A.H. (2009) The pearls and perils of identifying potential. *Industrial and Organizational Psychology.* 2. pp. 377–412. doi: 10.1111/j.1754-9434.2009.01163.x
20. Silzer, R.F. & Borman, W.C. (2017) The potential for leadership (Chapter 5). In: Collings, D.G., Mellahi, K. & Cascio, W.F. (eds.) *Oxford Handbook of Talent Management.* Oxford, UK: Oxford University Press. pp. 87–114. doi: 10.1017/iop.2016.75
21. Yadov, V.A. (2013) Funktsionirovanie dispozitsionnoy sistemy [The Functioning of the Dispositional System]. In: *Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial'nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya* [Self-Regulation and Prediction of an Individual's Social Behavior: The Dispositional Concept]. Moscow: TsSPiM. pp. 40–49.
22. Parsons, F. (1909) *Choosing a Vocation.* London: Gay and Hancock.
23. Filippov, F.R. (1998) Orientaliya professional'naya [Professional Orientation]. In: Osipov, G.V. (ed.) *Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya* [Russian Sociological Encyclopedia]. Moscow: NORMA-INFRA-M. pp. 353.
24. Zeer, E.F. & Symanyuk, E.E. (2002) Emotsional'nyy komponent v professional'nom stanovlenii pedagoga [The Emotional Component in the Professional Development of a Teacher]. *Mir psikhologii.* 32(4). pp. 194–203.
25. Potemkin, V.K. (2018) Sotsial'no-professional'nye orientatsii studencheskoy molodezhi [Socio-Professional Orientations of Student Youth]. *Sotsiologiya i pravo.* 40(2). pp. 14–22.
26. Gorshkov, M.K. (2016) *Rossiyskoe obshchestvo kak ono est': (opyt sotsiologicheskoy diagnostiki)* [Russian Society As It Is: (An Experience of Sociological Diagnosis)]. Vol. 1. Moscow: Novyy khronograf.

27. Gazieva, I.A. (2024) *Sotsiologiya tsennostey: metodologiya issledovaniya* [Sociology of Values: Research Methodology]. Moscow: Infra-M. doi: 10.12737/2133680

***Сведения об авторе:***

**Газиева И.А.** – доктор социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия). E-mail: Gazieva-ia@ranepa.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Gazieva I.A.** – Dr. Sci. (Sociology), docent, senior researcher at the Research Center for Socio-Political Monitoring of the Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation). E-mail: Gazieva-ia@ranepa.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 29.07.2025;  
одобрена после рецензирования 25.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 29.07.2025;  
approved after reviewing 25.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 316.334.54+316.342

doi: 10.17223/1998863X/89/15

## ЖИЛИЩНЫЙ ПРЕКАРИАТ: МЕТАФОРА ИЛИ НОВЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КЛАСС?

Денис Борисович Литвинцев

*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия,  
denlitv@inbox.ru*

**Аннотация.** Жилищная precariousность – современная проблема экономико-социологических исследований, направленных на изучение нестабильных, неустойчивых жилищных условий разных категорий населения по всему миру. Обращаясь к зарубежным исследованиям жилищного прекариата (включая арендаторов жилья), автор концептуально встраивает его в систему жилищных классов Дж. Рекса и Р. Мура, противопоставляя жилищному проприетариату (домовладельцам).

**Ключевые слова:** жилищная социология, жилищный прекариат, жилищная precariousность, precariousность жилья, прекарнизация жилья, жилищный класс

**Для цитирования:** Литвинцев Д.Б. Жилищный прекариат: метафора или новый жилищный класс? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 176–186. doi: 10.17223/1998863X/89/15

Original article

## HOUSING PRECARIAT: METAPHOR OR A NEW HOUSING CLASS?

Denis B. Litvintsev

*Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation, denlitv@inbox.ru*

**Abstract.** Housing precariousness is a contemporary problem in economic and sociological research aimed at studying the unstable housing conditions of various categories of the population around the world. However, following the discourse of G. Standing's works on the precarious as a social class, the works of foreign authors increasingly document the little-studied phenomenon of the "housing precarious." At first glance, this appears to be a metaphor, but it simultaneously encompasses heterogeneous social groups – youth, migrants, the unemployed, and others. Turning to studies of the housing precarious in different countries as part of a critical review, the author of this article ultimately aims to conceptually integrate the housing precarious into the system of housing classes of J. Rex and R. Moore, contrasting it with the housing "proprietary" (homeowners). The main criterion for division into housing classes is the right of ownership of housing, which does not exclude other factors of housing precariousness, such as its quality / condition. Consequently, it is concluded that it is more logical, from a methodological point of view, to primarily identify housing subclasses of the precarious, rather than specific social groups, as groups can change their housing status over time and move from one subclass to another. The author identifies five subclasses of the housing precarious, considering the specifics of housing relations in Russia: owners of precarious housing (dilapidated/emergency, etc.), mortgage borrowers, tenants/renters and users of service housing, residents of informal settlements (ghettos, slums, squats, etc.), and various categories of homeless people. The conclusion emphasizes the lack of an established concept of the housing precarious in modern sociology and the absence of clear criteria for including various social groups within it. It also notes certain shortcomings of foreign

approaches to studying the housing precariat either as a social group or as housing conditions, and outlines the retrospectives and prospects for further research.

**Keywords:** sociology of housing, housing precariat, housing precariousness, precarity of housing, housing precarization, housing class

**For citation:** Litvintsev, D.B. (2026) Housing precariat: metaphor or a new housing class?. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 176–186. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/15

## Введение

Дискурс прекарности (неустойчивости, нестабильности и т.п.) все чаще проникает в современные экономико-социологические исследования, что связано не только с объективными процессами в России и мире, но и с поисками новых теоретико-методологических оснований их изучения. Отталкиваясь от уже ставших классическими работ, посвященных исследованию прекариата как социального класса и прекарности на рынке труда (Г. Стэндинг, П. Бурдые и др.), ученые обращают внимание на связь этих процессов с прекарризацией различных сфер общественной жизни. Более того, отдельные исследователи отмечают возможность изучения прекарности как самостоятельной проблемы, в том числе и в жилищной сфере, становящейся все более актуальной в последние годы по всему миру как среди арендаторов, так и домовладельцев [1].

Исследования прекарнизации жилья привели социологов к вопросу о существовании жилищного прекариата, активное становление которого отмечается в разных странах. Однако на сегодняшний день существует очевидная неопределенность относительно идентификации данного феномена и отсутствие согласия исследователей по поводу оснований включения тех или иных социальных групп в жилищный прекариат. Это связано в том числе с отсутствием единой концепции, опирающейся на более ранние исследования жилищной сферы в контексте жилищных классов, социального неравенства и стратификации.

Целесообразно отметить, что в настоящей статье намеренно не учитываются исследования прекарности жилья, делающие акцент не на жилищном прекариате, а на различных характеристиках самого жилья, характеризующих прекарность жилищных условий, и факторах жилищной прекарнизации. Предыдущее исследование показало, что в таких работах обнаруживается множество дискурсов жилищной прекарности: финансово-экономический, государственно-политический, социально-культурный и др. [2]. Такой подход способствует более точному фокусу исследования с целью идентификации жилищного прекариата как жилищного класса, включающего различные социальные группы.

## Новый жилищный прекариат

К. Листерборн справедливо отмечает, что понятие прекариата обычно используется по отношению к труду и занятости [3]. Г. Стэндинг определяет прекариат как новый социальный класс, подверженный рискам на рынке труда, таким как гибкость, нестабильная занятость и волатильность доходов [4]. При этом прекариат неизбежно сталкивается с различными типами неравенства и в жилищном обеспечении. Это связано с тем, что в разных странах жилищная политика преимущественно ориентирована на домовладение, что

приводит к сокращению жилищных возможностей для прекариата и работников неформальной экономики [5]. Прослеживается и другая взаимосвязь. Владельцы домов (представители среднего и рабочего класса в Испании), которые воспользовались легким доступом к жилищным кредитам, составляют новый сегмент прекариата. Когда ипотечный пузырь лопнул, они потеряли работу и были не в состоянии выплачивать ипотеку, что стало угрозой выселения со стороны банков [6]. В Бразилии, в движениях за социальное жилье, добивающихся городской реформы в условиях разрастающегося жилищного кризиса, в большинстве своем участвуют именно представители прекариата – класса с самыми низкими доходами [7]. Однако в рамках настоящей статьи особый интерес представляет не сам прекариат как таковой и те жилищные трудности, с которыми сталкиваются его представители, а непосредственно жилищный прекариат как новое социальное явление, активно изучаемое исследователями по всему миру.

Жилищный прекариат стал большой социальной группой, которую сложно игнорировать [8]. Д. Дорлинг одна из первых в научной среде упоминает жилищный прекариат в качестве метафоры: в своей работе, посвященной великой жилищной катастрофе в Великобритании, она не предлагает какой-либо концепции жилищного прекариата.

Нехватка доступного жилья и рост неравенства в жилищном обеспечении сформировали новый жилищный прекариат, который достаточно разнообразен по своему составу, но объединён невозможностью найти или приобрести жилье на обычном рынке. При этом неравенство и поляризация на рынке жилья рискуют стать постоянными, что приведёт к росту нового жилищного прекариата на Глобальном Севере. Однако результаты опроса, проведенного в Швеции, свидетельствуют о том, что не все люди, испытывающие прекарность жилищных условий, относятся к жилищному прекариату. Это связано с тем, что со временем жилищные условия могут улучшаться (например, за счет помощи родителей с приобретением жилья). Рискуют оказаться в прекарных жилищных условиях молодые люди, недавно прибывшие мигранты, безработные, пенсионеры и люди в переходном периоде (например, те, кто находится на длительном больничном или переживает развод) [3].

Подобно работе Д. Дорлинг, в статье К. Листерборн также отсутствует четкая концептуализация жилищного прекариата. Как и в работах большинства исследователей жилищной прекарности, здесь речь в большей степени идет о разных социальных группах, рискующих оказаться в прекарных жилищных условиях. Неслучайно в заключении она отмечает, что жилищный прекариат не имеет своего «голоса» или представителей, способных говорить от его имени и выразить интересы в обществе [3].

Финансиализация капитализма добавляет гендерные и расовые аспекты к острому кризису доступности жилья, сопровождающемуся приватизацией, сокращением государственного инвестирования, резким ростом цен на энергоносители, выселениями, бездомностью, утратой общих ресурсов и формированием нового жилищного прекариата [9]. Финансиализация рынка жилья привела к росту перемещений и выселений, что породило жилищный прекариат, рост которого наблюдается в Европе в последнее время. К нему относятся преимущественно женщины, семьи с детьми, молодежь и домохозяйства с низкими доходами [10].

Однако в книге С. Мюнх и А. Зиде жилищный прекариат упоминается лишь несколько раз без должных концептуальных разъяснений, но с отсылкой на исследование С. Кёппе. На эту же работу ссылаются и бельгийские исследователи распространенности и последствий выселения, характеризуя жилищный прекариат как людей, которым очень трудно позволить себе качественное и стабильное жилье. Жилищный прекариат, по их мнению, находится в состоянии постоянной жилищной нестабильности и вынужден многократно покидать свои дома:

- из-за недостаточных государственных инвестиций в доступное и качественное социальное жильё;
- отсутствия государственной поддержки в виде интегрированных и доступных социальных услуг, которые могли бы решить многогранную проблему выселений и жилищной нестабильности;
- отсутствия должной защиты прав арендаторов в ходе судебных процессов по выселению [11].

Жилищный прекариат, который потенциально недооценен, по мнению С. Кёппе, появляется в Великобритании и сталкивается с трудностями в сохранении собственного жилья, полностью выбывает из системы владения или временно снимает жилье. Границы владения жильем понимаются как зона между арендой и полным правом собственности, где ипотека выступает как прекарный этап перехода к полному владению. Хотя идеализированным путем считается тот, который ведет напрямую к полной собственности на жилье, нелинейные переходы встречаются гораздо чаще и отличаются большим разнообразием. Именно эти пути показывают существование британского жилищного прекариата на периферии владения жильем. С. Кёппе к разнородному жилищному прекариату относит борющихся (за сохранение своего жилья), выпавших (из статуса собственника жилья), временных арендаторов и временных владельцев жилья. Они составляют всего около 10%, в то время как оставшееся большинство – это успешные домовладельцы и заемщики по ипотеке, не входящие в жилищный прекариат [12].

Здесь обнаруживается некоторое противоречие, так как С. Кёппе позднее в той же статье исключает временных владельцев из жилищного прекариата. Он отмечает, что заемщики по ипотеке и временные владельцы жилья также испытывают прекарность, но в конечном итоге сохраняют свое жилищное благосостояние, хотя им и не удастся достичь стабильного домовладения. Если социальная политика будет направлена на создание благосостояния, основанного на жилищных активах, то это повлечет за собой новые риски, носителем которых становится новый жилищный прекариат с определенными социально-демографическими характеристиками. Для него устойчивое домовладение выходит за рамки жилищной системы и требует более широкой государственной поддержки и социальной защиты [12].

Концепция С. Кёппе представляет немалый интерес, однако специфика жилищной системы Великобритании и других европейских стран, для которых она разрабатывалась, не позволяет в полной мере, без адаптации и учета национальных особенностей применять ее для других стран. Это в том числе обусловлено сложной институциональной средой жилищных отношений в России, возникшей в результате реформы ЖКХ [13].

Р. Хирн отмечает, что «поколение аренды» стало неотъемлемой частью современной Ирландии, новым жилищным прекариатом, проживающим в дорогих, небезопасных, высотных многоэтажках, где существуют серьёзные проблемы стресса, распада семейных отношений, упадка общинных связей и социальной сплоченности. Это обусловлено прекарными трудовыми контрактами и невозможностью получить ипотечный кредит, а также неподъемными ценами на жилье и аренду. Это потенциальная жилищная антиутопия в случае сохранения действующей жилищной политики [14].

Жилищный прекариат в работе М. Гвон определяется как социальная группа, испытывающая нехватку жилого пространства, которое обеспечивало бы чувство комфорта и безопасности, защищённую личную сферу и возможность сосредоточиться на саморазвитии без внешних преград независимо от наличия физического пространства для проживания. Совмещение растущей экономической неопределённости, вызванной распространением неолиберализма, и патриархального историко-культурного контекста способствует формированию жилищного прекариата среди молодых женщин в Южной Корее. Однако в корейском обществе, где нормативный жизненный путь, такой как брак, воспринимается как должное, жилищная прекарность молодых женщин рассматривается как временная проблема и остается на периферии политики жилищного благосостояния [15].

М. Парк характеризует одиноких молодых взрослых в Южной Корее как новый формирующийся жилищный прекариат, что связано с их финансовыми возможностями и нестабильной занятостью при выходе на рынок жилья. Недостаток образования и осведомленности о практиках заключения договоров аренды ставит их в опасную и нестабильную ситуацию, когда они ищут и арендуют жилье. Они сталкиваются с несправедливым отношением со стороны домовладельцев и агентов по недвижимости из-за своего возраста и отсутствия необходимых знаний. Высокая стоимость аренды и недоступная цена на жилье вызывают у молодых людей разочарование, что приводит к серьёзному негативному влиянию на их будущие жизненные решения [16].

М. Гвон и М. Парк сужают жилищный прекариат в своих исследованиях до конкретной социальной группы (молодые женщины, молодые взрослые), не предлагая должной концепции жилищного прекариата, учитывающего прекарность жилищных условий других слоев населения. При этом акцент преимущественно делается на аренде жилья и сложностях его приобретения в собственность, как и в работе Р. Хирн, что оставляет без должного внимания другие формы жилищной прекарности.

К. Гриноп задается вопросом: кто наиболее уязвим в жилищном прекариате? Отвечая на поставленный вопрос, он не дает никакой интерпретации данному феномену, фактически рассуждая о жилищной прекарности в разных странах, которой противопоставляется почему-то исключительно жилищная безопасность [17], а не адекватность (достаточность) жилья, включающая и другие показатели.

А. Мартин отмечает, что прекарное жилье не обязательно отражает жилищные условия людей в прекариате, при этом ошибочно отождествляя жилищный прекариат и жилищную прекарность [18], заимствуя определение из работы Э. Клер, А. Ривз, М. Макки, Д. Стаклер: состояние неопределенности, которое увеличивает фактическую или воспринимаемую вероятность воз-

никновения неблагоприятного события, обусловленного, по крайней мере частично, характером взаимоотношений с поставщиком жилищных услуг, физическими характеристиками жилья, его доступностью, безопасностью и обеспеченностью базовыми услугами [19]. Подобное отождествление связано, собственно, с тем, на что обращает внимание сама А. Мартин: операционализация понятия прекариата в исследованиях жилищной сферы представляет собой серьезную методологическую задачу.

Данная задача, судя по всему, до конца так и не решена. Обзор исследований свидетельствует о том, что чаще всего под жилищным прекариатом понимается одна или несколько социальных групп, наиболее уязвимых к прекаризации жилья, либо состояние жилищной неопределенности, связанное с институциональными особенностями жилищных отношений в разных странах. Представляется, что наиболее адекватной теоретико-методологической основой для обоснования именно жилищного прекариата, а не прекарности жилья в разных измерениях может выступать теория жилищных классов Дж. Рекса и Р. Мура [20].

### **Жилищный прекариат в системе жилищных классов**

Теория жилищных классов определяет отличительную систему классовых различий, основанную на праве собственности на жилье. В данном случае частное домовладение способствует и создает классовые различия и понимается как рыночная позиция, связанная с жизненными возможностями (в традиции М. Вебера). Несмотря на отсутствие широкой поддержки в жилищных исследованиях, эта теория так или иначе способствовала междисциплинарному подходу к исследованию жилищной сферы, вызвав широкую дискуссию о роли домовладения в формировании классов и неравенства [21]. Несмотря на то что некоторые российские исследователи выводят критерий собственности при выделении жилищных классов за скобки (опираясь на другие критерии, такие как, например, благоустройство), другие соглашались, что жилищные классы можно характеризовать по форме собственности на жилье. Автор настоящей статьи, выделяя ранее жилищные классы собственников, арендаторов и квартиросъемщиков, опирался не просто на право пользования, но и распоряжения общим имуществом посредством общих собраний [13].

Говоря о жилищном прекариате, целесообразно встроить его в систему жилищных классов, противопоставляя жилищному проприетариату (домовладельцам), сохранив критерий собственности на жилье как основной, но при этом не единственный. На первый взгляд, опираясь на исследования зарубежных коллег и учитывая специфику жилищных отношений в России, можно выделить пять основных подклассов:

1. *Собственники прекарного жилья.* В исследовании прекарности жилья в Европе было показано, что проживать в прекарных жилищных условиях могут как арендаторы, так и собственники жилья в силу того, что прекарность жилья может характеризоваться его качеством, доступностью и безопасностью [19]. Применительно к России это может означать ветхое и аварийное жилье, готовящееся к сносу, что станет причиной выселения жильцов. Также жилье в регионах с высокой пожароопасностью или регулярными наводнениями, которые ежегодно наносят ущерб жилищному фонду. Кроме

того, это может быть жилье, попавшее в программы реновации и(или) комплексного развития территорий.

2. *Ипотечные заемщики.* Данный класс будущих собственников находится на пути к домовладению, однако в случае утраты постоянного дохода они рискуют утратить этот статус. В этом смысле само по себе ипотечное жилье является прекарным и в России, так как до момента полного погашения кредита оно принадлежит банку-кредитору. Это соответствует представлениям М. Анчелович [6], но расходится с позицией С. Кёппе о невключении ипотечных заемщиков в жилищный прекариат [12].

3. *Квартиросъемщики, арендаторы и пользователи служебного жилья* – это «негативные собственники», по Ф. Тённису, в силу своих обязательств по возврату жилья по истечении срока контракта [13]. В первом случае право пользования социальным жильем ограничено государством и соответствующими институтами: за нарушения формальных правил квартиросъемщики могут быть выселены. Жилищный статус арендаторов во многом определяется также формальными правилами, но в большей степени установленными договором аренды. Домовладелец в данном случае в большей степени, чем государство, влияет на прекарность жилья и риски выселения. Двойная прекарность возникает в случае риска лишиться и работы, и служебного жилья [1]. В этом случае жилье является прекарным в силу влияния непосредственно работодателя, будь то государство или коммерческая организация.

4. *Жители неформальных поселений.* Это люди, проживающие в домах или на определенной территории без необходимого на то разрешения (лагеря мигрантов, импровизированные гетто<sup>1</sup>, цыганские трущобы, городские сквоты) [10]. Учитывая природно-климатические условия в России, подобные практики проживания менее распространены, чем на Западе, однако примеры цыганских гетто (когда под одним адресом располагаются сразу несколько незаконных жилых построек) и сквоттинга можно обнаружить в больших городах. Нередки случаи нелегального проживания в подвалах и на чердаках многоквартирных домов; в опустевших жилых домах, предназначенных для сноса; в заброшенных зданиях различного назначения и др.

5. *Бездомные.* С одной стороны, в условиях полного отсутствия жилья не представляется возможным квалифицировать его состояние как прекарное. С другой стороны, речь может идти о прекарности именно жилищной ситуации, а не просто объекта жилищных отношений. Кроме того, по мнению зарубежных исследователей, бездомность представляет собой одно из наиболее прекарных состояний в жизни человека [10]. На сегодняшний день существуют разные градации бездомности (условно-бездомные, проживающие в приютах, уличные бездомные и др.), в том числе и в России, что также может говорить о неоднородности бездомных как жилищного прекариата.

Различные социальные группы на протяжении всей своей жизни могут переходить из одного жилищного класса в другой. Причем возможна как восходящая, так и нисходящая жилищная мобильность. Молодая семья, проживающая в ипотечной квартире и стремящаяся выплатить кредит. Студен-

---

<sup>1</sup> В данном случае также заслуживает внимания крайне любопытный геосоциологический подход Дж.Х. Хаардера, соотносящего и отчасти отождествляющего прекариат в Дании и гетто как место его проживания. Гетто являются частью исторически обусловленного и крайне неравномерного распределения онтологической прекарности [22].

ты, совместно арендующие квартиру поблизости к университету, но имеющие собственное жилье в другом городе. Работники обанкротившихся предприятий, проживающие в служебном жилье и временно ставшие бездомными. Мигранты, оставившие родной дом в поисках лучшей жизни. Смена жилищного статуса в этом плане неразрывно связана с изменением положения в обществе.

### Заключение

Отождествление некоторыми авторами жилищного прекариата с precariousностью жилья неверно с эпистемологической точки зрения, поскольку эти категории описывают разные уровни реальности/анализа. В первом случае речь все-таки идет о социальных группах, проживающих в precariousных жилищных условиях. Во втором случае – о precariousности как характеристике самого жилья, жилищных условий, жилищных отношений и т.п. Подобная методологическая путаница связана с отсутствием общепринятой на данный момент устойчивой концепции жилищного прекариата. С точки зрения автора статьи, методологически корректно выделять в первую очередь именно подклассы внутри прекариата как жилищного класса, которые наполнены разнородными социальными группами. Делая же акцент на конкретной социальной группе, включенной в жилищный прекариат, либо на форме precariousного жилья (например, арендованное), ученые значительно сужают фокус исследования, что нередко приводит к размытию представлений о жилищном прекариате и его месте в существующей системе жилищных классов.

Некоторые исследователи упускают из виду тот факт, что в precariousных жилищных условиях могут проживать и собственники жилья наравне с арендаторами, а значит, собственность и положение в границах континуума «собственник – домовладелец» не являются единственно определяющими критериями, что и учитывает предложенная автором настоящей статьи классификация жилищных подклассов прекариата для России: precariousные собственники, ипотечные заемщики, арендаторы/наниматели, жители неформальных поселений и бездомные.

Ученые из разных стран включают в жилищный прекариат различные половозрастные социальные группы – молодежь и одиноких молодых взрослых, женщин, семьи с детьми, домохозяйства с низкими доходами и безработных, мигрантов и т.п. Привести к единому знаменателю данный перечень достаточно проблематично, так как разные жилищные системы порождают precariousность в жилищной сфере дифференцированно, что в первую очередь связано с институциональными аспектами их функционирования. Речь идет об особенностях жилищной политики, действующих жилищных программах, роли непосредственно государства и участие гражданского общества в решении жилищного вопроса разных категорий граждан.

Большинство исследователей жилищного прекариата характеризуют его как новый, что неизбежно порождает вопрос о том, что есть старый жилищный прекариат. Ответа на данный вопрос в рамках настоящей статьи найти не удалось, но представляется, что речь, вероятно, может идти о социальных группах в разных странах, сталкивавшихся с жилищной precariousностью на пути к домовладению или в процессе пользования жильем в доиндустриальный и индустриальный периоды развития общества. Это открывает широкую ре-

троспективу социологических исследований жилищной прекарности, сохраняя при этом сильный потенциал изучения современного жилищного прекариата и проприетариата через призму теории жилищных классов.

#### Список источников

1. Литвинцев Д.Б. Жилищная прекарность в развитых странах: обзор исследований и оценка их значимости для России // Социальные новации и социальные науки. 2024. № 3 (16). С. 55–65. doi: 10.31249/snsn/2024.03.04
2. Литвинцев Д.Б. Жилищная прекарность: факторы, дискурсы и зарубежный опыт измерения // Журнал исследований социальной политики. 2024. Т. 22, № 3. С. 553–566. doi: 10.17323/727-0634-2024-22-3-553-566
3. Listerborn C. The new housing precariat: experiences of precarious housing in Malmö, Sweden // Housing Studies. 2021. Vol. 38, № 7. P. 1304–1322. doi: 10.1080/02673037.2021.1935775
4. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с.
5. Boram K. Housing Inequality, the Precariat and Capabilities // European Network for Housing Research (ENHR) 2019: Housing for the Next European Social Model, Athens, Greece, 27–30 August 2019. Book of Abstracts. P. 293.
6. Ancelovici M. Home Owners as the New Precariat: The Mobilization for Dignified Housing in Spain // XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, 13–19 July 2014. Book of Abstracts. 2014. P. 31.
7. Irazábal C. Counter Land-Grabbing by the Precariat: Housing Movements and Restorative Justice in Brazil // Urban Science. 2018. Vol. 2, № 2. ID 49. doi: 10.3390/urbansci2020049
8. Dorling D. All that is solid: The great housing disaster. London : Penguin, 2014. 96 p.
9. Housing and Urban (In)Justice in Global North & South contexts // The Common City Conference, Uppsala 11–13 September, 2024. URL: <https://www.uu.se/en/departement/housing-and-urban-research/research/the-common-city-conference#HousingandUrban> (accessed: 27.11.2024).
10. Precarious Housing in Europe: A Critical Guide / eds. S. Münch, A. Siede. Krems, Austria : Edition Donau-Universität Krems, 2022. 406 p. doi: 10.48341/n0qk-fd13
11. Godart P., Swyngedouw E., Van Criekingen M., Van Heur B. The prevalence and consequences of evictions for the housing precariat in Brussels. Final report. 2023. URL: [https://bruhome.ulb.be/reports/final\\_report.pdf](https://bruhome.ulb.be/reports/final_report.pdf) (accessed: 26.11.2024).
12. Köppe S. Britain's new housing precariat: housing wealth pathways out of homeownership // International Journal of Housing Policy. 2016. Vol. 17, № 2. P. 177–200. doi: 10.1080/14616718.2016.1185286
13. Литвинцев Д.Б. Жилищная социология. Институт общего собрания собственников многоквартирного дома. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2022. 200 с. doi: 10.17212/978-5-7782-4712-3
14. Hearne R. Housing Shock: The Irish Housing Crisis and How to Solve It. Bristol, UK : Policy Press, 2020. 302 p. doi: 10.56687/9781447353928
15. Gwon M. Making 'My home': spatial strategies of young women as housing precariat // Space and Environment. 2018. Vol. 28, № 3. P. 271–301. doi: 10.19097/kaser.2018.28.3.271
16. Park M. Young single adults as an emerging housing precariat in Korea // Space and Environment. 2017. Vol. 27, № 4. P. 110–140. doi: 10.19097/kaser.2017.27.4.110
17. Greenop K. Understanding housing precarity: more than access to a shelter, housing is essential for a decent life // Global Discourse. 2017. Vol. 7, № 4. P. 489–495. doi: 10.1080/23269995.2017.1393788
18. Martin A. Precariat // RE-DWELL. URL: <https://www.re-dwell.eu/concept-definition/72> (accessed: 27.11.2024).
19. Clair A., Reeves A., McKee M., Stuckler D. Constructing a housing precariousness measure for Europe // Journal of European Social Policy. 2019. Vol. 29, № 1. P. 13–28. doi: 10.1177/0958928718768334
20. Rex J., Moore R. Race, Community and Conflict. London : Oxford University Press for the Institute of Race Relations, 1967. 304 p
21. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory / ed. B.S. Turner. London : Wiley Blackwell, 2017. 2864 p. doi: 10.1002/9781118430873.est0474
22. Haarder J.H. The Precariat as Place: A Literary History of the Danish Ghetto // Scandinavica. 2020. Vol. 59, № 2. P. 29–50. doi: 10.54432/scand/HOPJ6513

## References

1. Litvintsev, D.B. (2024a) Zhilishchnaya prekarnost' v razvitykh stranakh: obzor issledovaniy i otsenka ikh znachimosti dlya Rossii [Housing Precarity in Developed Countries: A Review of Research and an Assessment of Its Relevance for Russia]. *Sotsial'nye novatsii i sotsial'nye nauki*. 16(3). pp. 55–65. doi: 10.31249/snsn/2024.03.04
2. Litvintsev, D.B. (2024b) Zhilishchnaya prekarnost': faktory, diskursy i zarubezhnyy opyt izmereniya [Housing Precarity: Factors, Discourses, and Foreign Experience in Measurement]. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki*. 22(3). pp. 553–566. doi: 10.17323/727-0634-2024-22-3-553-566
3. Listerborn, C. (2021) The new housing precariat: experiences of precarious housing in Malmö, Sweden. *Housing Studies*. 38(7). pp. 1304–1322. doi: 10.1080/02673037.2021.1935775
4. Standing, G. (2014) *Prekariat: novyy opasnyy klass* [The Precariat: The New Dangerous Class]. Moscow: Ad Marginem Press.
5. Boram, K. (2019) Housing Inequality, the Precariat and Capabilities. *European Network for Housing Research (ENHR) 2019: Housing for the Next European Social Model*. Proc. of the Conference. August 27–30, 2019. Athens, Greece. Book of Abstracts. pp. 293.
6. Ancelovici, M. (2014) Home Owners as the New Precariat: The Mobilization for Dignified Housing in Spain. *XVIII ISA World Congress of Sociology*. Proc. of the Conference, July 13–19, 2014. Yokohama, Japan. Book of Abstracts. pp. 31.
7. Irazábal, C. (2018) Counter Land-Grabbing by the Precariat: Housing Movements and Restorative Justice in Brazil. *Urban Science*. 2(2). ID 49. doi: 10.3390/urbansci2020049
8. Dorling, D. (2014) *All that is solid: The great housing disaster*. London: Penguin.
9. Uu.se. (2024) Housing and Urban (In)Justice in Global North & South contexts. *The Common City Conference*. Proc. of the Conference. September 11–13, 2024. Uppsala, Sweden. [Online] Available from: <https://www.uu.se/en/departement/housing-and-urban-research/research/the-common-city-conference#HousingandUrban> (Accessed: 27th November 2024).
10. Münch, S. & Siede, A. (eds) (2022) *Precarious Housing in Europe: A Critical Guide*. Krems, Austria: Edition Donau-Universität Krems. doi: 10.48341/n0qk-fd13
11. Godart, P., Swyngedouw, E., Van Criekingen, M. & Van Heur, B. (2023) *The prevalence and consequences of evictions for the housing precariat in Brussels. Final report*. [Online] Available from: [https://bru-home.ulb.be/reports/final\\_report.pdf](https://bru-home.ulb.be/reports/final_report.pdf) (Accessed: 26th November 2024).
12. Köppe, S. (2016) Britain's new housing precariat: housing wealth pathways out of homeownership. *International Journal of Housing Policy*. 17(2). pp. 177–200. doi: 10.1080/14616718.2016.1185286
13. Litvintsev, D.B. (2022) *Zhilishchnaya sotsiologiya. Institut obshchego sobraniya sobstvennikov mnogokvartirnoy doma* [Housing Sociology. The Institution of the General Meeting of Owners in an Apartment Building]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University. doi: 10.17212/978-5-7782-4712-3
14. Hearne, R. (2020) *Housing Shock: The Irish Housing Crisis and How to Solve It*. Bristol, UK: Policy Press. doi: 10.56687/9781447353928
15. Gwon, M. (2018) Making 'My home': spatial strategies of young women as housing precariat. *Space and Environment*. 28(3). pp. 271–301. doi: 10.19097/kaser.2018.28.3.271
16. Park, M. (2017) Young single adults as an emerging housing precariat in Korea. *Space and Environment*. 27(4). pp. 110–140. doi: 10.19097/kaser.2017.27.4.110
17. Greenop, K. (2017) Understanding housing precarity: more than access to a shelter, housing is essential for a decent life. *Global Discourse*. 7(4). pp. 489–495. doi: 10.1080/23269995.2017.1393788
18. Martin, A. (n.d.) Precariat. *RE-DWELL*. [Online] Available from: <https://www.re-dwell.eu/concept-definition/72> (Accessed: 27th November 2024).
19. Clair, A., Reeves, A., McKee, M. & Stuckler, D. (2019) Constructing a housing precariousness measure for Europe. *Journal of European Social Policy*. 29(1). pp. 13–28. doi: 10.1177/0958928718768334
20. Rex, J. & Moore, R. (1967) *Race, Community and Conflict*. London: Oxford University Press for the Institute of Race Relations.
21. Turner, B.S. (ed.) (2017) *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*. London: Wiley Blackwell. doi: 10.1002/9781118430873.est0474
22. Haarder, J.H. (2020) The Precariat as Place: A Literary History of the Danish Ghetto. *Scandinavica*. 59(2). pp. 29–50. doi: 10.54432/scand/HOPJ6513

***Сведения об авторе:***

**Литвинцев Д.Б.** – кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия). E-mail: denlitv@inbox.ru

***Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the author:***

**Litvintsev D.B.** – Cand. Sci. (Sociology), associate professor, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: denlitv@inbox.ru

***The author declares no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 05.02.2025;  
одобрена после рецензирования 25.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 05.02.2025;  
//approved after reviewing 25.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 316.7

doi: 10.17223/1998863X/89/16

## КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ольга Владимировна Рогач<sup>1</sup>, Елена Викторовна Фролова<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия*

<sup>1</sup> *rogach16@mail.ru*

<sup>2</sup> *efrolova06@mail.ru*

**Аннотация.** Рассматриваются проблемы профессиональной деятельности современных муниципальных служащих, реализации их карьерных стратегий, мотивации труда и удовлетворенности работой. По результатам исследования делается вывод о наличии рисков профессионального выгорания муниципальных служащих, фрустрации карьерных потребностей. Установлена зависимость между эффективностью использования инструментов кадрового резерва и позитивными установками на развитие карьеры в муниципалитете.

**Ключевые слова:** муниципальная служба, кадровый резерв, кадровые технологии, карьерные стратегии, органы власти

**Для цитирования:** Рогач О.В., Фролова Е.В. Карьерные стратегии муниципальных служащих: перспективы и ограничения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 187–197. doi: 10.17223/1998863X/89/16

Original article

## CAREER STRATEGIES OF MUNICIPAL EMPLOYEES: PROSPECTS AND LIMITATIONS

Olga V. Rogach<sup>1</sup>, Elena V. Frolova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russian Federation*

<sup>1</sup> *rogach16@mail.ru*

<sup>2</sup> *efrolova06@mail.ru*

**Abstract.** The development of human resources in municipal service under contemporary conditions is one of the key factors in improving the standard and quality of life of the population, introducing innovations, and modernizing the local economy. This article examines the problems of professional activity among modern municipal employees, the implementation of their career strategies, labor motivation, and job satisfaction. The research method employed is a questionnaire survey of municipal employees ( $N = 3066$ ), conducted in January–February 2025. The study identified the reasons that diminish the motivation of municipal employees to perform high-quality work serving the population. Among these, of particular importance are problems of material incentives and limitations on career advancement within municipal service. In addition, respondents noted a high level of workload, routine tasks, and the multifaceted nature of their responsibilities. The results of the study revealed high risks of professional burnout among municipal employees, disappointment in the profession, and emotional exhaustion. The professional plans of municipal employees are characterized by a significant degree of variability: ranging from positive trends in localizing career strategies “within their own municipality” (33.8%) to the

desire to change jobs (moving to regional or federal government bodies, or to another sector). Another third of respondents (36.5%) exhibit a state of frustration regarding their career needs for achieving success, with no professional plans for the near future. A relationship was established between the effectiveness of using personnel reserve tools and positive attitudes toward career development within the municipality. Thus, among those who assess personnel reserve practices positively, the proportion of respondents oriented toward career growth in “their own municipality” is significantly higher. The article concludes that the implementation of long-term programs for employee retention and advancement, the popularization of narratives of professional success, and the use of HR technologies for career management contribute to increasing the motivation of municipal employees and reducing staff turnover in local government bodies.

**Keywords:** municipal service, personnel reserve, personnel technologies, career strategies, authorities

**For citation:** Rogach, O.V. & Frolova E.V. (2026) Career strategies of municipal employees: prospects and limitations. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 187–197. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/16

## Введение

Профессионализация муниципальных кадров выступает сегодня ключевым фактором социально-экономического развития российских территорий, внедрения инновационных моделей управления, повышения эффективности взаимодействия власти и населения, роста доверия [1]. Усложнение процессов принятия решений в муниципалитетах, необходимость быстрого реагирования на запросы местных сообществ доказывают необходимость управления профессиональным развитием муниципальных служащих как основного инструмента привлечения, закрепления и мотивации талантливых сотрудников, способных работать в режиме многозадачности и новых вызовов. По мнению экспертов, кадровые технологии в муниципальном управлении позволят обеспечить восходящий тренд в поддержке и продвижении профессиональных кадров, их закреплении на муниципальной службе на долгосрочной основе [2].

Стоит отметить, что реализация карьерных стратегий на муниципальной службе связана с правовым регулированием кадровых вопросов поступления, прохождения и увольнения из органов власти [3]. Несмотря на правовую однозначность данных процессов, формирование карьерных стратегий на муниципальной службе представляет собой многоуровневое явление, где, с одной стороны, прослеживается возможность горизонтальной ротации кадров в рамках муниципальных органов власти или вертикальной – в структуры государственного управления; с другой стороны, возможен и «выход» муниципальных чиновников из публичных органов в коммерческий сектор экономики. По мнению экспертов, динамичность кадровой политики на местном уровне становится ответом на внешние вызовы [4].

Современные муниципалитеты вынуждены выстраивать свою кадровую политику с учетом внешних ограничений, обусловленных дефицитом финансовых средств для материального стимулирования сотрудников, лимитированным набором мер мотивации [5]. Дополнительными факторами, снижающими эффективность кадровой муниципальной политики, выступают следующие: превышение объема рабочей нагрузки; регулярные переработки сотрудников, несоответствие поручений должностному функционалу при отсутствии материальной компенсации [6]. Указанные факторы риска услож-

няют задачу развития кадрового потенциала муниципальной службы, актуализируют вопросы формирования кадрового резерва, построения успешных карьерных траекторий работников муниципалитета.

Особую научную и практическую значимость приобретает анализ восприятия муниципальными служащими своих карьерных траекторий в современных социально-экономических и политических условиях, что определило цель данного исследования. Авторами ставились задачи:

– по идентификации эмоционально-личностных установок муниципальных служащих (ассоциативное восприятие работы в муниципальных органах власти, профессиональное выгорание, усталость, деградация профессиональных ценностей и установок);

– планированию карьеры (долгосрочности и устойчивости карьерных траекторий в муниципалитете);

– оценке карьерных технологий и перспектив ротации (кадровый резерв, смена профессиональной деятельности).

Ключевым методом исследования, проведенного в январе–феврале 2025 г., стал анкетный опрос муниципальных служащих ( $N = 3\,066$ ). Помощь в организации исследования оказала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, что позволило охватить 36 субъектов РФ из разных федеральных округов. Обработка материалов исследования осуществлялась на программном обеспечении SPSS. В ходе интерпретации материалов исследования применялся метод сравнительного анализа, метод анализа произвольных таблиц сопряженности с использованием критерия  $\chi^2$ .

### **Привлекательность муниципальной службы как сферы профессиональной деятельности**

Результаты проведенного исследования показали дифференциацию оценок муниципальных служащих престижа своего профессионального статуса. В сумме практически треть респондентов (32,0%) высказали мнение, иллюстрирующее ту или иную степень привлекательности муниципальной службы («высокая», «скорее высокая») как сферы реализации своих профессиональных и карьерных амбиций. Однако признаками некоторой регрессии оценок значимости института местного самоуправления в современной повестке может служить деструктивное восприятие престижа муниципальной службы в глазах ее работников. Отмечается значительная доля тех, кто затрудняется в своих оценках (29,4%). При этом, что более важно, доминирующая доля муниципальных служащих рассматривает привлекательность сферы своей профессиональной деятельности в низком диапазоне – 38,6% («низкий», «скорее низкий»).

Согласно полученным данным, 75,4% муниципальных служащих в начале своего карьерного пути в местных органах управления рассматривали работу во властной вертикали с позиции ее престижа. Стоит отметить, что данное восприятие свойственно россиянам в целом. Так, в опросах ВЦИОМ престиж и доходность работы на государственной службе имеют достаточно высокое признание<sup>1</sup>. Однако общий ареал престижа, доходности и высокого

<sup>1</sup> Официальный сайт ВЦИОМ. Наиболее престижные и доходные профессии: мониторинг. 12 сентября. 2024. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/naibolee-prestizhnye-i-dokhodnye-professii-monitoring>

статуса работы в государственных органах власти при «заземлении» на уровне муниципалитетов не подкрепляется реальными практиками.

### Эмоционально-личностные установки и мотивация муниципальных служащих

Результаты исследования иллюстрируют положительные оценки мотивации муниципальных служащих (66,1% в совокупности выбрали вариант ответа «высокая» и «скорее, высокая»), при этом, однако, имеется ряд деструктивных факторов, снижающих ее уровень. В частности, 55,6% отмечают режим многозадачности, 47,8% – чрезмерную загруженность. Работа в муниципальных органах власти сопровождается выполнением рутинных функций, бумажной волокитой, необходимостью решения многоплановых задач, наличием конфликтных рисков и высоких требований со стороны руководства. Указанные деструкции не компенсируются финансовой составляющей и темпами продвижения по карьерной лестнице. Так, 65,6% респондентов не удовлетворены уровнем материального поощрения на муниципальной службе; 44,9% – возможностями карьерного роста.

Возможно, данное обстоятельство определило, возникновение чувства усталости и равнодушия среди муниципальных служащих. С определенной частотой его испытывают 8 из 10 опрошенных (рис. 1). Принимая во внимание тот факт, что 88,4% опрошенных в начале своего профессионального пути в муниципальных органах власти демонстрировали стремление «внести вклад в развитие своего города/села и помогать людям», дефициты в эмоционально-личностных установках муниципальных служащих следует рассматривать как весьма опасный фактор возможной инверсии их профессиональных ценностей.

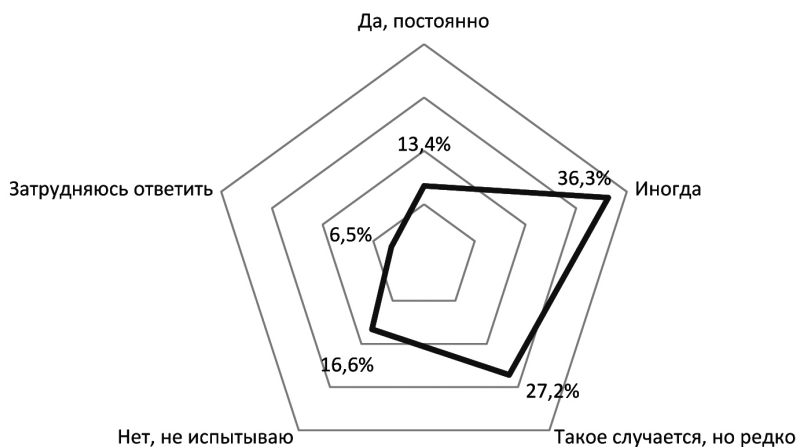


Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Испытываете ли Вы чувства усталости от работы, равнодушия?»

Профессиональное выгорание, характеризуемое в научной литературе как эмоциональное истощение, накопление негатива (цинизм, скептицизм, отстраненность), представляет собой серьезные риски для местного самоуправления [7]. Дистанцированность, интерпретационные смещения в восприятии своей профессиональной роли муниципальными служащими могут суще-

ственным образом снижать их включенность в решение насущных проблем жизнеобеспечения населения, эффективность деятельности органов местного самоуправления.

В отраслевых науках внимание исследователей направлено на установление мотивационных детерминант в формировании удовлетворенности муниципальных служащих условиями работы и их влияния на выбор дальнейших траекторий карьерного пути. В исследовании, проведенном С.К. Хаидовым, на эмпирической базе муниципалитетов Мурманской области делается вывод, что в мотивационных установках муниципальных служащих имеют место отрицательные корреляционные связи между «побуждением помогать другому» и «суверенностью целевыдвижения» [8]. Это значит, что усиление одного из параметров в мотивации муниципальных служащих будет приводить к снижению второго, что, в целом, подтверждает ценностно-смысловое содержание муниципальной службы, фокусировку ее приоритетов на принципах общественного служения.

### Профессиональные планы и карьерные стратегии муниципальных служащих

Несмотря на достаточно выраженное профессиональное выгорание (37,7% в той или иной степени чувствуют разочарование в профессии), смена места работы не входит в жизненные планы муниципальных служащих на ближайшую перспективу (45,4% респондентов не задумывались об уходе из органов местного самоуправления). В сумме лишь 2 из 10 муниципальных служащих демонстрируют уверенную готовность сменить место своей работы: 14,3% планируют уйти из органов муниципальной власти в ближайшее время, 4,8% уже ищут работу (рис. 2).

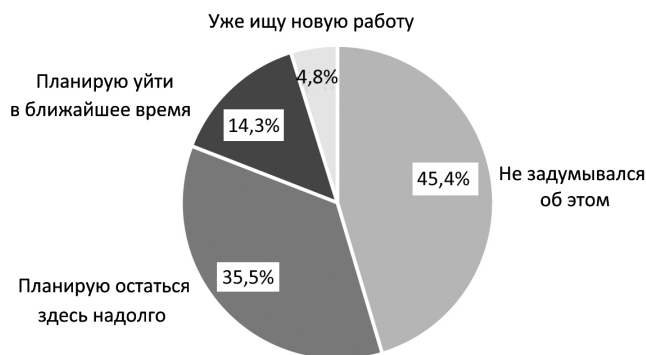


Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы остаться на муниципальной службе надолго или рассматриваете возможность ухода?», %

Анализ таблиц сопряженности позволил установить наличие статистически значимой зависимости между формированием профессионального выгорания и текучестью кадров. Вполне закономерной выглядит следующая тенденция: среди тех муниципальных служащих, кто испытывает чувство разочарования в профессии (выбор варианта ответа «да») существенно выше доля работников, запланировавших уход из местных органов власти на ближайшую перспективу – 39,4% (выше средних значений по выборке на 25,1 п.);

при этом существенно ниже доля тех из них, кто рассматривает муниципальную службу как долгосрочный карьерный тренд – 9,4% (ниже средних значений по выборке на 26,1 п.).

Неудовлетворенность муниципальных служащих возможностями продвижения по служебной иерархии, профессиональное выгорание оказывают существенное воздействие на конфигурацию их карьерных планов. Так, более 1/3 респондентов (36,5%) демонстрируют размытость личностных ориентиров профессионального развития, выбирая вариант «ничего не планирую». Почти треть муниципальных служащих продумывают разрыв своих трудовых отношений с органами местного самоуправления, выбирая между переходом на государственную службу регионального/федерального уровня (15,3%) и другой сферой деятельности (14,4%). Только для 33,8% респондентов характерен высокий уровень организационной приверженности, локализации карьерных перспектив в рамках «своего муниципалитета».

Исторический контекст формирования в советском политическом дискурсе восходящей мобильности управленческих кадров иллюстрирует наличие «разветвленной сети социальных механизмов <их> идеологической и профессиональной подготовки» [9]. Современные же реалии, по мнению И.А. Лаврова и О.В. Крыштановской, инициировали стохастический характер социальной мобильности муниципальных чиновников, снизив прозрачность ее механизмов и трансформировав модель социальной стратификации управленческих кадров на местах. Сужение каналов политического лидерства на местах обусловлено дисфункциональностью существующих практик рекрутирования перспективных сотрудников, отсутствием четких критериев отбора и систем оценивания [10]. А.А. Куракин обращает внимание на дифференциацию карьерных траекторий муниципальных служащих, наличие «параллельных лестниц»; если на низших должностях установлен «карьерный предел», то сотрудники высшего звена начинают свой старт уже с позиций, установленных выше данного барьера [11]. Подтверждением данного вывода может служить низкий уровень удовлетворенности муниципальных служащих перспективами карьерного роста. Отсутствие условий для справедливой конкуренции, клановость, протекционизм в кадровой работе органов власти задает крайне ограниченный репертуар карьерных стратегий муниципальных служащих [12], инициирует формирование фрустраций профессиональных потребностей в достижении успеха. Об этом, в частности, свидетельствуют пассивные репрезентации карьерных перспектив в оценках респондентов (36,5% «ничего не планируют»).

### **Кадровый резерв развития муниципальной службы**

Возможным компенсатором профессионального выгорания, инструментом преодоления карьерных разочарований может служить кадровый резерв. Однако эффективность использования данной кадровой технологии позитивно оценила только половина муниципальных служащих: 23,1% – «в целом эффективен», 27,8% – «скорее эффективен, чем не эффективен». Дифференциация мнений респондентов свидетельствует о высоком уровне вариативности использования кадрового резерва на муниципальной службе. По мнению Т.В. Зайцевой и Т.Г. Нежиной, реализация данной технологии определяется часто «интуитивно» выбранным управленческим вектором, сопровождается

такими флуктуациями, как гипертрофированность одних функций в ущерб другим, фокусировка на несвойственных и/или дополнительных задачах, нарушение логики требований к кандидатам, дисфункции процедур отбора и кадровых методик [12].

Кадровые технологии в органах власти в большей степени представлены кейсами федеративных структур, являя интегрированные механизмы отбора потенциально перспективных служащих для замещения вышестоящих должностей. Однако можно заметить, что свойственное государственной службе смещение восприятия резервистов от «запасных игроков» к «ресурсу развития» [13, 14] не воспроизводится в той же мере на уровне современных муниципалитетов. Характерная для муниципалитетов текучесть кадров, выстраивание альтернативных карьерных траекторий перехода на государственную службу также оказывают тормозящее воздействие на популяризацию в муниципальной практике инструментов резервирования. Косвенным свидетельством сложившейся ситуации может выступать крайняя недостаточность материалов анализа кейсов российских муниципалитетов, представленных в научной литературе; наблюдается существенное смещение интересов российских авторов на дисфункции и точки развития кадровых резервов государственной службы. Вместе с тем, по мнению Т.Э. Каллагова, новые экономические и политические реалии формируют запрос на устойчивость института муниципальной власти, что может быть достигнуто путем качественно нового подхода в использовании кадрового резерва. Данный инструмент призван стать «фильтром» отбора не просто профессиональных кадров, но кадров новой формации – наиболее способных к эффективному управлению, согласно своим деловым, моральным и этическим качествам [15].

Можно проследить ряд зависимостей между карьерными планами муниципальных служащих и оценками эффективности кадрового резерва (таблица). Прослеживается восходящий тренд увеличения доли респондентов, планирующий карьерный рост в рамках «своего муниципалитета» по мере повышения оценок эффективности кадрового резерва.

**Зависимость между карьерными планами муниципальных служащих и оценками эффективности кадрового резерва муниципальной службы, %**

Как вы планируете свою дальнейшую карьеру?	Оцените по 5-бальной шкале эффективность кадрового резерва муниципальной службы					
	Неэффективен	Скорее неэффективен, чем эффективен	Скорее эффективен, чем неэффективен	В целом эффективен	Полностью эффективен	Среднее по выборке
Хочу «расти» в своем муниципалитете	26,7	26,0	36,7	41,7	49,3	33,8
Рассматриваю возможность карьерного роста на других уровнях управления (регион, федеральный уровень)	17,3	17,8	14,2	13,2	18,2	15,3
Планирую уйти в другую профессиональную сферу	25,2	20,6	9,5	6,6	14,3	14,4
Ничего не планирую	30,8	35,6	39,6	38,5	33,3	36,5

*Примечание.* Значение критерия  $\chi^2$  составляет 178,548. Критическое значение  $\chi^2$  при уровне значимости  $p = 0,01$  составляет 26,217. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости  $p < 0,01$ .

Источник: составлено по результатам авторского исследования.

Наличие в органах местного самоуправления долгосрочных программ удержания и продвижения сотрудников, закрепляющих не имитационные, а реальные нарративы успеха, могут выступать в качестве ключевого фактора организационной приверженности муниципальных служащих, снижения текучести кадров. Так, среди тех, кто считает кадровый резерв «полностью эффективным» значительно выше доля респондентов, планирующих карьерный рост «в своем муниципалитете» (49,3%, что выше средних значений по выборке на 15,5 п.). Аналогично прослеживается тренд, связанный с ростом планов по смене профессиональной сферы среди тех муниципальных служащих, которые не видят в кадровом резерве эффективного инструмента развития карьеры.

## **Заключение**

Результаты исследования показали, с одной стороны, высокий уровень мотивации муниципальных служащих к высокому качеству работы с населением, а с другой – значительные риски профессионального выгорания. Эмоциональное истощение, формирование чувства разочарования в профессии обусловлены наличием ряда организационных дисфункций в деятельности современных муниципалитетов: перманентные переработки сотрудников, режим многозадачности, превышение объема выполняемых работ над установленным должностным функционалом, недостаточность мер материального стимулирования. Факторы риска существенным образом трансформируют профессиональные планы и карьерные стратегии муниципальных служащих. Достаточно ожидаемыми стали результаты исследования, иллюстрирующие зависимость между выгоранием, эмоциональным истощением и желанием уйти из профессии.

Профессиональные планы муниципальных служащих характеризуются значительным уровнем вариативности. Можно выделить наиболее типичные модели планирования: локализация карьерных стратегий «в своем муниципалитете» (33,8%), поиск профессиональных альтернатив (переход на региональный/федеральный уровень или смена сферы деятельности). Помимо данных групп, следует отметить, что треть респондентов (36,5%) находятся в состоянии фрустрации своих профессиональных потребностей в развитии карьеры, достижении успеха, для них характерна пассивность, отсутствие профессиональных планов на ближайшую перспективу.

Эффективность формирования кадрового резерва, выступающего легитимным инструментом карьерного планирования, не получила однозначной оценки в ответах муниципальных служащих. При этом было установлено, что среди тех респондентов, кто положительно оценивает эффективность использования инструментов кадрового резервирования, значительно выше доля муниципальных служащих, планирующих карьерный рост в рамках «своего муниципалитета». Можно предположить, что установление четких правил должностного продвижения, прозрачность процедур отбора, использование современных кадровых технологий являются механизмами снижения текучести кадров, удержания и мотивации перспективных сотрудников.

## Список источников

1. Фролова Е.В., Рогач О.В., Шалашишникова В.Ю. Доверие населения к сити-менеджеру: новые подходы развития местного самоуправления // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 185–193.
2. Подвальный Е.С. Актуальные задачи реализации кадровой политики на муниципальной службе в Администрации Лискинского муниципального района Воронежской области // Регион: системы, экономика, управление. 2022. № 4 (59). С. 112–116.
3. Потанина И.В., Жаглин Г.К. Реализация кадровой политики в единой системе публичной власти в субъектах Российской Федерации // Регион: системы, экономика, управление. 2024. № 4 (67). С. 119–124.
4. Каллагов Т.Э. К вопросу о государственной муниципальной кадровой политике в современной России: конституционно-правовой аспект // Вестник экономической безопасности. 2023. № 2. С. 86–88.
5. Шишков Н.Н., Андруник А.П. Особенности управления кадровым потенциалом органов местного самоуправления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 8. С. 186–192. doi: 10.24412/2220-2404-2024-8-19
6. Суркова И.Ю., Дьяконова А.А. Специфика социально-трудовых конфликтов на муниципальной службе: причины возникновения и стратегии разрешения // Гуманитарный научный журнал. 2021. № 1. С. 82–88.
7. Schaufeli W.B., Desart S., De Witte H. Burnout Assessment Tool (BAT) – development, validity, and reliability // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. № 17 (24). P. 9495. doi: 10.3390/ijerph17249495
8. Хаидов С.К. Корреляционные зависимости в мотивационной составляющей личностно-профессиональных качеств муниципальных служащих // Вестник университета. 2023. № 7. С. 257–263.
9. Лавров И.А., Крыштановская О.В. Социальная мобильность и конкурс «Лидеры России» // Ars Administrandi (Искусство управления). 2023. Т. 15, № 2. С. 292–310.
10. Шалашишникова В.Ю., Фролова Е.В., Рогач О.В. Модель «сити-менеджер» как канал формирования политического лидерства в муниципальных образованиях РФ // Вестник Пермского университета. Политология. 2024. Т. 18, № 2. С. 36–46.
11. Куракин А.А. Карьерные траектории муниципальных служащих: два типа профессиональной мобильности (на примере Новгородской области) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2013. № 3. С. 157–169.
12. Зайцева Т.В., Нежина Т.Г. Привлечение молодежи на государственную и муниципальную службу: опыт регионов России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 1. С. 160–189.
13. Комиссаров А.Г., Шебураков И.Б. Кадровые резервы в системе государственного управления: опыт и новые смыслы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2024. № 1. С. 7–38. doi: 10.17323/19995431-2024-0-1-7-38
14. Масленникова Е.В., Шебураков И.Б., Татарнинова Л.Н. Анализ применения кадровых резервов в системе государственного управления // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2022. № 22 (2). С. 324–336.
15. Каллагов Т.Э. Организационно-правовые основы формирования кадрового резерва на муниципальной службе Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 4. С. 42–47.

## References

1. Frolova, E.V., Rogach, O.V. & Shalashnikova, V.Yu. (2024) Public Trust in the City Manager: New Ways to Develop Local Self-Government. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 185–193. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/17
2. Podvalnyy, E.S. (2022) Aktual'nye zadachi realizatsii kadrovoy politiki na munitsipal'noy sluzhbe v Administratsii Liskinskogo munitsipal'nogo rayona Voronezhskoy oblasti [Current Tasks of Implementing Personnel Policy in the Municipal Service in the Administration of the Liskinsky Municipal District of the Voronezh Region]. *Region: sistemy, ekonomika, upravlenie*. 59(4). pp. 112–116.
3. Potanina, I.V. & Zhaglin, G.K. (2024) Realizatsiya kadrovoy politiki v edinoj sisteme publichnoy vlasti v sub'ektakh Rossiyskoy Federatsii [Implementation of Personnel Policy in the

Unified System of Public Authority in the Subjects of the Russian Federation]. *Region: sistemy, ekonomika, upravlenie*. 67(4). pp. 119–124.

4. Kallagov, T.E. (2023) K voprosu o gosudarstvennoy munitsipal'noy kadrovoy politike v sovremennoy Rossii: konstitutsionno-pravovoy aspekt [On the Issue of State Municipal Personnel Policy in Modern Russia: Constitutional and Legal Aspect]. *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti*. 2. pp. 86–88.

5. Shishkov, N.N. & Andrunik, A.P. (2024) Osobennosti upravleniya kadrovym potentsialom organov mestnogo samoupravleniya [Features of Managing the Personnel Potential of Local Self-Government Bodies]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki*. 8. pp. 186–192. doi: 10.24412/2220-2404-2024-8-19

6. Surkova, I.Yu. & Dyakonova, A.A. (2021) Spetsifika sotsial'no-trudovykh konfliktov na munitsipal'noy sluzhbe: prichiny vozniknoveniya i strategii razresheniya [Specifics of Social and Labor Conflicts in Municipal Service: Causes and Resolution Strategies]. *Gumanitarnyy nauchnyy zhurnal*. 1. pp. 82–88.

7. Schaufeli, W.B., Desart, S. & De Witte, H. (2020) Burnout Assessment Tool (BAT) – development, validity, and reliability. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 17(24). 9495. doi: 10.3390/ijerph17249495

8. Khaidov, S.K. (2023) Korrelyatsionnye zavisimosti v motivatsionnoy sostavlyayushchey lichnostno-professional'nykh kachestv munitsipal'nykh sluzhashchikh [Correlations in the Motivational Component of Personal and Professional Qualities of Municipal Employees]. *Vestnik universiteta*. 7. pp. 257–263.

9. Lavrov, I.A. & Kryshtanovskaya, O.V. (2023) Sotsial'naya mobil'nost' i konkurs “Lidery Rossii” [Social Mobility and the “Leaders of Russia” Competition]. *Ars Administrandi (Iskusstvo upravleniya)*. 15(2). pp. 292–310.

10. Shalashnikova, V.Yu., Frolova, E.V. & Rogach, O.V. (2024) Model' “siti-menedzher” kak kanal formirovaniya politicheskogo liderstva v munitsipal'nykh obrazovaniyakh RF [The “City Manager” Model as a Channel for the Formation of Political Leadership in Municipalities of the Russian Federation]. *Vestnik Permskogo universiteta. Politologiya*. 18(2). pp. 36–46.

11. Kurakin, A.A. (2013) Kar'ernye traektorii munitsipal'nykh sluzhashchikh: dva tipa professional'noy mobil'nosti (na primere Novgorodskoy oblasti) [Career Trajectories of Municipal Employees: Two Types of Professional Mobility (The Case of the Novgorod Region)]. *Vestnik RUDN. Seriya: Sotsiologiya*. 3. pp. 157–169.

12. Zaytseva, T.V. & Nezhina, T.G. (2019) Privlechenie molodezhi na gosudarstvennyuyu i munitsipal'nyuyu sluzhbu: opyt regionov Rossii [Attracting Youth to State and Municipal Service: Experience of Russian Regions]. *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya*. 1. pp. 160–189.

13. Komissarov, A.G. & Sheburakov, I.B. (2024) Kadrovye rezervy v sisteme gosudarstvennogo upravleniya: opyt i novye smysly [Personnel Reserves in the Public Administration System: Experience and New Meanings]. *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya*. 1. pp. 7–38. doi: 10.17323/19995431-2024-0-1-7-38

14. Maslennikova, E.V., Sheburakov, I.B. & Tatarinova, L.N. (2022) Analiz primeneniya kadrovyykh rezervov v sisteme gosudarstvennogo upravleniya [Analysis of the Application of Personnel Reserves in the Public Administration System]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya*. 22(2). pp. 324–336.

15. Kallagov, T.E. (2021) Organizatsionno-pravovyye osnovy formirovaniya kadrovogo rezerva na munitsipal'noy sluzhbe Rossiyskoy Federatsii [Organizational and Legal Foundations for the Formation of a Personnel Reserve in the Municipal Service of the Russian Federation]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. 4. pp. 42–47.

#### **Сведения об авторах:**

**Рогач О.В.** – доцент, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Финансового университета при Правительстве РФ (Москва, Россия). E-mail: rogach16@mail.ru

**Фролова Е.В.** – профессор, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Финансового университета при Правительстве РФ (Москва, Россия). E-mail: efrolova06@mail.ru

**Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.**

***Information about the authors:***

**Rogach O.V.** – Dr. Sci. (Sociology), docent, professor at the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: rogach16@mail.ru

**Frolova E.V.** – Dr. Sci. (Sociology), full professor, professor at the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: efrolova06@mail.ru

***The authors declare no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 17.04.2025;  
одобрена после рецензирования 25.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 17.04.2025;  
approved after reviewing 25.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Original article

УДК 316.4

doi: 10.17223/1998863X/89/17

## THE EVOLUTION OF IDENTITY POLITICS IN BANGLADESH: HISTORICAL ROOTS, CONTEMPORARY CHALLENGES, AND IMPLICATIONS FOR CIVIL SOCIETY

**Shrabanti Kundu**

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,  
shrabanti.ku15@gmail.com*

**Abstract.** This study investigates the evolution of identity politics in Bangladesh, tracing its origins from colonial legacies to contemporary challenges under the lens of neocolonialism theory. It examines how religious, ethnic, and linguistic identities have shaped political dynamics, fostering both mobilization and societal division. The research highlights historical roots, including British divide-and-rule policies and the 1947 partition, which entrenched communal tensions, and modern dynamics such as the Rohingya crisis and Chittagong Hill Tracts conflicts, exacerbated by neocolonial economic dependencies. Drawing on interviews with students from various universities, it assesses the impact on civil society and democracy, revealing how global influences fragment advocacy efforts and enable authoritarian practices like the Digital Security Act. The study proposes strategies – implementing the 1997 Peace Accord, reforming media, and promoting interfaith dialogue – to mitigate tensions and foster inclusive governance. By analyzing these issues, it offers insights into resisting neocolonial domination, strengthening democratic resilience, and addressing identity-driven politics in postcolonial contexts, with broader implications for global governance.

**Keywords:** identity politics, Bangladesh, civil society, neocolonialism, global governance

**Acknowledgments:** The article was prepared within the framework of the Fundamental Research Program at HSE University.

**For citation:** Kundu, Sh. (2026) The evolution of identity politics in Bangladesh: historical roots, contemporary challenges, and implications for civil society. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 198–205. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/17

Научная статья

## ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В БАНГЛАДЕШ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ, СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

**Шрабанти Кунду**

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
Москва, Россия, shrabanti.ku15@gmail.com*

**Аннотация.** Анализируется эволюция политики идентичности в Бангладеш через призму неокolonизма – от колониальной политики «разделяй и властвуй» и раздела 1947 г. до современных кризисов (рохинджа, Читтагонгский горный район). На основе интервью со студентами оценивается влияние на гражданское общество и демо-

кратию, включая фрагментацию правозащитных усилий и авторитарные практики. Предлагаются стратегии: реализация Мирного соглашения 1997 г. и межконфессиональный диалог для укрепления инклюзивного управления.

**Ключевые слова:** политика идентичности, Бангладеш, гражданское общество, неокониализм, глобальное управление

**Благодарности:** статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

**Для цитирования:** Kundu Sh. The evolution of identity politics in Bangladesh: historical roots, contemporary challenges, and implications for civil society // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 198–205. doi: 10.17223/1998863X/89/17

## Introduction

Identity politics in Bangladesh, deeply embedded in colonial legacies and perpetuated through postcolonial and neocolonial structures, represents a profound challenge to national unity and democratic stability. This form of politics, characterized by mobilization along religious, ethnic, linguistic, and regional lines, has not only driven historical conflicts but also continues to influence state policies and societal relations in ways that reinforce divisions [1]. In a country experiencing rapid economic expansion – averaging 6–7% GDP growth annually – yet grappling with stark inequalities, such as a Gini coefficient hovering around 0.48, identity-based cleavages intensify social fragmentation. They marginalize vulnerable groups like religious minorities and indigenous communities, while undermining the capacity of civil society to advocate for pluralism and inclusive governance [2]. The persistence of these dynamics can be attributed to neocolonial influences, where global economic powers and institutions maintain indirect control through aid, trade, and cultural hegemony, exacerbating local identity conflicts to sustain dependency.

This study examines how identity politics has evolved in Bangladesh in the shadow of neocolonialism and analyzes its implications for civil society and democracy in an era of increasing authoritarianism. This question is timely, as Bangladesh's political landscape under the prolonged Awami League rule since 2009 has seen electoral controversies, suppression of dissent, and reliance on international financial institutions like the IMF and World Bank, which impose conditions that indirectly fuel identity tensions through economic policies favoring elites. This study draws on historical analysis, contemporary case studies like the Rohingya crisis and Chittagong Hill Tracts (CHT) conflicts, and neocolonialism theory to unpack these issues. By doing so, it aims to illuminate pathways for reform, such as strengthening local autonomy and reducing external dependencies, to foster a more inclusive political environment. Ultimately, understanding this evolution is crucial for addressing how neocolonial structures perpetuate identity politics, hindering Bangladesh's democratic aspirations and civil society's role as a mediator between state and society.

## Conceptual Framework

Identity politics involves the strategic mobilization of shared cultural, religious, or ethnic attributes to advance political agendas, often in opposition to hegemonic narratives that marginalize certain groups [3]. In Bangladesh, this

intersects with nationalism, where the Bengali linguistic identity post-partition clashed with imposed religious divisions, creating hybrid forms of belonging that reflect neocolonial influences [4]. Neocolonialism, as theorized by Kwame Nkrumah, refers to the indirect domination of postcolonial states by former colonial powers or global capitalism through economic dependency, cultural imperialism, and political interference, maintaining exploitation without formal rule [5]. This concept is key here, as it explains how international financial institutions and Western aid conditionality perpetuate inequalities that fuel identity conflicts.

Communalism, the politicization of religious differences, serves as a tool for elites to divert attention from economic disparities, a classic neocolonial tactic [6]. Neoliberalism, with its emphasis on market-driven reforms, intensifies these issues by prioritizing foreign investment over local needs, leading to resource extraction in peripheral regions like the CHT and exacerbating ethnic tensions [7]. Civil society, including NGOs and advocacy networks, acts as a buffer promoting democratic values, but under neocolonialism, it often becomes co-opted through foreign funding, limiting its independence [8]. Democracy, defined as participatory governance with accountability, is undermined when neocolonial dependencies enable authoritarian practices, such as suppressing minority voices to secure international loans.

This framework integrates postcolonial insights to show how colonial legacies evolve into neocolonial forms, sustaining identity politics in modern Bangladesh. For instance, the reliance on global markets for garments and remittances creates economic vulnerabilities that elites exploit through identity rhetoric, mirroring neocolonial control mechanisms seen across South Asia [9]. By centering neocolonialism, the framework reveals how external powers indirectly shape internal divisions, affecting everything from policy-making to social cohesion.

### **Historical Root of Identity Politics**

The roots of identity politics in Bangladesh lie in the British colonial period (1757–1947), where strategies of divide-and-rule systematically institutionalized religious and ethnic divisions to maintain control [10]. Policies such as the 1909 Indian Councils Act, introducing separate electorates for Muslims and Hindus, entrenched communal identities and sowed seeds of future conflicts [11]. The 1905 partition of Bengal, ostensibly for administrative efficiency but designed to weaken Bengali unity by separating Muslim-majority eastern areas, heightened tensions and was reversed in 1911 amid protests, yet its legacy of communalism persisted [12]. These tactics exemplified early neocolonial precursors, as they created dependencies on colonial arbitration for identity-based disputes. A Dhaka University student, who wanted to remain anonymous, reflected on this legacy, noting, “The British sowed division that still affects us – my grandparents spoke of how communities were pitted against each other for colonial gain”<sup>1</sup>.

The 1947 partition of India, a direct outcome of colonial policies, established East Pakistan along religious lines, triggering one of history’s largest migrations – over 10 million displaced – and widespread violence [4]. This event not only

---

<sup>1</sup> A student of Dhaka University who wanted to remain anonymous, interviewed by author, 15 January 2025, Shahbag, Dhaka.

altered demographics but also embedded neocolonial divisions, as the new borders reflected British geopolitical interests rather than organic cultural boundaries. Post-partition, West Pakistan's dominance over East Pakistan mirrored internal neocolonialism, with economic exploitation (East generated 60% of exports but received 25% of imports) and linguistic suppression fueling resentment [13]. The 1952 Language Movement, protesting Urdu imposition, resulted in deaths on February 21 and eventual Bengali recognition in 1956, fostering a nationalist identity as resistance to this internal domination [14]. An anonymous Jahangirnagar University student added, "The Language Movement was our first stand against external control – it shaped our identity against neocolonial pressures from Pakistan"<sup>1</sup>.

The 1971 Liberation War marked a violent decolonization effort, asserting secular Bengali identity against Pakistani rule, but neocolonial influences soon reemerged [15]. Post-independence, under Sheikh Mujibur Rahman, the 1972 Constitution emphasized nationalism, socialism, democracy, and secularism, yet economic dependencies on Western aid began shaping policies [8]. Military coups from 1975 introduced political Islam, with Ziaur Rahman adding Islamic preambles to the Constitution and Ershad declaring Islam the state religion in 1988, reflecting neocolonial shifts toward aligning with global anti-communist alliances [16]. These historical layers illustrate how colonial divisions evolved into neocolonial structures, perpetuating identity politics through economic and cultural dependencies that continue to influence Bangladesh's social fabric.

### Modern Dynamics of Identity Politics

In contemporary Bangladesh, identity politics manifests through electoral strategies, communal violence, and systemic minority marginalization, often amplified by neocolonial economic pressures. Major political parties, such as the Awami League and Bangladesh Nationalist Party (BNP), strategically mobilize religious identities to secure votes, leading to heightened polarization and societal rifts [17]. This tactic diverts attention from economic issues, a neocolonial legacy where global financial institutions like the World Bank impose austerity measures that exacerbate inequalities, forcing elites to rely on identity appeals for legitimacy. Significant challenges include the Rohingya crisis, where over 700,000 refugees fled Myanmar since 2017, straining Bangladesh's resources and inciting domestic anti-Muslim sentiments [18]. Neocolonialism plays a role here, as international aid—often conditional on Western interests – positions Bangladesh as a buffer state, managing the crisis without adequate support, while global powers like China and India pursue strategic alliances that ignore humanitarian needs [18]. A Daffodil International University student, anonymous participant, observed, "The Rohingya issue feels like a neocolonial trap—aid comes with strings, and we're left managing it alone"<sup>2</sup>.

Communal attacks on Hindu minorities and indigenous groups, frequently incited by social media misinformation, threaten social harmony and reflect neocolonial cultural imperialism, where Western tech platforms amplify divisive narratives without local accountability [19]. The Chittagong Hill Tracts (CHT)

<sup>1</sup> Anonymous, student of Jahangirnagar University, interviewed by author, 20 January 2025, Savar, Dhaka.

<sup>2</sup> A student of Daffodil International University, anonymous participant, interviewed by author, 10 January 2025, Khilkhet, Dhaka.

exemplify ethnic tensions, where indigenous Pahari communities demand autonomy unmet since the 1997 Peace Accord [20]. This region faces internal neocolonialism, with state-sponsored Bengali settlements displacing natives for resource extraction, driven by neocolonial development models prioritizing foreign investment in mining and hydropower [7]. Neoliberal policies, endorsed by IMF loans, widen these inequalities, justifying repression under the guise of national security and hindering democratic discourse by labeling dissent as separatist [21]. In this increasingly authoritarian climate, student movements have faced suppression, yet their structure offers resilience. As one EWU student noted, “In this increasingly authoritarian political climate, we have seen before that this government has been able to easily manipulate or suppress any movement by identifying the leader or leaders. One of the strengths of this movement was its leaderlessness or horizontal structure of the movement.”<sup>1</sup> An anonymous Southeast University student added, “We organize quietly to avoid crackdowns—neocolonial powers don’t want us united”<sup>2</sup>.

### **Theoretical Analysis**

Neocolonialism theory, pioneered by Kwame Nkrumah and elaborated by Walter Rodney, offers the most relevant framework for analyzing Bangladesh’s identity politics. It posits that postcolonial states remain under indirect domination by former colonial powers or global capitalism through economic dependency, cultural hegemony, and political interference, perpetuating exploitation and internal divisions [22]. In Bangladesh, neocolonialism explains how identity politics evolves as a tool for maintaining control, where global institutions like the IMF and World Bank impose structural adjustments that deepen inequalities, forcing elites to exploit religious and ethnic identities to deflect class-based unrest [22]. This theory highlights how colonial legacies transition into neocolonial forms, such as aid conditionality that prioritizes export-oriented growth (e.g., garments sector), marginalizing rural and minority groups and fueling ethnic tensions in areas like the CHT [7].

Unlike overt colonialism, neocolonialism operates subtly, using NGOs – often funded by Western donors – to promote liberal agendas that co-opt civil society, diluting indigenous resistance and reinforcing elite power [8]. In Bangladesh, this manifests in the politicization of Islam post-1975, aligning with Cold War neocolonial alliances against socialism, which reshaped national identity from secular Bengali to Islam-infused Bangladeshi [8]. Neocolonialism reveals identity mobilizations as responses to dependency, where minorities like Rohingya or Paharis are excluded to serve global interests, such as border security for India or China [18]. A student from NSU, preferring anonymity, emphasized this resistance, stating, “The lack of centralized leadership allows us to evade government crackdowns, which rely on targeting individuals, showing how we fight back against imposed control”<sup>3</sup>. An anonymous BRAC University student

---

<sup>1</sup> A student of East West University who wanted to remain anonymous, interviewed by author, 13 January 2025, Shahbag, Dhaka.

<sup>2</sup> Anonymous, student of Southeast University, interviewed by author, 18 January 2025, Banani, Dhaka.

<sup>3</sup> Anonymous, student of North South University, interviewed by author, 8 January 2025, Basundhara, Dhaka.

elaborated, “Foreign influence shapes our protests—without it, we might focus more on unity than division”<sup>1</sup>. This decentralized approach aligns with neocolonialism’s critique of top-down domination, suggesting that identity politics serves as a grassroots counter to external economic and political pressures.

### **Implications for Civil Society and Democracy**

Identity politics, viewed through neocolonialism, profoundly impacts civil society and democracy in Bangladesh. Civil society, comprising NGOs, media, and advocacy organizations, becomes fragmented along religious and ethnic lines, diminishing its effectiveness in countering state repression [23]. Neocolonial funding from Western donors often conditions NGO activities, transforming them into extensions of global agendas rather than independent voices, thus co-opting efforts to address identity conflicts [8]. For instance, international aid for Rohingya relief, while essential, creates dependencies that limit civil society’s autonomy, as organizations prioritize donor priorities over local needs [18]. An anonymous student from Khulna University noted, “NGOs here are more about foreign agendas than our struggles – neocolonialism keeps us weak”<sup>2</sup>.

This fragmentation enables state control, exemplified by laws like the Digital Security Act, which stifle dissent under the pretext of national security, further eroding civil society’s watchdog role [16]. Democracy suffers as neocolonial economic pressures encourage authoritarian practices, such as electoral malpractices and judicial politicization, to maintain stability for foreign investments [24]. Identity politics exacerbates this backsliding by marginalizing minorities, polarizing voters, and justifying exclusionary policies that undermine inclusive participation [10]. However, civil society holds potential for resistance. An anonymous student from Northern University, Bangladesh, stated, “We’re trying to build networks across communities, but foreign money makes it hard to stay independent”<sup>3</sup>. By promoting interfaith dialogues and grassroots initiatives, civil society can challenge neocolonial divisions, fostering unity against dependency. Inclusive policies, like empowering indigenous groups in CHT, could bolster democratic resilience, reducing neocolonial leverage [7]. Ultimately, addressing these implications requires decolonizing civil society from external influences to strengthen democracy.

### **Discussion and Conclusion**

This study unveils identity politics in Bangladesh as a dual-edged phenomenon, serving as both a mobilizing force and a persistent source of societal division. By applying neocolonialism theory, the analysis highlights how identity-based mobilizations – rooted in religion, ethnicity, and language—extend beyond immediate concerns to resist ongoing external domination and demand authentic self-determination [5]. The historical trajectory, from colonial divide-and-rule to postcolonial shifts like the rise of political Islam, has entrenched these identities, shaping a political landscape where unity and conflict coexist under neocolonial pressures [6]. Modern manifestations, such as electoral polarization and ethnic

<sup>1</sup> Anonymous, student of BRAC University, interviewed by author, 13 January 2025, Badda, Dhaka.

<sup>2</sup> Anonymous, student of Khulna University, interviewed by author, 3 February 2025, Khulna.

<sup>3</sup> An anonymous student of Northern University, Bangladesh, interviewed by author, 5 February 2025, Khulna.

tensions in regions like the Chittagong Hill Tracts, underscore the ongoing struggle for recognition amid global economic influences [25].

The implications for civil society and democracy are critical. Identity politics fragments civil society, splintering advocacy groups along religious and ethnic lines, which weakens their ability to counter state repression, exemplified by restrictive laws like the Digital Security Act [16]. Democracy faces erosion through electoral irregularities and a politicized judiciary, diminishing public trust and inclusivity, as neocolonial dependencies prioritize stability for foreign capital over genuine participation [10]. However, neocolonialism's emphasis on indirect control suggests a pathway forward, where civil society could harness these divisions to foster anti-dependency alliances, provided it adapts to the authoritarian context.

Significant challenges persist. The current regime's centralized control and neoliberal policies deepen inequalities, fueling identity conflicts that resist easy resolution [17]. Neocolonialism theory, while insightful for its focus on economic hegemony, may not fully capture the cultural resistances shaping identity in a developing nation, where global aid often intertwines with local survival [26]. Further research could integrate case studies on aid impacts to address this gap, enhancing the theory's relevance. The Rohingya crisis and communal violence further complicate efforts, necessitating nuanced strategies [18].

In conclusion, identity politics in Bangladesh reflects a historical evolution into a dynamic contest against neocolonial domination for cultural meaning and democratic space. Implementing the 1997 Peace Accord, reforming media to reduce hate speech, and encouraging interfaith initiatives could mitigate tensions [20]. A balanced approach, integrating sovereign governance with recognition of diverse identities, is vital for social cohesion. This study advocates for a revitalized civil society, guided by neocolonialism principles, to navigate these complexities and strengthen democratic foundations. These findings offer valuable insights for understanding identity-driven politics in postcolonial settings, with potential lessons for global decolonization challenges.

### Reference

1. Amin, S.N. (2024) The impact of identity politics in challenging national narratives: A case study among Canadian Muslims. *Studies in Ethnicity and Nationalism*. 24(1). pp. 105–120.
2. Devine, J. & White, S.C. (2012) Religion, politics and the everyday moral order in Bangladesh. *Journal of Contemporary Asia*. 43(1). pp. 127–148.
3. Absar, N. (2014) Muslim identity, Bengali nationalism: An analysis on nationalism in Bangladesh. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. [s.l.]: Richtmann Publishing.
4. Ahmed, I. (2002) The 1947 Partition of India: A Paradigm for Pathological Politics in India and Pakistan. *Asian Ethnicity*. 3(1). pp. 9–28.
5. Rodney, W. (1972) *How Europe Underdeveloped Africa*. London: Bogle-L'Ouverture Publications.
6. Hakim, M.A. (1998) The use of Islam as a political legitimization tool: The Bangladesh experience, 1972–1990. *Asian Journal of Political Science*. 6(2). pp. 98.
7. Adnan, S. (2004) *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Dhaka: Research and Advisory Services.
8. Alavi, H. (1972) The State in Post-Colonial Societies. *Pakistan and Bangladesh*. *New Left Review*. 74. pp. 59–81.
9. Bhardwaj, S. (2010) *Contesting Identities in Bangladesh: A Study of Secular and Religious Frontiers*. London: London School of Economics.
10. Wolff, B. (2021) Restoring the glory of Serampore. Colonial heritage, popular history and identity during rapid urban development in West Bengal. *International Journal of Heritage Studies*. 27(8). pp. 777–791.

11. Ilbert, C. (1911) The Indian Councils Act, 1909. *Journal of the Society of Comparative Legislation*. 11(2). pp. 243–254.
12. Sadia, T.T. (2023) Communal violence in Bangladesh: A study of the underlying factors behind the persistent attacks on the non-Muslim communities. *Asian Journal of Comparative Politics*. 9(4). pp. 449–471.
13. Murshid, T.M. (1995) *The Sacred and the Secular: Bengal Muslim Discourses, 1871–1977*. Calcutta: Oxford University Press.
14. Murshid, T.M. (2022) Bengali Identity, Secularism and the Language Movement. In: Khondker, H., Muurlink, O. & Bin Ali, A. (eds) *The Emergence of Bangladesh*. Singapore: Palgrave Macmillan.
15. Shahadevan, P. (2003) *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story*. Delhi: Sage.
16. Lewis, D. (2013) Civil society and the authoritarian state: Cooperation, contestation and discourse. *Journal of Civil Society*. 9(3). pp. 325–340.
17. Piazza, J.A. (2023) Political Polarization and Political Violence. *Security Studies*. 32(3). pp. 476–504.
18. Haque, M.M. (2021) Stranded Rohingya in "No-Man's Land" between Myanmar and Bangladesh. *Asian Affairs: An American Review*. 48(1). pp. 41–62.
19. Rifat, M.R. et al. (2024) The Politics of Fear and the Experience of Bangladeshi Religious Minority Communities Using Social Media Platforms. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*. 8(CSCW2). pp. 1–32.
20. Islam, R., Schech, S. & Saikia, U. (2022) Violent peace: Community relations in the Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh after the Peace Accord. *Conflict, Security & Development*. 22(3). pp. 271–295.
21. Patwary, S. (2023) The Dynamics of Conflict in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: A Case Study of the Jumma People. *Social Alternatives*. 42(1).
22. Nkrumah, K. (1965) *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. London: Thomas Nelson & Sons.
23. Amnesty International (2018) *Bangladesh: New Digital Security Act imposes dangerous restrictions on freedom of expression*. [Online] Available from: [s.l.]: [s.n.].
24. Lorch, J. (2021) Elite capture, civil society and democratic backsliding in Bangladesh, Thailand and the Philippines. *Democratization*. 28(1). pp. 81–102.
25. Islam, M.N. & Islam, M.S. (2018) Islam, politics and secularism in Bangladesh: Contesting the dominant narratives. *Social Sciences*. 7(3). pp. 37.

**Information about the author:**

**Kundu Sh.** – PhD, research assistant, International Laboratory for Social Integration Research, postgraduate student, Doctoral School of Sociology, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: shrabanti.ku15@gmail.com

**The author declares no conflicts of interests.**

**Сведения об авторе:**

**Кунду Ш.** – научный сотрудник Международной лаборатории исследований социальной интеграции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия); аспирант второго года, Аспирантская школа по социологическим наукам Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: shrabanti.ku15@gmail.com

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.**

Статья поступила в редакцию 14.10.2025;  
 одобрена после рецензирования 28.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
 The article was submitted 14.10.2025;  
 approved after reviewing 28.01.2026; accepted for publication 18.02.2026

## ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья  
УДК: 325.3  
doi: 10.17223/1998863X/89/18

### БРИТАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И КОЛОНИАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ В КОНТЕКСТЕ «ПОЛИТИКИ РАСКАЯНИЯ»: ДИСКУРС-АНАЛИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОТЧЕТОВ О РАБСТВЕ И РАБОТОРГОВЛЕ

Анна Анатольевна Андреева<sup>1</sup>, Галина Александровна Нелаева<sup>2</sup>,  
Наталья Владимировна Дрожащих<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

<sup>1</sup> a.a.andreeva@utmn.ru

<sup>2</sup> g.a.nelaeva@utmn.ru

<sup>3</sup> n.v.drozhashchikh@utmn.ru

**Аннотация.** Рассматривается академический дискурс о рабстве на материале отчетов пяти британских вузов в контексте «политики раскаяния» и кризиса института высшего образования. Тексты отчетов изучаются в рамках постколониальной теории и дискурсологии. Показано, что западное общество и академические институты активно обсуждают моральную дилемму пересмотра «трудного прошлого» и выбора компенсации материального/морального ущерба потомкам поработенных.

**Ключевые слова:** постколониализм, политика памяти, дискурс-анализ, рабовладение, европейские университеты

**Для цитирования:** Андреева А.А., Нелаева Г.А., Дрожащих Н.В. Британские университеты и колониальное прошлое в контексте «политики раскаяния»: дискурс-анализ университетских отчетов о рабстве и работорговле // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 206–218. doi: 10.17223/1998863X/89/18

## POLITICAL SCIENCE

Original article

### BRITISH UNIVERSITIES AND THE COLONIAL PAST IN THE CONTEXT OF THE “POLITICS OF REGRET”: A DISCOURSE ANALYSIS OF UNIVERSITY REPORTS ON SLAVERY AND SLAVE TRADE

Anna A. Andreeva<sup>1</sup>, Galina A. Nelaeva<sup>2</sup>, Natalia V. Drozhashchikh<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation

<sup>1</sup> a.a.andreeva@utmn.ru

<sup>2</sup> g.a.nelaeva@utmn.ru

<sup>3</sup> n.v.drozhashchikh@utmn.ru

**Abstract.** Through the lenses of postcolonial theory and discourse studies, this article examines the discourses of British universities concerning their entanglement with transatlantic slavery. University reports from the United Kingdom are analyzed through the prism of the contemporary “politics of regret,” the crisis of higher education institutions, and the revision of the traumatic past of Western universities. It is shown that contemporary Western society and academia are actively discussing the ethical dilemmas of revising the “difficult past” and seeking ways to compensate for material and moral harm to the descendants of the enslaved. By analyzing five university reports on links with slavery published in the UK between 2018 and 2023, we seek to uncover narratives that form a global meta-narrative centered on the Western bias of “universal history” and the myth of Western universities as natural bastions of freethinking and scientific objectivity. Discourse analysis reveals that the reports construct a favorable image of British universities: they have stood the test of time and acknowledged the historical injustice of slavery – a past that is impossible to amend. As a result, several discursive strategies for constructing the colonial past of universities in academic reports on slavery are identified: strategies of masking (substituting) goals, isolating “others” (depriving them of voice), asserting dominance (“we”/“us”), and manipulating moral values. The techniques of discourse construction include mechanisms that protect the reputation of higher education institutions – condemning the past while embracing the future; foregrounding and backgrounding; employing fantasy narratives and representing “others” as universal victims; as well as techniques for polarizing ethical assessments, grading donations as “tainted” or “untainted,” downplaying the significance of benefits, and softening ethical judgments. We conclude that the Western-centric model of education, in which universities are presented as centers of “objective” and “universal” scientific knowledge, is increasingly subject to criticism and revision. This prompts the academic community to seek ways of engaging with the descendants of victimized groups and with society at large.

**Keywords:** post-colonialism, memory politics, discourse analysis, slavery, European universities

**For citation:** Andreeva, A.A., Nelaeva G.A. & Drozhashchikh, N.V. (2026) British universities and the colonial past in the context of the “politics of regret”: a discourse analysis of university reports on slavery and slave trade. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 206–218. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/18

## Введение

В настоящем исследовании представлена проблема дискурсивного конструирования колониального прошлого в отчетах британских университетов, в частности вопрос о финансировании университетов благотворителями, получавшими доходы от работорговли и других форм эксплуатации. Мы рассматриваем академический дискурс о рабстве на материале отчетов британских вузов (Глазго, Кембридж, Эксетер, Стратклайд, Бристоль, 2018–2023 гг.) в рамках постколониальной теории и дискурсологии в контексте современной «политики раскаяния» [1], кризиса института высшего образования и пересмотра прошлого западных университетов [2]. При этом нами выявлена типичные дискурсивные практики, стратегии и приемы конструирования университетами своего колониального прошлого, на фоне которого западные университеты представлены как естественный оплот свободомыслия, центры «объективности» и «универсальности» научного знания.

Исследовательские отчеты университетов – достаточно новое явление. Они создаются в рамках академического дискурса, что накладывает отпечаток на цель, структуру и содержание текста [3]. Как подчеркивает А. Джек, зависимость университетов от частных пожертвований в Великобритании

начала снижаться лишь после Второй мировой войны, когда государство стало увеличивать финансирование образования. Однако меры экономии, введенные в последние годы, вновь поставили проблему частных вложений в образование, а в связи с этим и вопрос о происхождении финансовых потоков [4–6].

Материалом настоящего исследования является корпус академических отчетов о рабстве<sup>1</sup> за 2018–2023 гг., подготовленных Оксфордским, Бристольским, Кембриджским университетами, а также университетами Глазго и Стратклайда<sup>2</sup>. Исследовательская группа, занимающаяся изучением связи университетов и рабства, в настоящее время включает учреждения США, Колумбии, Великобритании и Ирландии.

Корпус текстов содержит 69 853 словоформы и 2 677 предложений. Тексты отчетов обработаны с помощью библиотек python: тексты нормализованы, токенизированы, лемматизированы, из них удалены служебные части речи, или стоп-слова; общее количество полнозначных частей речи составляет 36 138 единиц. В ходе анализа выявлена частотность словоупотреблений, ключевых слов, рассмотрен их контекст, определены тематические группы, определяющие фокус внимания в академическом контексте. При цитировании отчетов используются переводы, выполненные авторами настоящей статьи.

В исследовании применяются методики постколониальной нарратологии и дискурс-анализа, в частности элементы критической нарратологии, критического анализа дискурса и контент-анализа [7–9]. Постколониальная нарратология уделяет большое внимание дискурсу дискриминации и дает возможность переосмыслить и адаптировать нарративную теорию для критического анализа текстов, созданных в условиях колониализма и постколониализма [8, 9].

Дискурс-анализ [7] фокусируется на стратегиях представления событий в дискурсе, позволяющих идентифицировать участников университетского дискурса; их негативном/позитивном изображении и на том, как авторы формулируют и моделируют широкий социокультурный и политический контекст. Изучение типичных дискурсивных практик, стратегий и приемов конструирования университетами своего колониального прошлого позволяет вскрыть наиболее проблемные аспекты преодоления колониального прошлого как самими университетами, так и обществом в целом [10]. Коммуникативные процессы интеракции университетов и общества изучаются в контексте «деколонизации» университетов. Данные процессы сопровождаются требованиями социума пересмотреть связь учреждений высшего образования с колониальными структурами власти. Нас интересует, как конструируются постколониальные нарративы об исторических связях британских университетов с трансатлантическим рабством; как именно формируется образ университета как эпистемологического авторитета; как выстраивается модель «объективности» научного

---

<sup>1</sup> Тексты отчетов находятся в открытом доступе.

<sup>2</sup> На данный момент существуют отчеты американских университетов, в частности отчет Йельского университета «Йель и рабство». Однако отчеты американских университетов затрагивают не столько процесс работорговли, сколько проблемы расовой сегрегации/эксплуатации, использования рабского труда сотрудниками американских университетов и продажу рабов университетами для обеспечения финансирования преподавателей и персонала. Таким образом, эти отчеты заслуживают отдельного рассмотрения.

знания; повествует ли академический дискурс о «другом» («чужом»). Качественный и количественный контент-анализ [11] позволяет выявить структуру и содержание академических отчетов о рабстве, выяснить, как власть и идеология колониализма влияют на организацию повествования и как с помощью репрезентации исторического нарратива сформирован образ и идентичность академических институтов.

### Институт рабства и его главные акторы

Тематически значимые лексемы *university, slavery, college, connection, research, slave, enslaved, trade, donation, legacy, student, family, people, money* с частотностью более 100 словоупотреблений составляют 9,7% от общего количества лемм в корпусе и задают идейную и тематическую канву отчетов. На первый план в анализируемых отчетах выдвигаются превалирующие в корпусе тематические группы «университет», «исторические личности» / «их семьи», «пожертвования» / «деньги». Высокочастотные лексемы свидетельствуют о причастности британских университетов и колледжей к институту рабства: семьи рабовладельцев участвовали в становлении/развитии британских учебных заведений, получая доход от эксплуатации/продажи рабов и внося средства в университетские фонды.

Многие исторические личности, описываемые в отчетах, имеют отношение к работорговле и представляют легендарные ключевые фигуры в университете (*slave-owners, slave-traders, enslavers, landowners, planters, merchants, bankers, commercial agents, rentiers, dealers, manufacturers, venturers, politicians, members of local legislative assembly*). Их семьи были очень значимыми в истории университета, города, а нередко и всей страны. В основном это были аристократы, которые могли позволить себе обучение детей в университетах. Структурно они выдвинуты на первый план – все отчеты начинаются с описания их общественного положения. Меценаты (*benefactors, founders, donors*) характеризуются как влиятельные люди, преданные идее создания университета и поддерживающие политику высшего образования: «...ряд профессиональных и влиятельных бристольтцев стремились убедить корону и политиков в важности университета в Бристоле» [12. P. 8]. Коннотации лексем, ассоциируемых с влиятельными людьми, – положительные. Это лексемы *элитный, крупный, крупномасштабный, ведущий, выдающийся, значимый, богатый* (*elite, major, large/large-scale, leading, prominent, significant, wealthy*), создающие благоприятный фон, связанный с социальной категорией «свои».

Экскурс в историю колледжа в отчетах рисует картину достойного становления и заслуживающего уважение развития, несмотря на оговорки об отвратительном рабстве, ставшем источником благополучия. Покровители показаны как сплоченные в нескольких поколениях семьи, приверженцы университетов, ратующих за их процветание, выстраивающие взаимовыгодные и благожелательные отношения с колледжем [12. P. 9].

Напротив, рабы и истории их порабощения фактически не представлены в отчетах. Лексемы-номинации рабов и жертв рабства оказываются в меньшинстве и составляют всего 5,8% от объема всего корпуса. Они представляют наименования «других» («чужих») в отличие от «своих»: *slavery, chattel slavery, slave(s), enslaved, labourer, worker, human trafficking, trade, enslavement, captive*. К ним примыкают наименования акторов и объектов:

*slave, enslaved, laborer, plantation*; действий, процессов: *trade, force, coerce, enslave*; эмоционально-психологических состояний: *trauma, terror, fear*; социально-политических номинаций: *racism, racial, inequality, exploitation, exclusion, abolition, justice*.

Примечательно, что лексика, содержащая коннотативный негативный компонент, порицающий рабство, составляет всего лишь 0,19% от общего количества полнозначных лексем корпуса. Это такие лексемы, как *эксплуатация, господство, жертва, неравенство, насилие, угнетение, жестокий, пленник, эксплуатировать, беспощадный, неистовый, убивать, отрубать, умерщвлять, принуждать, умирать, обвинять, угрожать, страдать, правонарушение, террор, травма (exploitation, dominance, victim, inequality, violence, oppression, brutal, captive, exploit, cruel, violent, kill, cut off, murder, force, die, blame, threaten, suffer, wrongdoing, terror, trauma)*.

При этом лексемы *violent, kill, murder, blame, threaten, suffer, wrongdoing, terror, trauma* встречаются в корпусе только один раз, что является свидетельством замалчивания острой социально-политической проблематики, связанной с рабством, отстраненности исследователя от болезненных тем эксплуатации и насилия. Равным образом, лексика, связанная с отменной/порицанием рабства и провозглашением свободы/равенства, также немногочисленна: лексемы *отмена рабства, правосудие, эмансипация, возмещение ущерба, право, свобода, равенство, инклюзия, идеалы, просвещение, разнообразие, истина, милосердие, улучшение (abolition, justice, emancipation, reparation, right, freedom, equality, inclusion, ideals, enlightenment, diversity, truth, mercy, betterment)* составляют 0,69% словоупотреблений. Интересно, что описания жертв рабства не эмоциональны: в отчете Кембриджского университета встречаем единственный контекст, в котором употребляются коннотативно нагруженные глаголы *cut off* и *kill*: «...полковник Линч отрубил ноги бедному негру <...> и каждый год своим варварством он убивает нескольких» [13. Р. 17].

Интересны приемы фантазийного сослагательного нарратива и представления «другого» как жертвы, в которых рабы становятся почти художественными персонажами с собственной историей. Так поступают исследователи из Университета Глазго, создавая возможную постмодернистскую историю с множественными ветками повествования: «Мы не знаем ни когда родились Ардок и Бениба, ни когда они умерли. Все, что мы знаем, это то, что в середине-конце восемнадцатого века они жили и работали на Лаки-Хилл, сахарной плантации на Ямайке. Вместе со своим ребенком, имя которого неизвестно, они были включены в составленный Робертом Каннингемом Грэмом (1735–1797) список». Сам Грэм называет этот список «моя собственность» и оценивает стоимость рабов в £3,604 [14. Р. 7]. Далее продолжается история трех рабов (один из которых мог быть незаконным ребенком хозяина – Роберта Грэма), полная жестокого насилия, недоедания, болезней, страданий, ранних смертей и беспросветной жизни на фоне благополучной жизни хозяина. Для описания несуществующих людей и их выдуманных жизней используется сослагательное наклонение: «Их работа начиналась в раннем возрасте, и примерно с четырех-пяти лет ребенок Бенибы работал бы на плантации, в группе маленьких детей и пожилых/увечных взрослых» [14. Р. 7] (глагол *would have worked* ‘работал бы’).

Ср. краткое противопоставление хозяина/раба: «Портрет Роберта Каннингэма Грэма работы Генри Реберна висит в Шотландской национальной портретной галерее в Эдинбурге, но у нас нет ни фотографий, ни записей о жизни и труде рабов, которыми он владел, а ведь их короткие, нечеловеческие жизни принесли ему огромное богатство» [14. Р. 10].

Приемы фантазийного нарратива и универсальной жертвы – лишь попытка правдиво рассказать историю рабства: «Это проект о том, как университет Глазго обогатился благодаря расовой эксплуатации; как «белые» люди давали деньги и вносили пожертвования на его развитие. На самом деле это отчет о рабах, чей труд вложен в это богатство и кого угнетали эти белые люди» [14. Р. 7]. Воображаемые судьбы не могут соперничать с реальностью истории, где рабовладелец – это реальный человек, который, согласно приведенным документам, занимается хозяйством, участвует в политике, живет в роскошных домах и распоряжается жизнью другого человека.

### **Идеология отчетов**

Идеологический посыл отчетов о рабстве увязан с постановкой цели отчетов (во введении) и указанием перспектив дальнейшего развития университета (в заключении). Именно здесь присутствуют маркеры антиколониальной риторики: «...рабство и его последствия – это целая история расового насилия, террора, эксплуатации, урона, нанесенного конкретным сообществам людей по всему миру, в частности общинам африканского происхождения и глобальному Югу» [13. Р. 5]. Постулируемая цель отчетов – изучение исторической связи университетов с трансатлантическим рабством. Подчеркивается, что связь должна пониматься широко и выходить за узкие формальные границы констатации экономических фактов, поскольку на университет возложена особая миссия и ответственность за «наследие рабства и колониализма». Такой подход должен сблизать отчеты и дипломатические извинения, поскольку они ведут к признанию прямой/косвенной связи с рабством, а также к разговору о формах примирения, реституции и восстановительном правосудии.

Вместе с тем в анализируемых отчетах мы имеем дело с дискурсивной стратегией маскировки (подмены) целей – идеологические цели составителей отчета подменяются прагматическими целями: результаты исследований связи университетов с рабовладением оборачиваются списками имен, документов, таблиц с перечислением меценатов, сумм пожертвований и подарков учебным заведениям. Создается ощущение тщательного и скрупулезного расследования экономических связей университета с представителями местного бизнеса, при этом отсутствует понимание и описание того, как пожертвования «вовлекали» преподавателей, студентов, академическое заведение и общественность в идеологию работорговли, способствовали ее широкому распространению и нормализации в обществе.

Авторы отчетов показывают однозначную реакцию неприятия и осуждения преступлений рабства, они готовы «бросить вызов» прошлым оценкам и определениям. Подчеркивается их рвение исследовать, анализировать, вскрывать связи с «трудным прошлым». На их пути, по описанию, встречаются серьезные препятствия, например, локдаун во время пандемии COVID-19, недостаточность средств и людей, «расплывчатый характер образования ранне-

го Нового времени» и такие «существенные недостатки», как неполные архивные данные, хаотические записи, отсутствие методологии, невозможность выявить слишком «сложные» связи с рабством, дать четкие и определенные выводы об экономических и политических выгодах от рабства, которыми смогли воспользоваться колледжи [12. Р. 23].

Объявляя отказ от «прошлых нарративов» и борьбу с «предвзятым пониманием прошлого», согласно которому роль британских университетов ранее признавалась флагманской в борьбе с расизмом, авторы отчетов, тем не менее, формируют положительный и респектабельный образ университета в исторической перспективе. Так, в тексте Кембриджа звучит отчетливый критический настрой, а само академическое заведение представлено оплотом демократии и свободы: «В условиях демократии одна из целей университетов заключается в содействии независимым исследованиям и свободе выражения мнений» [13. Р. 1]. Университет показан как цивилизаторский проект, имеющий особый статус объективного знания и эпистемологической свободы. Во всех отчетах он является объектом защиты от «общественного внимания» и «ожесточенных дебатов», охвативших не только историю западных университетов, но и «более широких проблем», таких как движение Black Lives Matter. Ср. высказывание: «...доклад представляет собой одну из волн в бушующем море академического, институционального и общественного интереса к наследию порабощения и империи» [13. Р. 3].

В отчетах формируется представление о невозможности «изменить историю», которая является ужасной, отвратительной, антигуманной, вместо этого предлагается не «переписать историю или покончить с нашим наследием», но «попытаться устранить существующее неравенство» инклюзивным будущим. Дискурсивный прием – показать прошлое неизменяемым и устранить его за счет «лучшего будущего» – характерен для европейской политики «извинений»: «лучшее понимание прошлого является ключом к созданию лучшего будущего» [13. Р. 6]. Преображение будущего исправляет прошлое, нейтрализует эмоциональную напряженность, невозможность фактически измерить вред, нанесенный рабам и их потомкам: «Признавая наши связи с рабством и его последующую отмену, Университет Глазго стремится двигаться вперед так, как только может двигаться университет» [14. Р. 4].

### **Благотворители и пожертвования**

История благотворителей и их пожертвований становится основным результатом отчетов и определяет стратегию представления связей академических институтов с рабовладением. Желание отмежеваться от «неудобных имен и дарителей» формирует логику и методологию университетского дискурса. Моральная дилемма, как относиться к благотворителям и их подаркам, полученным в результате рабства, уже неоднократно поднималась в истории академической науки. Так, в 2016 г. на конференции Лондонского института исторических исследований прозвучал доклад Дэвида Каннадайна «Бескорыстная филантропия или испорченные подарки: как историки должны реагировать на наследие прошлых лет от благотворителей с разными социальными и моральными ценностями?» [15. Р. 1–15]. Основное содержание отчетов указывает на дискурсивные стратегии снятия этой дилеммы, где отвратительное рабство подменяется эффективной предпринимательской дея-

тельностью. В результате манипулирования моральными ценностями происходит реабилитация учебных заведений в глазах общественности. Приемами манипуляции становятся приемы поляризации этических оценок, градации «грязных»/«незапятнанных» пожертвований, преуменьшения значимости выгоды, смягчения этических оценок. Так, предпринимательская деятельность меценатов признается успешной, эффективной, приносящей выгоду, способствующей развитию экономики как Великобритании, так и городов и колледжей, процветающих во время активной колонизации, тогда как меценаты, участвующие в работорговле, номинируются негативно: они оказываются «вовлеченными в эту отвратительную торговлю» [12. Р. 5].

Вообще, случайность, сила обстоятельств выдвигается на первый план: история учебного заведения в отчетах вписана в историю Британской империи и часто – типичного британского города, «в силу обстоятельств приобретенного к рабовладельческой экономике». Экономическое процветание, развитие предпринимательской среды, появление передовых идей и энтузиастов дают толчок открытию колледжа, который впоследствии становится университетом.

Примером реализации приемов градации «грязных»/«незапятнанных» пожертвований, отвлекающих от самой сути отчетов, является выделение двух категорий лиц, вносящих пожертвования. Списки в отчетах делятся на две категории: «чистый», куда относятся дарители, не имеющие прямого и косвенного отношения к работорговле, и «грязный», запятнанный участием в экономике рабства. Сложность связей с прошлым демонстрируется тем, что авторы отчетов дотошно выясняют степень запятнанной репутации, например, в Бристольском отчете указывается, что некоторые семьи меценатов обогатились на торговле табаком, хотя сами не владели рабами, не требовали от государства компенсации после отмены рабства, не имели прямых контактов с работорговцами, и такой нюанс признается важным [12. Р. 15–16].

Смягчение этических оценок наблюдается и в связи с аболиционизмом. Реальная борьба с рабством или приверженность идеям освобождения рабов выясняются не менее скрупулезно, чем эксплуатация, циничная продажа или откровенно жестокое отношение к «человеческому товару». Рассказывая про Эдварда Элиота, бывшего стипендиата Эксетера и архидиакона колонии Барбадос, авторы отчета констатируют, что, несмотря на его проповеди, в которых рабство признавалось естественным, он стремился смягчить сердца паствы и улучшить условия жизни рабов. Кроме того, о епископе Эксетерском Генри Филпоттсе было выяснено, что на самом деле епископ не был рабовладельцем, но получил компенсацию в качестве доверенного лица по завещанию Джона Уильяма Уорда, графа Дадли. Такие детали в отчетах являются приемами оправдания, преуменьшения значимости вовлеченности колледжей в работорговлю, служат для смягчения этических оценок [16. Р. 24–25].

История движения за отмену рабства является предметом особой гордости в отчетах, например: «Историки давно признали, что Кембриджский университет сыграл важную роль в усилиях по прекращению работорговли и карибского рабства <...> и хорошо известно, что аболиционисты, игравшие ключевую роль в этом движении, такие как Томас Кларксон, Уильям Уилберфорс и Питер Пекард, когда-то называли Кембридж своим домом» [13. Р. 13]. Представление о британских университетах как оплоте аболиционизма

и нарративы, которые во введении были признаны несостоятельными, не критикуются, а подменяют реальные истории жестокого рабовладения.

На уменьшение репутационных потерь современных британских университетов также работает вывод о незначимости прибыли, полученной от подношений, как, например, в отчете колледжа Бристоля: «В течение первого столетия своего существования общества Колстона не были особенно значимыми. Они собирали лишь скромные суммы денег и действовали как „джентльменские клубы“ [12. Р. 20]. Нередко в отчетах выражается стремление отмежеваться от «запятнанных персон», как в отчете колледжа Бристоль: «Университет не имеет прямого отношения к Эдварду Колстону, который умер почти за два столетия до основания университета» [12. Р. 19].

Авторы отчетов прибегают к нейтральной лексике, чтобы минимизировать эмоциональный накал проблемы. В высказывании «Таким образом, история города Бристоль – это сложная история санкционированного перемещения людей, принудительного труда, торговли и коллаборации между различными группами, социальной изоляции, а также аболиционизма и филантропии» [12. Р. 7] употребляются нейтральные лексемы *displacement* и *collaboration* вместо эмотивных *expulsion* и *collaborationism*, нейтрализуя остроту рассматриваемой проблематики.

Так, отчет превращается в апологетику исторических корней рабства. Рабство – это социальный институт принуждения и несправедливости, однако университеты прошли проверку временем, и историческая динамика привела их к стабильности, прогрессу, долговечности. Отметим в этой связи заключительное положение отчета Университета Стратклайда: «Все организации заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть свою долговечность, поскольку время укрепляет традиции, наследие и легитимность. Проверка временем – это самая суровая оценка, которую может пройти любая организация» [17. Р. 25]. Осуждение рабства подменяется перспективами и рекомендациями, выдержанными в высоком стиле, в которых звучат идеи просвещения, справедливости, инклюзии, равенства и разнообразия: «Члены университетского сената заявили, что их «глубоко тронули призывы к справедливости и милосердию», и они надеются, что «позорная торговля людьми... будет стерта с лица земли» [14. Р. 3, 5].

## Заключение

Если американские университеты под давлением общественности начали пересматривать свою связь с рабством и работорговлей еще в начале 2000-х гг., британские университеты подключились к этому процессу гораздо позднее, во многом как следствие глобальных волнений, связанных с демонстрацией памятников видным историческим деятелям (движение *Rhodes Must Fall* в ЮАР) [18]. Если изначально целью исследований было проследить происхождение финансовых потоков и частных вложений в образование, то в дальнейшем перечень вопросов, которые были затронуты, значительно расширился [19].

Мы наблюдаем, как в отчетах британских университетов происходит попытка раскрыть связи учебных заведений с трансатлантической работорговлей и осудить имперский колониальный проект как исторический, закончившийся, осмысление которого необходимо для создания инклюзивного

будущего. Авторы отчетов предполагают, что понимание сложных связей приведет к лучшему построению будущего, к укреплению мер по борьбе с современным расизмом, а программы, направленные на воссоздание справедливости, такие как стипендии или общие проекты с вузами в странах – бывших колониях, восстановят справедливость.

При этом британские отчеты направлены не на других, жертв рабства, которые присутствуют в текстах как номинальные фигуры речи или воображаются, обеспечивая реальность и респектабельность рабовладельцев, портреты которых обнаруживаются в коридорах университета. Центром отчетов является сам университет и его приверженцы, процветающие предприниматели, успешные выпускники, прославляющие *alma mater*. В академическом дискурсе, скрупулезно каталогизирующем вещи и имена, моральная дилемма об отношении к «трудному прошлому» снимается. В ряду дискурсивных приемов снятия напряжения можно указать на списки «грязных» и незапятнанных пожертвований, перечень членов академии, поддерживающих/не поддерживающих аболиционизм, определение значимости вносимых на пожертвование сумм.

Примечательна метафора снежного кома, который скатывается и становится больше, собирая ценности и идеалы, но вместе с тем теряя изжившие себя ценности: «...мы склонны представлять себе историю того или иного учебного заведения как снежный ком, который катится вниз, и, по мере того как он растет, становится все больше и больше <...> Мы все еще можем видеть ценности, идеалы и устремления шотландского просвещения с его акцентом на рациональность, совершенствование, космополитизм и идеалы, направленные на улучшение жизни человечества, но также важно помнить о том, что ушло в прошлое и, с институциональной точки зрения отмерло» [17. P. 25]. К таким утраченным, мертвым ценностям относятся вклады и пожертвования, сделанные спонсорами университета на деньги, полученные в результате эксплуатации и насильственного труда: «...следует иметь в виду, что история Университета Стратклайда действительно имеет отношение к рабству и деньгам, но было ли это основополагающим фактором в формировании этого учебного заведения? Поскольку многое из этого было связано с деятельностью, которая больше не имеет отношения к нынешнему университету, наследие рабства в Стратклайде в значительной степени является историческим. Тем не менее оно остается прискорбным» [17. P. 25].

Нарратив об университете как успешном западном цивилизаторском проекте, представляющем универсальное объективное знание, не снимает противоречий и порождает в современном обществе протесты и критику. Например, историк Лоуренс Голдман, выступающий против ряда отчетов, возражает: «Исследования такого рода, которые ведутся в настоящее время, являются анахронизмом, созданными специально для того, чтобы облегчить суждение о прошлом, которое будет вынесено на наших условиях, нашими глазами и нашими чувствами, отражающими наши ценности и приоритеты» [20]. Однако мы видим использование нарративов о великой истории западного университета, преодолевшего и преодолевающего трудности, благодаря силе своего знания с успехом осмысляющего сложные уроки прошлого, примиряющегося с ним. Продолжающиеся дискуссии ставят академическое сообщество перед необходимостью изучения трагического прошлого, его влия-

ния на современные структуры угнетения и поиска путей его проработки [21, 22].

#### Список источников

1. *Olick J.K.* The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility. New York ; London : Routledge, 2007.
2. *Board of Trustees'* decision on removing Woodrow Wilson's name from public policy school and residential college. 27.06.2020. URL: <https://www.princeton.edu/news/2020/06/27/board-trustees-decision-removing-woodrow-wilsons-name-public-policy-school-and>
3. *Zacek N.* The Price of Knowledge. Universities and Slavery in Anglo-American Perspective // *American Nineteenth Century History*. 2025. Vol. 26, № 1. P. 83–101. doi: 10.1080/14664658.2025.2455208
4. *Colonial-era* cultural heritage in European museums. European Parliamentary Research Service. September 2021. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696188/EPRS\\_ATA\(2021\)696188\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696188/EPRS_ATA(2021)696188_EN.pdf)
5. *François M.* It's not just Cambridge University – all of Britain benefited from slavery. The Guardian. 07.05.2019. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/07/cambridge-university-britain-slavery>
6. *Jack A.* Dethroning historical reputations, Jill Pellew and Lawrence Goldman. Financial Times. 12.11.2018. URL: <https://www.ft.com/content/2f990d4e-e34a-11e8-8e70-5e22a430c1ad>
7. *Van Dijk T.A.* Critical Discourse Analysis // *The Handbook of Discourse Analysis* / eds. D. Tannen, H.E. Hamilton, D. Schiffrin. Blackwell Publishers Ltd, 2005. P. 349–371. doi: 10.1002/9781118584194.ch22
8. *Kim S.J.* Introduction: Decolonizing Narrative. Theory // *Journal of Narrative Theory*. 2012. Vol. 42, № 3. P. 233–247. doi: 10.1353/jnt.2013.0002
9. *Narratology and Ideology: Negotiating Context, Form, and Theory in Postcolonial Narratives* / eds. D. Dwivedi, H.S. Nielsen, R. Walsh. Ohio State University Press, 2018.
10. *Mathys G., Van Beurden S.* History by Commission? The Belgian Colonial Past and the Limits of History in the Public Eye // *The Journal of African History*. 2023. Vol. 64, № 3. P. 334–343. doi: 10.1017/S0021853723000683
11. *Fairclough N., Wodak R.* Critical discourse analysis. *Discourse studies. A multidisciplinary introduction* / ed. Teun van Dijk. Sage Publications, 1997. P. 258–284.
12. *University of Bristol: Our History and the Legacies of Slavery*. 2022. URL: <https://www.bristol.ac.uk/university/anti-racism-at-bristol/university-slavery/legacies/history-legacies-slavery/introduction>
13. *University of Cambridge Advisory Group on Legacies of Enslavement Final Report*. 2022. URL: <https://www.cam.ac.uk/about-the-university/advisory-group-on-legacies-of-enslavement-final-report>
14. *Mullen S., Newman S.* Slavery, Abolition and the University of Glasgow. Report and recommendations of the University of Glasgow. 2018. URL: [https://www.gla.ac.uk/media/Media\\_607547\\_smx.pdf](https://www.gla.ac.uk/media/Media_607547_smx.pdf)
15. *Dethroning* historical reputations: universities, museums and the commemoration of benefactors / eds. L. Goldman, J. Pellew. University of London Press, 2018. URL: <http://www.jstor.org/stable/j.ctv512v68.4>
16. *Exeter* College and the Legacies of Slavery Project Report. 2023. URL: <https://www.exeter.ox.ac.uk/documents/Exeter-College-and-the-Legacies-of-Slavery-Report.pdf>
17. *University of Strathclyde (Glasgow) Historical Links to Slavery Report*. 2023. URL: [www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/Historical\\_Links\\_to\\_Slavery\\_Report-FINAL.pdf](http://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/Historical_Links_to_Slavery_Report-FINAL.pdf)
18. *Chaudhuri A.* The real meaning of Rhodes Must Fall. The Guardian. 16.03.2016. URL: <https://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/16/the-real-meaning-of-rhodes-must-fall>
19. *British* universities are examining how they benefited from slavery. The Economist. 08.02.2020. URL: <https://www.economist.com/britain/2020/02/08/british-universities-are-examining-how-they-benefited-from-slavery>
20. *Goldman L.* Forgive Us Our Trespasses, All of Them: Oxbridge colleges, slavery, and their other sins. History Reclaimed. 11.04.2023. URL: <https://historyreclaimed.co.uk/forgive-us-our-trespasses-all-of-them-oxbridge-colleges-slavery-and-their-other-sins/>
21. *Rhetoric, Public Memory, and Campus History* / ed. R. Thomas. Liverpool : Liverpool Scholarship Online, 2023.

22. Mullen S. British Universities and Transatlantic Slavery: the University of Glasgow Case // History Workshop Journal. 2021. Vol. 91, № 1. P. 10–233. doi: 10.1093/hwj/dbaa035

### References

1. Olick, J.K. (2007) *The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York, London: Routledge.
2. Princeton University. (2020) *Board of Trustees' decision on removing Woodrow Wilson's name from public policy school and residential college*. 27th June. [Online] Available from: <https://www.princeton.edu/news/2020/06/27/board-trustees-decision-removing-woodrow-wilsons-name-public-policy-school-and>
3. Zacek, N. (2025) The Price of Knowledge. Universities and Slavery in Anglo-American Perspective. *American Nineteenth Century History*. 26(1). pp. 83–101. doi: 10.1080/14664658.2025.2455208
4. European Parliamentary Research Service. (2021) *Colonial-era Cultural Heritage in European Museums*. September. [Online] Available from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696188/EPRS\\_ATA\(2021\)696188\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/696188/EPRS_ATA(2021)696188_EN.pdf)
5. François, M. (2019) It's not just Cambridge University – all of Britain benefited from slavery. *The Guardian*. 7th May. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/07/cambridge-university-britain-slavery>
6. Jack, A. (2018) Dethroning historical reputations, Jill Pellew and Lawrence Goldman. *Financial Times*. 12th November. [Online] Available from: <https://www.ft.com/content/2f990d4e-e34a-11e8-8e70-5e22a430c1ad>
7. van Dijk, T.A. (2005) Critical Discourse Analysis. In: Tannen, D., Hamilton, H.E. & Schiffrin, D. (eds) *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell Publishers Ltd. pp. 349–371. doi: 10.1002/9781118584194.ch22
8. Kim, S.J. (2012) Introduction: Decolonizing Narrative. Theory. *Journal of Narrative Theory*. 42(3). pp. 233–247. doi: 10.1353/jnt.2013.0002
9. Dwivedi, D., Nielsen, H.S. & Walsh, R. (eds) (2018) *Narratology and Ideology: Negotiating Context, Form, and Theory in Postcolonial Narratives*. Ohio State University Press.
10. Mathys, G. & Van Beurden, S. (2023) History by Commission? The Belgian Colonial Past and the Limits of History in the Public Eye. *The Journal of African History*. 64(3). pp. 334–343. doi: 10.1017/S0021853723000683
11. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997) Critical discourse analysis. In: van Dijk, T. (ed.) *Discourse studies. A multidisciplinary introduction*. Sage Publications. pp. 258–284.
12. University of Bristol. (2022) *Our History and the Legacies of Slavery*. [Online] Available from: <https://www.bristol.ac.uk/university/anti-racism-at-bristol/university-slavery/legacies/history-legacies-slavery/introduction>
13. University of Cambridge. (2022) *Advisory Group on Legacies of Enslavement Final Report*. [Online] Available from: <https://www.cam.ac.uk/about-the-university/advisory-group-on-legacies-of-enslavement-final-report>
14. Mullen, S. & Newman, S. (2018) *Slavery, Abolition and the University of Glasgow. Report and recommendations of the University of Glasgow*. [Online] Available from: [https://www.gla.ac.uk/media/Media\\_607547\\_smx.pdf](https://www.gla.ac.uk/media/Media_607547_smx.pdf)
15. Goldman, L. & Pellew, J. (eds.) (2018) *Dethroning historical reputations: universities, museums and the commemoration of benefactors*. University of London Press. [Online] Available from: <http://www.jstor.org/stable/j.ctv512v68.4>
16. Exeter College, Oxford. (2023) *Exeter College and the Legacies of Slavery Project Report*. [Online] Available from: <https://www.exeter.ox.ac.uk/documents/Exeter-College-and-the-Legacies-of-Slavery-Report.pdf>
17. University of Strathclyde. (2023) *Historical Links to Slavery Report*. [Online] Available from: [www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/Historical\\_Links\\_to\\_Slavery\\_Report-FINAL.pdf](http://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/Historical_Links_to_Slavery_Report-FINAL.pdf)
18. Chaudhuri, A. (2016) The real meaning of Rhodes Must Fall. *The Guardian*. 16th March. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/16/the-real-meaning-of-rhodes-must-fall>
19. The Economist. (2020) *British universities are examining how they benefited from slavery*. 8th February. [Online] Available from: <https://www.economist.com/britain/2020/02/08/british-universities-are-examining-how-they-benefited-from-slavery>
20. Goldman, L. (2023) Forgive Us Our Trespasses, All of Them: Oxbridge colleges, slavery, and their other sins. *History Reclaimed*. 11th April. [Online] Available from:

<https://historyreclaimed.co.uk/forgive-us-our-trespasses-all-of-them-oxbridge-colleges-slavery-and-their-other-sins/>

21. Thomas, R. (ed.) (2023) *Rhetoric, Public Memory, and Campus History*. Liverpool: Liverpool Scholarship Online.

22. Mullen, S. (2021) British Universities and Transatlantic Slavery: The University of Glasgow Case. *History Workshop Journal*. 91(1). pp. 10–233. doi: 10.1093/hwj/dbaa035

***Сведения об авторах:***

**Андреева А.А.** – кандидат филологических наук кафедры философии, медиа и журналистики Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: a.a.andreeva@utmn.ru

**Дрожжащих Н.В.** – доктор филологических наук кафедры прикладной и теоретической лингвистики Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: n.v.drozhashhikh@utmn.ru

**Нелаева Г.А.** – кандидат политических наук кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и туризма Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: g.a.nelaeva@utmn.ru

***Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.***

***Information about the authors:***

**Andreeva A.A.** – Cand. Sci. (Philology), Department of Philosophy, Media, and Journalism, Institute of Social Sciences and Humanities, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: a.a.andreeva@utmn.ru

**Drozhashchikh N.V.** – Dr. Sci. (Philology), Department of Applied and Theoretical Linguistics, Institute of Social Sciences and Humanities, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: n.v.drozhashhikh@utmn.ru

**Nelaeva G.A.** – Cand. Sci. (Political Science), Department of International Relations, Foreign Regional Studies and Tourism, Institute of Social Sciences and Humanities, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: g.a.nelaeva@utmn.ru

***The authors declare no conflicts of interests.***

*Статья поступила в редакцию 23.10.2025;  
одобрена после рецензирования 28.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 23.10.2025;  
approved after reviewing 28.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 325.1; 325.14

doi: 10.17223/1998863X/89/19

## ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР РЕАДМИССИИ МИГРАНТОВ ИЗ ЕС В СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

**Наталья Александровна Жерлицына**

*Институт Африки РАН, Москва, Россия  
ns\_inafr@mail.ru*

**Аннотация.** Анализируется политика ЕС в области реадмиссии в отношении стран Северной Африки. Показано, что политика принудительного возвращения оказывает негативное влияние на отношения ЕС со странами Северной Африки, порождая напряженность и недоверие. Сделан вывод, что реадмиссия не является устойчивым механизмом управления миграцией, нарушает суверенитет стран Магриба и не учитывает их интересы.

**Ключевые слова:** миграционная политика ЕС, реадмиссия, мигранты, Алжир, Марокко, Тунис, Ливия

**Благодарность:** исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123-П, <https://rscf.ru/project/22-18-00123/>

**Для цитирования:** Жерлицына Н.А. Противоречивый характер реадмиссии мигрантов из ЕС в страны Северной Африки // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 219–227. doi: 10.17223/1998863X/89/19

Original article

## THE CONTROVERSIAL NATURE OF EU MIGRANT READMISSION TO NORTH AFRICAN COUNTRIES

**Natalia A. Zherlitsina**

*Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,  
ns\_inafr@mail.ru*

**Abstract.** This article analyzes EU readmission policy toward the North African countries of Algeria, Morocco, Tunisia, and Libya. Readmission – the forced return of migrants to their country of origin – is one of the EU’s strategic and preferred instruments when it comes to its migration policy. The article aims to establish whether readmission truly serves as a deterrent or merely a punitive mechanism that inflicts suffering on migrants. The author addresses the following objectives: identifying the range of documents regulating readmission from the EU to North African countries; identifying the EU funds and programs working in this area; and analyzing the attitudes of North African countries toward readmission from the EU. The article provides a comparative study of the attitudes of Algeria, Morocco, Tunisia, and Libya toward EU readmission policy. The author finds that the Kingdom of Morocco outperforms its regional neighbors in terms of its loyalty to EU policy. The country’s authorities agree to readmit migrants if they can be proven to be Moroccan citizens. The People’s Democratic Republic of Algeria has taken the most aggressive stance against EU efforts to impose European rules on the country. Algeria refuses to enter into formal agreements with the EU and resists the return of migrants. Tunisia, although it signed an agreement with the EU in 2023 and strengthened border

controls, is reluctant to commit to accepting migrants. Libya remains the most unstable element in the regional migration system; readmission to a country fragmented by years of conflict is virtually impossible. Key trends in EU migration policy in North Africa include: increasing European pressure on its southern neighbors, with the EU using financial and visa mechanisms to condition support; growing resistance from North African governments to EU pressure; and increasing criticism of the EU from NGOs and human rights organizations demanding more humane return procedures. It has been demonstrated that the policy of forced return has a negative impact on EU-North African relations, generating tension and mistrust. The author concludes that readmission is not a sustainable mechanism for managing migration; it violates the sovereignty of Maghreb countries and does not take into account their interests.

**Keywords:** EU migration policy, readmission, migrants from Algeria, Morocco, Tunisia, Libya

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-18-00123-P, <https://rscf.ru/project/22-18-00123/>

**For citation:** Zherlitsina, N.A. (2026) The controversial nature of EU migrant readmission to North African countries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 219–227. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/19

Уже более двадцати лет реадмиссия является одним из стратегических и предпочтительных инструментов ЕС, когда речь идет о миграционной политике Союза. Между государствами – членами ЕС и странами, не входящими в ЕС, заключено множество двусторонних соглашений о возвращении нелегальных мигрантов в страны происхождения. Сегодня договоров насчитывается 344<sup>1</sup>. Чиновники ЕС оправдывают применение этой процедуры борьбой с нелегальной миграцией и называют реадмиссию «сдерживающим фактором для сокращения небезопасной и нелегальной миграции»<sup>2</sup>. Понимая непопулярность принудительного возвращения, ЕС пытается повысить заинтересованность стран-доноров обещаниями денежных субсидий и взаимной торговли.

На сегодняшний день реадмиссия мигрантов является ключевым направлением взаимодействия в отношениях между Европой и ее соседями по Средиземноморью – странами Магриба. Будучи исторически связаны со своими бывшими колониальными метрополиями, страны Северной Африки в течение всего XX в. поставляли рабочую силу в Европу. Алжирские, тунисские и марокканские общины многочисленны в большинстве европейских стран. Марокко, Тунис, Ливия и Алжир сотрудничают с ЕС по различным аспектам управления миграцией. Однако это сотрудничество, как правило, характеризуется различиями в восприятии и приоритетах, порой порождая напряженность и недоверие в отношениях. Существуют и совпадающие интересы, где сотрудничество возможно и желательно. Например, страны Магриба сталкиваются с собственными миграционными проблемами, включая давление на сухопутные и морские границы, и заинтересованы в укреплении безопасности своих границ. Для стабильности и мира обеим сторонам Средиземного

---

<sup>1</sup> European Court of Auditors (ECA). EU readmission cooperation: relevant actions but insufficient results. Special Report No. 17. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. URL: <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59243> (accessed: 02.10.2025).

<sup>2</sup> European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum (COM(2020)609final). Brussels: European Commission, 2020. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0609> (accessed: 17.09.2025).

моря необходимо учитывать интересы и приоритеты друг друга, чтобы выстроить устойчивое и сбалансированное взаимодействие, которое не сводит миграцию исключительно к вопросу безопасности ЕС. В настоящее время политика ЕС строится таким образом, что управление миграцией в Северной Африке ставит требования Европы на первое место, подрывая принципы Африканского союза, которые делают акцент на региональной интеграции, мобильности рабочей силы и правах человека.

В настоящее время реадмиссия находится в центре внимания как политиков, так и ученых, пытающихся ответить на вопрос, действительно ли реадмиссия служит сдерживающим фактором или же она представляет собой лишь карательный и причиняющий страдания мигрантам механизм. В работах российских специалистов миграционная проблема Европы рассматривается комплексно [1–3]. Арабские исследователи указывают на социальные последствия политики реадмиссии для народов Северной Африки [4, 5]. Ряд работ зарубежных ученых посвящен осмыслению экстернализации границ со стороны ЕС и современным механизмам управления миграцией [6–8]. Об остроте миграционной проблемы для ЕС свидетельствует большое число аналитических докладов, посвященных практике реадмиссии, выпускаемых ведущими исследовательскими центрами Европы. Такие исследования публикует итальянский Центр миграционной политики (Migration Policy Centre), Консорциум прикладных исследований международной миграции в странах Южного и Восточного Средиземноморья (CARIM-South Euro-Mediterranean Consortium) и Центр изучения европейской политики в Брюсселе (CEPS – Centre for European Policy Studies).

По данным агентства Frontex и Европейской комиссии, количество нелегальных пересечений границ Европейского союза в 2024 г. снизилось примерно на 12–15% по сравнению с 2023 г., однако доля мигрантов из Северной Африки остаётся значительной. В 2024 г. зафиксировано около 330–350 тыс. нелегальных пересечений границ ЕС. Из них порядка 35–40% приходится на мигрантов из стран Северной Африки. В 2025 г. тенденция сохранялась, и миграционное давление оставалось высоким на центральном и западном средиземноморских маршрутах<sup>1</sup>.

Евростат сообщает следующие данные о численности нелегальных мигрантов из Северной Африки: Марокко является страной происхождения для 120–130 тыс. нелегалов; алжирцев среди них – 70–90 тыс. человек. Тунис поставил в ЕС от 100 до 120 тыс. незаконных мигрантов; Ливия – 40–50 тыс. человек, с учетом транзитных мигрантов. Таким образом, на территории ЕС в 2025 г. находилось до 400 тыс. нелегальных мигрантов из стран Северной Африки<sup>2</sup>. Официальные органы ЕС отмечают общее снижение числа прибытий в 2025 г. из-за жёстких мер ЕС и соглашений по реадмиссии, заключенных со странами Магриба. В соответствии с ними происходит активизация реадмиссии и программ добровольного возвращения мигрантов.

<sup>1</sup> Frontex. Risk Analysis for 2024; Frontex. URL: <https://frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2024>; Frontex. Migratory Situation in 2024 (Monthly Reports). URL: <https://frontex.europa.eu/what-we-do/migratory-situation> (accessed: 16.09.2025).

<sup>2</sup> Eurostat. Asylum and managed migration statistics. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration> (accessed: 11.10.2025).

В 2025 г. ЕС продолжал реализацию комплексной стратегии по управлению миграцией и реадмиссией с соседними регионами, особенно с Северной Африкой. Главной целью этой стратегии является снижение нелегальных потоков и усиление сотрудничества по возвращению мигрантов. В качестве стимула странам Магриба обещана экономическая и гуманитарная поддержка. Ключевыми политическими документами и соглашениями, регулирующими реадмиссию мигрантов между ЕС и странами Северной Африки, являются следующие. Во-первых, это новый Пакт о миграции и убежище ЕС, принятый в 2024 г. с целью ускорить процедуру возвращения нелегальных мигрантов и сделать ее более эффективной. Так, вводится механизм «спонсорства возвращений», при котором одна страна ЕС может помочь другой с депортацией мигрантов, например, финансировать или организовывать процесс. Для стран Северной Африки важен компонент внешнего измерения миграции – ЕС получает мандат на заключение соглашений о реадмиссии от имени всех государств-членов<sup>1</sup>. Во-вторых, это Соглашение ЕС – Тунис о миграции и партнёрстве, вступившее в силу в июле 2023 г. Хотя это соглашение не является классическим соглашением о реадмиссии, но содержит соответствующие положения. Согласно документу, ЕС обязался выделить Тунису до 1 млрд евро на контроль границ, поддержку возвращения мигрантов и развитие инфраструктуры и занятости в Тунисе. Данный документ уже вызвал споры и критику: правозащитные организации указывают на непрозрачность механизмов реализации и возможные нарушения прав мигрантов [9. Р. 19]. В-третьих, хотя переговоры о полноценном соглашении ЕС – Марокко по-прежнему не были завершены в 2025 г., между Союзом и королевством действуют совместные декларации, заключенные в 2023–2024 гг. ЕС настоял, чтобы основное внимание в этих соглашениях было уделено именно добровольному возвращению и реинтеграции марокканских граждан. В свою очередь, Марокко требует от ЕС расширения экономического сотрудничества и визовых льгот в обмен на активизацию процедур реадмиссии. В-четвертых, действуют двусторонние соглашения Франции с Алжиром и Марокко 2024–2025 гг. Стороны ведут переговоры об упрощении выдачи консульских разрешений для возвращаемых граждан. В 2025 г. Алжир согласился принимать больше своих граждан, но отказался брать мигрантов из третьих стран. В-пятых, большую роль в регулировании процессов реадмиссии играет рамочная программа Международной организации по миграции (ИОМ) и Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD). Под их эгидой реализуются следующие проекты: реинтеграция возвращённых мигрантов в странах Магриба, повышение компетенции местных властей в странах Северной Африки в области управления миграцией; мониторинг соблюдения прав человека при реадмиссии.

Европейский союз задействует ряд программ и фондов для поддержки стран Северной Африки, таких как платформа «Диалог по вопросам миграции в Африке» (Africa Migration Dialogue), служащая площадкой для переговоров о возвращении и реадмиссии мигрантов. В 2024–2025 гг. благодаря ее деятельности был заключен ряд совместных деклараций со странами Магриба. Фонд «Инструмент соседства, развития и международного сотрудниче-

---

<sup>1</sup> Pact on Migration and Asylum. 2024 21 May. URL: [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en) (accessed: 01.10.2025).

ства» (NDICI – Global Europe) осуществляет финансирование проектов по развитию, миграции и управлению границами. Через него поддерживаются реформы, например в Тунисе. «Чрезвычайный целевой фонд для Африки» (Emergency Trust Fund for Africa) ставит своей задачей борьбу с причинами миграции – бедностью, безработицей, конфликтами. Он выделяет средства на программы занятости молодёжи в Марокко. Агентства Frontex & ICMPD оказывают техническую поддержку пограничным службам североафриканских стран, поставляют оборудование и обучают персонал в Марокко и Тунисе.

Несмотря на внушительный список международных соглашений между ЕС и странами Магриба, эти договоры не приводят к желаемому эффекту. Они часто не реализуются на практике из-за бюрократических сложностей, отсутствия идентификации мигрантов и слабой координации между структурами. Кроме того, не все страны региона имеют актуальные или официально действующие соглашения о реадмиссии с ЕС или отдельными государствами. Так, Алжир отказался от подписи всех предложенных со стороны ЕС форматов соглашений о реадмиссии. Эффективность политики ЕС на данном направлении ограничена опасениями властей стран Магриба внутренней дестабилизации при приёме возвращаемых мигрантов. Сказывается и низкое доверие сторон: местные правительства считают, что ЕС перекладывает ответственность и заботится только о собственных интересах. Программы реадмиссии, предложенные европейскими бюрократами арабским правительствам, упрекают в недостатке прозрачности в распределении средств, а правозащитники твердят о гуманитарных рисках, критикуя условия содержания мигрантов в центрах приёма [10. Р. 47].

В странах Северной Африки реадмиссия воспринимается как навязанная мера со стороны ЕС и вызывает общественное недовольство. Для властей региона наиболее болезненным является политическая чувствительность вопроса: возврат мигрантов увеличивает внутривнутриполитические риски и социальное напряжение. В Магрибе уровень безработицы, особенно среди молодёжи, остаётся высоким; так, в Марокко и Тунисе он составляет более 20% [4. Р. 49]. Возвращающиеся мигранты редко получают экономическую или социальную поддержку. Реинтеграционные программы финансируются в основном ЕС, но часто не достигают локального уровня. Поэтому североафриканские правительства неохотно принимают обратно своих граждан, особенно если их статус за рубежом не подтверждён [11].

ЕС в 2025 г. оказывало давление на страны Магриба с целью расширения реадмиссии, увязывая финансовую помощь с сотрудничеством арабских правительств в сфере принудительного возвращения мигрантов, что вызывает напряжённость. Страны Северной Африки требовали больше инвестиций, визовых льгот и легальных каналов миграции в обмен на согласие принимать мигрантов обратно. В Ливии и Тунисе сохраняются лагеря временного содержания мигрантов, где фиксируются нарушения прав человека (Human Rights Watch и ИОМ) [12. Р. 12]. Отсутствие инфраструктуры для приёма депортированных лиц в странах Севера Африки создаёт кризисные гуманитарные условия.

Если сравнивать отношение стран Магриба к политике реадмиссии, проводимой ЕС, то наиболее лояльной выглядит позиция Королевства Марокко. Власти страны согласны принимать назад мигрантов, если доказано, что они

граждане Марокко. В рамках соглашений о реадмиссии, заключенных с ЕС, а также Францией и Испанией, марокканцы активно сотрудничают, выполняя свою часть договоренностей. Основными препятствиями в этом направлении являются недостаток финансовых ресурсов для приема возвращающихся, а также трудности с идентификацией мигрантов. Основным политическим и социально-экономическим риском для стабильности марокканского общества представляет высокая безработица среди молодежи, которая может быть усугублена возвращением мигрантов из Европы. В этой связи понятны требования властей Марокко к чиновникам ЕС по увеличению европейских инвестиций и созданию легальных каналов миграции, которые бы позволили облегчить социальную нагрузку на правительство Королевства. В число требований также входит финансирование программ занятости и образования для возвращающихся марокканцев [4. Р. 47].

Позиция Алжирской Народной Демократической Республики является наиболее жесткой по отношению к усилиям ЕС навязать стране собственные правила в отношении миграции. Алжир отказывается заключать с ЕС формальные соглашения и сопротивляется возвращению мигрантов, особенно без документального подтверждения гражданства. Ситуация осложняется напряженными политическими отношениями с бывшей метрополией – Францией, где находится основная часть алжирских мигрантов, как легальных, так и незаконных. Попытки заставить Алжир принимать выслаемых из ЕС мигрантов воспринимаются в этой стране как посягательство на суверенитет [8. Р. 56].

Тунис после соглашения 2023 г. с ЕС усилил контроль границ, но не спешит подписывать новые обязательства о приеме мигрантов. В стране, граничащей с нестабильной Ливией, откуда идет поток незаконной миграции, пытаются восстановить контроль над собственными границами и не спешат принимать мигрантов из ЕС. Как самая небольшая и небогатая страна Магриба Тунис наиболее уязвим перед политической нестабильностью, вызванной нехваткой ресурсов для реинтеграции мигрантов, и общественным недовольством наплывом мигрантов из соседних стран. Зная о бюджетных сложностях страны, ЕС предлагает Тунису финансовые пакеты в обмен на реадмиссию мигрантов из Европы [5. Р. 188].

Ливия в 2025 г. осталась самым нестабильным элементом в региональной миграционной системе, в которой она является, по большей части, транзитной зоной, а не страной возвращения. В раздробленной многолетним конфликтом стране нет централизованной власти и политики, в том числе и по вопросу миграции, поэтому реадмиссия фактически невозможна [6. Р. 4019]. Если и существует сотрудничество с ЕС в этом направлении, то оно весьма ограничено под контролем таких международных организаций, как Международная организация по миграции (ИОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Отсутствие единого правительства Ливии ведет к многочисленным нарушениям прав мигрантов, деятельности криминалитета, наживающегося на желании граждан Ливии и соседних африканских стран незаконно проникнуть в Европу [13. Р. 263].

Можно выделить несколько ключевых тенденций, которые определяли развитие политики реадмиссии между странами Северной Африки и Европейским союзом в 2025 г. Первое, что следует отметить, – это усиление дав-

ления Европы на южных соседей. ЕС продолжает использовать механизмы обусловливания поддержки: финансовая и визовая политика увязываются с готовностью стран принимать обратно своих граждан. Например, в отношении Марокко и Туниса ЕС активно предлагает экономическую и визовую либерализацию в обмен на ускорение процедур возвращения. Это приводит к «внешнему управлению миграцией», т.е. к фактическому переносу контроля за границами ЕС за пределы Европы [14. Р. 32].

Вторая тенденция – это рост сопротивления правительств стран давлению ЕС. Правительства региона не готовы принимать массовые возвраты, особенно мигрантов из стран к югу от Сахары, которые попали в Европу транзитом через их территорию. Власти ссылаются на угрозы внутренней стабильности, рост социальной нагрузки и давление общественного мнения. Алжир и Марокко в 2025 г. продолжают отстаивать принцип суверенитета, требуя разделения ответственности за миграцию с ЕС.

В 2025 г. наметилась тенденция формирования новой модели «селективного сотрудничества» ЕС с некоторыми странами Магриба. ЕС сотрудничает более активно с теми странами, которые демонстрируют политическую лояльность и готовы к компромиссам. Это ведёт к асимметричным отношениям, где Северная Африка получает ограниченные выгоды в обмен на выполнение задач по контролю миграции. Радмиссия в Северной Африке остаётся неравномерной, что может привести к росту противоречий между странами региона.

Четвертой важной тенденцией 2025 г. является усиливающаяся критика со стороны НПО и правозащитных организаций, требующих гуманизации процедур возвращения. Политика радмиссии часто нарушает права мигрантов, ей недостает прозрачности в процедурах, отсутствует доступ к правовой помощи и защите мигрантов. В лагерях ожидания в Тунисе и Ливии фиксируются случаи произвольного задержания и насилия [9. Р. 36].

Таким образом, в 2025 г. тема радмиссии в Северной Африке оставалась одной из ключевых и наиболее противоречивых в отношениях между странами Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) и Европейским союзом. Практика демонстрирует расходящиеся приоритеты сторон и несбалансированность интересов [15. Р. 181]. Европейский союз стремится укрепить контроль над миграцией через соглашения о возвращении, а страны региона балансируют между финансовой выгодой, защитой своего суверенитета и политической стабильностью. Для ЕС это скорее инструмент политического давления, чем устойчивый механизм управления миграцией. Североафриканские государства требуют равноправного партнерства, экономических стимулов и уважения суверенитета. В планах ЕС на 2026 г. заключение новых рамочных соглашений с Марокко и Тунисом, а также обновление политического диалога с Алжиром. Однако управление миграцией станет эффективным только при условии соответствия региональным и глобальным целям и учета интересов договаривающихся сторон.

#### **Список источников**

1. Агафошин М.М., Горехов С.А., Дмитриев Р.В. Формирование системы центров временного размещения мигрантов в транзитных регионах Европы // География и природные ресурсы. 2024. Т. 45, № 4. С. 158–167.

2. Андреева Л.А. Реализация возможностей как драйвер африканской экономической миграции в Европу // *Азия и Африка сегодня*. 2023. № 10. С. 66–73.
3. Биссон Л.С. Миграционная дипломатия: взгляд на отношения ЕС и Африки // *Современная Европа*. 2024. № 6 (127). С. 57–67.
4. Alioua M., Arab C. Logiques de tri et migrations contrariées au Maroc. Circulations, assignations et contrôles aux frontières de l'Europe // *Migrations Société*. 2023. № 191 (1). P. 33–50. doi: 10.3917/migra.191.0033
5. Hiba Sha'ath, Fatma Raach. Cooperation within Reason: Tunisia's Approach to Asylum and Readmission // *European Journal of Migration and Law*. 2024. Vol. 26, № 2. P. 179–196. doi: 10.1163/15718166-12340176
6. Pacciardi A., Berndtsson J. EU border externalisation and security outsourcing: exploring the migration industry in Libya // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2022. № 48. P. 4010–4028. doi: 10.1080/1369183X.2022.2061930
7. Roos C., Trauner F., Adam I. Bureaucratic Migration Politics in West Africa: Opportunities and Dependencies Created by EU Funding // *International Migration Review*. 2023. № 58 (1). P. 296–318. doi: 10.1177/01979183221142775
8. Carbone M. Double Two-level Games and International Negotiations: Making Sense of Migration Governance in EU-Africa Relations // *Journal of Contemporary European Studies*. 2022. № 30 (4) P. 750–762. doi: 10.1080/14782804.2022.2106954
9. *Migration and Torture in Today's World* / ed. by Fabio Perocco. Edizioni Ca'Foscari, 2023. 302 p.
10. Oualdi M. Europe's border policies and the suffering they produce // *Politique africaine*. 2023. № 171. P. 45–60.
11. El Fekki A. Between Detention and Despair: Migrants in North Africa // *The Africa Report*. 2023. November 2.
12. Cassarino J.-P., Marin L. The Pact on Migration and Asylum: Turning the European Territory into a Non-territory? // *European Journal of Migration and Law*. 2022. № 24 (1). P. 1–24. doi: 10.1163/15718166-12340117
13. Adebajo A. *The Shadows of Empire: African Perceptions of Europe and the EU // International Relations and the European Union, 4th Edition* / eds. C. Hill, M. Smith, S. Vanhoonacker. Oxford University Press, 2023. P. 259–280.
14. *Migration Control Logics And Strategies In Europe: A North-South Comparison* / eds. C. Finotelli, I. Ponzio. New York : Springer, 2023. 340 p.
15. *The Informalisation of the EU's External Action in the Field of Migration and Asylum* / ed. by E. Kassoti, N. Idriz. Springer & T.M.C. Asser Press, 2022. 346 p.

### **References**

1. Agafoshin, M.M., Gorokhov, S.A. & Dmitriev, R.V. (2024) Formirovanie sistemy tsentrov vremennoy razmeshcheniya migrantov v tranzitnykh regionakh Evropy [Formation of a System of Temporary Migrant Accommodation Centres in Transit Regions of Europe]. *Geografiya i prirodnye resursy*. 45(4). pp. 158–167.
2. Андреева, Л.А. (2023) Realizatsiya vozmozhnostey kak draiver afrikanskooy ekonomicheskoy migratsii v Evropu [Realisation of Opportunities as a Driver of African Economic Migration to Europe]. *Aziya i Afrika segodnya*. 10. pp. 66–73.
3. Bisson, L.S. (2024) Migratsionnaya diplomatiya: vzglyad na otnosheniya ES i Afriki [Migration Diplomacy: A View on EU-Africa Relations]. *Sovremennaya Evropa*. 127(6). pp. 57–67.
4. Alioua, M. & Arab, C. (2023) Logiques de tri et migrations contrariées au Maroc. Circulations, assignations et contrôles aux frontières de l'Europe. *Migrations Société*. 191(1). pp. 33–50. doi: 10.3917/migra.191.0033
5. Hiba Sha'ath & Fatma Raach (2024) Cooperation within Reason: Tunisia's Approach to Asylum and Readmission. *European Journal of Migration and Law*. 26(2). pp. 179–196. doi: 10.1163/15718166-12340176
6. Pacciardi, A. & Berndtsson, J. (2022) EU border externalisation and security outsourcing: exploring the migration industry in Libya. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 48. pp. 4010–4028. doi: 10.1080/1369183X.2022.2061930
7. Roos, C., Trauner, F. & Adam, I. (2023) Bureaucratic Migration Politics in West Africa: Opportunities and Dependencies Created by EU Funding. *International Migration Review*. 58(1). pp. 296–318. doi: 10.1177/01979183221142775

8. Carbone, M. (2022) Double Two-level Games and International Negotiations: Making Sense of Migration Governance in EU-Africa Relations. *Journal of Contemporary European Studies*. 30 (4). pp. 750–762. doi: 10.1080/14782804.2022.2106954

9. Perocco, F. (ed.) (2023) *Migration and Torture in Today's World*. [s.l.]: Ca' Foscari University Press.

10. Oualdi, M. (2023) Europe's border policies and the suffering they produce. *Politique africaine*. 171. pp. 45–60.

11. El Fekki, A. (2023) Between Detention and Despair: Migrants in North Africa. *The Africa Report*. 2nd November.

12. Cassarino, J.-P. & Marin, L. (2022) The Pact on Migration and Asylum: Turning the European Territory into a Non-territory? *European Journal of Migration and Law*. 24(1). pp. 1–24. doi: 10.1163/15718166-12340117

13. Adebajo, A. (2023) The Shadows of Empire: African Perceptions of Europe and the EU. In: Hill, C., Smith, M. & Vanhoonacker, S. (eds) *International Relations and the European Union*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press. pp. 259–280.

14. Finotelli, C. & Ponzio, I. (eds.) (2023) *Migration Control Logics And Strategies In Europe: A North-South Comparison*. New York: Springer.

14. Kassoti, E. & Idriz, N. (eds.) (2022) *The Informalisation of the EU's External Action in the Field of Migration and Asylum*. [s.l.]: Springer & T.M.C. Asser Press.

**Сведения об авторе:**

**Жерлицына Н.А.** – доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук (Москва, Россия). E-mail: ns\_inafr@mail.ru

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.**

**Information about the author:**

**Zherlitsina N.A.** – Dr. Sci. (History), docent, chief researcher, Institute of African Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: ns\_inafr@mail.ru

**The author declares no conflicts of interests.**

Статья поступила в редакцию 07.11.2025;  
одобрена после рецензирования 28.01.2026; принята к публикации 18.02.2026

The article was submitted 07.11.2025;  
approved after reviewing 28.01.2026; accepted for publication 18.02.2026

Научная статья

УДК 323.22/.28

doi: 10.17223/1998863X/89/20

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Руслан Салихович Мухаметов

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия, muhametov.ru@mail.ru*

**Аннотация.** Исследуется степень развития политических амбиций у студенческой молодежи. Эмпирической базой исследования выступил опрос студентов вузов г. Екатеринбурга. Показано, что уровень политических амбиций у девушек, которые получают высшее образование, несколько ниже, чем у юношей-студентов. Студентки реже рассматривают возможность баллотироваться на должность, что во многом связано с более низкой субъективной оценкой собственной квалификации.

**Ключевые слова:** политические амбиции, выборы, молодежь, политическая активность, представленность женщин, политическое участие

**Для цитирования:** Мухаметов Р.С. Политические амбиции студенческой молодежи в России: гендерный аспект // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 228–239. doi: 10.17223/1998863X/89/20

Original article

## POLITICAL AMBITIONS OF STUDENTS IN RUSSIA: THE GENDER ASPECT

Ruslan S. Mukhametov

*Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  
Yekaterinburg, Russian Federation, muhametov.ru@mail.ru*

**Abstract.** What prevents more women from running for political office? Why are there not so many women in elected positions? This article explores an alternative explanation for women's political representation. The author examines the degree of development of political ambitions among young men and women, and seeks to identify the main factors influencing the desire to participate in elections as candidates among young women. The conceptual framework of the work is Joseph Schlesinger's theory of political ambitions. The article discusses a number of theories on the basis of which the author formulates working hypotheses. The empirical basis of the study is a sociological survey of university students in Yekaterinburg. The method of data analysis is multiple linear regression. The results of the study show that the level of political ambitions among young women is lower than among young men, due to the fact that women underestimate their qualifications (whereas men overestimate theirs). Women are less likely to consider running for office and less likely to believe that they are qualified to apply for a high political position. It is shown that the absolute majority of young women do not believe that men are better suited for politics than women—a finding that contradicts traditional theories of gender political socialization. According to the author, this result is explained by the theory of existential security and modernization advanced by Ronald Inglehart and Pippa Norris. The data obtained in the article indicate that young women who consider themselves more qualified and who are more satisfied with their financial situation exhibit a higher level of political ambitions.

**Keywords:** political ambitions, elections, youth, political activism, representation of women, political participation

**For citation:** Mukhametov, R.S. (2026) Political ambitions of students in Russia: the gender aspect. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 228–239. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/20

## Введение

На протяжении десятилетий исследователи в области гендерных аспектов политики стремились понять истоки и причины ограниченного числа женщин на выборных должностях. Так, среди кандидатов в президенты РФ доля женщин меньше 6% (за семь избирательных кампаний всего 3 кандидата-женщины из 51 – Э. Памфилова, И. Хакамада и К. Собчак). Процент женщин-кандидатов среди зарегистрированных кандидатов на прямых губернаторских выборах следующий: 2022 г. – 9,3% (7 из 75), 2021 г. – 12,2 (5 из 41), 2020 г. – 14 (13 из 93), 2019 г. – 15,4% (12 из 78). Доля женщин-кандидатов от политических партий на парламентских выборах 2021 г. по одномандатным округам составляла: «Единая Россия» – 18,3%, КПРФ – 13,3, ЛДПР – 7,5, СРЗП – 19,1, «Новые люди» – 22,5%. Представительство женщин в депутатском корпусе Госдумы невелико (в первом созыве – 13,5%, во втором – 9,8, в третьем – 7,9, в четвертом – 8,3, в пятом – 14,8, в шестом – 13,1, в седьмом – 14%) [1. С. 90]. Иными словами, доля женщин среди претендентов на выборные должности в России ниже по сравнению с мужчинами (по данным статистики, женщин в России 53% от общей численности населения).

Существует несколько объяснений низкой представленности женщин на выборных должностях. Одни связывают это с тем, что избиратели могут быть предвзятыми по отношению к кандидатам-женщинам [2. С. 10–12]. Другое объяснение заключается в том, что партийные лидеры пристрастно относятся к женщинам. Руководство партий не видит в женщинах проходных кандидатов, с меньшей вероятностью привлекает их к участию в выборах и предоставляет меньше ресурсов или «выигрышных» возможностей, чем мужчинам [3. С. 5–13]. Партийные лидеры, которые часто играют ключевую роль в отборе кандидатов, могут предпочесть продвигать мужчин, а не женщин. Если партийное руководство знает о предвзятом отношении избирателей к женщинам, предпочтение кандидатов-мужчин согласуется со стратегией максимизации голосов. Спрос на женщин-политиков, тем не менее, требует объяснений. К нему относится то, как лица, принимающие решения, и партийное руководство контролируют доступ к политическим должностям. Для понимания факторов, влияющих на политическое представительство женщин некоторые исследователи обращаются к феномену предложения со стороны женщин [4. Р. 373–408]. Суть в том, что сами женщины проявляют меньший интерес к тому, чтобы баллотироваться на выборную должность.

Настоящая статья рассматривает вопрос, почему среднестатистические молодые женщины, получившие высшее образование, могут быть менее склонными к поиску влиятельных политических должностей. В работе изучаются политические амбиции и факторы, которые побуждают индивидов выдвигать свои кандидатуры на выборные должности. Ставятся следующие исследовательские вопросы: 1) существует ли разрыв в политических амби-

циях между молодыми мужчинами и женщинами в России? 2) Почему одни девушки обладают политическими амбициями, а другие – нет?

Несмотря на то что такая субдисциплина политической науки, как гендерная политология, в России состоялась [5, 6], отечественных работ, посвященных факторам, влияющим на политические амбиции женщин, нет, но есть исследования, посвященные детерминантам представленности женщин в парламентах [7, 8]. В этой связи обращение к данной тематике с использованием российских данных позволит расширить понимание глубинных причин гендерного политического неравенства в стране, что имеет решающее значение для разработки наиболее эффективной политики по его устранению. Важно подчеркнуть, что исследователи отмечают положительную роль представленности женщин в органах исполнительной и законодательной власти. Так, проявления коррупции менее значительны там, где женщины составляют большую долю рабочей силы и занимают большее количество мест в парламенте [9]. Кроме того, имеются доказательства того, что по мере увеличения числа женщин, избираемых на выборные должности, происходит рост внимания к вопросам качества жизни, равенства, образования, ухода за детьми, насилия в отношении женщин, занятости и оплаты труда [10]. В этой статье анализируется гендерный разрыв в политических амбициях среди российских студентов. Представлены результаты социологического опроса, проведенного в сентябре 2023 г. среди студентов вузов г. Екатеринбурга. Основной вклад настоящей работы состоит в том, что в ней предпринята попытка изучения факторов «со стороны предложения», т.е. исследования уровня готовности женщин баллотироваться на политические должности. Главный вывод нашего исследования заключается в том, что источник низкого уровня политических амбиций молодых женщин – их индивидуальные убеждения и недооценка собственной квалификации для занятия выборного поста.

### **Теоретические рамки исследования**

Теоретической концепцией объяснения гендерного состава законодательных органов является модель спроса и предложения на женщин-политиков. Согласно П. Норрис и Дж. Ловендуски, двумя ключевыми факторами, определяющими количество кандидатов со стороны предложения, о которых в данной статье идет речь, являются: 1) ресурсы (время, деньги и опыт); 2) мотивация (целеустремленность, амбиции и интерес к политике) [4. Р. 377–382]. Под политическими амбициями принято понимать зарождающийся или потенциальный интерес к поиску должности, который предшествует фактическому решению участвовать в конкретном политическом соревновании [11. Р. 643]. В научной литературе существует два подхода к зарождению политических амбиций.

Первый – структурные объяснения. Дж. Шлезингер считает, что политические мотивы и желания человека формируются при наличии политических «возможностей» и что такие возможности структурно детерминированы. Амбиции возрастают по мере того, как открываются возможности и пути к более высоким должностям [12. Р. 3–5]. Г. Блэк также отмечал, что структура политических систем может играть значительную роль в формировании амбиций людей, занимающих посты в системе, т.е. структура политической системы

действует как фильтр: одним она позволяет продвигаться в системе вверх, а других она либо останавливает в их продвижении, либо направляет в менее рискованные и дорогостоящие направления [13. Р. 147–150].

Другие исследователи утверждают, что политические амбиции лежат глубже, чем набор структурных стимулов. Индивидуальные черты личности играют значительную роль в развитии амбиций. Ученые обнаружили тесную взаимосвязь между личностными чертами и зарождающимися амбициями. Люди с более высоким уровнем открытости с большей вероятностью рассматривают возможность баллотироваться на должность, в то время как приятные и добросовестные люди проявляют значительно меньший интерес [14. Р. 310–313].

Исследователи выявили факторы, которые способствуют гендерному разрыву в политических амбициях.

Первый фактор заключается в том, что детерминанта, связанная с восприятием собственной квалификации, базируется на исследованиях самооценки в трудах современных отечественных авторов [15–17]. Гендерному разрыву в политических амбициях способствует уровень знаний, умений и навыков для политической деятельности. Если потенциальный кандидат не считает себя квалифицированным для того, чтобы баллотироваться на выборную должность, то маловероятно, что он выдвинет свою кандидатуру. В работах отмечается, что женщины менее склонны верить, что они квалифицированы, чтобы претендовать на должность [18]. Квалификацию можно рассматривать как условие для политических амбиций. Это связано с тем, что наличие квалификации повышает уверенность в собственных силах и открывает больше возможностей для участия в политике. Высокий уровень квалификации позволяет женщинам оспаривать классические стереотипы о своей роли в политике, что может привести к увеличению числа женщин на руководящих позициях [19].

Другой фактор, объясняющий низкую политическую активность женщин, опирается на концепцию гендерной политической социализации. Исследования показывают, что женщины склонны в меньшей степени баллотироваться на политические посты, так как им в молодом возрасте внушают, что политика – это мир мужчин. Традиционная гендерная ролевая социализация женщин внушает потенциальным кандидатам, что политика – это область, которую лучше оставить мужчинам [7]. Как следствие влияния традиционных моделей и норм, образованные и профессиональные женщины значительно реже, чем мужчины, демонстрируют политические амбиции. Другими словами, традиционная гендерная политическая социализация предполагает, и это внушается с детских лет, что мужчины лучше подходят для политики, а политическая роль женщин противоречит их гендеру и месту женщины – дом. Таким образом, слабые политические амбиции женщин есть результат укоренившихся стереотипных представлений о гендерных ролях [20].

Третий фактор основывается на конфликтной интерпретации политики. Так, К. Шмитт не согласен с представлениями о том, что из политики можно убрать всю воинственную, агонистическую составляющую, утверждая, что конфликт встроен в антропологическую природу человека. Политическое К. Шмитт сводит к взаимодействию между другом и врагом [21. С. 35–40]. Конкурентный характер политики оказывает сильное негативное влияние на

интерес женщин к занятию политических должностей, но не на интерес мужчин, что значительно увеличивает гендерный разрыв в амбициях [22]. Как отмечают ученые, мужчины выбирают соревнования в два раза чаще, чем женщины, что обусловлено их большей самоуверенностью [23]. Неприязнь к выборам у женщин проявляется в наибольшей степени тогда, когда выборы проходят с высокими ставками. Мужчины показывают более низкие уровни неприятия выборов: высокие ставки сдерживают их гораздо реже [24].

Таким образом, исходя из теоретических соображений, можно сформулировать несколько рабочих гипотез:

Гипотеза 1. Молодые женщины демонстрируют более низкий уровень политических амбиций по сравнению с молодыми мужчинами.

Гипотеза 2. Молодые женщины с более высокой субъективной оценкой собственной квалификации проявляют более высокий уровень политических амбиций.

Гипотеза 3. Молодые женщины, придерживающиеся представления о политике как преимущественно мужской сфере, характеризуются более низким уровнем политических амбиций.

Гипотеза 4. Молодые женщины, которые чаще участвуют в конкурсах, соревнованиях и других формах состязательной активности, с большей вероятностью выражают желание баллотироваться на выборную должность.

### **Исходные данные и методы исследования**

Для изучения факторов, оказывающих влияние на политические амбиции, был проведен групповой опрос. Методом сбора данных для настоящего исследования было выбрано анкетирование ( $N = 194$  чел.). Социологический опрос был проведен 12–25 сентября 2023 г. Респондентами выступили студенты очной формы обучения четырех вузов г. Екатеринбурга: Уральского федерального университета ( $N = 48$  чел.), Уральской государственной архитектурно-художественной академии ( $N = 52$  человека), Уральского государственного аграрного университета ( $N = 53$  человека) и Уральского государственного экономического университета ( $N = 41$  человек). Социально-демографический портрет респондентов представлен следующим образом: 56% (110 человек) женщин и 44% (84 человека) мужчин. Возрастной состав опрошиваемых: 20,1% респондентов в возрасте 17 лет, 50 – 18 лет, 16 – 19 лет, 11,9 – 20 лет, 1 – 21 год и, наконец, 1% – 22 года. Среди опрошенных 38,1% окончили школу в городе с населением от 1 млн человек; 1 – в городе с населением от 500 тыс. до 1 млн; 20,6 – в городе с населением от 100 до 500 тыс.; 14,4 – в городе с населением от 50 до 100 тыс. и 25,8% – городе с населением до 50 тыс. человек.

Зависимая переменная в настоящей работе – это политические амбиции девушек. Она была операционализирована через ответы на вопрос «Как часто вы задумывались о том, чтобы стать выборным должностным лицом (депутатом, всенародно избранным мэром, главой региона, президентом)? – «очень часто», «часто», «иногда», «редко», «очень редко», «никогда не думал(а)».

В работе представлены следующие объясняющие переменные:

1. «Квалификация» оценивалась по ответам на вопрос «Считаете ли вы себя достаточно квалифицированным(ой), чтобы претендовать на выборную должность?» – «да», «скорее да», «скорее нет», «нет».

2. «Социализация» операционализирована через ответы на вопрос «Скажите, согласны вы или не согласны с таким утверждением: большинство мужчин лучше подходят для политики, чем большинство женщин?» – «абсолютно согласен», «согласен», «скорее не согласен», «абсолютно не согласен».

3. Переменная «Конкурсы» была измерена через ответы на вопрос «Как часто вы принимаете участие в соревнованиях, конкурсах и турнирах?» – «очень часто», «часто», «иногда», «редко», «очень редко», «не принимаю участия».

Далее проведем проверку рабочих гипотез методом анализа таблицы сопряженности и критерия хи-квадрат Пирсона, используя программу для статистической обработки данных SPSS.

### Гендерный политический разрыв

Определим уровень политических амбиций у молодых мужчин и девушек, а также факторы, которые оказывают на это влияние. Данные анкетирования представлены в табл. 1.

Таблица 1. Распределение респондентов, %

Переменная	Ответы	Респонденты	
		Студенты	Студентки
Амбиции	Очень часто, часто	50	21,8
Квалификация	Да, скорее да	21,4	14,5
Политическая социализация	Абсолютно согласен, согласен	46,5	5,5
Конкурсы	Очень часто, часто	21,5	27,3

Как видно из табл. 1, студентки менее охотно стремятся баллотироваться на политические должности по сравнению с молодыми мужчинами, получающими высшее образование (21,8 против 50%), что эмпирически подтверждает первую гипотезу. Данные проведенного опроса показывают, что гендерный разрыв в политических амбициях вызван восприятием молодыми женщинами своих способностей и квалификации. Основной механизм, который способствует ограниченному уровню у студенток политических амбиций, это то, что они воспринимают себя менее квалифицированными, чем молодые мужчины (14,5 против 21,4%).

В научной литературе существует точка зрения, что гендерный разрыв в политических амбициях является результатом традиционной гендерной политической социализации. Согласно данной точке зрения, женщины должны уделять приоритетное внимание домашней работе и уходу за детьми. Традиционное разделение домашнего труда и семейных обязанностей означает, что для многих женщин политическая карьера была бы «третьей работой» [25]. Эти социокультурные проявления традиционной гендерной социализации должны служить основным источником существенного гендерного разрыва в политических амбициях. Настоящее исследование показывает, что почти половина молодых мужчин, которые получают высшее образование (46,5%), придерживаются мнения, что мужчины в среднем более подходят для работы в политике, чем женщины. В то же время с данным утверждением согласны в той или иной степени только 5,5% девушек. Эти результаты не совпадают с

данными опроса населения, который был проведен фондом «Общественное мнение». По данным этого полстера, с тезисом («политика – это не женское дело») согласны 31% мужчин и 28% женщин [26].

Как видно из табл. 1, студентки (27,3%) чаще принимают участие во всевозможных конкурсах, чем молодые люди (21,5%). Иными словами, разница составляет в 5,8% в пользу девушек. Необходимо подчеркнуть, что предыдущие исследования показывают: мальчики проводят большую часть своего времени за соревновательными играми, а девочки выбирают занятия, в которых нет победителя и нет четкой конечной цели [27]. Одним из объяснений может быть то, что в условиях широкого проникновения Интернета в целом и социальных сетей в частности в жизнь молодежи участие в конкурсах является простым делом. Например, существуют различного рода соревнования подписчиков, когда приз получает тот, кто оставит больше лайков и/или комментариев.

Отметим, что главный вывод данного раздела статьи (наличие гендерного разрыва в политических амбициях студенческой молодежи) несколько противоречит данным и основным положениям предшествующей литературы. Отечественные социологи подчеркивают отсутствие влияния половых различий у студентов на их интерес к политике, который характеризуется как умеренный или нормальный (средний) [28. С. 203; 29. С. 36]. В то же время другие исследователи считают, что интерес к политике у молодежи носит пассивный характер (т.е. не принимает участие в активных формах) в силу других жизненных приоритетов (решение бытовых и семейных вопросов) [30. С. 134–135].

### Детерминанты политических амбиций молодых женщин

Уровень политических амбиций девушек, как показал наш опрос, отличается: у одних он выше, чем у других (рис. 1).

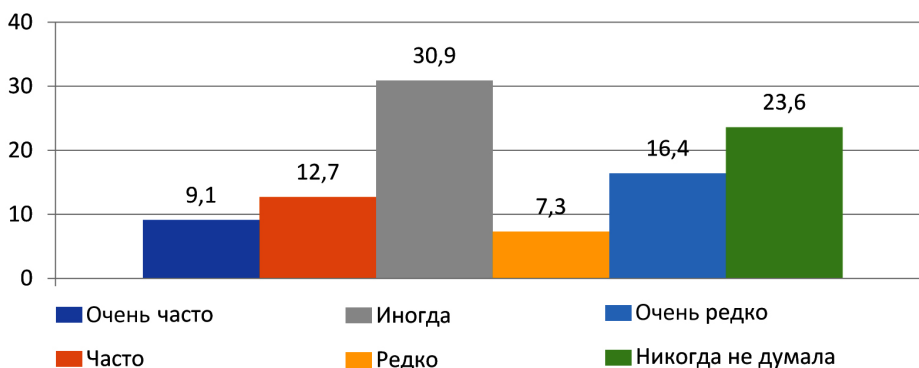


Рис. 1. Уровень политических амбиций молодых женщин

Здесь целесообразно представить оценки влияния ряда факторов на политические амбиции молодых женщин. Таблица сопряженности является удобным средством изучения статистических зависимостей и часто используется для проверки гипотез о наличии связи между двумя переменными (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость уровня политических амбиций девушек от социально-политических характеристик, % от респондентов или соответствующей группы

Объясняющая переменная	Ответ	Как часто вы задумывались о том, чтобы стать выборным должностным лицом (депутатом, всенародно избранным мэром, главой региона, президентом)?			$\chi^2$ Пирсона
		Очень часто и часто	Иногда	Редко, очень редко, никогда	
Квалификация	Да	100	0	0	47,89 Степень свободы 20 $p = 0,001$
	Скорее да	66,7	33,3	0	
Политическая социализация	Абсолютно не согласен	23,7	28,9	47,4	11,617 Степень свободы 15 $p = 0,708$
	Не согласен	25	16,7	58,3	
Конкурсы	Очень часто	40	20	40	43,190 Степень свободы 30 $p = 0,056$
	Часто	50	20	30	

Как видно из табл. 2, фактором, который оказывает положительное влияние на политические амбиции студенток, является оценка ими собственной квалификации ( $p = 0,000$ ;  $p < 0,05$ ). Из таблицы сопряженности видно, что 100% тех, кто считает себя квалифицированными, очень часто задумывались о баллотировании; часто задумываются о баллотировании более половины (66,7%) респондентов – это те, кто думает, что скорее соответствует по своей квалификации. Иными словами, молодые женщины, которые считают себя более квалифицированными, чаще задумываются о выдвижении своих кандидатур на выборные должности. Это подтверждает вторую гипотезу.

Необходимо отметить, что остальные объясняющие переменные («Политическая социализация» и «Конкурсы») не показали статистической значимости ( $p > 0,05$ ). Около половины респондентов (47,4 и 58,3%) из числа студенток, кто в той или иной степени не согласен с тезисом, что большинство мужчин лучше подходят для политики, чем большинство женщин, редко или почти никогда не рассматривали сценарий о выдвижении своей кандидатуры на выборную должность. Несмотря на то что теория предполагает прямую связь между несогласием с гендерными представлениями о политике и амбициями женщин, она не учитывает более широкие социокультурные и институциональные контексты, которые определяют политическую активность женщин в целом.

В научной литературе существует точка зрения, что конкурсы и соревнования могут предоставить женщинам некоторые возможности для участия в политике. Результаты этого исследования показывают, что 40 и 30% студенток, которые очень часто и часто соответственно принимают участие в соревнованиях, редко задумываются о баллотировании на выборные должности. Можно предположить, что простое участие в конкурсах не столько может привести к росту политических амбиций, сколько может непреднамеренно укреплять существующие гендерные стереотипы. Женщины в целом могут чувствовать социальное давление, вынуждающее их соответствовать традиционным ролям или ожиданиям в таких условиях, что может снижать их уверенность в себе и отбивать желание заниматься политикой.

Таким образом, у российской политики не женское лицо. Среди депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам в 2021 г., женщин – 35 человек (15,5%). За всю постсоветскую историю только шесть женщин

было главами регионов: В. Броневи́ч (Корякский автономный округ, 1996–2000 гг.), В. Матвиенко (Санкт-Петербург, 2003–2011 гг.), М. Ковтун (Мурманская область, 2012–2019 гг.), С. Орлова (Владимирская область, 2013–2018 гг.), Н. Жданова (Забайкальский край, 2016–2018 гг.) и Н. Комарова (ХМАО, 2010–2024 гг.).

## **Заключение**

В России наблюдается различное гендерное представительство на выборных должностях. Исследователи проявляют интерес к причинам гендерного разрыва в политическом представительстве. Основные теоретические объяснения низкого уровня участия женщин в парламенте связаны с феноменом спроса на женщин-кандидатов. В данной работе внимание сосредоточено на стороне предложения, т.е. на готовности женщин выдвигать свои кандидатуры.

Целью настоящего исследования было определить, существует ли гендерный разрыв в политических амбициях среди молодых россиян, а также выяснить, почему одни девушки проявляют интерес к политической карьере, тогда как другие не рассматривают такую возможность. На основе опроса более 190 студентов в возрасте от 17 до 22 лет были проанализированы различия в стремлении к политическим должностям и факторы, влияющие на эти установки.

Полученные результаты позволяют дать четкие ответы на исследовательские вопросы. Во-первых, гендерный разрыв в политических амбициях действительно существует: молодые женщины статистически значимо реже рассматривают выборную должность как привлекательную профессиональную траекторию по сравнению с молодыми мужчинами. Это свидетельствует о том, что гендерные различия в представлениях о политической карьере проявляются уже на этапе получения высшего образования.

Во-вторых, причины различий в политических амбициях среди девушек связаны с субъективной самооценкой собственной квалификации. Студентки, которые оценивают свои навыки, лидерские качества и профессиональные способности выше, чаще выражают готовность баллотироваться на выборные должности. Напротив, низкая самооценка собственных компетенций существенно снижает вероятность возникновения политических амбиций. Таким образом, ощущение недостаточной квалифицированности выступает ключевым барьером для политической самореализации молодых женщин.

Исследование расширяет понимание гендерной специфики формирования политических карьерных намерений в российском контексте. Полученные данные указывают на важность работы с гендерными стереотипами, роста уверенности в собственных политических и профессиональных навыках, а также создания условий, которые способствуют более равным возможностям участия молодых женщин в политической жизни.

Следует отметить ограничения настоящего исследования. Главным из них является то, что респондентами выступали студенты вузов г. Екатеринбург. Уральскую столицу, как город-миллионник, относят к «Первой России» (термин Н. Зубаревич), поэтому полученные данные не могут быть полностью экстраполированы на всю студенческую молодежь страны. Вместе с тем результаты исследования позволяют выявить тенденции и могут служить отправной точкой для будущих более масштабных исследований. Для ниве-

лирования данного ограничения в дальнейшем целесообразно проводить опросы не только среди студентов крупных мегаполисов, но и среди молодежи из меньших городов, а также среди учащихся средних специальных учебных заведений.

#### Список источников

1. Мухаметов П.С. Высокое представительство женщин в парламенте и пропорциональная избирательная система: работает ли эта взаимосвязь в России? // Сравнительная политика. 2021. № 2. С. 82–93. doi: 10.24411/2221-3279-2021-10021
2. Рябова Т.Б. Пол власти: гендерные стереотипы в современной российской политике. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2008. 246 с.
3. Рябова Т.Б., Рябов О.В. «...Слышу речь не мальчика, но мужа»: о гендерно-возрастных стереотипах в политике // Женщина в российском обществе. 2020. № 4. С. 5–13.
4. Norris P., Lovenduski J. If only more candidates came forward': Supply-side explanations of candidate selection in Britain // British Journal of Political Science. 1993. № 23 (3). P. 373–408.
5. Айвазова С.Г. Гендерные исследования современных политических процессов в России // Женщина в российском обществе. 2002. № 2–3. С. 24–32.
6. Рябова Т.Б., Овчарова О.Г. Гендерная политология в России: достижения, проблемы и перспективы // Женщина в российском обществе. 2016. № 1. С. 3–23.
7. Мухаметов П.С. Представленность женщин в региональных парламентах: тестирование модели традиционных гендерных ролей // Общественные науки и современность. 2023. № 3. С. 131–145. doi: 10.31857/S0869049923030097
8. Голосов Г.В. Политические институты и доступ женщин к представительству в законодательных собраниях российских регионов // Гендерная реконструкция политических систем / под ред. Н.М. Степановой, М.М. Кириченко, Е.В. Кочкиной. СПб. : Алтейя, 2003. С. 677–702.
9. Swamy A., Knack S., Lee Y., Azfar O. Gender and Corruption // Journal of development economics. 2001. № 64 (1). P. 25–55.
10. Squires J., Wickham-Jones M. Women in Parliament: A Comparative Analysis // Equal Opportunities Commission, 2001.
11. Fox R., Lawless J. To run or not to run for office: Explaining nascent political ambition // American Journal of Political Science. 2005. № 49 (3). P. 642–659. doi: 10.1111/j.1540-5907.2005.00147.x
12. Schlesinger J.A. Ambition and Politics: Political Careers in the United States. Rand McNally. 1966. 226 p.
13. Black G.A. Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives // The American Political Science Review. 1972. № 66 (1). P. 144–159.
14. Dynes A., Hassell H., Miles M. The Personality of the Politically Ambitious // Political Behavior. 2019. № 41 (1). P. 309–336. doi: 10.1007/s11109-018-9452-x
15. Борозина Л.В. Сущность самооценки и ее соотношение с Я-концепцией // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 2011. № 1. С. 54–66.
16. Галкина Т.В. Самооценка как процесс решения задач: системный подход. М. : Ин-т психологии РАН, 2011. 398 с.
17. Позина М.Б. Компаративистский подход в исследовании когнитивной самооценки // Культурно-историческая психология. 2008. № 2. С. 74–82.
18. Hansen S. Talking about Politics: Gender and Contextual Effects on Political Prose-lytizing // Journal of Politics. 1997. № 59 (1). P. 73–103.
19. Долинская Е. Большие амбиции – нужны ли они женщине // Академия экспоненциального коучинга. URL: <https://exponentialcoachingacademy.com/blog/bolshie-ambicii-nuzhny-li-oni-zhenschine> (дата обращения: 28.11.2023).
20. Fox R., Lawless J. If Only They'd Ask: Gender, Recruitment, and Political Ambition // The Journal of Politics. 2010. № 72 (2). P. 310–326. doi: 10.1017/S0022381609990752
21. Шмунт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 35–67.
22. Preece J., Stoddard O. Why women don't run: Experimental evidence on gender differences in political competition aversion // Journal of Economic Behavior & Organization. 2015. Vol. 117. P. 296–308. doi: 10.1016/j.jebo.2015.04.019
23. Niederle M., Vesterlund L. Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much? // Quarterly Journal of Economics. 2007. № 122 (3). P. 1067–1101.
24. Kanthak K., Woony J. Women Don't Run? Election Aversion and Candidate Entry // American Journal of Political Science. 2005. № 59 (3). P. 595–612. doi: 10.1111 / ajps.12158

25. Bos A., Greenlee J., Holman M., Oxley Z., Lay C. This One's for the Boys: How Gendered Political Socialization Limits Girls' Political Ambition and Interest // *American Political Science Association*. 2021. № 116 (2). P. 1–18. doi: 10.1017/S0003055421001027

26. Женщины в политике // Фонд Общественное мнение. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14506> (дата обращения: 28.11.2023).

27. Croson R., Gneezy U. Gender differences in preferences // *Journal of Economic Literature*. 2009. № 47 (2). P. 448–474. doi: 10.1257/jel.47.2.448

28. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. 688 с.

29. Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодежной политики: результаты исследования / под общ. ред. С.В. Чуева. М. : Изд. дом ГУУ, 2017. 131 с.

30. Ростовская Т.К. Ценностные ориентиры современной молодежи: особенности и тенденции. М. : РУСАЙНС, 2019. 228 с.

### References

1. Mukhametov, R.S. (2021) Vysokoe predstavitel'stvo zhenshchin v parlamente i proporsional'naya izbiratel'naya sistema: rabotaet li eta vzaimosvyaz' v Rossii? [High Representation of Women in Parliament and the Proportional Electoral System: Does This Relationship Work in Russia?]. *Sravnitel'naya politika*. 2. pp. 82–93. doi: 10.24411/2221-3279-2021-10021

2. Ryabova, T.B. (2008) *Pol vlasti: gendernye stereotipy v sovremennoy rossiyskoy politike* [The Sex of Power: Gender Stereotypes in Contemporary Russian Politics]. Ivanovo: Ivanovo State University.

3. Ryabova, T.B. & Ryabov, O.V. (2020) "...Slyshu rech' ne mal'chika, no muzha": o gendernovo-vozrastnykh stereotipakh v politike ["...I Hear the Speech Not of a Boy, but of a Husband": On Gender-Age Stereotypes in Politics]. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve*. 4. pp. 5–13.

4. Norris, P. & Lovenduski, J. (1993) If only more candidates came forward?: Supply-side explanations of candidate selection in Britain. *British Journal of Political Science*. 23(3). pp. 373–408.

5. Ayvazova, S.G. (2002) Gendernye issledovaniya sovremennykh politicheskikh protsessov v Rossii [Gender Studies of Contemporary Political Processes in Russia]. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve*. 2–3. pp. 24–32.

6. Ryabova, T.B. & Ovcharova, O.G. (2016) Gendernaya politologiya v Rossii: dostizheniya, problemy i perspektivy [Gender Political Science in Russia: Achievements, Problems and Prospects]. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve*. 1. pp. 3–23.

7. Mukhametov, R.S. (2023) Predstavlenost' zhenshchin v regional'nykh parlamentakh: testirovaniye modeli traditsionnykh gendernykh roley [Representation of Women in Regional Parliaments: Testing the Model of Traditional Gender Roles]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*. 3. pp. 131–145. doi: 10.31857/S0869049923030097

8. Golosov, G.V. (2003) Politicheskie instituty i dostup zhenshchin k predstavitel'stvu v zakonodatel'nykh sobraniyakh rossiyskikh regionov [Political Institutions and Women's Access to Representation in the Legislative Assemblies of Russian Regions]. In: Stepanova, N.M., Kirichenko, M.M. & Kochkina, E.V. (eds) *Gendernaya rekonstruktsiya politicheskikh system* [Gender Reconstruction of Political Systems]. St. Petersburg: Aletyya. pp. 677–702.

9. Swamy, A., Knack, S., Lee, Y. & Azfar, O. (2001) Gender and Corruption. *Journal of Development Economics*. 64(1). pp. 25–55.

10. Squires, J. & Wickham-Jones, M. (2001) *Women in Parliament: A Comparative Analysis*. Equal Opportunities Commission.

11. Fox, R. & Lawless, J. (2005) To run or not to run for office: Explaining nascent political ambition. *American Journal of Political Science*. 49(3). pp. 642–659. doi: 10.1111/j.1540-5907.2005.00147.x

12. Schlesinger, J.A. (1966) *Ambition and Politics: Political Careers in the United States*. [s.l.]: Rand McNally.

13. Black, G.A. (1972) Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives. *The American Political Science Review*. 66(1). pp. 144–159.

14. Dynes, A., Hassell, H. & Miles, M. (2019) The Personality of the Politically Ambitious. *Political Behavior*. 41(1). pp. 309–336. doi: 10.1007/s11109-018-9452-x

15. Borozdina, L.V. (2011) Sushchnost' samootsenki i ee sootnoshenie s Ya-kontseptsiey [The Essence of Self-Esteem and Its Relationship with the Self-Concept]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya*. 1. pp. 54–66.

16. Galkina, T.V. (2011) *Samoootsenka kak protsess resheniya zadach: sistemnyy podkhod* [Self-Esteem as a Problem-Solving Process: A Systemic Approach]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.
17. Pozina, M.B. (2008) *Komparativistskiy podkhod v issledovanii kognitivnoy samoootsenki* [A Comparative Approach in the Study of Cognitive Self-Esteem]. *Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya*. 2. pp. 74–82.
18. Hansen, S. (1997) Talking about Politics: Gender and Contextual Effects on Political Proselytizing. *Journal of Politics*. 59(1). pp. 73–103.
19. Dolinskaya, E. (n.d.) *Bol'shie ambitsii – nuzhny li oni zhenshchine* [Big Ambitions – Does a Woman Need Them?]. *Akademiya eksponentsial'nogo kouchinga*. [Online] Available from: <https://exponentialcoachingacademy.com/blog/bolshie-ambicii-nuzhny-li-oni-zhenshchine> (Accessed: 28th November 2023).
20. Fox, R. & Lawless, J. (2010) If Only They'd Ask: Gender, Recruitment, and Political Ambition. *The Journal of Politics*. 72(2). pp. 310–326. doi: 10.1017/S0022381609990752
21. Schmitt, C. (1992) *Ponyatie politicheskogo* [The Concept of the Political]. *Voprosy sotsiologii*. 1. pp. 35–67.
22. Preece, J. & Stoddard, O. (2015) Why women don't run: Experimental evidence on gender differences in political competition aversion. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 117. pp. 296–308. doi: 10.1016/j.jebo.2015.04.019
23. Niederle, M. & Vesterlund, L. (2007) Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much? *Quarterly Journal of Economics*. 122(3). pp. 1067–1101.
24. Kanthak, K. & Woony, J. (2005) Women Don't Run? Election Aversion and Candidate Entry. *American Journal of Political Science*. 59(3). pp. 595–612. doi: 10.1111/ajps.12158
25. Bos, A., Greenlee, J., Holman, M., Oxley, Z. & Lay, C. (2021) This One's for the Boys: How Gendered Political Socialization Limits Girls' Political Ambition and Interest. *American Political Science Association*. 116(2). pp. 1–18. doi: 10.1017/S0003055421001027
26. Fond Obshchestvennoe Mnenie. (n.d.) *Zhenshchiny v politike* [Women in Politics]. [Online] Available from: <https://fom.ru/TSennosti/14506> (Accessed: 28th November 2023).
27. Croson, R. & Gneezy, U. (2009) Gender differences in preferences. *Journal of Economic Literature*. 47(2). pp. 448–474. doi: 10.1257/jel.47.2.448
28. Gorshkov, M.K. & Sheregi, F.E. (2020) *Molodezh' Rossii v zerkale sotsiologii. K itogam mnogoletnikh issledovaniy* [Russian Youth in the Mirror of Sociology. On the Results of Many Years of Research]. Moscow: FNISC RAS.
29. Chuev, S.V. (ed.) (2017) *Tsennostnye orientatsii rossiyskoy molodezhi i realizatsiya gosudarstvennoy molod'ozhnoy politiki: rezul'taty issledovaniya* [Value Orientations of Russian Youth and the Implementation of State Youth Policy: Research Results]. Moscow: State University of Management Press.
30. Rostovskaya, T.K. (2019) *Tsennostnye orientiry sovremennoy molodezhi: osobennosti i tendentsii* [Value Orientations of Modern Youth: Features and Trends]. Moscow: RUSAJNS.

**Сведения об авторе:**

**Мухаметов Р.С.** – кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Российская Федерация). E-mail: muhametov.ru@mail.ru

*Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.*

**Information about the author:**

**Mukhametov R.S.** – Cand. Sci. (Political Science), associate professor, Department of Political Sciences, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: muhametov.ru@mail.ru

*The author declares no conflicts of interests.*

*Статья поступила в редакцию 07.02.2024;  
одобрена после рецензирования 28.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 07.02.2024;  
approved after reviewing 28.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научная статья

УДК 930 (2); 159.95

doi: 10.17223/1998863X/89/21

## ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАНЫХ ОКУЛОГРАФИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Наталья Валерьевна Трубникова<sup>1</sup>, Виктор Анатольевич Шамаков<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Национальный исследовательский Томский государственный университет,*

*Томск, Россия*

<sup>1</sup> *troub@mail.ru*

<sup>2</sup> *sva1.0@mail.ru*

**Аннотация.** Представлена междисциплинарная интерпретация результатов окулографического эксперимента, проведенного для анализа характеристик современной коллективной памяти россиян. Работа выполнена на основе сочетания методологии визуальных исследований и подхода когнитивной нейронауки – айтрекинга, чтобы выявить эвристические возможности их совместного использования. Объектом исследования выступили визуальные источники эпохи Гражданской войны, на основании рецепции которых были выявлены особенности восприятия образов прошлого респондентами, образующими группы с разными возрастными и образовательными характеристиками. Гипотеза исследования, состоявшая в предположении о продуктивности изучения неконтролируемых реакций человека в сфере репрезентаций общественного сознания, была подтверждена содержательными выводами и выявлением перспектив развития предложенного подхода.

**Ключевые слова:** Memory Studies, коллективная память, Гражданская война, визуальные исследования, айтрекинг, методы нейронаук

**Благодарности:** исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 24-28-00945, <https://rscf.ru/project/24-28-00945/>

**Для цитирования:** Трубникова Н.В., Шамаков В.А. Визуальные образы Гражданской войны в коллективной памяти современных россиян: междисциплинарный подход к интерпретации данных окулографического эксперимента // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 240–260. doi: 10.17223/1998863X/89/21

Original article

## VISUAL IMAGES OF THE CIVIL WAR IN THE COLLECTIVE MEMORY OF CONTEMPORARY RUSSIANS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO INTERPRETING OCULOGRAPHIC EXPERIMENT DATA

Natalia V. Trubnikova<sup>1</sup>, Viktor A. Shamakov<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

<sup>1</sup> *troub@mail.ru*

<sup>2</sup> *sva1.0@mail.ru*

**Abstract.** This article presents an interdisciplinary interpretation of the results of an oculographic experiment conducted to analyze the characteristics of contemporary Russian

collective memory. The study combines visual research methodology with a cognitive neuroscience approach (eye tracking) to identify the heuristic potential of their combined applying. The study focused on visual sources from the Civil War epoch, intending to identify patterns in the perception of past images by respondents across age and educational groups. The study's hypothesis, which proposed the fruitfulness of studying uncontrolled human reactions in the area of social consciousness representations, was confirmed by substantive findings and the identification of potential development opportunities for the proposed approach.

**Keywords:** memory studies, collective memory, Civil War, visual research, eye tracking, neuroscience methods

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00945, <https://rscf.ru/project/24-28-00945/>

**For citation:** Trubnikova, N.V. & Shamakov V.A. (2026) Visual images of the Civil War in the collective memory of contemporary russians: an interdisciplinary approach to interpreting oculographic experiment data. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 89. pp. 240–260. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/21

## Введение

Современные гуманитарные науки переживают этап развития, связанный с размыканием узких «доменных» рамок экспертного знания в пользу широких междисциплинарных научных инициатив. Это связано не только с рефлексией о перспективах развития наук о человеке в глубокой темпоральной ретроспективе, что приводит к значительной ревизии этапов развития и содержания самой профессии начиная с самых истоков научной институционализации [1], но и с прогрессом цифровых технологий, позволяющих выявлять новые значимые ареалы эмпирических данных принципиально другими средствами, создавая объекты для исследований, которые не могли быть сфокусированы иным образом [2].

В сфере нейроисследований формируется экспериментальный ресурс для изучения восприятия людей на уровне базовых когнитивных условий и параметров эмоциональной вовлеченности. Их потенциал уже реализуется в ряде социальных наук: в сфере анализа принятия решений, потребительского поведения, экономике и маркетинге, в меньшей степени – в сфере образования и безопасности, коммуникации и этики.

Memory Studies, к руслу которых относится представленная работа, особенно чувствительны к интеграции различных исследовательских инструментов, поскольку анализ феноменов коллективной памяти включает в себя не только пространство академического историографического дискурса, но и современное обыденное общественное сознание, формирующее образы прошлого, которое может быть исследовано в самых разных ракурсах. С 2024 г. в Томском государственном университете на стыке гуманитарных наук реализуется проект, в котором традиционные «качественные» методы гуманитарных наук сочетаются с подходами нейронауки, а также технологией прикладного анализа больших данных для выявления характеристик восприятия исторических образов. Тем самым, предполагалось выявить эвристический потенциал соединения исследовательских инструментов, исходящих из совершенно разных областей познания и парадигмальных оснований [3–5].

В качестве объекта исследования были использованы визуальные образы и символы эпохи Гражданской войны в России (1917–1922 гг.), на основании которых выявлялись особенности восприятия, характерные для жителей России разного возраста, имеющих высшее образование различной профессиональной направленности. Наша статья резюмирует результаты применения технологии айтрекинга, на основании которой можно сделать вывод о том, что составляло предмет зрительного восприятия и внимания со стороны респондентов, когда им предъявлялся стимульный материал – аутентичные плакаты и предметы, созданные в годы Гражданской войны белыми и красными в целях идеологической пропаганды в стане противника и поддержки своей политической идентичности внутри группы единомышленников.

### **Методология**

В основу исследования были положены принципы и методы развития современных визуальных исследований, успешно проявляющих себя на уровне разных гуманитарных наук, включая социологию, антропологию, социальную философию, политологию и историю. Визуальная культура определяется ныне не как специальное изучение истории искусства или медиасферы, но как исследование любых аспектов визуального опыта человека, то, как мы видим и как понимаем увиденное, окончательно отказываясь от клише ранних научных представлений о том, что видеть, – это всего лишь пассивный биологический акт наблюдения. Напротив, визуальные практики формируют активный социальный процесс, находящийся под постоянным воздействием политических, социокультурных и мировоззренческих контекстов своей эпохи. Тем самым, воссоздается непрерывный процесс взаимодействия сферы общественных репрезентаций с отношениями знания, власти и идентичности [6] и определяется идея необходимости комплексного изучения проблем визуальности в широком междисциплинарном поле [7], очень тесно перекликающегося с методологическими рамками Memory Studies.

Современные визуальные исследования, в свою очередь, декомпозируются на несколько предметных полей и связанных с ними приемов изучения. Одно из них связано с анализом знаково-символической природы – «семиотического ландшафта» [8], предполагая рассмотрение различных семиотических модальностей – вербальных, визуальных, звуков и/или жестикующих, каждая из которых имеет свои специфические каналы смысла и трансформируется в процессе временной динамики под воздействием различных факторов. Те же закономерности отличают и процесс интерпретации образов прошлого, обращение к его знаковой форме позволяет «декодировать» базовую семиотическую структуру, характерную для определенного момента времени. Сложность семиотического анализа заключается и в онтологической многослойности любого визуального образа: каждый из них несет в себе непосредственную информацию о поступках людей в канве времени: персоналии прошлого действуют исходя из собственной мотивации. Однако впоследствии события прошлого становятся частью процесса постоянного символического «переусвоения» в общем контексте развития культуры, приобретая в процессе семиозиса индексирующий смысл, способствующий непротиворечивой символической интеграции. Если семиотические связи неустойчивы и непрояснены, возникают травмирующие разрывы коллективной идентично-

сти. Необходимость декодирования знаково-символической основы связи прошлого и настоящего наиболее значима в пространстве визуальной семиотики, где исследуются соотношения «иконичности» и символизма – связи между непосредственным изображением и абстрактными идеями, возникающими в ходе визуальной коммуникации [9. С. 76–97].

Опыт анализа визуальных семиотических основ плакатов эпохи Гражданской войны, рассматриваемых сквозь призму нейротехнологий, был опубликован ранее [5].

Важным разделом визуальных исследований является рассмотрение различных «конструктивных» аспектов создания самого визуального материала, позволяющих выявить пространство «организованных возможностей», предлагаемых создателем произведения своим зрителем. Именно стратегии визуальной риторики создают средства влияния на реципиента, от которых зависит убедительность полученного образа для смотрящего [8]. Важной здесь является реконструкция «идеационной» функции изображения: анализ того, как рассматриваемая визуальная репрезентация представляет мир, человеческий опыт и события. Фактически визуальные элементы – фигуры, действия, объекты – рассказывают собственные «истории» или выстраивают собственные иерархии отношений, проявляя одновременно свою нарративную и концептуальную подоплеку.

Анализ «интерперсональных» средств коммуникации позволяет установить отношения между персонажами рассматриваемой репрезентации и зрителем: взгляд, ракурс, дистанция между ними непосредственно влияют на то, как зритель вовлекается или отстраняется от изображаемого.

Текстуальная организация является предметом отдельного исследования того, как различные элементы изображения связываются между собою в единое осмысленное целое, подчиняясь композиционным принципам, которые структурируют информацию и направляют взгляд зрителя, делая изображение «читаемым».

## Материалы исследования

Основным (стимульным) материалом исследования выступает подборка плакатов и символов, созданных красными и белыми в годы Гражданской войны (1917–1922 гг.) (рис. 1).

Материалы исследования – плакаты и символы периода Гражданской войны (1917–1922 гг.)

В основу формирования коллекции материалов легла идея «симметричного» представления на одном слайде идей белых и красных, собранных исследователями намеренно на основании сходства сюжета/композиции либо выполненных с легко читаемой высокой степенью предвзятости одной из сторон конфликта, что позволяет с большей степенью наглядности выявлять и специфику культурно-политического «кода», который противники пытались донести до современников, и разницу в вероятных предпочтениях, которые могут быть зафиксированы в зрительных реакциях современных россиян при их просмотре. Фактически коллекция визиоматериалов была доработана по итогам первой итерации нейроэксперимента (результаты опубликованы в статье), в котором было установлено, что разрозненные в сюжетном отношении образы Гражданской войны в большей или меньшей степени отзываются

в памяти профессиональных историков-респондентов, но мало репрезентативны при обращении к ним носителей обыденной исторической памяти, вызывая иногда достаточно причудливые ассоциации (например, с искусством читаемых справа налево японских комиксов манга).



Рис. 1. Стимульный материал исследования – плакаты периода Гражданской войны (1917–1922 гг.)

Выбор плаката как основного визуального стимула был определен тем, что именно этот вид наглядной агитации, появившийся изначально как рекламный продукт, в эпоху политических потрясений стал самым мощным

средством идеологического обращения к народу, обладая большой силой агитационного посыла и перформативности – побуждения к немедленному действию. Авторы плакатов противоборствующих сторон, при наличии определенной художественной специфики, создавали легко узнаваемые по композиционным и образным приемам эпохи произведения. Наиболее тиражируемые плакаты были исключительно эффективны по силе воздействия, интуитивно понятны, поскольку базировались на глубоких стереотипах национальной культуры и культурных маркерах своей эпохи, где иконический пласт изображения нередко сопровождался текстовым слоганом [10]. На слайде 9 визиоматериалов представлена основная символика движений красных и белых, воплощенная в головных уборах военных и наградных знаках, предъявление которой позволяет делать определенные выводы о степени их узнавания современными респондентами.

Перед началом нейроэксперимента визуальные материалы были технически размечены с точки зрения так называемых зон интереса – характерных маркерных мест на изображениях, которые, с профессиональной точки зрения историка, должны быть когнитивно задействованы, с точки зрения наблюдателя, в том случае, если он обладает активной памятью о Гражданской войне (см. рис. 2, 4, 6, 8).

### **Гипотеза, дизайн и процедура исследования**

Гипотеза исследования состояла в том, что объективно регистрируемые с использованием технологии айтрекинга особенности зрительного восприятия плакатов и символики эпохи Гражданской войны могут отражать специфику субъективного отношения участников как к историческим событиям, так и к их участникам, возможно, проявляя особенности коллективной памяти у представителей разных поколений и с разной направленностью образования.

*Характеристика состава респондентов нейроэксперимента.* Для проведения исследования была сформирована репрезентативная выборка из 25 респондентов (10 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 18 до 57 лет, имеющих базовые представления о событиях Гражданской войны в России. После исключения трех участников из-за низкого качества сигнала айтрекера итоговая выборка составила 22 человека. Все участники имеют высшее образование либо находятся в процессе его получения.

Для сравнительного анализа все испытуемые были поделены на группы по двум независимым критериям: по профессионально-образовательному профилю (историки/неисторики) и по возрастной группе (младше 30 лет и старше 30 лет). Выборка была разделена дважды, отдельно по каждому критерию. Таким образом, были получены две пары сопоставимых групп.

*Группа «Историки».* Группа состоит из респондентов в возрасте от 20 до 54 лет (4 мужчин и 7 женщин), представляющих как студентов исторических факультетов (бакалавриата, магистратуры и программ специального высшего образования), так и опытных специалистов – преподавателей исторических дисциплин и сотрудников Научной библиотеки, чья деятельность непосредственно связана с научно-образовательным процессом.

Участников данной группы объединяют высокий уровень вовлеченности в академическую среду, регулярная работа с историческими источниками и

сформированные навыки анализа и интерпретации исторического материала. Это создает специфический когнитивный профиль группы, представляющий ценность для исследования восприятия исторических образов и механизмов исторической памяти.

*Группа «Неисторики».* Группа респондентов без исторического образования включает участников от 18 до 57 лет (5 мужчин и 6 женщин). В нее вошли как студенты естественно-научных, технических и педагогических направлений бакалавриата и аспирантуры, так и взрослые специалисты – научные сотрудники, преподаватели неисторических дисциплин и сотрудники библиотеки, чья профессиональная деятельность связана с точными науками, информационными технологиями или систематизацией данных.

Респондентов данной группы объединяет то, что у них отсутствует историческое образование и они не обладают опытом профессиональной интерпретации исторических источников, что позволяет использовать изучение данных этой группы для контроля влияния профессиональной специализации на восприятие образов прошлого при сравнении с группой «исторического профиля».

*Группа «Младше 30 лет».* Группа состоит из респондентов от 18 до 24 лет (6 мужчин и 4 женщины), представляющих поколение «цифровых аборигенов», чье профессиональное становление происходит в условиях активного использования цифровых технологий. А их мировоззрение не было подвержено влиянию идеологии советской эпохи.

В нее вошли студенты, научные сотрудники, преподаватели как исторических, так и неисторических дисциплин и библиотечные специалисты, чья профессиональная деятельность связана с точными науками, информационными технологиями или систематизацией данных.

*Группа «Старше 30 лет».* Этот сегмент выборки представлен респондентами от 31 до 57 лет (3 мужчин и 9 женщин), которых, пользуясь терминологией Марка Пренски, можно отнести к поколению «цифровых иммигрантов» [11], родившихся в эпоху, предшествующую широкому распространению цифровых технологий. Кроме того, их мировоззрение формировалось под влиянием (пусть и в разной степени, но испытанного респондентами) идеологизированного исторического нарратива советской эпохи.

В группу респондентов «старше 30 лет» вошли как студенты, так и преподаватели различных дисциплин, а также сотрудники Научной библиотеки, занимающиеся непосредственной поддержкой научно-образовательного процесса и имеющие высшее образование в сфере как исторических, так и точных наук.

Все респонденты подписывали информированное согласие на участие в исследовании и заполняли анкету, уточняющую их пол, возраст, уровень образования и осведомленность о событиях Гражданской войны, в том числе наличие тех или иных «исторических симпатий». Результаты анкетирования определили большую осведомленность о событиях Гражданской войны в группах II и III, причем, группа II проявила большую осведомленность и выраженную симпатию по отношению к Белому движению, а группа III – по отношению к красным.

Затем участники исследования получали инструкции об экспериментальной процедуре, в ходе которой на экране компьютера им последова-

тельно предъявлялись девять визуальных композиций, которые содержали изображения агитационных плакатов периода Гражданской войны, отражающих идеологические нарративы красных и белых. Каждая визуальная композиция демонстрировалась на экране 25 секунд с межстимульным интервалом 5 секунд.

Регистрация глазодвигательной активности осуществлялась с использованием стационарного айтрекера SMI RED 500, позволяющего фиксировать направление взгляда с высоким временным разрешением (частота дискретизации – 500 Гц). Устройство поддерживает свободные движения головы, что увеличивает комфорт участников и близость условий эксперимента к естественному восприятию визуального материала.

В ходе эксперимента отслеживались зрительные фиксации – периоды, когда взгляд остается в относительно неподвижном положении в пределах одной области изображения, а также саккады – быстрые скачкообразные перемещения взгляда от одной точки фиксации к другой. Также регистрировались данные об общей продолжительности просмотра респондентами той или иной области интереса предъявляемых изображений. Показатели длительности фиксаций связаны с когнитивными стратегиями обработки зрительной информации. Согласно гипотезе «мозг-глаз» (brain-eye hypothesis), продолжительность фиксаций отражает глубину восприятия визуальных стимулов, а также уровень когнитивной нагрузки [12]. В то же время в момент саккадических движений глаз воспринимаемая информация не осознается [13].

После завершения экспериментальной процедуры с каждым участником было проведено глубинное интервью, в ходе которого респонденты объясняли восприятие каждой визуальной композиции. Таким образом запись глазодвигательной активности была аннотирована смысловым содержанием воспринимаемых стимулов. На основании результатов интервью была введена дополнительная группирующая переменная *живая память*, отражающая наличие или отсутствие узнавания участниками визуальных мотивов Гражданской войны, представленных на плакатах.

Экспериментальный дизайн был разработан в программной среде SMI Experiment Center, обработка и анализ данных осуществлялись с помощью программного обеспечения SMI BeGaze и статистического пакета R (версия 4.5.2) [14].

## Результаты исследования и их обсуждение

Статья представляет результаты исследования, проведенного на основе двух взаимодополняющих методологических позиций – со стороны анализа визуальных стратегий источника и его восприятия реципиентами и анализа данных зрительного восприятия плакатов и символов периода Гражданской войны с использованием технологии отслеживания движений глаз (айтрекинг).

*Визуальные стратегии автора и зрителя: проектируемое тогда и видимое сейчас*

Проведем визуальный анализ источников, предложенных к просмотру респондентами, с позиций методологии визуальных исследований и технологии айтрекинга. Ввиду высокого объема полученных окулографических данных в статье представлены результаты о восприятии респондентами

двух наиболее контрастных по оформлению и противоположных по предполагаемой целевой аудитории изображений – плакатов № 2, 3, 6 и 9 (см. рис. 2–9).

С точки зрения общего социокультурного контекста относительная скромность типографической базы производства плакатов, особенно для белых, вытесненных на окраины бывшей Российской империи, также оказала существенное влияние, обеспечив главенствующую роль плаката как орудия идеологического воздействия [15]. Производство плакатов имело выраженные общекультурные маркеры: идеальный образ воина внушал желание следовать его примеру, враги изображались в виде отвратительных монструозных фигур – более канонически мифологичных у белых и более гротескных у красных. Цветность плакатов у белых, часто довольствующихся карандашами, была заметно беднее и тяготела к традиционному российскому триколору – наследию империи. Доминирующий красный цвет на плакатах красных служил прямым символом классовой борьбы и идеалов коммунизма. И те и другие отдавали должное эффективности вербальных посланий, которые выполнялись большими шрифтами с использованием простой лексики, зовущих на битву с противником. Композиция плакатов передавала экспрессию, яркую мимику на лицах и жестикуляцию, пробуждая эмоциональный отклик у зрителя; символы и эмблемы воюющих сторон опирались на общеизвестные метафоры и стереотипы российской культуры, имея более простое и грубое, в стилистике народного лубка, исполнение в самых активных и резких цветах у красных и более возвышенное, за редким исключением, восходящее к сказочным или библейским архетипам добра и зла исполнение у белых [16].

В условиях Гражданской войны «экономичность» типографической базы производства плакатов, особенно для белых, вытесненных на окраины бывшей Российской империи, также сыграла немаловажную роль, обеспечив главенствующую роль плаката как орудия идеологического воздействия.

Культура производства плакатов имела общие для противоборствующих сторон черты. Идеализированный образ героя-воина должен был побуждать к подражанию, враги, напротив, изображались как демонические фигуры, воплощающие зло. Яркие цвета (палитра которых у белых была ощутимо беднее) прямо ассоциировались с представляемой идеологией (красный – символ классовой борьбы и коммунизма, российский триколор – символ наследия империи). Вербальные послания оформлялись большими, выразительными шрифтами, тексты были лексически простыми, побуждающими к борьбе с врагом [16].

Композиционно плакаты передавали экспрессию, динамику, мимику, жестикуляцию, стимулируя эмоциональную вовлеченность зрителей. Семантика плакатов была насыщена общеизвестными символами и эмблемами противоборствующих движений, метафорами и стереотипами.

При этом есть и определенная специфика в выполнении плакатов красными и белыми. Красные использовали самые «активные» цвета: красный, черный, желтый, много экспрессии, не гнушаясь довольно грубыми метафорами в адрес своих врагов, отсылающих к искусству народного лубка.

Белые, как правило, использовали более «умеренные» цвета – белый, синий, серый, символику Российской империи, а также более сдержанные метафоры, более статичные, формальные и классические композиции, отсылающие к культурному наследию России, стремлению восстановить порядок и вековые традиции.

В целом, плакат образует семиотическое пространство, которое создается посредством взаимодействия визуальных средств выражения и вербальных единиц. Текст, как правило, читается слева направо, сверху вниз, при этом семиотическое пространство подвергается, если доверять выводам специалистов по визуальной семиотике, неосознанному вертикальному и горизонтальному «зонированию» информации. Читатели предпочитают новую информацию и ожидают, что она будет находиться в правой части текста, а также чтобы наиболее общая информация находилась вверху, а наиболее конкретная – в нижней части семиотического пространства. Наиболее важную информацию реципиент будет искать в центре рассматриваемого пространства, а менее важную – на периферии. Наконец, графически привлекательные объекты быстрее завладевают вниманием смотрящего и дольше его удерживают, чем текст [17]. Изображение, в отличие от текста, задействует принципиально иные факторы привлечения внимания: цвет, план, размер. В плакатах часто используется принцип метонимии, когда единичный образ символически выражает большое число предметов, а также «игра масштабов» изображения: так, помещенная спереди фигура воина-красноармейца воспринимается как заградительный щит завоеваний революции.

Рассмотрим слайд 2 (рис. 2). Здесь сопоставлены пасхальный плакат белых, знаменующий освобождение прекрасной девицы-Руси русским богатырем, попирающим красный флаг, и красногвардейцем, наступающим на горло белому генералу и со штыком, на котором гордо реет флаг РСФСР. С точки зрения «идеационных» характеристик у белых воздетые к небу руки девушки с разорванными цепями символизируют освобождение, концептуальность выражается образом поруганных церквей на заднем плане и любовью рыцаря, лицом обращенного к спасенной Руси. Символичность плаката поддерживается образом щита в цветах триколора и растоптанным красным флагом с символом серпа и молота. У красных суровое лицо красноармейца символизирует решимость в борьбе с классовым врагом, его рука прямо указывает на зарю новой жизни, где дымят трубы заводов, а значит, страна возвращается к жизни. С точки зрения интерперсональной коммуникации характеристики обоих плакатов схожи: герои, включая поверженного генерала, избегают прямого взгляда на зрителя, предлагая переосмыслить свое отношение к социальной реальности, дистанция между ними и зрителем – средняя, что нацеливает на взаимодействие, оба плаката характеризуются высокой модальностью – подача материала реалистична и детализирована. В совокупности эти признаки сообщают о желании авторов вести «открытый разговор», нацеленный на изменение мировоззрения зрителя.

С позиций текстуального анализа расположение вербальной информации внизу изображения свидетельствует о подаче конкретной и практической информации, что поддерживает вышеописанную концепцию.



Рис. 2. Размеченные зоны интереса на визуальной композиции № 2: щит, серп и молот (слева), флаг и «Деникин» (справа)

Обращаясь к результатам нейроэксперимента, можно проинтерпретировать данные о том, что увидели респонденты на двух плакатах на слайде 2.

В качестве зон интереса, проявляющих осознанность внимания респондентов к материалу, на левом плакате были выделены щит, серп и молот, а на правом плакате – красный флаг с надписями «РСФСР» и «генерал». Критерий Крускала–Уоллиса выявил статистически значимые различия между возрастными группами в средней продолжительности фиксации взгляда на области интереса «щит» ( $H(1) = 4,3; p = 0,03$ ). Респонденты младше 30 лет демонстрировали более длительные фиксации ( $Mdn = 314$  мс), чем участники старшей группы ( $Mdn = 231$  мс), что свидетельствует о более выраженном внимании и когнитивной вовлеченности при восприятии данной области интереса.

Респонденты, которые не узнали на представленных плакатах мотивы Гражданской войны 1917 г., чаще возвращались к просмотру данной области ( $Mdn = 5$ ) по сравнению с респондентами группы с «живой памятью» ( $Mdn = 2,5$ ) согласно критерию Крускала–Уоллиса ( $H(1) = 5,6; p = 0,017$ ).

В зонах интереса «флаг» и «серп и молот» не выявлено значимых различий. В то время как в зоне интереса «Деникин» наблюдается более продолжительная первая фиксация ( $Mdn = 294$  мс) у молодых респондентов по сравнению с респондентами более старшего возраста ( $Mdn = 171$  мс). Данное различие подтверждается критерием Крускала–Уоллиса ( $H(1) = 5,6; p = 0,017$ ).

Продолжительность первой фиксации на области интереса отражает то, насколько быстро и глубоко зрительная система начинает обрабатывать предъявленный стимул. Чем дольше длится первая фиксация, тем больше когнитивных ресурсов требуется для начальной интерпретации объекта.

Более продолжительная первая фиксация на области интереса «Деникин» у лиц младшего возраста может свидетельствовать о когнитивной сложности и трудности восприятия, вероятно, свидетельствуя о малой осведомленности в предлагаемом смысловом поле. При этом общее время фиксаций у младшей группы на данной области интереса ниже, чем у группы более старшего возраста. Это означает, что данная группа либо не смогла точно категоризовать указанный стимул, либо в конечном итоге не проявила к нему должного внимания.

Респонденты исторического профиля, а также участники эксперимента старше 30 лет проявили более выраженное внимание к надписи на плакате красного движения: «Победа над деникинскими бандами – победа над голодом», при этом дополнительно акцентируя взгляд на слове «голодом».

Сравнение показателей глазодвигательной активности между группами с историческим и не историческим профилем, а также группами, выделенными на основе глубинного интервью, не выявило статистически значимых различий.

Проведенные после нейроэксперимента интервью подтвердил эмпирически полученный на основе замеров вывод о том, что большинство молодых респондентов с трудом идентифицировали принадлежность плаката белым, но увлеченно рассматривали изображения освобожденной девушки и рыцаря вне ассоциаций с Гражданской войной, поскольку они им напомнили образы русских народных сказок, знакомые из детства. Позиция старшего поколения была более осознанной, оно в основном без труда считывало все интенции авторов, создавших плакаты.

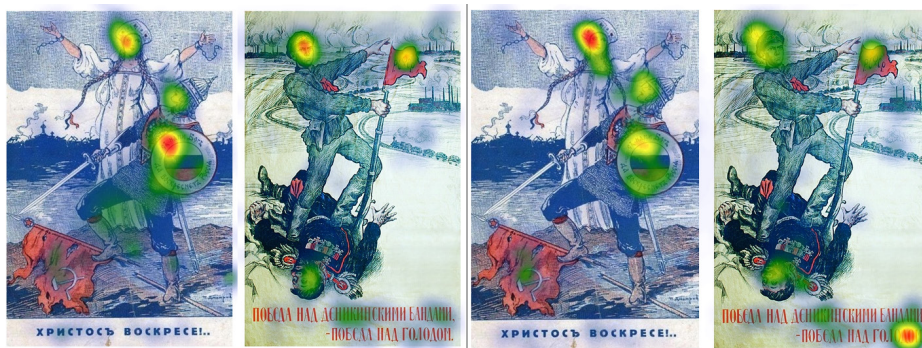


Рис. 3. Тепловые карты визуальной композиции № 2 с обозначением средней продолжительности фиксации у респондентов младшей (слева) и старшей (справа) групп

Переходя к слайду 3 (рис. 4) мы видим композиционно симметричные плакаты белых (слева) и красных (справа), где показан политический союз военного, крестьянина и солдата. С точки зрения концептуальных процессов оба плаката обращают на себя внимание тесной связью базовых персонажей: у белых триумvirат скреплен тройным рукопожатием, крестьянин к тому же обнимает военного за плечи другой рукой. На плакате красных рабочий и крестьянин внимают военному, который что-то с жаром им объясняет. На обоих плакатах присутствуют символические классовые атрибуты: плуг и молот у белых, молот у красных. Оба воина поднимают руки к надписи, расположенной сверху. С точки зрения интерперсональности плакат белых, отражая более тесную связь своих персонажей, выполнен с позиции «обращения»: взгляд центрального персонажа устремлен на зрителя, как бы требуя от него ответа. Персонажи красных выглядят более отстраненными, план социальной дистанции у них тоже выстроен как более публичный и удаленный. Плакат белых, отражая более тесную связь своих персонажей, напротив, выполнен с позиции «обращения»: взгляд центрального персонажа устремлен на зрителя, как бы «требуя» от него ответа. Текст слогана размещен вверху обоих плакатов, что регламентирует идеальный (желаемый) и общий характер размещенной информации.



Рис. 4. Визуальная композиция № 3 с зонами интересов: «Лицо», «Надпись» (слева) и «Надпись 2» (справа)

В ходе нейроисследования были выявлены определенные различия в восприятии слайда 3. У респондентов без профильного исторического образования по сравнению с историками плакат белых (слева) привлекал значительно больше внимания, чем плакат красных (справа). Общая продолжительность всех фиксаций и саккад (*dwel\_time*) на левом плакате в данной группе ( $m = 12\,209$  мс) была статистически значимо выше, чем на правом ( $m = 8\,715$ ). Проведенный тест Фридмана показал значимое различие ( $\chi^2(1) = 4,45$ ;  $p = 0,03$ ). Аналогичная тенденция наблюдалась и в количестве фиксаций: респонденты данной группы совершали большее количество фиксаций при просмотре левого плаката ( $m = 47$ ), чем правого ( $m = 32$ ), при этом различие также является статистически значимым ( $p < 0,05$ ). Кроме того, суммарная продолжительность всех фиксаций на левом плакате была существенно выше, чем на правом ( $p < 0,03$ ). Та же особенность проявляет себя в восприятии зоны интереса с надписью «Генерала Деникина», привлекавшая больше внимания у респондентов без профильного исторического образования по сравнению с участниками исторического профиля. Согласно результатам критерия Крускала–Уоллиса, показатели глазодвигательной активности – *dwel\_time* (общее время фиксаций и саккад), *fixation\_count* (количество фиксаций) и *fixation\_time* (суммарная продолжительность фиксаций) – демонстрируют статистически значимые межгрупповые различия ( $p < 0,05$ ).

Сходная закономерность обнаружена при анализе респондентов по возрастному признаку. У респондентов старше 30 лет левый плакат вызвал значительно больший интерес по сравнению с правым, что подтверждено приближенным критерием Уилкоксона–Пратта для связанных выборок ( $Z = 2,28$ ;  $p = 0,021$ ).

Участники младшей группы демонстрировали более равномерное распределение внимания, и статистически значимые различия в показателях глазодвигательной активности между просмотром левого и правого плакатов у них не обнаружены.

С позиций проведенного после нейроэксперимента интервью подтверждается более слабое знакомство большинства респондентов с идеологией Белого движения: старшее поколение, знакомое с российской коммунистической идеологией, столпом которой является союз рабочего и крестьянина, с

долей удивления изучали аналогичные по замыслу образы их противников, в то время как молодые люди, не испытывавшие на себе такого выраженного воздействия идей красных, распределяли внимание более равномерно. Историки же в основном смогли быстро осознать симметричность идеологического посыла тех и других.



Рис. 5. Тепловые карты визуальной композиции № 3 с обозначением средней продолжительности фиксации у респондентов исторических образовательных профилей (слева) и других образовательных профилей (справа)

На выбранном в качестве примера слайде 6 (рис. 5) мы видим всего один плакат, где горизонты будущего красных (справа) и белых (слева) представлены в идеологическом посыле последних. Композиционная рамка плаката явственно демонстрирует, какой политический проект поддерживает его автор. Посередине проходит разделительная линия, с двух сторон которой взаимно направленными стрелами штыков расположены ряды «защитников» того и другого мира. Концептуально правая сторона отражает ужасы бедной, жестокой, конфликтной жизни, которые несут красные. Левая сторона полна покоя, мира, достатка, неспешного крестьянского труда, церковной благодати. Символические атрибуты связаны с образами церкви (поверженной красным флагом справа), разрушенных и работающих заводов, худых и раненых либо, напротив, благообразных и довольных людей, красного зарева пожаров и мирного голубого неба. Аналитически композиция ясно разделяется на мир «зла», который установится в случае победы красных, и мир «добра», которое принесут России белые, что подтверждает концептуальную приверженность их стратегий визуализации традиционным христианским архетипам. Центральное место композиции занимает голова дьявола (очень похожего на наркома по военным делам Л.Д. Троцкого), который и распространяет зло по русской земле; эта же фигура должна быть признана салиентной (наиболее привлекающей внимание) на фоне прочих. Довольно своеобразной является интерперсональная стратегия произведения: с одной стороны, предложен общий и публичный план восприятия для зрителя, предполагающего отстраненность и философскую углубленность его реакции, с другой стороны, фигура дьявола помещена в перспективу так называемого верхнего угла, ставящую смотрящего в подчиненное, зависимое положение, которое усиливается прямым, «обращенным» к нему взглядом. Тем самым создается эффект неотвратимой ужасной угрозы, нависшей над миром. Выраженная модальность плаката проявляется в правой части ярким красно-черным оформлением, сопровождаемым достаточно схематичной графикой, а в левой части – контрастирующими пастельными красками при достаточно детализированном изображении.

ражении христианского русского мира. Помещенные на плакате надписи слева интерпретируются как то, что дано, а справа – как информация, имеющая наиболее важный и новый характер.

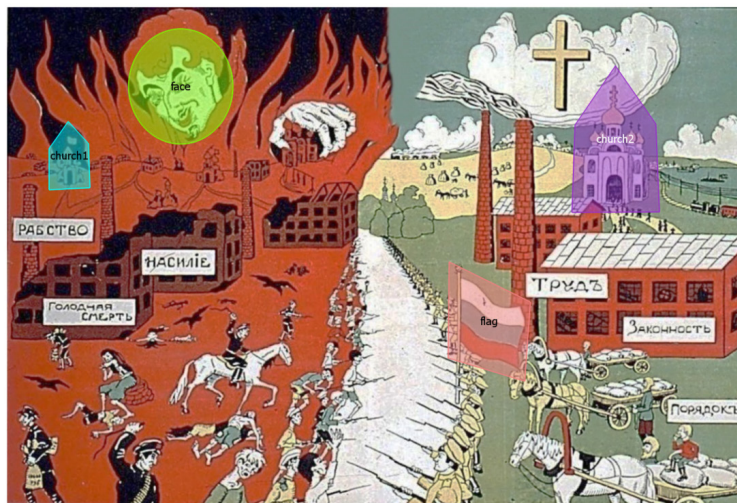


Рис. 6. Визуальная композиция № 6 с зонами интересов «Лицо», «Церковь 1» (слева) и «Церковь 2» (справа)

Таким образом, эмоциональная подача рассматриваемого стимульного материала является достаточно яркой и легко считываемой. Возможно поэтому значимых различий между обладателями исторического и неисторического образования в результате нейроэксперимента зафиксировать не удалось в зоне интересов, связанной с рассмотрением церквей. Зона интереса «лицо дьявола» значительно дольше рассматривалась людьми старше 30 лет. Данный вывод подтверждается статистически значимыми различиями в ряде показателей глазодвигательной активности – общей продолжительности просмотра, количестве фиксаций и суммарном времени фиксаций ( $p < 0,05$ ). По совокупности признаков это можно интерпретировать как большую погруженность в материал и попытку «опознать» в дьяволе кого-то из реальных исторических персонажей (поскольку он явно не похож на В.И. Ленина – первую политическую фигуру большевиков).

В целом при анализе слайда 6 значимые различия обнаружены только в восприятии левой и правой частей плаката у респондентов без исторического образования, у которых средняя продолжительность фиксаций была выше на левой части, а также у группы респондентов, память которых была включена без выраженных реакций на исторические «зоны интереса», где наблюдается большее число фиксаций на правой части, но более длительные фиксации на левой, что указывает на различия в глубине когнитивной обработки. Очевидно, можно объяснить большей силой эмоционального воздействия композиции слева и попыткой понять смысл – изображенное справа.

На слайде 9 (рис. 8) были собраны характерные военные атрибуты/знаки отличия красных и белых, которые символически выражают дух и базовые идеи противоборствующих сторон. В качестве основных зон интереса, свидетельствующих о наличии элементов историзма в памяти человека, были

определены буденовка и фуражка белогвардейца. Поскольку стимульный материал не предполагал здесь сюжетной композиции и стратегий интерпретации, перейдем сразу к анализу результатов нейроэксперимента.

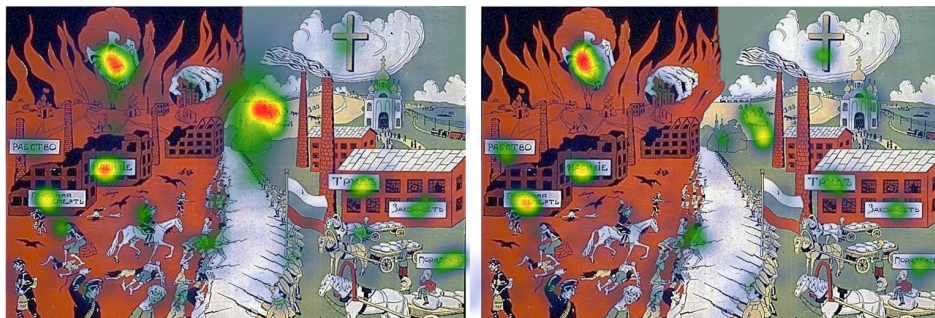


Рис. 7. Тепловые карты визуальной композиции № 6 с обозначением средней продолжительности фиксации у респондентов исторических образовательным профилем (слева) и других образовательных профилей (справа)

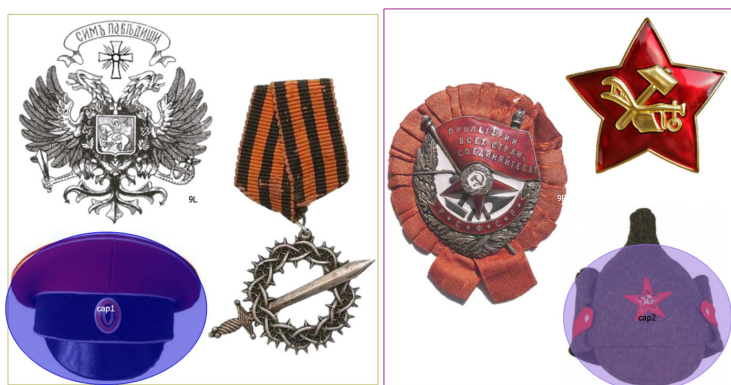


Рис. 8. Визуальная композиция № 9 с зонами интересов «Головной убор 1» (слева) и «Головной убор 2» (справа)

При просмотре слайда 9 фактор «образовательный профиль» не оказал значимого влияния на параметры глазодвигательной активности. Однако группа респондентов без исторического образования дольше фиксировала взгляды на символах красных ( $m = 10\,986$  мс), чем на символах белых ( $m = 8\,000$  мс). Тест Фридмана демонстрирует статистически значимые различия ( $\chi^2(1) = 4,45; p = 0,03$ ). В то же время группа респондентов с историческим профилем не имеет достоверных различий в параметре фиксации взгляда между левым и правым изображениями.

Респонденты группы младше 30 лет отдали предпочтение просмотру символов белых (левая часть композиции), а респонденты группы старше 30 фиксировали свой взгляд дольше на символах красных (правая часть композиции). Показатель «количество фиксации» на правом плакате статистически значимо отличается между старшей ( $m = 43$ ) и младшей группами ( $m = 30$ ). Согласно критерию Крускала–Уоллиса, показатель  $p$ -value = 0,01. Различие в восприятии здесь помогают понять данные сфокусированного интервью, в котором респонденты попытались сами объяснить свое внимание к тому или иному символу.



Рис. 9. Тепловые карты визуальной композиции № 94567 с обозначением средней продолжительности фиксации у респондентов исторических образовательных профилей (слева) и других образовательных профилей (справа)

Группа более взрослых респондентов объяснила свой особый интерес к символам красных большей степенью знакомства с ними, и для них эти знаки обладают большей когнитивной глубиной (с ними связаны ассоциации детства и юности). В то же время более молодые респонденты, внимательные к символике белых, объясняли свой интерес как раз отсутствием каких-либо представлений о ней, многие детально рассматривали этот стимульный материал первый раз в жизни, в то время как историки более «симметрично» распределили свое любопытство, соотнося друг с другом увиденное. Наиболее узнаваемым символом Гражданской войны остается буденовка, известная по многочисленным художественным произведениям советской эпохи, однако не для всех: в нескольких интервью в группе молодых респондентов самый популярный головной убор красногвардейцев вызвал ассоциацию... с посещением бани.

Выводы, представленные выше на основе анализа отдельных слайдов, подтверждаются характером наблюдений по всем фрагментам стимульного материала. Результаты сравнений всех параметров глазодвигательной активности для каждой зоны интереса на всех слайдах визиоматериала представлены в таблице.

**Статистически значимые различия в параметрах глазодвигательной активности в процессе восприятия визуальных композиций испытуемыми, критерий Крускала–Уоллиса в сравнении различных групп**

Слайд	Зона интереса	Параметр глазодвигательной активности	Сравнение групп	Среднее 1	Среднее 2	<i>p</i>
1	Буденовка	Среднее время фиксации, мс	Историки>не историки	328	120	0
1	Буденовка	Продолжительность первой фиксации, мс	Историки>не историки	267	113	0,024
1	Буденовка	Суммарное время фиксации, мс	Историки>не историки	994	326	0,006
2	Деникин	Продолжительность первой фиксации, мс	Младше 30>старше 30	281	165	0,018
2	Флаг 1	Продолжительность первой фиксации, мс	Историки>не историки	308	213	0,039
2	Щит	Количество ревизитов/повторных просмотров	Не вспомнили>вспомнили	5	3	0,018
2	Щит	Среднее время фиксации, мс	Младше 30>старше 30	341	252	0,038
3	Надпись 1	Продолжительность просмотра, мс	Историки<не историки	990	1849	0,017
3	Надпись 1	Количество фиксаций	Историки<не историки	4	7	0,026
3	Надпись 1	Суммарное время фиксации, мс	Историки<не историки	921	1751	0,011

Слайд	Зона интереса	Параметр глазодвигательной активности	Сравнение групп	Среднее 1	Среднее 2	p
4	Головной убор 1	Количество ревизитов/повторных просмотров	Не вспомнили>вспомнили	0	2	0,023
4	Головной убор 2	Количество фиксации	Младше 30>старше 30	1	0	0,021
4	Флаг 1	Среднее время фиксации, мс	Историки<не историки	79	211	0,015
4	Флаг 1	Продолжительность первой фиксации, мс	Историки<не историки	82	241	0,007
4	Флаг 1	Суммарное время фиксации, мс	Историки<не историки	108	448	0,001
4	Левый плакат	Количество фиксации	Историки<не историки	32	42	0,005
5	Правый плакат	Количество фиксации	Младше 30<старше 30	37	48	0,038
5	Символ	Количество ревизитов/повторных просмотров	Не вспомнили>вспомнили	0	1	0,014
6	Лицо	Продолжительность просмотра, мс	Младше 30<старше 30	1096	1801	0,009
6	Лицо	Количество фиксации	Младше 30<старше 30	4	6	0,023
6	Лицо	Суммарное время фиксации, мс	Младше 30<старше 30	1031	1699	0,015
6	Правый плакат	Продолжительность первой фиксации, мс	Не вспомнили>вспомнили	179	219	0,048
6	Правый плакат	Количество фиксации	Не вспомнили>вспомнили	45	38	0,011
7	Солдат	Количество фиксации	Не вспомнили>вспомнили	4	9	0,002
7	Солдат	Суммарное время фиксации, мс	Не вспомнили>вспомнили	852	1780	0,006
7	Солдат	Среднее время фиксации, мс	Младше 30>старше 30	241	168	0,01
8	Флаг 1	Среднее время фиксации, мс	Младше 30>старше 30	297	190	0,03
8	Флаг 1	Продолжительность первой фиксации, мс	Младше 30>старше 30	416	188	0,018
8	Флаг 1	Суммарное время фиксации, мс	Младше 30>старше 30	1541	706	0,015
8	Левый плакат	Суммарное время фиксации, мс	Не вспомнили>вспомнили	9253	7061	0,049
8	Левый плакат	Продолжительность просмотра, мс	Младше 30>старше 30	10958	7986	0,005
8	Левый плакат	Суммарное время фиксации, мс	Младше 30>старше 30	9874	7092	0,01
8	Правый плакат	Продолжительность просмотра, мс	Младше 30<старше 30	9916	12516	0,048
9	Правый плакат	Количество фиксации	Младше 30<старше 30	31	44	0,014

## Заключение

Резюмируя, выделим обобщенные выводы проведенного эксперимента.

Во-первых, историческая память самих историков, как взрослых, так и начинающих, имеет предсказуемо более сбалансированный и объективный вид, однако практика показывает, что даже историки задействуют свой ресурс исторической памяти не постоянно: по итогам эксперимента удалось сформировать незапланированную изначально группу людей с «живой памятью», которые значительно чаще откликнулись на восприятие выделенных зон интереса, чем люди, не оказавшие им достаточного внимания. Респонденты здесь разделились почти поровну, причем не все опрошенные историки во-

шли в первую группу. Распределение в обеих группах оказалось практически идентичным – 5 из 11 историков и не историков подтвердили «живые» воспоминания о Гражданской войне. Отсутствие статистически значимых различий между количеством респондентов в разных группах подтверждено критерием  $\chi^2$  Пирсона ( $\chi^2(1) = 0; p = 1,0$ ).

Во-вторых, был сделан крайне важный в целях дальнейшего исследования «нейроисторической» направленности вывод о том, что формирование стимульного материала должно производиться с учетом очень тщательного предварительного визуального анализа стимульной коллекции: сама по себе разница эмоционального воздействия со стороны отдельно komponуемых фрагментов, использующих различные стратегии визуализации, на респондентов способна внести искажения в интерпретацию результатов эксперимента.

В-третьих, в содержательном отношении на основе интегрального прочтения результатов как традиционной методологии гуманитарных наук и исследования больших данных социальных сетей [18], так и подхода современной когнитивной нейронауки можно говорить об относительной несформированности образов Белого движения ни в положительном, ни в отрицательном смысле [5]. Все респонденты отмечают пагубность Гражданской войны и выражают сожаление по этому поводу. В то же время восприятие красных опирается на мощную по своей влиятельности базу советской идеологии и на многое из нее впитавшее народное самосознание – здесь мы видим вполне сформированный и положительный в своей основе смысловой конструкт, работающий как минимум у социально активного поколения респондентов в возрасте от 30 лет.

Таким образом, технология айтрекинга позволяет с помощью стимульного материала выявлять людей с более или менее активной исторической памятью, которая связана не только и не столько с общей исторической эрудицией (знанием фактов), сколько с внутренней отзывчивостью и восприимчивостью к анализу событий прошлого. Поэтому междисциплинарные усилия по интеграции гуманитарных методов и подходов когнитивной нейронауки следует продолжать.

#### Список источников

1. Трубникова Н.В. Ревизия наследия позитивизма в исследованиях современной французской историографии // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309, № 6. С. 206–210.
2. Guldi J. The Revolution in Text Mining for Historical Analysis is Here // The American Historical Review. 2024. Т. 129, № 2. С. 519–543. URL: <https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/129/2/519/7690490>
3. Трубникова Н.В., Пешковская А.Г. Изображая прошлое: историческая память о Гражданской войне в оптике визуальной семиотики и айтрекинг-исследования // Вестник Томского государственного университета. История. 2025. № 93. С. 175–184. doi: 10.17223/19988613/93/22
4. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024625475 Российская Федерация. База данных исследования восприятия изображений периода гражданской войны в России (1917–1922 гг.), полученных с использованием технологии айтрекинг : № 2024625372 : заявл. 19.11.2024 : опубл. 26.11.2024 / Н.В. Трубникова, И.Е. Рогаева, Д.Н. Шевелев, А.Г. Пешковская ; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». EDN INRMKP.

5. Рогова И.Е., Шевелев Д.Н. «Основные идеи будут заложены, и выкорчевать их будет не так легко»: образы и символы Гражданской войны в России (1917–1922) в прошлом и настоящем // *Имагология и компаративистика*. 2025. № 23. С. 330–357. doi: 10.17223/24099554/23/16
6. Rancière J. *Le destin des images*. Paris : La Fabrique, 2003. 154 p.
7. Mirzoeff N. *An Introduction to Visual Culture*. 3rd ed. London : Routledge, 2013. 310 p.
8. Kress G., Van Leeuwen Th. *Reading images : the grammar of visual design*. 2nd ed. London : Routledge, 2006. 321 p.
9. Пурс Ч. Икона, индекс, символ // *Начала прагматизма*. Т. 2. СПб. : Алетейя, 2000. 352 с.
10. Квашина Л.П. Семиотика плаката: жест и слово // *Филологические чтения: Человек. Текст. Дискурс : материалы конф.*, Ярославль, 15–17 мая 2019 г. Ярославль : Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, 2019. С. 22–29.
11. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1 // *On the Horizon*. 2001. Vol. 9, № 5. P. 1–6. doi: 10.1108/10748120110424816
12. Josephson S. Eye tracking methodology and the internet // *Handbook of Visual Communication, Theory, Methods, and Media* / eds. Smith et al. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2004. P. 63–80.
13. Brumberger E. Generational differences in viewing behaviors: an eye-tracking study // *Visual Communication*. 2023. Vol. 22, № 1. P. 128–151. doi: 10.1177/14703572221117839
14. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing : Vienna, Austria, 2025. URL: <https://www.R-project.org/>
15. Александрова А.Д. Интерпретация раннесоветской символики в контексте знаково-семиотической системы // *Верхневолжский филологический вестник*. 2023. № 3 (34). С. 231–239. doi: 11.20323/2499\_9679\_2023\_3\_34\_231
16. *Гражданская война в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник* / под ред. Е.А. Орех. СПб. : Скифия-принт, 2018. 208 с.
17. Holsanova J., Rahm H.S., Holmqvist K. Entry points and reading paths on newspaper spreads: comparing a semiotic analysis with eye-tracking measurements // *Visual Communication*. 2006. Vol. 5. P. 65–93. doi: 10.1177/147035720601005
18. Трубникова Н.В., Рогова И.Е. Большие данные и исследования исторической памяти: репрезентации Белого движения в темпоральных дискурсах интернет-сообществ // *Вестник Томского государственного университета*. 2024. № 502. С. 117–126. doi: 10.17223/15617793/502/12

### References

1. Trubnikova, N.V. (2006) *Reviziya naslediya pozitivizma v issledovaniyakh sovremennoy frantsuzskoy istoriografii* [A Revision of the Legacy of Positivism in the Studies of Contemporary French Historiography]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*. 309(6). pp. 206–210.
2. Guldi, J. (2024) The Revolution in Text Mining for Historical Analysis is Here. *The American Historical Review*. 129(2). pp. 519–543. [Online] Available from: <https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/129/2/519/7690490> (Accessed: 4th March 2026).
3. Trubnikova, N.V. & Peshkovskaya, A.G. (2025) Depicting the Past: Historical Memory of the Civil War Through the Lens of Visual Semiotics and Eye-Tracking Research. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 93. pp. 175–184. (In Russian). doi: 10.17223/19988613/93/22
4. Trubnikova, N.V., Rogoava, I.E., Shevelev, D.N. & Peshkovskaya, A.G. (2024) *Baza dannykh issledovaniya vospriyatiya izobrazheniy perioda grazhdanskoy voyny v Rossii (1917–1922 gg.) poluchennykh s ispol'zovaniem tekhnologii aytreking* [Database of a Study on the Perception of Images from the Period of the Civil War in Russia (1917–1922) Obtained Using Eye-Tracking Technology]. Database registration certificate No. 2024625475, Russian Federation. Application No. 2024625372, filed 19th November 2024, published 26th November 2024. Applicant: National Research Tomsk State University. EDN INRMKP.
5. Rogoava, I.E. & Shevelev, D.N. (2025) “The Main Ideas Will Be Laid Down, and It Will Not Be So Easy to Eradicate Them”: Images and Symbols of the Civil War in Russia (1917–1922) in the Past and Present. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 23. pp. 330–357. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/23/16
6. Rancière, J. (2003) *Le destin des images*. Paris: La Fabrique.
7. Mirzoeff, N. (2013) *An Introduction to Visual Culture*. 3rd ed. London: Routledge.
8. Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2006) *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. 2nd ed. London: Routledge.

9. Peirce, C.S. (2000) Ikona, indeks, simbol [Icon, Index, Symbol]. In: Peirce, C.S. *Nachala pragmatizma* [The Beginnings of Pragmatism]. Vol. 2. St. Petersburg: Aletейya.
10. Kvashina, L.P. (2019) Semiotika plakata: zhest i slovo [Semiotics of the Poster: Gesture and Word]. In: *Filologicheskie chteniya: Chelovek. Tekst. Diskurs* [Philological Readings: Man. Text. Discourse]. Proc. of the Conference. May 15–17, 2019. Yaroslavl. Yaroslavl: P.G. Demidov Yaroslavl State University. pp. 22–29.
11. Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. *On the Horizon*. 9(5). pp. 1–6. doi: 10.1108/10748120110424816
12. Josephson, S. (2004) Eye tracking methodology and the internet. In: Smith, K. et al. (eds) *Handbook of Visual Communication, Theory, Methods, and Media*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 63–80.
13. Brumberger, E. (2023) Generational differences in viewing behaviors: an eye-tracking study. *Visual Communication*. 22(1). pp. 128–151. doi: 10.1177/14703572221117839
14. R Core Team. (2025) *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. [Online] Available from: <https://www.R-project.org/> (Accessed: 4th March 2026).
15. Aleksandrova, A.D. (2023) Interpretatsiya rannesovetskoй simboliki v kontekste znakovo-semioticheskoy sistemy [Interpretation of Early Soviet Symbolism in the Context of the Sign-Semiotic System]. *Verkhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik*. 34(3). pp. 231–239. doi: 11.20323/2499\_9679\_2023\_3\_34\_231
16. Orekh, E.A. (ed.) (2018) *Grazhdanskaya voyna v obrazakh vizual'noy propagandy: slovar'-spravochnik* [The Civil War in Images of Visual Propaganda: A Dictionary-Handbook]. St. Petersburg: Skifiya-print.
17. Holsanova, J., Rahm, H.S. & Holmqvist, K. (2006) Entry points and reading paths on newspaper spreads: comparing a semiotic analysis with eye-tracking measurements. *Visual Communication*. 5. pp. 65–93. doi: 10.1177/1470357206061005
18. Trubnikova, N.V. & Rogaeва, I.E. (2024) Big Data and Historical Memory Studies: Representations of the White Movement in the Temporal Discourses of Internet Communities. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 502. pp. 117–126. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/502/12

**Сведения об авторах:**

**Трубникова Н.В.** – доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: [troub@mail.ru](mailto:troub@mail.ru)

**Шамаков В.А.** – младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной психологии Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: [sva1.0@mail.ru](mailto:sva1.0@mail.ru)

**Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.**

**Information about the authors:**

**Trubnikova N.V.** – Dr. Sci. (History), professor at the Department of Ancient World History, Middle Ages and Methodology of History, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: [troub@mail.ru](mailto:troub@mail.ru)

**Shamakov V.A.** – junior researcher, Laboratory of Experimental Psychology, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: [sva1.0@mail.ru](mailto:sva1.0@mail.ru)

**The authors declare no conflicts of interests.**

*Статья поступила в редакцию 07.12.2025;  
одобрена после рецензирования 28.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 07.12.2025;  
approved after reviewing 28.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

## МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Научная статья  
УДК 141.1, 165.7  
doi: 10.17223/1998863X/89/22

### ТОМСКАЯ ШКОЛА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ОТ АНАЛИЗА ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА К ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

**Сергей Витальевич Никоненко**

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  
Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского,  
Санкт-Петербург, Россия, serg\_nikonenko@rambler.ru*

**Аннотация.** Исследуется философия права и юридического языка в Томской школе аналитической философии. В данной сфере аналитический метод приобретает индивидуальную методологию. Наблюдается тенденция перехода от философии права к более широкому контексту практической философии, что, в свою очередь, требует выработки особой стратегии и методологии применения аналитического метода.

**Ключевые слова:** аналитическая философия, Томская школа, право, язык, практика

**Благодарности:** проект РНФ № 24-28-00295 «Аналитическая философия в России: эволюция и своеобразие».

**Для цитирования:** Никоненко С.В. Томская школа аналитической философии: от анализа юридического языка к практической философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 161–270. doi: 10.17223/1998863X/89/22

## MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Original article

### TOMSK SCHOOL OF ANALYTIC PHILOSOPHY: FROM LEGAL ANALYSIS TO PRACTICAL PHILOSOPHY

**Sergei V. Nikonenko**

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation  
Russian Christian Academy for the Humanities, Saint Petersburg, Russian Federation,  
serg\_nikonenko@rambler.ru*

**Abstract.** The subject of this article is the study of the philosophy of law and legal language within the Tomsk School of Analytic Philosophy (V.A. Surovtsev, V.V. Ogleznev, A.B. Didikin, and others). In a broad sense, the article examines the concepts of practical philosophy as normative concepts that take into account factors such as will, choice, value, interpretation, subjectivity, and so forth. In a narrower sense, this issue is explored in the context of analytical legal philosophy, drawing on the ideas of several representatives of the Tomsk School. Within this domain, the analytical method acquires a distinct methodological character. A tendency is observed toward moving from the philosophy of law to a broader

context of practical philosophy, which in turn necessitates the development of a specific strategy and methodology for applying the analytical method. The first part of the article examines the reception of analytic philosophy of law through the ideas of John Austin, H.L.A. Hart, Friedrich Waismann, Peter Geach, and others. An analysis is conducted of such categories as “legal analysis,” “language of law,” “open texture,” “performativity of legal statements,” and related concepts. The second part of the article addresses the problem of ascriptivism, which occupies a central place in the problematics of legal language. It is shown that the logical and semantic features of such performative (ascriptive) statements are most clearly manifested not in abstract legal constructs, but in the practice of law enforcement. By not only researching but also introducing analytic philosophy of law into the Russian philosophical discourse, the theorists of the Tomsk School have approached the creation of a national school of analytical jurisprudence. In doing so, they have thoroughly examined both realist and anti-realist approaches. The third part of the article anticipates that the representatives of the Tomsk School, building on their work in the philosophy of law, will move toward a broader context of practical philosophy more generally. The following results were obtained during the study. By exploring issues in analytic philosophy of law, the representatives of the Tomsk School conclude that the analytical method acquires a distinct methodological character specific to this field. There is a tendency to move from the philosophy of law to a broader context of practical philosophy. Discourses on value, intention, will, subjectivity, and the like acquire significant importance. The problem of realism in analytic philosophy, which is of paramount importance to representatives of the Tomsk School, acquires its own distinct context within the field of practical philosophy – a context that is to some degree individual, which in turn requires the development of a specific strategy and methodology for applying the analytical method.

**Keywords:** analytic philosophy, Tomsk School, law, language, practice

**Acknowledgments:** The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00295.

**For citation:** Nikonenko, S.V. (2026) Tomsk school of analytic philosophy: from legal analysis to practical philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 261–270. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/22

В 1990-е гг. формируется Томская школа аналитической философии, ведущими представителями которой выступают В.А. Суровцев, Е.В. Борисов, В.А. Ладов, В.В. Оглезнев, А.Б. Дидикин, К.А. Габрусенко, Е.Н. Суханова и др.<sup>1</sup>

Предметом статьи является рассмотрение понятий аналитической философии в сфере практической философии. В широком смысле слова мы рассматриваем понятия практической философии как нормативные понятия, которые при определении смысла и значения учитывают факторы воли, выбора, ценности, интерпретации, субъективности и т.д. В более узком смысле мы рассматриваем эту проблематику в контексте аналитического права на примере идей некоторых представителей Томской школы аналитической философии. Следуя публикациям названных авторов, можно отметить, что этим разделом дело не ограничивается; в последние годы сфера исследований расширяется, затрагивая мораль, искусство, литературу, политику. Актуальность предлагаемого исследования состоит в том, что, с нашей точки зрения, в Томской школе заложены основы крупнейшей в отечественной мысли методологии философии права; взгляды Томской школы на философию права и практическую философию пока еще не становились предметом теоретического рассмотрения.

---

<sup>1</sup> О Томской школе подробнее см.: Никоненко С.В. Томская школа аналитической философии: критические комментарии при переводе и редактировании аналитических текстов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 265–273.

Характерной особенностью практической философии выступает то, что ее высказывания отличаются ослабленным характером референции. Такие высказывания не являются строгими. Их значение вообще может отличаться свойствами незелиминируемой модальности. Даже если значение удастся установить, то это само по себе недостаточно, поскольку значение служит только предметом последующей интерпретации. Поэтому любая теория в этой области будет включать в себя возможности последующих процедур расширения, реформирования, переописания и т.д. В.А. Суровцев и В.В. Оглезнев подчеркивают значимость понимания концептуальной схемы как изначально «открытой», допускающей как исправления, так и переописания.

Осмысляя природу практической философии, представители Томской школы по преимуществу обращаются к проблематике лингвистической философии. Концептуальная схема, к примеру, в юриспруденции трактуется как языковая форма, складывающаяся двояко: путем установлений и естественным путем. Поэтому представление о неполноте любой теории в подобной области, как нам кажется, можно обосновать во всех возможных случаях. Здесь привлекательной представляется идея Ф. Вайсмана. «Проблема возникает уже, собственно, в том, какие слова мы используем при описании фактов. Критикуя „национальный спорт“ английских философов в стремлении наиболее точно проанализировать обыкновенные предметы, вроде кошек и столов, с тем чтобы создать наиболее точное и непосредственно верифицируемое описание, Вайсман указывает на то, что любой термин и, более того, выражаемое термином понятие, с помощью которого мы пытаемся зафиксировать нечто данное, имеют „открытую текстуру“», – пишут Суровцев и Оглезнев [1. С. 213].

Вайсмановское понятие открытой текстуры является характерным для аналитической философии права (но может быть распространено на все дискурсы практической философии). Хотя в области юриспруденции факты не просто очевидны, но также строго нормируются, как ни парадоксально, установление дескриптивного смысла работает далеко не всегда. Два схожих по обстоятельствам и сценарию правонарушения в юридическом языке могут интерпретироваться по-разному (например, как преднамеренное убийство и самооборона). Вариативность интерпретаций может достигать такой степени, что действие, подпадающее под противоправный характер, таковым не признается (любой случай оправдательного приговора). В этой связи, В.А. Суровцев и В.В. Оглезнев ставят, с нашей точки зрения, фундаментальный эпистемологический вопрос о границах реализма в понимании правовых понятий. Они пишут: «Таким образом, перформативный характер языка, позволяющий лучше понять истинную природу правовых понятий, вместе с идеей „открытой текстуры“ не просто обуславливают специфику современной аналитической юриспруденции, но демонстрируют, насколько она отличается от *Begriffsjurisprudenz*. В общем, Г. Харт в своем докладе пытается сказать, что акцент на анализе словоупотребления, на „открытой текстуре“ понятий и на перформативных высказываниях вынуждает нас „спуститься с небес на землю“ и увидеть реальную жизнь права» [2. С. 245]. Нужно акцентировать внимание, что томские исследователи постоянно учитывают контекст теорий Остина, Харта и Вайсмана, который был лингвистическим. Тем не менее, с нашей точки зрения, подчеркивается не столько контекст лингвистического

анализа, сколько свойства «логики» юридического высказывания. «То, что мы не можем окончательно верифицировать эмпирические высказывания, непосредственно связано с тем, что мы не можем окончательно определить используемые в них понятия, потому что эти понятия обладают свойством открытой текстуры», – отмечает Оглезнев [3. С. 28].

В этой связи можно высказать два предположения: 1) признаки открытой текстуры переносятся, прежде всего, на нормативные высказывания; 2) юридические высказывания, с точки зрения представителей Томской школы, выступают наиболее явными примерами, применительно к которым работает подобная эпистемология.

Наряду с понятием открытой текстуры языка для аналитической философии права представляется важным установление специфики их высказываний. Правовое высказывание может просто констатировать факт, но дело редко этим ограничивается. Такое высказывание по своей природе перформативно; оно скорее не «описывает», а «предписывает». В.А. Суровцев и В.В. Оглезнев обращают внимание на идеи П. Гича, разрабатывающего принцип «аскриптивизма». Они пишут: «В основании аскриптивизма, по мнению Гича, лежат теории, которые и „обеспечивают его процветание“, вроде тех, что сказать: „То, что сказал судья, истинно“ – значит не описать или охарактеризовать то, что сказал судья, но поддержать или подтвердить это. Гича не устраивает эта аргументация, поскольку здесь обнаруживается один „фундаментальный изъян“, а именно то, что в подобного рода теориях игнорируется различие между названием чего-то *P* и предсказанием *P* чему-то» [4. С. 289]. Б. Рассел, рассуждая о суждениях в области права, политики и морали, относит выделенный Гичем аскриптивный смысл к «эмоциональной» окраске подобных суждений. Л. Витгенштейн же подчеркивает, что подобный смысл настолько прочно закрепляется в языковом словоупотреблении, что он не является «дополнительным» к буквальному смыслу. Как показывает Гич (развивая лингвистический подход), следует преодолеть зазор между констатацией и интерпретацией (последняя, как правило, несет в себе нормативный смысл). В схожей манере (правда, в более широком социальном контексте) рассуждают М. Оукшотт, Р. Рорти и Х. Патнэм, подмечая, что в аналитической философии присутствует ложное увлечение установлением «точного» и «строгого» смысла вне контекста употребления и приемлемости.

Любой контекст аналитических рассуждений о нормативном употреблении языка так или иначе приводит к идеям Витгенштейна. В своих исследованиях В.В. Оглезнев подчеркивает, что Витгенштейн, хотя писал немного о проблематике права, сильно повлиял на аналитическую философию права. Здесь есть очевидные текстологические трудности, в основном связанные с изначальной многозначностью витгенштейновских суждений. Оглезнев пишет: «Задачей судебного разбирательства является решение вопроса о вменении ответственности на основе собранных доказательств или освобождение от ответственности. Доказыванию тогда подлежит, собственно, не каузальная связь, а то, как причинно-следственная цепочка событий связана с поведением лица, которому вменяется ответственность. Как правило, определение такой связи основывается на оценочном суждении касательно относительной силы представленных сторонами доказательств, среди которых судья выбирает наиболее убедительные, имеющие большую доказательственную силу.

Поэтому в структуре судебной аргументации утверждение о факте оценивается с точки зрения большей убедительности доказательств, представленных в пользу высказанных утверждений. Таким образом, через описание фактов судья на основании соответствующих правил и норм права дает юридическую (а иногда даже этическую) оценку тем или иным действиям, возлагает ответственность и в широком смысле приписывает юридическое значение этим фактам» [5. С. 955]. В 2025 г., выступив с докладом «Перформативная природа правовых высказываний»<sup>1</sup>, В.В. Оглезнев развивает и проблематизирует идеи, высказанные выше. Он подчеркивает, что правовые высказывания – это не просто описания или предписания, а акты, изменяющие институциональную структуру. Произнесенное слово в юридическом контексте способно создавать обязательства, порождать права, формировать правовые статусы. Однако такой подход актуализирует вопрос о природе права: если нормы не существуют вне языка, то и само право предстает как дискурсивная практика. Оглезнев отмечает, что эта практика выражается в естественном языке – языке, изначально не предназначенном для точной и однозначной фиксации значений. Он полисемичен, контекстно зависим, подвержен семантической нестабильности. Даже при институционализированной терминологии право остается уязвимым перед языковыми амбивалентностями, что делает интерпретацию правовых текстов неизбежно открытой и подвижной.

Мы готовы согласиться с суждениями В.В. Оглезнева. Аналогии употребления нормативных высказываний с предложениями обыденного языка уместны и допустимы, но до определенной степени. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на анализе и выявлении природы нормативного суждения (в данном контексте юридического) самого по себе. Такое суждение не только «высказывается» и не только «описывает нечто»; оно генерирует собственную реальность, которая по своей сути скорее практическая, нежели языковая. Лингвистический же подход, как справедливо отмечает Оглезнев, на определенном этапе оказывается ограниченно применимым, обнаруживая «семантическую нестабильность». В том же выступлении Оглезнев высказывает следующее: логико-семантические особенности подобных перформативных (аскриптивных) высказываний наиболее отчетливо проявляются не в абстрактных юридических конструкциях, а в практике правоприменения. Именно в правоприменении различие между описанием фактов и приписыванием правового статуса приобретает ключевое значение. Суждения о фактах и суждения о правах и обязанностях отличаются по своей природе. Оглезнев особенно выделяет идею практики правоприменения. В духе современных реалий юридический язык постепенно покидает исходную лингвистическую основу; аскриптивный смысл относится уже не к языку, а к деятельности, опыту, практике.

Витгенштейн, Остин, Харт, Гич и другие теоретики, как известно, отвергли мнение о том, что право и мораль представляют собой субстанционально оформленную социальную реальность. Представление классических эмпириков и ранних аналитиков о наличии сущностной «природы» морали и права было подвергнуто критике. В работах представителей Томской школы

---

<sup>1</sup> Доклад был прочитан 29 мая 2025 г. на конференции «Аналитическая философия в России: история и перспективы» (Санкт-Петербург, РХГА). Мы учитываем представленные автором тезисы доклада и адаптированную стенограмму выступления.

подробно и всесторонне проанализированы аргументы Витгенштейна, Остина, Харта, Гича, Вайсмана против «правового реализма». Применительно к юриспруденции правовые реалисты утверждают, что судья, разбирая дело, основывается не только на актах законодательства и судебной практике, но также имеет в виду «социальный контекст» разбираемых действий и поступков. В одной из своих работ В.А. Суровцев и В.В. Оглезнев подчеркивают ложность такой идеи. «Вопреки стремлениям правовых реалистов должествование, пронизывающее всю систему права, невозможно объяснить никакой социологией или психологией. Сложившуюся систему правовых обязательств невозможно строго логически вывести из сложившейся системы описания фактов социальной практики», – пишут они [6. С. 949]. Таким образом, вырисовывается промежуточный итог (к которому мы обратимся далее): согласно Суровцеву и Оглезневу (если брать не только процитированное суждение, но и весь контекст их совместных работ), есть две крайности в понимании правовых суждений (обе ложные): правовой реализм и радикально-лингвистический подход.

Особое внимание следует уделить идеям крупнейшего представителя аналитической философии права Г. Харта (которому представители Томской школы посвятили целый ряд работ). Зачем Харту исследовать контекст словоупотребления? Ведь юридические положения изложены в кодексе и не могут свободно интерпретироваться. На самом деле Харт в этом и не сомневается. В качестве затруднения он вскрывает то, что стоящие за правовыми суждениями социальные явления являются сложными, комплексными, неоднозначными. Если, к примеру, мы возьмем термин «совершение правонарушения», то правонарушение, взятое как действие, акт, всегда оказывается в чем-то индивидуальным. Аналогично можно предположить относительно многих практических суждений, например, суждений морали, искусства, политики. Если концептуальную сущность можно установить, то это не отменяет индивидуальной окраски, случайных признаков, субъективных суждений и прочих качеств, которые, как принято считать, более уместны на страницах детектива, нежели научного юридического трактата. Харт реагирует, с точки зрения Суровцева и Оглезнева, на это следующим образом: «Харт предпочитает новый подход, который учитывает роль в определении примитивных значений фактов словоупотребления. Нет никаких исходных или примитивных значений, которые известны через знание-знакомство и непосредственно выражены простейшими языковыми выражениями, которые указывают на пресловутые простые качества» [7. С. 16]. Отметим, что авторы подчеркнуто относят Харта к аналитическим философам. Хотя Харт создал собственную, лингвистически ориентированную методологию, он формируется под существенным влиянием идей не только правоведов, но и философов «классической» ориентации (Б. Бозанкет, Б. Рассел, К. Поппер и др.), для которых право – это вовсе не «язык», а особая форма реальности. Возможно, Суровцев и Оглезнев несколько сужают контекст, но им важно показать, что Харт – именно крупнейший представитель антиреализма в философии права. Поэтому для них важно то, какую методологию анализа прежде всего предлагает Харт. Они пишут: «Харт предлагает два аналитических принципа. Во-первых, при анализе понятия необходимо прежде всего установить стандартный случай его употребления, а во-вторых, четко различать определение об-

шего термина и задание критериев его применения в различных диапазонных случаях. И вот здесь возникает сложность, на которую указывает Боденхаймер: невозможно определить все нормативные ситуации, включающие использование понятия, чтобы выяснить условия, при которых правовое понятие становится значимым» [6. С. 947]. Опять перед нами две «радикальных» позиции (в данном высказывании персонифицированные Г. Хартом и М. Боденхаймером), дающие диаметрально противоположные ответы на вопрос: как трактовать юридические высказывания? С нашей точки зрения, частно-юридический анализ, предложенный Суровцевым и Оглезневым, выводит на предельно широкий эпистемологический контекст относительно трактовки как правовой реальности, так и правового языка. Мы можем предположить, что возникает глубинная несовместимость между Хартом и правовыми реалистами: изначально предлагается по-разному расставлять акценты относительно референции. Возможно, если «радикализировать» проблематику Харта, то для него может вообще оказаться мало значимой проблема реализма, настолько он сосредоточен на лингвистической интерпретации.

Применительно к правовым реалистам представляется справедливым суждение А.Б. Дидикина, который пишет: «Для перформативных выражений в юридическом языке характерны речевые стереотипы из-за повторяющихся процедур (например, процессуальных действий в уголовном процессе или проведения судебных заседаний)» [8. С. 184]. В добавление к этому, в выступлении «Перформативная природа правовых высказываний» Оглезнев подчеркивает следующее: язык права представляет собой одну из наиболее нормативно развитых форм применения конститутивных правил. Он не просто описывает или регулирует поведение, но создает правовую реальность, формируя институциональные факты, действующие в рамках признанных норм. Именно поэтому в праве невозможно отделить значение от процедуры: то, что выражается в юридическом высказывании, неотделимо от его иллокутивной функции и институционального статуса. Таким образом, язык права существенно зависит от эпистемологической трактовки «институциональных фактов», фундамирующей любые нормы. Здесь мы усматриваем следующее: не существует правовой реальности как субстанции; но все же такая реальность существует, пусть и тесно переплетенная с различными аспектами «процедуры».

Для дальнейшего рассмотрения можно обратиться к работе В.А. Суровцева «Намерение, субъект воли и социальная ситуация». Здесь Суровцев, используя материал работ по философии права, переходит к более широкому контексту практической философии в целом. И, что особенно важно, на этот контекст он стремится смотреть с аналитической точки зрения. В результате Суровцев приходит к предположению: «Особый статус намерения в осознанном волевом акте связан с тем, что оно не является содержательным элементом волевого акта наряду с желанием или решением. Намерение не есть то, о чем кто-то думал, что кто-то предсказывал, желал или решил. Последние могут рассматриваться до и помимо волевого акта, они от него независимы, хотя и могут составлять его особое содержание. Намерение же не есть наследие кинестетических переживаний, оно не есть образ памяти, оно не есть предсказание последующих действий, оно не есть решение и т.д. „Я решил сделать то, что сделал“, „Я планировал сделать то, что сделал“ – во всех этих фразах, собственно, нет никакого намерения. Намерение суть то, что реали-

зовано в самом действии. Планирование, решение, опора на память не являются собственно намерением. Намерение обнаруживается только в факте осознанного действия» [9. С. 921]. Дж. Мур утверждает, что нам порой не остается иного выбора, как судить о поступках исходя из их реальных последствий. Арена намерений изначально оказывается туманной даже в сознании поступающего субъекта. В.А. Суровцев подчеркивает, что, хотя намерение может быть осознанным, изложенным в форме высказывания, оно не может быть определено позитивно вследствие того, что затруднительно определить природу воли. На наш взгляд, Суровцев конгениален подходу А. Флю, который в своем «аристотелевском» видении морали отмечает, что намерение может быть обнаружено только в действии, реализации, поступке. Суровцев указывает: «Например, в известной работе „Решение, намерение и достоверность“, касающейся теории права, С. Гэмпшир и Г. Харт основываются на том, что прежде, чем говорить о достоверности намерения и принятого на его основании решения, нужно выяснить, каким образом эти термины употребляются в сообществе. Но вряд ли такой подход может лежать в основании социальной теории. Скорее, это может выступать как особый методологический подход» [9. С. 923]. Схоже судит и Оглезнев, который пишет: «В то время как утверждения, в которых эти слова содержатся, с точки зрения права могут быть одновременно и утверждениями о факте, и утверждениями о ценности» [5. С. 956]. Хотя теоретическая позиция Суровцева и Оглезнева в области интерпретации суждений намерения, воли, норм только формируется, уже можно (с определенной степенью предположения) допустить, что авторы придерживаются подхода, согласно которому ценности настолько пронизывают любые суждения, что невозможно выделить свободную от них сферу нейтральных «фактов».

Таким образом, мы подошли к выводам. Представители Томской школы, подробно проанализировав природу практических высказываний (большей частью на примере правовых высказываний), выявили сущность как реалистического, так и антиреалистического подхода. При этом присутствует стремление сохранить определенную нейтральность и беспристрастность. Только в целостном контексте публикаций и выступлений можно осторожно предположить, что в устойчивом, отмеченном многими публикациями соавторстве «Суровцев и Оглезнев» В.А. Суровцев больше склоняется к реализму, тогда как В.В. Оглезнев более сочувствует антиреалистическим идеям. Нам кажется, это важно для определения позиций указанных исследователей. Но мы также должны с уважением отнестись к тому, что «позиция исследователя» порой не позволяет теоретикам Томской школы высказывать излишнюю критику, побуждает оставлять собственные суждения за пределами текста. Не только исследовав, но и открыв в российском философском мире аналитическую философию права, теоретики Томской школы вплотную подошли к созданию отечественной школы аналитической юриспруденции (что отразилось особенно отчетливо в подготовке трех частей труда «Аналитическая философия права»).

Продолжается процесс создания отечественной школы философии права. Она еще в процессе становления, «рассыпана» по крупницам в работах, где на первом плане – жанр тщательного комментария высокого теоретического уровня. Можно лишь осторожно предположить, что у теоретиков Томской школы

наблюдается ощутимый поворот от языка к опыту. Природа аналитической философии понимается ими прежде всего как аналитическое осмысление действительности. В своем выступлении 2025 г. «И. Кант, У. Куайн и минимализм в логике» В.А. Суровцев высказал целый ряд глубоких суждений о природе аналитической философии в целом<sup>1</sup>. Приведем некоторые из них: аналитическая философия, как ее понимал Рассел, – это попытка дойти до некоторых окончательных оснований; истинностной оценке подвержены ни понятия, ни умозаключения, такой оценке подвержены только высказывания; Фреге изменил образ философии, потому что вопрос встает о том, какие предметы мы мыслим, как их между собой соединяем и какие из них делаем выводы (вот в чем главная заслуга Фреге); когда мы доходим до квантифицированных переменных, то принимаем какую-то онтологию; Куайн поставил тот же самый вопрос, который был у Канта: как разум относится к самому себе.

В завершение выделим три положения:

1. Исследуя проблематику аналитической философии права, представители Томской школы приходят к выводу, что аналитический метод приобретает свойственную разделу индивидуальную методологию.

2. Наблюдается тенденция перехода от философии права к более широкому контексту практической философии. Существенную значимость приобретают дискурсы ценности, намерения, воли, субъективности и т.д.

3. Важнейшая для представителей Томской школы проблема реализма в аналитической философии в сфере практической философии приобретает собственный контекст, в определенной степени индивидуальный, что, в свою очередь, требует выработки особой стратегии и методологии применения аналитического метода.

#### Список источников

1. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Фридрих Вайсман о многоуровневой структуре языка и проблемах редукционизма // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 4. С. 206–218.

2. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. С небес на землю: от *Begriffsjurisprudenz* к аналитической юриспруденции // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 63. С. 241–246.

3. Оглезнев В.В. «Открытая текстура» языка, смутность и принцип контекстности // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 25–32.

4. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Питер Гич об аскриптивизме // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 40. С. 286–296.

5. Оглезнев В.В. Логический позитивизм, ценности и нормы: возможно ли философско-правовое прочтение «Логико-философского трактата» Витгенштейна? // Аналитическая философия: pro et contra, антология. СПб. : Изд-во РХГА, 2025. С. 950–956.

6. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Аналитическая философия права и правовой реализм // Аналитическая философия: pro et contra, антология. СПб. : Изд-во РХГА, 2025. С. 934–949.

7. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Философские взгляды «раннего» Г. Харта и проблемы языка права // Харт Г.Л.А. Философия и язык права. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. С. 7–26.

8. Дидикин А.Б. Речевые акты и действия в юридическом языке: способы интерпретации // Мир человека: нормативное измерение. Гл. 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, различие, взаимосвязь / под ред. И.Д. Невважая. Саратов : Изд-во СГЮА, 2019. 451 с.

9. Суровцев В.А. Намерение, субъект воли и социальная теория // Аналитическая философия: pro et contra, антология. СПб. : Изд-во РХГА, 2025. С. 918–923.

<sup>1</sup> Доклад был прочитан 29 мая 2025 г. на конференции «Аналитическая философия в России: история и перспективы» (Санкт-Петербург, РХГА). Мы учитываем адаптированную стенограмму выступления.

## References

1. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2018) Fridrich Vaismann on Multi-level Structure of Language and the Problems of Reductionism *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and the Philosophy of Science*. 55(4). pp. 206–218. (In Russian).
2. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2021) Down to Earth: From Begriffsjurisprudenz to Analytic Jurisprudence. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 63. pp. 241–246. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/63/23
3. Ogleznev, V.V. (2018) The “Open Texture” of Language, Vagueness and Context Principle. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 25–32. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/44/3
4. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) Piter Geach on Ascriptivism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 40. pp. 286–296. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/40/27
5. Ogleznev, V.V. (2025) Logicheskiy pozitivizm, tsennosti i normy: vozmozhno li filosofsko-pravovoe prochenie “Logiko-filosofskogo traktata” Vitgenshteyna? [Logical Positivism, Values and Norms. Is It Possible to Read “Tractatus Logico-Philosophicus” in the Manner of the Philosophy of Law?]. In: Nikonenko, S.V. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: pro et contra, antologiya* [Analytical Philosophy: Pro et Contra, the Anthology]. St. Petersburg: RKhGA. pp. 950–956.
6. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2025) Analiticheskaya filosofiya prava i pravovoy realism [Analytical Philosophy of Law and Juridical Realism]. In: Nikonenko, S.V. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: pro et contra, antologiya* [Analytical Philosophy: Pro et Contra, the Anthology]. St. Petersburg: RKhGA. pp. 934–949.
7. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) Filosofskie vzglyady “rannego” G. Kharta i problemy yazyka prava [The Philosophical Views of the “Early” H.L.A. Hart and the Problems of the Language of Law]. In: Khart, G.L.A. *Filosofiya i yazyk prava* [Philosophy and Language of Law]. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitatsiya”. pp. 7–26.
8. Didikin, A.B. (2019) Rechevye akty i deystviya v yuridicheskom yazyke: sposoby interpretatsii [Speech Acts and Actions in Legal Language: Methods of Interpretation]. Ch. 6: Normy myshleniya, vospriyatiya, povedeniya: skhodstvo, razlichie, vzaimosvyaz’ [Chapter 6: Norms of Thinking, Perception, Behavior: Similarity, Difference, Interrelation]. In: Nevvazhay, I.D. (ed.) *Mir cheloveka: normativnoe izmerenie* [The Human World: The Normative Dimension]. Saratov: Saratov State Law Academy.
9. Surovtsev, V.A. (2025) Namerenie, sub"ekt voli i sotsial'naya teoriya [Intention, the Subject of Will and Social Theory]. In: *Analiticheskaya filosofiya: pro et contra, antologiya* [Analytical Philosophy: Pro et Contra, An Anthology]. St. Petersburg: Russian Christian Academy for the Humanities. pp. 918–923.

### Сведения об авторе:

**Никоненко С.В.** – профессор, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: serg\_nikonenko@rambler.ru;

*Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.*

### Information about the author:

**Nikonenko S.V.** – Dr. Sci. (Philosophy), full professor; professor, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Russian Christian Academy for the Humanities named after Fyodor Dostoevsky (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: serg\_nikonenko@rambler.ru

*The author declares no conflicts of interests.*

Статья поступила в редакцию 05.12.2025;  
одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 18.02.2026  
The article was submitted 05.12.2025;  
approved after reviewing 23.01.2026; accepted for publication 18.02.2026

## АРХИВ

Научная статья

УДК 111+141

doi: 10.17223/1998863X/89/23

### О РАБОТЕ ДЖ.Э. МУРА «ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРИЗНАКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ИЛИ ПАРТИКУЛЯРНЫМИ?»

Екатерина Николаевна Суханова

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,  
ekanss@rambler.ru*

**Аннотация.** Показана актуальность статьи Дж.Э. Мура «Являются ли признаки отдельных вещей универсальными или партикулярными?» для современных философских исследований. Идеи и аргументы Мура представляют интерес для изысканий в области истории становления аналитической философии и её методологии, а также для анализа контекстуального фона постановки проблемы универсалий в XX в.

**Ключевые слова:** Дж.Э. Мур, Дж.Ф. Стаут, проблема универсалий, аналитическая философия

**Для цитирования:** Суханова Е.Н. О работе Дж.Э. Мура «Являются ли признаки отдельных вещей универсальными или партикулярными?» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2026. № 89. С. 271–289. doi: 10.17223/1998863X/89/23

## ARCHIVE

Original article

### ON G.E. MOORE'S PAPER "ARE THE CHARACTERISTICS OF PARTICULAR THINGS UNIVERSAL OR PARTICULAR?"

Ekaterina N. Sukhanova

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, ekanss@rambler.ru*

**Abstract.** I introduce G. E. Moore's 1923 paper, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?", which discusses G. F. Stout's lecture "The Nature of Universals and Propositions." The first part argues that engaging with Moore's paper can be significant for analyzing the contextual background of the problem of universals as it has come to be formulated in its current form. Stout proposes the concept of particularized qualities, or abstract particulars – later termed "tropes." This allows Stout to acknowledge the existence of qualities while remaining a nominalist. He criticizes Russell's and Moore's theory of knowledge by acquaintance and argues that "to know a substance without knowing its qualities is to know nothing." Moore, in his turn, conclusively demonstrates the weakness or falsity of Stout's arguments. It should be noted, however, that owing to the subsequent

development of the theory of tropes (which Stout anticipated), the initial assessment of Moore's participation in the dispute over the possibility of particularized qualities as "victorious" is no longer universally accepted. The second part suggests that addressing the controversy between Moore and Stout can be fruitful for certain tasks in the history of philosophy. According to a widespread view, analytic philosophy originates from Russell's and Moore's "revolt" against British idealism. Stout, however, also mounted his own revolt against idealism, with his theory of abstract particulars serving as one of its weapons. As editor of the influential journal *Mind*, Stout familiarized the British audience with continental thought. Stout's mediating role, as well as the balance of negative and positive inspiration that analytic philosophy derived from his ideas and actions, require further study for a complete understanding of the movement's origins. The third part provides a brief characterization of Moore's argumentative technique as deployed in the paper under discussion and sketches a comparison with the methods Moore employs in his other works. First, this paper should not be interpreted through the now-familiar lens of the "linguistic turn," nor should Moore of his "middle" period be portrayed as an "ordinary language philosopher." Second, Moore's approach can be characterized as a critique of the opponent's arguments rather than as an attack on their main thesis. Third, it is noted that Moore often focuses on specific details of the opponent's view that he deems essential, while ignoring other aspects. Thus, Moore's article is important for a deeper understanding of early analytic philosophy, as well as for the study of its methodological arsenal.

**Keywords:** G.E. Moore, G.F. Stout, problem of universals, analytic philosophy

**For citation:** Sukhanova, E.N. (2026) On G.E. Moore's paper "Are the characteristics of particular things universal or particular?". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 89. pp. 271–289. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/89/23

Доклад Дж.Э. Мура (1873–1958) «Являются ли признаки отдельных вещей универсальными или партикулярными?» впервые опубликован в 1923 г. на страницах дополнительного тома «Трудов Аристотелевского общества» в качестве части отчёта о симпозиуме [1]. Другие участники симпозиума – Джордж Фредерик Стаут (Stout, 1860–1944) и Джордж Доуз Хикс (Hicks, 1862–1941). Предметом обсуждения была выбрана лекция «Природа универсалий и пропозиций», прочитанная Стаутом в 1921 г. как учрежденная по завещанию Генриетты Герц Ежегодная лекция по философии для Британской академии [2]. В этом предисловии к переводу, характеризуя значимость муровской статьи и ее идейный и проблемный фон, мы уделим некоторое внимание и философии Стаута.

1. *Проблема универсалий.* Сам по себе поиск объяснения, каким образом различные вещи могут разделять одно и то же качество и как вещи, тождественные во всех своих качествах, могут оставаться различными, – не является новым для философии. Конкурирующие учения принято делить на два направления: реализм и номинализм. По оценке Дэвида М. Армстронга (1926–2014), Стауту удалось эксплицировать «важную опцию мышления» внутри номиналистического течения – идею партикуляризированных свойств (абстрактных партикулярий) [3. Р. XII].

По Стауту, «признак, характеризующий отдельную вещь или индивида, столь же партикулярен, как вещь или индивид, которого он характеризует», а выражение «общий [common] признак» – это лишь удобное сокращение для указания на класс признаков [2. Р. 158–159]. Таким образом, абстрактные существительные, обозначающие качества, правильно считать общими терминами («белизна»), однако «белизна данного бильярдного шара» является единственным термином. Этот ход позволяет Стауту признать существование

качеств, оставаясь номиналистом. Универсалия представляет собой «дистрибутивное единство», единство класса, которое обозначается словами «все», «каждый», «любой», «некоторый» и другими и которое Стаут считает абсолютно первичным («любая попытка его анализа ведёт к порочному кругу» [2. Р. 157]), лежащим в основании любого отношения, в том числе и отношения сходства, существенного для построения многих номиналистических доктрин. В утверждении о партикулярности качеств у Стаута находит своё развитие и известный тезис о том, что субстанция – ничто помимо своих свойств: если это так, то субстанция не может быть познана отдельно от своих свойств. В данном контексте Стаут критикует учение Бертрانا Рассела (1872–1970) о знании-знакомстве (эту точку зрения он также приписывает и Муру [2. Р. 163]), полагая его, скорее, «опытом» вещей, нежели «знанием» вещей.

Идея партикуляризированных качеств упоминалась в реалистических аргументах Платона и Аристотеля, фигурировала в сочинениях Авиценны, Фомы Аквинского, Уильяма Оккама, Гоббса, Локка, Юма, Беркли, Спинозы (см.: [4. С. 1–13]). Но только у Стаута она стала центром последовательной теории. И в своей матрице возможных решений проблемы универсалий Армстронг находит место именно для Стаута [5. С. 53] как начинателя ныне широко обсуждаемой «теории тропов», хотя само название появилось 30 годами позже благодаря Дональду К. Уильямсу (1899–1983) (см.: [6]). Интересно, что современники в основном склонялись к тому, чтобы признать победу в дискуссии о партикуляризированных качествах за Муром, однако теперь, после надлежавшей философской разработки теории тропов, оценки дискуссии кардинально меняются [7. N. 4].

2. *Философия Стаута и история аналитической философии.* Будучи редактором журнала «Майнд» (с 1891 по 1920 г.), для своих коллег Стаут являлся своеобразным проводником континентальных философских идей. В этот период журнал публиковал особенно много рецензий на работы австрийских, немецких философов за авторством самого Стаута и др. [8. Р. 6].

К «эпохе» Стаута относится и появление на страницах «Майнд» знаменитой статьи Рассела «Об обозначении» (1905). «Она так поразила тогдашнего редактора журнала, посчитавшего ее нелепой, что он упрашивал меня пересмотреть ее и не настаивать на публикации», – любил вспоминать Рассел [9. С. 26]. Сейчас сложно судить, насколько сильно поразила и как долго упрашивал. Небольшой обзор довольно резких расселовских мемуаров о Стауте можно найти в [10]. Остаётся фактом, что статья всё же вышла в свет, как ранее в «Майнд» вышла и статья Мура «О природе суждения» (1899), которую Рассел считал «первым опубликованным разъяснением новой философии» [9. С. 11].

Известно, что в 1893 и 1894 гг. оба «отца-основателя» нового направления философской мысли посещали курсы Стаута по истории философии в Кембридже [8. Р. 2–3]. Также известно, что примерно в те же годы они познакомились с программными работами Стаута по философской психологии [8]. Наконец, известно, что «[к] концу 1898 года Мур и я (Рассел. – Е.С.) восстали против Канта и Гегеля. Мур начал бунт, я верно за ним последовал» [9. С. 11]. Разумеется, *post hoc* ещё не означает *propter hoc*, однако Джон Пасмор (1914–2004) и вслед за ним другие исследователи убедительно указывают на некоторую общность основной интенции всех трёх философов: в тот

период их позиции объединяло стремление к объективности, убежденность в необходимости разделения психического акта (например, суждения, восприятия и т.д.) и объекта этого акта (например, пропозиции, чувственного данного и т.д.) [8. Р. 31; 11. С. 154, 156]. Пассмор готов выстроить целую цепочку традирования такой идеи объективности: от Brentano и Meinong – через Staup – к Russell и Мур. Можно сказать, Стаут организовал собственный «бунт» против идеализма, орудием которого была и его теория абстрактных партикулярий.

Первая четверть XXI в. для аналитической философии стала помимо прочего стадией исторической саморефлексии, которой в прежние времена эта традиция несколько пренебрегала. Вопрос о корнях и источниках аналитической философии вбирает всё новые нюансы; исследователи отказываются от своих привычных интерпретативных моделей или усовершенствуют их, предлагают новые способы периодизации, обнаруживают новые контексты влияний и заимствований. На наш взгляд, фигура Стаута и неоднозначная роль его работ и академической деятельности в процессе оформления аналитической философии всё еще учтена недостаточно, ожидает своего исследователя, который, надеемся, обратит внимание и на полемику Стаута и Мура об универсалиях.

3. *Аргументативная техника Мура.* Наконец, переведенная работа может оказаться ценным материалом для обобщений, касающихся специфики приёмов аргументации, которые предпочитает использовать Мур в полемике, а также для обсуждения методологического арсенала аналитической философии в целом. Приведём несколько набросков собственных размышлений.

Русскому читателю увидеть Мура в роли участника симпозиума Аристотелевского общества придётся не впервые, поскольку уже существует перевод его работы 1936 г. «Является ли существование предикатом?» [12]. Теперь появляется возможность для сравнительного исследования и обобщения. К примеру, в обоих случаях Мур смущает читателя тем, что предпочитает обсуждать концепцию оппонента не во всём её объеме, выбирая существенную, с его точки зрения, деталь и совершенно не обращаясь к другим аспектам. В обоих случаях почти половина текста посвящена прояснению значений терминов, использованных оппонентом. В обоих случаях остаётся впечатление, что дискуссия не состоялась, потому что Мур в итоге говорил о другом («[Е]го критика не имела никакого отношения к позиции Стаута! Атакованный философ был лишь фиктивным [straw] Стаутом, существовавшим лишь из-за недоразумения в прочтении работ Стаута Муром. Настоящий Стаут выдержал прогон сквозь строй аргументации Мура без потерь» [4. Р. 75].)

В процессе перевода этой работы Мура мы не раз вспоминали слова Дагфинна Фоллсдала (р. 1932): «Это правда, что аналитическим философам нравится исследовать язык. Но философия языка – это только часть аналитической философии» [13. С. 231]. Безусловно, ошибочно считать, что симпозиум был посвящен одной из проблем, поставленных в рамках философии языка, а не метафизической онтологии. Но ошибочно также ожидать от Мура критики, основанной на каком бы то ни было анализе обыденных значений или моделировании ситуаций словоупотребления, т.е. пытаться трактовать данную его работу в уже привычной оптике «лингвистического поворота». Не следует делать из Мура «среднего» периода творчества «философа обы-

денного языка». Мур не проводит четкой границы между порядком языка и порядком мира и свободно использует такие фразы, как «нельзя считать „конкретной вещью“ то, что можно *предсказать* чему-либо другому».

В одной из рецензий на соответствующий том «Трудов Аристотелевского общества» приведено такое резюме интересующего нас симпозиума «Являются ли признаки отдельных вещей универсальными или партикулярными?»: «Дж.Э. Мур выбирает первую альтернативу, Дж.Ф. Стаут – вторую, а Дж. Доус Хикс склоняется к Муру, хотя и называет всё затянувшимся сражением» [14. Р. 464]. На наш взгляд, «Дж. Э. Мур выбирает первую альтернативу (т.е. прямо утверждает, что признаки отдельных вещей являются универсалиями)» – это слишком сильное высказывание. Вспомним, что под опровержением идеализма в одноименной статье (1903) Мур подразумевал не прямое разрушение одного из центральных выводов идеализма (о духовной природе реальности), а демонстрацию ложности использованного при его получении «тривиального», «но существенно важного для всех идеалистических доказательств» положения (*esse est percipi*). Конечно, нельзя достоверно умозаключать от отрицания основания к отрицанию следствия. Но Мур и не намеревался этого делать. «Реальность, – говорит он, – быть может, и духовна – я искренне надеюсь, что это так» [15. С. 248]. Однако ввиду ложности своего базиса этому утверждению суждено оставаться «лишь приятным предположением». Кажется, двадцать лет спустя Мур всё еще прибегает к тому же приёму: основной линией опровержения избирается не критика тезиса, предложенного Стаутом (что предполагало бы выдвижение собственного антитезиса), а критика аргументов, привлечённых для его защиты. Мур выявляет слабость или ложность аргументов своего оппонента, но не спешит добавить «следовательно, верно обратное». Возможно, нам стоит приложить герменевтическое усилие и реконструировать позицию Мура? Но будет ли такая попытка правомерной, если учесть, что Мур прямо и в самом начале оговаривает, что видит свою задачу как участника симпозиума исключительно в уяснении и оценке взглядов Стаута на универсалии, а не в изложении собственной альтернативной трактовки проблемы? «Если бы другие мыслители ничего не запутывали, Муру нечего было бы распутывать» [16. С. 179]: этот комментарий Гилберта Райла (1900–1976) справедлив относительно рассматриваемого симпозиума (но не будем утверждать, что и относительно наследия Мура в целом).

### Приложение

Перевод выполнен по изданию: Moore G.E. Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular? // Moore G.E. Philosophical Papers. London : George Allen & Unwin Ltd., 1959. P. 17–31.

#### ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРИЗНАКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ИЛИ ПАРТИКУЛЯРНЫМИ?

Дж.Э. Мур

Насколько я понимаю, цель этого симпозиума – обсудить точку зрения, изложенную профессором Стаутом в его Герцевской лекции<sup>1</sup> для Британской

<sup>1</sup> Proceedings of the British Academy, Vol. X, 1921–22.

академии на тему «Природа универсалий и пропозиций». Там он отстаивает точку зрения, которую, по его мнению, надлежащим образом выражают слова: «Каждый признак [character], характеризующий конкретную вещь или конкретного индивида, является не универсальным, а партикулярным». И насколько я понимаю, от нас хотят обсуждения точки зрения, которую *он* выражает этими словами. Нас не просят сперва придать этим словам смысл или смыслы, которые, по *нашему* мнению, они должны нести, а затем обсудить, является ли взгляд или взгляды, которые они *тогда* станут выражать, истинными или ложными. Нам нужно попытаться выяснить, что под ними подразумевает сам профессор Стаут, а затем просто обсудить, является ли точка зрения, которую *он* с их помощью выражает, истинной или ложной, даже если сами мы считаем, что данная точка зрения вообще не может быть с их помощью должным образом выражена.

Признаюсь, мне крайне сложно точно определить, что профессор Стаут подразумевает под этими словами. Поэтому всё, что я могу сделать, – это попытаться как можно яснее сформулировать взгляд, которого, в моём понимании, он может придерживаться, и обсудить его истинность или ложность. Конечно, вполне возможно, что как раз тот смысл, который он на самом деле вкладывал в свои слова, я и упустил из виду; но даже если так, надеюсь, что то, что я скажу, по крайней мере, поможет ему в разъяснении своего взгляда.

Моё сомнение вызывают в основном два момента. Первый – что же именно он подразумевает под выражением «*является партикулярным*» (или «*является партикулярией*»); поскольку он иногда использует и это последнее выражение как эквивалент первого, например на с. 8) в предложении: «Каждый признак, характеризующий конкретную вещь, является *партикулярным*». И второй – как именно он использует термин «признак».

Что касается первого момента, я несколько не сомневаюсь, что, *по крайней мере, частью* того, что он подразумевает под «является партикулярным», является «характеризует только одну вещь». Сущность, о которой можно уверенно сказать, что она является «признаком конкретной вещи», *характеризует только одну вещь*. Или (что эквивалентно) ни одна такая сущность не характеризует более чем одну вещь – ни одна такая сущность не является «общим [common] признаком» двух или более вещей. Совершенно ясно, что это является, по крайней мере, частью того, что он хочет утверждать в отношении каждой такой сущности, какой бы смысл он ни вкладывал в термин «признак». Данное понятие (о признаке только одной вещи) кажется мне совершенно ясной концепцией; и поэтому, если нам удастся выяснить, что профессор Стаут имеет в виду под «признаками», мы получим одно совершенно ясное суждение, которое, безусловно, будет, по крайней мере, частью того, что он утверждает, и которое мы сможем обсудить. Единственное моё сомнение заключается в том, может ли «характеризует только одну вещь» *исчерпывать* всё, что он подразумевает под «является партикулярным» или «является партикулярией». И здесь я вынужден признаться, что, если профессор Стаут действительно имеет в виду что-то ещё, я не способен составить ни малейшего представления о том, что именно он ещё имеет в виду. Поэтому мне придется ограничиться обсуждением, верно ли в отношении определенных классов сущностей утверждение, что каждая такая сущность

характеризует только одну вещь, хотя я признаю, что это, вероятно, лишь часть того, что профессор Стаут желает утверждать.

Употреблять выражения «является партикулярным» или «является партикулярией» таким образом, чтобы суждения «Р является партикулярным» или «Р является партикулярией» подразумевали «Р характеризует только одну вещь», мне кажется совершенно неправильным и недопустимым. Ни одно из разнообразных значений, в которых можно корректно употреблять «является партикулярным», на мой взгляд, не несёт в себе этой импликации. Но я думаю, что профессор Стаут определённо использует их в значении, которое имеет именно такой подтекст. И, как я уже говорил, я понимаю, что мы должны обсуждать только его настоящую точку зрения, а не ту, которой, по нашему мнению, ему следовало бы придерживаться.

Однако существует *одно значение*, которое можно придать выражениям «является партикулярным» или «является партикулярией» и в котором, что, на мой взгляд, очень важно отметить, профессор Стаут не может употреблять эти выражения, оставаясь при этом верным своим собственным утверждениям. В формулировке нашего вопроса фраза «отдельные вещи», по-видимому, используется как синоним фразы «конкретные вещи», к которой профессор Стаут прибегает на страницах 4 и 5; именно так профессор Стаут использует её и сам в начале страницы 5. Я считаю несомненно правильным употребление «является партикулярным» или «является партикулярией» как синонимичных выражениям «является отдельной вещью» или «является конкретной вещью». Если бы профессор Стаут использовал эти выражения в таком смысле, его утверждение «Каждый признак конкретной вещи является партикулярным», конечно, означало бы то же самое, что и «Каждый признак конкретной вещи сам является конкретной вещью». Казалось бы, он вполне мог иметь в виду именно это. Но в таком случае, конечно, он был бы *непоследовательным*; поскольку на странице 7 он заявляет, что случай чихания [a sneeze], безусловно, является «партикулярным», однако всё же *не* является «субстанцией». При этом выражение «является субстанцией» он использует на протяжении всей работы начиная со страницы 7 как эквивалент выражения «является конкретной вещью или индивидом». Следовательно, он подразумевает, что случай чихания, хотя и является «партикулярным» в том смысле (каким бы он ни был), в котором утверждается, что все «признаки» конкретных вещей являются «партикулярными», всё же сам *не* является «конкретной вещью». И в том же отрывке он прибегает к действенному критерию различения «признаков» и «конкретных вещей» или «конкретных индивидов». Ничто, говорит он, не может быть «признаком», *если его нельзя предсказать чему-либо другому*; и ничто не может быть «конкретной вещью», «конкретным индивидом» или «субстанцией», *если его можно предсказать чему-либо другому* из чего опять же следует, что, по его мнению, ни один признак не может быть «партикулярным» в то же смысле, что и конкретная вещь. Понятие *предикабельности по отношению к чему-либо другому* мне кажется ясным, и, несомненно, в соответствии с обычаем словоупотребления, использование термина «признак» следует ограничить тем, что может быть предсказано чему-либо другому, а термины «конкретная вещь», «конкретный индивид» и «субстанция» – тем, что *нельзя* предсказывать. Лично я склонен использовать термин «является признаком» как экви-

валент «может быть предцировано чему-либо другому», чтобы не только каждый «признак» можно было предцировать чему-либо другому, но и всё, что можно предцировать, считалось бы «признаком». Однако я вполне признаю и употребление термина «признак» в более узком смысле, таком, что лишь некоторые из сущностей, которые можно предцировать чему-либо другому, считались бы «признаками». Но с профессором Стаутом я согласен в том, что ничто не может быть корректно названо «признаком», *если* его *нельзя* предцировать чему-либо другому. Кстати, именно поэтому я категорически не согласен с его утверждением, что случай чихания [a sneeze] – это «признак». Я могу сказать о конкретном человеке А: «Это А чихнул [sneezed that sneeze]»; и здесь слово «чихнул» [sneezed] может, как мне кажется, выражать «признак», поскольку оно может выражать нечто, что можно предцировать А. Но я категорически отрицаю, что сам случай чихания [a sneeze] может быть предцирован чему бы то ни было. То, что мы имеем в виду под «чихнул [sneezed that sneeze]», *не* то же самое, что мы подразумеваем под «тот случай чихания [that sneeze]». Сам случай чихания, я бы сказал, со всей очевидностью является *событием*, а никакое событие не может быть предцировано чему-либо другому так же, как и конкретная вещь, конкретный индивид или субстанция. Все события, включая случаи чихания и вспышки молнии, являются тем, что мистер Джонсон называет «существительными собственными [substantives proper]». И здесь я с ним соглашусь: эта категория исключает события из числа «признаков» именно на том основании, что никакое «существительное собственное» не может быть предцировано ничему другому. Но хотя все события являются «существительными собственными», мне кажется (и, я полагаю, мистеру Джонсону тоже), что называть события «субстанциями», как это делает доктор МакТаггарт, будет просто неправильным употреблением языка. Когда на седьмой странице профессор Стаут говорит, что, по мнению мистера Джонсона, вспышка молнии является субстанцией, он, вероятно, предполагает, что мистер Джонсон стал бы использовать термин «субстанция» как синоним «существительного собственного». Мистер Джонсон и в самом деле считает, что вспышка молнии *не* является «признаком». Однако он также придерживается взгляда, что она не является и «субстанцией», поскольку он признает категорию сущностей, которые называет «эпизодами [occurrences]»; «эпизоды» разделяют с «субстанциями» характеристику непредцируемости чему бы то ни было и, следовательно, не являются «признаками», но отличаются от «субстанций» в других отношениях.

Но вернёмся к теме. Я способен усмотреть только одно значение, которое профессор Стаут может вкладывать в выражения «является партикулярным» или «является партикулярией»: они означают «характеризует только одну вещь». Следовательно, я могу высказаться только о тех возможных значениях его утверждения «Каждый признак конкретной вещи или конкретного индивида является партикулярным», которые будут происходить от понимания «является партикулярным» именно в этом смысле.

Однако всё ещё остается вопрос: в каком смысле он использует термин «признак»?

Пологаю вполне естественным понять предложение «Каждый признак конкретной вещи характеризует только одну вещь» так, что из него следова-

ло бы, что если А и В – две разные конкретные вещи, то не может быть одновременно истинным, например, что А круглое и что В круглое; что А красное и что В красное и т.д. Именно это естественным образом подразумевалось бы в утверждении, что две конкретные вещи никогда не имеют общего признака. Но, конечно, такие утверждения чудовищно ложны, и я считаю очевидным, что профессор Стаут не намерен отстаивать их истинность. Он явно готов допустить, что, если А и В – имена двух разных конкретных вещей, то предложения «А является круглым» и «В является круглым» тем не менее могут выражать истинные суждения. Но что же он имеет в виду, говоря, что если А и В – две разные конкретные вещи, то *каждый* признак вещи А принадлежит исключительно А, а каждый признак вещи В – исключительно В?

Насколько я понимаю, есть только два возможных варианта толкования его слов. Возможно, (1) он хотел сказать, что если А и В – имена двух разных конкретных вещей, а оба предложения «А является круглым» и «В является круглым» выражают истинные суждения, то значение, в котором употребляется «является круглым» в одном предложении, должно *отличаться* от значения, в котором оно используется в другом. Или (2) он может совершенно неоправданно использовать термин «признак» в суженном значении, т.е. признавать, что в истинных суждениях, выраженных предложениями «А является круглым» и «В является круглым», конкретным вещам А и В предписывается одно и то же, и вместе с тем утверждать, что то, что предписывается обоим вещам, некорректно называть признаком.

Что касается варианта (1), думаю, вполне возможно, что профессор Стаут хотел сказать именно это, поскольку в одной из своих предыдущих публикаций на ту же тему<sup>1</sup> он высказал нечто похожее. «Когда я утверждаю, – говорит он там, – что чувственное данное является красным, я имею в виду именно то отдельное красное, с которым я непосредственно знаком [acquainted]». На мой взгляд, это значит, что если у меня есть два разных чувственных данных, одно из которых, А, представляет мне один отдельный [particular] оттенок красного, R<sub>1</sub>, а другое, В, представляет мне другой отдельный оттенок, R<sub>2</sub>, то, говоря об А «А является красным», под выражением «является красным» я бы имел в виду «А характеризуется оттенком R<sub>1</sub>», а говоря «В является красным», под выражением «является красным» я бы имел в виду «В характеризуется оттенком R<sub>2</sub>», и, таким образом, в этих двух случаях я бы употреблял «является красным» в разных значениях. Но если профессор Стаут имеет в виду именно это, то, я думаю, он заблуждается. Если я просто говорю кому-то, что одно из моих чувственных данных является красным, я, очевидно, *не* сообщаю ему, какой именно оттенок красного оно имеет. То есть я *не* использую фразу «является красным» как имя отдельного оттенка, который оно по факту мне представляет. Предположим, что речь идёт об оттенке R<sub>1</sub>. Вопреки тому что подразумевает профессор Стаут, я *не* употребляю фразу «является красным» как имя для R<sub>1</sub>. А для именованного чего я её использую, я думаю, довольно очевидно. Я вижу [perceive], что R<sub>1</sub> обладает определенным признаком, Р, который также есть и у оттенка R<sub>2</sub>, и у огромного количества других отдельных оттенков, а под «является красным» я имею в виду просто «обладает *некоторым* [some] признаком вида Р».

<sup>1</sup> Proceedings of the Aristotelian Society. 1914–1915. P. 348.

А когда я говорю кому-то про другое чувственное данное, В, которое представляет мне оттенок  $R_2$ , что оно тоже является красным, то это означает *в точности то же самое*, т.е. что и В также «обладает *некоторым* признаком вида Р». В данном случае я действительно знаю, что чувственное данное А обладает *некоторым* признаком вида Р и что чувственное данное В также обладает *некоторым* признаком вида Р, потому что знаю, что, в случае с А, А имеет оттенок  $R_1$ , а  $R_1$  обладает признаком Р, а в случае с В, В имеет оттенок  $R_2$ , а  $R_2$  обладает признаком Р. Но разве не очевидно, что это моё дополнительное знание об А и В, а именно, что А имеет оттенок  $R_1$ , а В – оттенок  $R_2$ , не является частью того, что я *выражаю* как раз словами «А является красным» или «В является красным»? Противоположную точку зрения, согласно которой словами «является красным» я в одном случае выражаю «имеет  $R_1$ », а в другом – «имеет  $R_2$ », т.е. нечто различное в двух случаях, можно, я думаю, опровергнуть методом *reductio ad absurdum* следующим образом. Пусть  $R_1$  и  $R_2$  – это не только оттенки красного, но и оттенки алого. Тогда я могу использовать слова «А и В оба являются алыми», а также слова «А и В оба являются красными». Но если под «А является красным, и В является красным» я подразумевал «А имеет  $R_1$ , а В имеет  $R_2$ », то очевидно, что под «А является алым, и В является алым» я также буду иметь в виду «А имеет  $R_1$ , а В имеет  $R_2$ ». Иными словами, точка зрения, согласно которой под «А является красным» я имею в виду нечто отличное от того, что я имею в виду под «В является красным», а именно в одном случае «А имеет  $R_1$ », а в другом «А имеет  $R_2$ », влечет за собой абсурдное следствие, что под «А является алым» я подразумеваю *то же самое*, что и под «А является красным». Совершенно очевидно, что это следствие абсурдно, и поэтому точка зрения, из которой оно вытекает, ложна.

Сомневаюсь, что профессор Стаут не согласился бы с только что сказанным. Напротив, мой тезис, что «является красным» означает именно «обладает *некоторым* признаком вида Р», я думаю, является *частью* (только частью) того, что он сам на странице 14 объявляет той истиной, которую отрицает мистер Джонсон, когда последний говорит, что «цвет» и «краснота» – это «*общие* виды качества», а не «единичные, каждое из которых обозначает одно положительное качество». *Частью* того, что он здесь имеет в виду, я думаю, является как раз то, что «А является красным» означает примерно «А обладает *некоторым* признаком вида Р», а «А является цветным» означает примерно «А обладает *некоторым* признаком вида Q». Однако это всего лишь часть вопроса, поскольку профессор Стаут сочетает это утверждение с еще одним утверждением относительно анализа суждений вида «А обладает *некоторым* признаком вида Р», которое, на мой взгляд, безусловно ложно. Я настаиваю, что такой подход к анализу «А является красным» не подкрепляет утверждение, что когда я о двух разных конкретных вещах, А и В, говорю, что «А является красным» и «В является красным», то, что я выражаю словами «является красным» в одном предложении, должно отличаться от того, что я выражаю словами «является красным» в другом. Более того, такой анализ с данным тезисом несовместим. Наоборот, признак, который я обозначаю словами «является красным», в обоих случаях совершенно один и тот же, а именно: «обладает *некоторым* признаком вида Р».

Следовательно, первый из двух вариантов толкования идеи профессора Стаута, который мне показался единственно возможным, сводится к тому, что если профессор Стаут действительно имеет в виду именно это, то он, безусловно, заблуждается. Утверждение, что то, что мы выражаем словами «является красным», не может характеризовать более чем одну конкретную вещь, является ложным. А поскольку слова «является красным», конечно, выражают признак в любом легитимном смысле термина «признак», заключение профессора Стаута – «Каждый признак конкретной вещи характеризует только одну вещь» – может быть истинным только в том случае, если он использует слово «признак» в каком-то совершенно некорректно суженном смысле.

То, что профессор Стаут поступает именно так, – подобно тому как под «является партикулярным» он имеет в виду нечто, что никто не стал бы подразумевать под «является партикулярным», и под словами «каждый признак» он имеет в виду нечто, что никто не стал бы иметь в виду под «каждым признаком», – я выделил выше как второй вариант интерпретации его идеи. И теперь, думаю, мы уже можем уяснить это чрезмерно суженное значение, в котором он использует термин «признак». Он употребляет его в том смысле, что ни один *родовой* [genetic] признак, как, например, выраженный словами «является красным», «является круглым», «является цветным» и т.д., в его терминологии вообще не является признаком. Совершенно очевидно, что такие родовые признаки могут характеризовать две или более конкретные вещи; и мы видели, что профессор Стаут, похоже, не хочет этого отрицать. Остается предполагать, что когда он говорит: «Каждый признак», он на самом деле имеет в виду «каждый *абсолютно специфический* признак»; где под «абсолютно специфическим» мы имеем в виду то же самое, что и «не родовой». Иными словами, он совершенно неоправданно рассуждает так, как будто только собственно видовые признаки можно по праву называть «признаками». А тезис, который он в действительности хочет доказать, звучит следующим образом: «Каждый абсолютно специфический признак, который характеризует конкретную вещь или индивида, характеризует только одну вещь».

В моём понимании это единственный тезис, который аргументы профессора Стаута, если они корректны, способны хоть как-то обосновать. И я рассмотрю его аргументы после попытки кратко объяснить свою собственную позицию по этому вопросу.

Я не вижу способа доказать, что его тезис безусловно ложен. Но оправданно отстаивать его *истинность*, на мой взгляд, возможно, только пребывая в убеждении, что он просто *должен быть* истинным. Ибо очевидно, что его нельзя обосновать путём поочередного сравнения каждой конкретной вещи с каждой другой конкретной вещью и установления, что любой абсолютно специфический признак вещи действительно не принадлежит никакой другой. Стало быть, профессор Стаут, вероятно, полагает нас способными уяснить *a priori*, что абсолютно специфический признак, который характеризует конкретную вещь, *должен* характеризовать только одну вещь, т.е. *не может* быть общим [common] признаком. А *это* и есть то утверждение, несомненную ложность которого, как мне кажется, я могу усмотреть. Часто, имея два вида чувственных данных, А и В, которые оба кажутся [appear] мне красны-

ми, я не могу сказать, что характерный оттенок красного, который представляет мне А, не является точно таким же, как характерный оттенок, который представляет мне В. Кроме того, я не могу определить, что характерный оттенок, который представляет мне А, не является абсолютно специфическим оттенком. И я думаю, что *способен* совершенно ясно представить *логическую возможность* того, что это будет и абсолютно специфический оттенок, и вместе с тем оттенок, фактически присущий не только А, но и В. Поэтому, хотя я допускаю, что *на самом деле может быть* верно, что в подобных случаях один и тот же собственно видовой оттенок никогда не характеризует сразу и А, и В, я уверен, что у профессора Стаута не может быть никаких веских оснований это утверждать и что, если он считает, что это *должно* быть так, он, безусловно, не прав.

Теперь обратимся к аргументам профессора Стаута в защиту его тезиса, которые он приводит на страницах 7–9. Что касается первого аргумента на странице 7, нам не нужно беспокоиться о нем, поскольку он направлен лишь на доказательство того, что «партикулярными» являются некоторые из абсолютно специфических признаков конкретных вещей. Я уже объяснил, что, на мой взгляд, аргумент не доказывает даже это, поскольку профессор Стаут там считает «признаками» такие сущности, как «чихание, полет птицы, взрыв мины». С моей точки зрения, это вовсе не «признаки», а события [events] или эпизоды [occurrences]. Но даже если бы профессору Стауту удалось обосновать, что *некоторые* из абсолютно специфических признаков присущи только одной вещи, само по себе это явно не доказывало бы, что то же самое верно для *всех* признаков.

Поэтому нас интересуют только те аргументы, которые начинаются на странице 7 внизу, где профессор Стаут прямо высказывает намерение доказать, что *«все качества и отношения являются партикулярными»*. И, насколько я могу судить, таких аргументов у него всего два.

Первый аргумент изложен на странице 8; и, как я понял, его суть такова: профессор Стаут утверждает, что в случае любых двух воспринимаемых конкретных вещей, о которых я «знаю или предполагаю», что они «пространственно отделены» [locally separate], я также должен «знать или предполагать», что характерные цвет или форма, которые одна из них мне представляет, тоже «пространственно отделены» от тех, что представляет другая. И, как я понял, отсюда профессор Стаут делает вывод, что если характерный цвет А «известен или предполагается» как «пространственно отдельный» от характерного цвета В, то он не может быть тождествен характерному цвету В.

Но данное заключение кажется мне просто-напросто ошибочным. Я принимаю посылку, что если А пространственно отдельно от В и если А действительно имеет тот цвет, который оно мне представляет, а В действительно имеет тот цвет, который, в свою очередь, мне представляет оно, то цвет, который мне представляет А, действительно «пространственно отделен» от цвета, который мне представляет В. Но даже если это так, я отрицаю, что из этого будет следовать, что цвет А не тождествен цвету В. Высказывание профессора Стаута, как мне кажется, целиком покоится на предположении об отсутствии разницы между смыслом, в котором две *конкретные вещи* можно назвать «пространственно отдельными», и смыслом, в котором можно ска-

зять, что таковыми являются два признака. Что касается пространственной отделённости, т.е. взаимного внешнего характера [mutual externality], в том смысле, в котором мы используем этот термин применительно к конкретным вещам, мне кажется самоочевидным (хотя некоторые готовы это оспаривать), что ничто не может находиться в этом отношении к себе самому. Иными словами, как и профессор Стаут, я признаю невозможным, чтобы одна и та же конкретная вещь находилась в двух местах одновременно. Но когда речь идёт о двух «пространственно отдельных» качествах, кажется, мы с ним употребляем данное выражение совершенно по-разному. Я считаю, всё, что означает или может означать эта фраза, – это что первое качество присуще конкретной вещи, пространственно отдельной (в нашем первом смысле) от конкретной вещи, которой присуще второе качество. И в *этом* значении фразы «пространственно отдельное» мне кажется совершенно очевидным, что качество *может* быть «пространственно отдельным» от самого себя: одно и то же качество *может* находиться в двух разных местах одновременно. В самом деле, отрицать это – значит просто увильнуть от начальной проблемы. Ведь если утверждение «характерный цвет А отделен в пространстве от характерного цвета В» просто *означает*, что характерный цвет А принадлежит конкретной вещи, которая размещена в пространстве отдельно от конкретной вещи, обладающей характерным цветом В, то отсюда следует, что характерный цвет А может быть «пространственно отдельным» от себя самого всего лишь при условии, что характерный цвет А *может* принадлежать каждой из двух конкретных вещей.

Насколько я могу судить, данный ответ, если он верен, является абсолютно полным на первый аргумент профессора Стаута и избавляет меня от необходимости изучения аргумента со страницы 8, которым он пытается продемонстрировать, что «одно и то же неделимое качество не может проявляться отдельно в разное время и в разных местах», если оно в действительности не *является* разделенным в пространстве или во времени. Ибо я утверждаю, что одно и то же неделимое качество на самом деле может *быть* разделённым в пространстве или времени; и настаиваю, что всё это означает лишь то, что оно действительно может принадлежать как одной, так и другой конкретной вещи, как одному, так и другому событию, которые пространственно или темпорально отделены в том фундаментальном смысле, который свойствен конкретным вещам или событиям. Профессор Стаут, должно быть, полагает, что абсолютно специфические признаки и в самом деле могут быть «пространственно отдельными» в *том же* смысле, в котором таковыми являются «конкретные вещи», и «темпорально отдельными» в том же смысле, в котором таковыми являются события. И, по сути, он считает, что если А и В – две «пространственно отдельные» цветные конкретные вещи, то именно в *этом* смысле абсолютно специфический цвет вещи А всегда должен быть «пространственно отдельным» от абсолютно специфического цвета вещи В. Я признаю, что если бы это было так, то отсюда следовало бы, что абсолютно специфический цвет А не может быть тождествен цвету В. Но я отрицаю, что какие-либо два признака могут быть «пространственно отдельными» в том же самом смысле, в котором могут быть отделены конкретные вещи, или «темпорально отдельными» в том смысле, в котором могут быть отделены два события.

Второй аргумент профессора Стаута начинается на странице 8 внизу, и продолжается на странице 9. И ясно, что в этом аргументе он исходит из некоторой посылки (1), которую выражает словами «Субстанция – ничто, *помимо* своих качеств»; что из этой посылки он выводит некоторое утверждение (2), которое выражает словами «знать субстанцию, не зная её качеств, – значит, ничего не знать», и что из (2), в свою очередь, он выводит утверждение (3), которое выражает словами «мы не можем отличать субстанции друг от друга, не усматривая [discerning] соответствующего различия между их качествами». Ясно также, что только посредством выдвижения утверждения (3) ему удаётся – в данном аргументе – прийти к выводу, что каждый абсолютно специфический признак конкретной вещи принадлежит только ей одной.

Что же именно утверждается в (3)?

Что бы ни подразумевал профессор Стаут под «*усмотрением* соответствующего различия между их качествами», ясно, что он имеет в виду нечто, чего мы сделать не в состоянии, если не *существует* «соответствующего различия между их качествами». Следовательно, здесь он утверждает, по крайней мере, следующее: мы никогда не сможем различить две конкретные вещи, если *нет* «соответствующего различия между их качествами». Но что именно он хочет этим сказать? На мой взгляд, должно быть, он имеет в виду, по крайней мере, следующее: мы никогда не сможем различить две конкретные вещи, А и В, если А не обладает хотя бы одним качеством, которым *не* обладает В, а В не обладает хотя бы одним качеством, которым *не* обладает А. Конечно, он может подразумевать и больше: он может иметь в виду, что *каждое* качество, которым обладает А, должно быть качеством, которым не обладает В, и наоборот. Но он обязан иметь в виду, *по крайней мере*, то, что я сказал: если мы можем различить А и В, тогда у А должно быть хотя бы одно качество, которого нет у В, а у В – хотя бы одно качество, которым не обладает А.

Но, возвращаясь к вопросу о значении его фразы «*усмотрение* соответствующего различия между их качествами», я думаю, ясно, что утверждение (3) несёт ещё и такой смысл: мы никогда не сможем различить две конкретные вещи, А и В, если хотя бы одно качество, которое мы *воспринимаем* [receive] как принадлежащее А, не принадлежит В и хотя бы одно качество, которое мы *воспринимаем* как принадлежащее В, не принадлежит А. Ибо, конечно же, нельзя сказать, что вы «усматриваете различие» между двумя качествами, если вы не воспринимаете их оба. Но я не уверен, утверждает ли профессор Стаут ещё и следующее: мы можем различить А и В, если, в отношении хотя бы одного качества, которое мы *воспринимаем* как принадлежащее А, мы *воспринимаем* и то, что оно не принадлежит В, и в отношении хотя бы одного качества, которое мы *воспринимаем* как принадлежащее В, мы *воспринимаем*, что оно не принадлежит А. Я думаю, весьма вероятно, что он этого *не* хотел сказать. Однако как раз от вопроса, хотел он это сказать или нет, зависит мое отношение к его утверждению (3). Если *да*, то я готов настаивать, что его утверждение (3) ложно. Если *нет*, то я скажу лишь, что это утверждение, верить которому нет никаких оснований.

Поэтому, во-первых, я придерживаюсь позиции, что я, безусловно, в некоторых случаях различаю две конкретные вещи, А и В, не *воспринимая* в

отношении какого-либо *качества*, которое я воспринимаю как принадлежащее А, что оно *не* принадлежит В, и наоборот. Но я хочу подчеркнуть, что эта моя позиция касается только *качеств*, в строгом смысле этого слова, в отличие от реляционных свойств [relational properties]. Я *не* говорю, что способен как-либо различить две конкретные вещи, А и В, не воспринимая в отношении какого-либо *реляционного свойства*, которое я воспринимаю как принадлежащее А, что оно не принадлежит В. Но я думаю, ясно, что профессор Стаут, если он хочет защитить свою точку зрения, должен полагать, что его утверждение (3) *истинно* в отношении *качеств* в строгом смысле слова, в противоположность отношению. Ведь он заключает, что *каждый* абсолютно специфический признак конкретной вещи, включая, следовательно, и абсолютно специфические *качества*, характеризует только одну вещь. А такое заключение явно не может следовать из посылки, которая не содержит утверждения о *качествах*.

После данной оговорки я обязан предложить доказательство собственного тезиса с опорой на примеры того же рода, что и выбранные профессором Стаутом. Он настаивает (и здесь я полностью с ним согласен), что бывают ситуации, в которых я могу различить две конкретные вещи, А и В (например, когда я различаю две разные части листа белой бумаги), хотя я не вижу [perceive], что А *качественно отличается* от В в каком-либо отношении – по форме, по размеру или по цвету.

Но сказать, что я не вижу никакого качественного отличия между А и В, – по моему мнению, то же самое, что сказать, что какое бы качество я ни взял, которым, как мне кажется [appears], обладает А, я не воспринимаю, что именно это качество не принадлежит *также* и В, и что какое бы качество я ни взял, которым, как мне кажется, обладает В, я не могу воспринимать, что именно это качество не принадлежит *также* и А. И если эти два утверждения *действительно* тождественны, то мой тезис доказан. Намерен ли профессор Стаут оспаривать их тождество? Не берусь сказать. Но если намерен, то, по моему, очевидно, что единственным основанием для этого должно быть его допущение об истинности своеобразной теории об отношении между конкретной вещью и ее качествами, которую он далее излагает на странице 11. Если бы эта его необычная теория оказалась истинной, то, я думаю, её следствием было бы, что в случае, подобном рассматриваемому нами, т.е. когда я вижу, что А отличается от В, в отношении некоторого качества или множества качеств Р и некоторого *другого* качества или множества качеств Q я воспринимаю как раз то, что *тот* [the] «комплекс», с которым характерным образом связано [related] Р, отличается от *того* «комплекса», с которым подобным же образом связано Q. Моё восприятие отличия А от В было бы *тождественно* восприятию того, что *тот* комплекс, к которому Р находится в рассматриваемом отношении, отличается от *того* комплекса, к которому в таком же отношении находится Q. Получается, я должен был бы воспринимать, *ex hypothesi*, что Р находилось в данном отношении только к одному комплексу, и Q – также только к одному, при этом комплекс, с которым было соотнесено Q, – это *другой* комплекс. И воспринимая всё это, я вряд ли мог бы не заметить и того, что Р *не* находилось в данном отношении к тому комплексу, к которому находилось в данном отношении Q, и наоборот. А это, *ex hypothesi*, всё равно что воспринимать, что Р не принадлежит В, а Q не при-

надлежит А. Следовательно, если бы эта своеобразная теория профессора Стаута оказалась истинной, то, я думаю, ее следствием действительно было бы то, что я не мог бы воспринимать А как нечто отличное от В, не воспринимая при этом, в отношении какого-либо качества, которое я воспринимал как принадлежащее А, то, что оно *не* принадлежит В, и наоборот. Но как раз это следствие и есть одна из причин, по которой я считаю, что его своеобразная теория истинной быть не может. Мне кажется совершенно очевидным, (1) что я могу отличить А от В, даже когда я не воспринимаю какую бы то ни было *качественную разницу* между ними, и (2) что это означает, что я способен различить А и В и без восприятия, что какое-либо качество, которое я воспринимаю как принадлежащее А, не принадлежит В, или наоборот. А поскольку истинность необычной теории профессора Стаута означала бы, что я на это не способен, я заключаю, что эта теория ложна.

Если же, с другой стороны, всё, что профессор Стаут вкладывает в своё утверждение (3), сводится к моей неспособности отличить А от В, если только какое-то качество, которым, как я воспринимаю, обладает А, на самом деле не принадлежит В, и наоборот, то я должен признать, что не вижу способа доказать его неправоту. В этом случае я стану настаивать только на отсутствии каких-либо оснований полагать, что он прав. Ибо, насколько я могу судить, единственным основанием для его правоты могло бы стать то, что в каждом из рассмотренных мной случаев я мог бы *воспринимать*, что какое-то качество, которое, в моём восприятии, принадлежит А, не принадлежит В. По уже изложенным причинам я полагаю, что это не так. Следовательно, остаётся лишь какая-то незначительная вероятность, что, хотя я не могу *воспринимать*, что какое-то качество, которое, как я воспринимаю, принадлежит А, не принадлежит В, на самом деле может *существовать* какое-то качество, которое, как я воспринимаю, принадлежит А, но не принадлежит В.

Наконец, мне кажется, что профессор Стаут в любом случае ошибается, полагая, что его утверждение (3) следует либо из (1), либо из (2). Я вполне готов допустить, (1) что конкретная вещь *должна* обладать какими-либо качествами. Именно так я понимаю высказывание профессора Стаута, что вещь – ничто *помимо* своих качеств, ведь сам он считает, что она, безусловно, есть нечто *иное*, чем любое из ее качеств или все они вместе взятые. А также я допускаю, (2) что могу воспринимать какую-либо конкретную вещь, только обнаруживая в ней некоторое абсолютно специфическое качество, т.е. что сказать, что я ее воспринимаю, – это то же самое, что сказать, что есть какое-то такое качество, которым она, как мне кажется [appears], обладает. Кроме того, я даже считаю вполне вероятным, что я никогда не смогу воспринимать какую-либо конкретную вещь, не *воспринимая* при этом некоторое ее собственно видовое качество. Но, по-моему, ни одно из этих допущений не принуждает меня признать сколь-либо вероятным утверждение (3). Насколько я могу судить, они не имеют никакого отношения к (3), а следовательно, и к вопросу, который нам было предложено обсудить. Действительно, если мы примем посылку, что я не могу воспринимать какую-либо конкретную вещь, не воспринимая при этом, в отношении какого-либо абсолютно специфического качества, что вещь обладает данным качеством, то из этого будет вытекать, что я не могу *различить* в восприятии две конкретные вещи, А и В, не воспринимая при этом в отношении *некоторого* абсолютно специфического

качества, что А обладает этим качеством, и в отношении *некоторого* абсолютно специфического качества, что им обладает В. Но разве с помощью данной посылки возможно доказать нечто большее? Как она демонстрирует невозможность того, чтобы при различении А и В каждое абсолютно специфическое качество, которое я воспринимаю как принадлежащее А, *также* было бы и тем качеством, которое я воспринимаю как принадлежащее В, и наоборот? В нашей посылке утверждается лишь то, что для каждой воспринимаемой мной конкретной вещи должно существовать *некоторое* абсолютно специфическое качество, которое я воспринимаю как принадлежащее ей. Следовательно, посылка ничего не сообщает относительно того, может ли при восприятии *двух* вещей каждое абсолютно специфическое качество, которое я воспринимаю как принадлежащее одной, также восприниматься мной как принадлежащее другой.

Поэтому мой ответ таков: если мы понимаем выражение «является партикулярным» в смысле, который логически имплицитно характеризует только одну вещь» (а мы обязаны придерживаться именно такого понимания, если намерены иметь дело с любым из вопросов, поставленных профессором Стаутом), то, совершенно очевидно, *многие* признаки конкретных вещей *не* являются партикулярными; и нет оснований полагать, что абсолютно специфические признаки являются исключением из правила.

Что касается вопроса о том, существуют ли *вообще* такие признаки конкретных вещей, которые характеризуют только одну вещь, ответ будет зависеть от того, что подразумевается под признаками. И мне видится возможным и легитимным такое значение термина «признак», в котором подобных признаков *не бывает*, а *все* признаки конкретных вещей являются общими [common] признаками. Тем не менее если термин «признак» используется в широком смысле, когда признаком считается всё, что можно с истинностью предсказать чему-либо, то в таком случае совершенно очевидно, что многие признаки действительно окажутся присущи только одной вещи. Если мы употребляем слово «признак» в последнем значении, тогда совершенно очевидно как то, что многие признаки конкретных вещей *являются* общими, так и то, что многие таковыми *не являются*. И если мы употребляем фразу «является универсалией» в смысле, который логически имплицитно характеризует «является общим признаком» (как, по всей видимости, поступает и профессор Стаут), то отсюда, конечно, следует и то, что в том же широком смысле слова «признак» нам придется утверждать, что многие признаки конкретных вещей являются универсалиями, а многие – нет. Однако, я думаю, стоит подчеркнуть, что есть одно устоявшееся употребление выражения «является универсалией», когда каждый признак без исключения – будь он признаком, присущим только одной вещи, или общим признаком – со всей определённой признаётся универсалией, а именно когда выражение «является универсалией» просто считается логически эквивалентным «является либо предсказуемым чему-либо, либо отношением».

#### Список источников

1. Moore G.E., Stout G.F., Hicks G.D. Symposium: Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular? // Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. 1923. Vol. 3: Relativity, Logic, and Mysticism. P. 95–128.

2. *Stout G.F. The Nature of Universals and Propositions // Proceedings of the British Academy. 1921–1923. Vol. 10. P. 157–172.*
3. *Armstrong D.M. Foreword // Seargent D.A.J. Plurality and Continuity. An Essay in G.F. Stout's Theory of Universals. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1985. P. XII–XIII.*
4. *Seargent D.A.J. Plurality and Continuity. An Essay in G.F. Stout's Theory of Universals. Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1985. 161 p.*
5. *Армстронг Д.М. Универсалии. Самоуверенное введение / пер. с англ., введ. и коммент. С.С. Неретиной. М. : Канон + РООИ «Реабилитация», 2011. 240 с.*
6. *Williams D.C. On the Elements of Being I // The Review of Metaphysics. 1953. Vol. 7, № 2. P. 3–18.*
7. *Maurin A.-S. Tropes // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2024 Edition) / eds. E.N. Zalta, U. 2024. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/tropes/> (accessed: 19.01.2026).*
8. *Van der Schaar M.G.F. Stout and the Psychological Origins of Analytic Philosophy. London : Palgrave Macmillan, 2013. 184 p.*
9. *Рассел Б. Моё философское развитие (главы 5, 7) // Аналитическая философия: Избранные тексты / сост., вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова. М. : Изд-во МГУ, 1993. С. 11–26.*
10. *Юрьев Р.А. Философия здравого смысла Джорджа Фредерика Стаута // Аристотелевское общество: 140 лет философских диалогов / под ред. А.Б. Дидикина. М. : Проспект, 2021. С. 50–69.*
11. *Пассмор Дж. Сто лет философии. М. : Прогресс-Традиция, 1998. 496 с.*
12. *Мур Дж.Э. Является ли существование предикатом? / пер. В.Е. Мельникова ; под ред. В.А. Суровцева // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2009. № 4 (8). С. 111–122.*
13. *Фоллесдал Д. Аналитическая философия: Что это такое и почему этим стоит заниматься? // Язык, истина, существование (Библиотека аналитической философии) / сост. В.А. Суровцев. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 225–239.*
14. *Costello H.T. Review // The Journal of Philosophy. 1924. Vol. 21, № 17. P. 463–466.*
15. *Мур Дж.Э. Опровержение идеализма // Историко-философский ежегодник'87. М. : Наука, 1987. С. 247–265.*
16. *Райл Г. Феноменология и лингвистический анализ // Логика, онтология, язык (Библиотека аналитической философии) / сост., пер. и предисл. В.А. Суровцева. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 174–183.*

### References

1. Moore, G.E., Stout, G.F. & Hicks, G.D. (1923) Symposium: Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular? *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. 3 (Relativity, Logic, and Mysticism)*. pp. 95–128.
2. Stout, G.F. (1921–23) The Nature of Universals and Propositions. *Proceedings of the British Academy. 10. pp. 157–172.*
3. Armstrong, D.M. (1985) Foreword. In: Seargent, D.A.J. *Plurality and Continuity. An Essay in G.F. Stout's Theory of Universals*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. pp. XII–XIII.
4. Seargent, D.A.J. (1985) *Plurality and Continuity. An Essay in G.F. Stout's Theory of Universals*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
5. Armstrong, D.M. (2011) *Universalii. Samouverennoe vvedenie* [Universals: An Opinionated Introduction]. Translated from English by S.S. Neretina. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitatsiya”.
6. Williams, D.C. (1953) On the Elements of Being I. *The Review of Metaphysics. 7(2)*. pp. 3–18.
7. Maurin, A.-S. (2024) Tropes. In: Zalta, E.N. & Nodelman, U. (eds) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2024 Edition. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/tropes/> (Accessed: 19th January 2026).
8. van der Schaar, M. (2013) *G.F. Stout and the Psychological Origins of Analytic Philosophy*. London: Palgrave Macmillan.
9. Russell, B. (1993) Moyo filosofskoe razvitie (glavy 5, 7) [My Philosophical Development (chapters 5, 7)]. In: Gryaznov, A.F. (eds) *Analiticheskaya filosofiya: Izbrannyye teksty* [Analytical Philosophy: Selected Texts]. Moscow: Moscow State University Press. pp. 11–26.
10. Yuriev, R.A. (2021) *Filosofiya zdravogo smysla Dzhordzha Frederika Stauta* [The Philosophy of Common Sense of George Frederick Stout]. In: Didikin, A.B. (ed.) *Aristotelevskoe obshchestvo: 140 let filosofskikh dialogov* [The Aristotelian Society: 140 Years of Philosophical Dialogues]. Moscow: Prospekt. pp. 50–69.

11. Passmore, J. (1998) *Sto let filosofii* [A Hundred Years of Philosophy]. Moscow: Progress-Traditsiya.

12. Moore, G.E. (2009) Yavlyaetsya li sushchestvovanie predikatом? [Is Existence a Predicate?]. Translated by V.E. Mel'nikov, edited by V.A. Surovtsev. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 8(4). pp. 111–122.

13. Føllesdal, D. (2002) Analiticheskaya filosofiya: Chto eto takoe i pochemu etim stoit zanimat'sya? [Analytic Philosophy: What is It and Why Should One Engage in It?]. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Yazyk, istina, sushchestvovanie* [Language, Truth, Existence]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 225–239.

14. Costello, H.T. (1924) Review of: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. 1923. Vol. 3. Relativity, Logic, and Mysticism. *The Journal of Philosophy*. 21(17). pp. 463–466.

15. Moore, G.E. (1987) Oproverzhenie idealizma [The Refutation of Idealism]. In: *Istoriko-filosofskiy ezhegodnik '87* [Yearbook of Historical and Philosophical Studies '87]. Moscow: Nauka. pp. 247–265.

16. Ryle, G. (2006) Fenomenologiya i lingvisticheskiy analiz [Phenomenology and Linguistic Analysis]. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Logika, ontologiya, yazyk* [Logic, Ontology, Language]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 174–183.

**Сведения об авторе:**

**Суханова Е.Н.** – кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: ekanss@rambler.ru

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.**

**Information about the author:**

**Sukhanova E.N.** – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of the History of Philosophy and Logic, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ekanss@rambler.ru

**The author declares no conflicts of interests.**

*Статья поступила в редакцию 09.01.2026;*

*одобрена после рецензирования 23.01.2026; принята к публикации 18.02.2026*

*The article was submitted 09.01.2026;*

*approved after reviewing 23.01.2026; accepted for publication 18.02.2026*

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.  
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,  
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

**2026. № 89**

Редакторы *Ю.П. Готфрид, Н.А. Афанасьева*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,  
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»

---

Подписано в печать 25.03.2026 г. Дата выхода в свет 14.04.2026 г.

Формат 70x100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 18,13; усл. печ. л. 23,56; уч.-изд. 24,87.

Тираж 50 экз. Заказ № 6731. Цена свободная.

---

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства  
Томского государственного университета  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49  
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: [rio.tsu@mail.ru](mailto:rio.tsu@mail.ru)